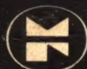


РАХИМ ЭСЕНОВ

ТЕНИ „ЖЕЛТОГО ДОМИНИОНА“





РАХИМ ЭСЕНОВ

ТЕНИ „ЖЕЛТОГО ДОМИНИОНА“

Роман

Книга вторая



МОСКВА
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1983

84Р7
Э 84

Э $\frac{4702010200-071}{078(02)-83}$ 263—82

ОТ АВТОРА

В зимнюю промозглую ночь на одном из участков южной границы советские пограничники задержали нарушителя. Это был странный лазутчик, непохожий на тех, кто обычно пытался проникнуть из-за кордона. Он не сопротивлялся, не пытался бежать. Сносно владея русским языком, предпочитал говорить на туркменском, оказался на редкость словоохотливым, хотя отдельные слова подбирал с трудом, путая их с немецкими и английскими. Так разговаривают люди, долгое время прожившие на чужбине. Засланный американской разведкой, он еще до перехода границы твердо решил, что, как только ступит на землю Советской Туркмении, сам, по своей доброй воле, сдастся нашим пограничникам...

Так начинается мой роман «Предрассветные призраки пустыни», опубликованный несколько лет назад в издательстве «Молодая гвардия».

Начало 20-х годов Туркменистан. Знойные Каракумы. Прикопетдагская долина. Здесь. где-то в предгорье, между песками и горами находится аул Конгур, жители которого пасут скот и занимаются земледелием. В этом ауле, как помнит читатель, родились и выросли Ашир Таганов и Нуры Курреев, дайханские сыновья, закадычные друзья.

Туркменский народ только что свободно вздохнул, изгнав со своей земли белогвардейцев, буржуазно-националистическое охвостье и их заморских хозяев — английских интервентов. Но враг не смирился. Джунаид-хан, главарь хивинского басмачества, ставленник английской разведки, темная личность, оставившая в истории Средней Азии кровавый след, сколачивает разбойные отряды. Басмаческий предводитель вынашивает «голубую мечту» о своем былом ханстве под протекторатом Англии.

Ашира и Нуры революция с самых юных лет поставила по разные стороны баррикад. Так развела она многих, заставив каждого сделать выбор: с кем он? С Советской властью, со своим народом или с их врагами?

Ашир, как и его отец Таган, после кровавой расправы басмачей над мирным аулом твердо решил, что у него одна дорога — с Советской властью, защитницей забитых и обездоленных. Таган, некогда воевавший «под зеленым знаменем пророка», пойдет в кизыл аскеры — красные воины, станет краскомом, а его сын чекистом, разведчиком, чтобы вместе громить банды Джунаид-хана.

Жадность и трусость оставят Нуры и его отца Курре, всю жизнь мечтавшего о богатстве, во враждебном лагере, басмаческом стане Джунаид-хана, пытавшегося огнем и мечом пополнить свои редеющие ряды.

Конечно, заманчиво просто объяснить поведение персонажей книги только низменными чувствами. Но надо знать психологию туркменского дайханина, его образ жизни, чтобы понять, почему такие, как Нуры Курреев, после долгих мучительных колебаний все же пошли по кривой дороге, за классовым врагом, против своего народа. Это можно понять, зная, как велико было засилье религиозного фанатизма, насаждавшегося в сознание людей веками, как непререкаема была власть баев и мулл над забитыми и безграмотными дайханами, кочевниками, бедняками. Зная, как империалисты лезли из кожи вон, пытаясь прибрать к своим рукам богатства Средней Азии, свергнуть здесь Советскую власть, — засылали сюда вооруженные банды, эмиссаров, инструкторов, снабжали басмаческие отряды оружием и боеприпасами, но не забывая получать взамен ковры, каракуль, драгоценности. Исполнителями этих коварных замыслов зарубежные разведывательные органы избирали таких предателей, как Нуры Курреев.

И сегодня, с волнением следя за событиями в дружественном нам Афганистане, а также в Иране и Пакистане, мы наблюдаем поразительные исторические аналогии: будто прошлое оживает в событиях наших дней. Все та же география «осиных гнезд» — Карачи, Пешавар, все те же бандитские приемы и набеги на мирные афганские селения.

В первой книге показан разгром головорезов Джунаид-хана, против которого поднялись бедняки, чабаны, дайхане, одураченные и запуганные феодалами, родовыми вождями, но теперь прозревшие и понявшие, в какую пропасть он вел, какую судьбу уготовил трудовому люду. Джунаид-хану с горсткой своих приспешников удалось бежать за кордон. За своим кумиром очертя голову подался и Нуры Курреев, ходивший ранее в телохранителях бывшего хивинского хана.

Басмачество в Средней Азии потерпело крах, но кое-кто из басмачей уцелел. И они бросились в объятия новых хозяев — разведывательных служб империалистических государств, не расстававшихся с мечтой уничтожить Советскую власть. Среди тех, кто скрылся за границей, и Нуры Курреев. Прислуживая сразу двум хозяевам — британской Интеллидженс сервис и германской разведке, он метался по Ирану, Афганистану и Турции, усердно отрабатывал иудины тридцать сребреников, помогал врагам своей родины создавать всевозможные эмигрантские антисоветские организации и центры, которые затем засылали в нашу страну басмаческие шайки, лазутчиков, подобных Нуры Куррееву.

Прошли годы. Кончилась Великая Отечественная война, завершившаяся разгромом фашистской Германии, но Нуры Курреев попрежнему по ту сторону баррикад, поднаторевший на провокациях, убийствах и других темных делах. Слишком много пройдет времени, пока спохватится этот матерый шпион, ярый враг Советской власти, чьи руки были обагрены кровью многих честных людей. В войну Нуры Курреев, агент абвера по кличке Каракурт, верой и правдой служил фашистам, рьяно помогал формировать из таких же отщепенцев, как сам, так называемый Туркестанский легион, призванный пойти в бой против частей Красной Армии. После, в пору «холодной войны», он переметнулся к американцам, добровольно подрядился в ЦРУ. Затем Курреев состоял на службе у антисоветчиков из радиостанции «Свобода» и других «радиоголосов», вещающих на Советский Союз, ведущих против его братских республик и народов оголтелую враждебную пропаганду.

И вот пришла старость. Для Курреева она как возмездие за предательство. Перед его глазами проходят истории одна трагичнее другой: бесследно, как дым, исчезали самые разудалые нукеры — воины ислама, хитрые агенты, опытные шпионы, на деле доказавшие свою преданность. Со многими он был знаком. Где же они теперь? Курреев точно знал, что и Джунаид-хан, и шефы фашистского абвера, и американские боссы — все они потом под любыми предлогами и любыми средствами избавлялись от своих не в меру ретивых слуг. Но они же безропотны, безлики и неприметны, как тени! Что из того?! Вся беда их в том, что одни слишком много знали, даже недозволенное, другие состарились, третьи разуверились в своих хозяевах.

Его, Курреева, ждала такая же участь. Он мог, как те, погибнуть при переходе границы, разбиться в автомобильной катастрофе или не вернуться из любой чужой страны, куда его часто забрасывали. И бывший Каракурт, как хищник, почуявший опасность, хочет спасти свою шкуру, мучительно ищет выход и находит.

В финале «Предрассветных призраков пустыни» своего бывшего односельчанина допрашивает Ашир Таганов, теперь полковник госу-

дарственной безопасности, коммунист, в годы Великой Отечественной войны выполнявший в тылу фашистской Германии особое задание Родины. Тогда он лишь благодаря своей находчивости избежал опасной встречи с бывшим другом детства, щеголявшим в форме офицера вермахта, с железным крестом на груди.

Пять десятилетий прошло с той поры, как разошлись их пути-дороги, а спор продолжается...

Спор этот продолжается между героями романа «Тени «желтого доминиона», являющегося продолжением «Предрассветных призраков пустыни».

Г.В.



ПРОЛОГ

Лицо у Каракурта коричневое, будто продубленное, в глубоких морщинках. На Ашира Таганова поглядывали большие настороженные глаза с красными прожилками в белках. Теперь арестованный не отмалчивался, говорил беспрестанно, хотя в основном о событиях, не связанных с ним. Но не чувство раскаяния руководило им — ведь сам он искренним никогда не был и даже не представлял себе, как может человек быть до конца откровенным, особенно когда нужно отвечать за содеянное. Страшась больше всего расплаты, Каракурт пытался то обмануть Таганова, то разжалобить его, то убедить в том, что все годы, проведенные в эмиграции, он был лишь простым исполнителем, пешкой, которую хозяева переставляли туда, куда хотели.

Следователь не перебивал Нуры Курреева — пусть выговорится! Увлекаясь, тот пробалтывался порой о таком, что интересовало советские органы контрразведки. Временами Курреву казалось, что Таганов, как ни странно, терял к нему всякий интерес, и это еще больше распаляло его, растравляло болезненное самолюбие, заставляя вспоминать все новые подробности своих долгих скитаний по чужим весям. Но он ошибался — Таганов внимал каждому слову Каракурта, ибо знал, что имеет дело с хитрым и опытным врагом, способным изобразить и смущение и подавленность, дабы ввести в заблуждение чекиста. От него не ускользнуло, что Курреев часто с трудом подыскивал нужные туркменские слова, путая их с немецкими и английски-

ми. Так бывает с людьми, надолго разлученными с Родиной.

Допрашивая Каракурта, Ашир Таганов иногда рассказывал тому легенды и притчи, умышленно напоминал о прошлом, ибо тот еще жил давними представлениями о Туркмении, и экскурс в старое будоражил в нем воспоминания о детстве, юности, родном ауле... А о новой жизни Курреев имел весьма смутное представление: он все еще находился во власти фантастических измышлений, распространяемых о республиках Средней Азии западными радиостанциями наподобие «Свободы», где Каракурту самому пришлось послужить не один год.

Курреев немало удивлял Таганова. Как-то на допросе Каракурт неожиданно кинулся к окну. Но Ашир спокойно отнесся к его выходке — кабинет находился на третьем этаже, окно зарешечено густой сеткой. Курреев прижался лицом к сетке и, шумно потянув ноздрями воздух, проговорил:

— Чуреком пахнет... Я не ошибся?

— Нет, не ошибся, — Таганов указал глазами на стул, предлагая Куррееву вернуться на место. — Вокруг нашего здания жилые кварталы. У некоторых во дворе тамдыры...

— В городе — тамдыры? Как в Конгуре...

— Нас это не удивляет. Никакой магазинный хлеб не может сравняться с чуреком, испеченным вручную. Для кого-то это экзотика, для другого же родной аул, откуда начинается его родина... Там он родился, вырос, там жила его мать, руки которой пекли для него чурек.

— Я забыл вкус туркменского чурека, — Курреев опустил голову. — Столько лет прошло...

Таганов вытянул ящик письменного стола, достал сверток и протянул его Куррееву.

— Ты принес мне чурек?! — Курреев, быстро разворачивая сверток, ощутил сквозь бумагу тепло свежеиспеченного хлеба. — Целый чурек. Можно, я попробую только? Сил терпеть нет.

— Это Айгуль испекла, — Таганов кивнул. — Она знает о тебе. Только детям пока не говорили.

— Айгуль?! Она знает, говоришь? Значит, не забыла? — Курреев застыл с поднесенным ко рту кусочком хлеба.

— Как видишь... Это ты, Нуры, забыл.



— Не забыл я! Нет, не забыл! Клянусь аллахом! Пусть мраком станет для меня светлый день.

— Без истерики, Нуры. Ешь лучше!

Курреев неторопливо прожевал кусочек, второй, завернул чурек в бумагу, стряхнул крошки с брюк. Заметив укоризненный взгляд Таганова, тихо произнес:

— Я что-то сделал не так, Ашир?..

— Забыл, как свят хлеб в народе? Какой же туркмен хлеб под себя бросит? Пусть даже крошки. Забыл притчу старого Аннамурата-ага? Про чабана, обронившего в песок кусочек хлеба. Как долго искал... Да и мудрено отыскать, песок ведь. А дело было под вечер. Чабан заприметил то место, воткнул, как вешку, свой посох, чтобы с рассветом поискать снова. Утром — хоть и далеко уходил, но вернулся, а там, видит, — посох, воткнутый в песок, стал золотым.

— Вспомнил, Ашир... Да. Я жил среди таких, кто по-людски и хлеба не ел, а если и ел, то не знал ему цены. — Курреев опустился на колени, подобрал с пола хлебные крошки.

— Надеюсь, ты помнишь хорошо? Двадцать восьмой год. Я напомню тебе... Иран, старый караван-сарай в горах. Твоя первая встреча с Вилли Мадером. Так в какую националистическую организацию ты вступил тогда по его совету?

— Она называлась «Шарк Юлдуз», что значит «Звезда Востока». Ее возглавлял муфтий Садретдин-хан, узбекский националист, друг Алим-хана, бывшего эмира Бухары.

— Этот центр был в иранском городе Мешхеде... Что ты можешь сказать о деятельности другого националистического центра — в афганском городе Герате?

— Это «Общество туркестанского национального объединения». В нем верховодил Аннакули Курбансеидов, туркмен, известный богач. Там состояли Джунаид-хан и его сыновья.

— Но ты тоже там состоял!

— Я больше в Иране отирался и был далек от его дел.

— Ты несколько раз участвовал в заседаниях этого общества.

— По заданию Мадера.

— На заседания приходили только его члены. Посторонних туда и близко не подпускали.

— Я числился членом номинально, — вздохнул Ка-

ракурт. — Активного участия в его деятельности не принимал. Мадера интересовали члены общества.

— Не только это, Нуры. Если забыл, так я напомню... В тридцать пятом году среди афганских туркмен затеяли сбор средств на нужды эмиграции. Ты разъезжал по Гератской провинции, побывал в Мазари-Шарифе и у туркмен под Кабулом. Всюду ты выступал от имени общества, призывая вносить пожертвования на борьбу с Советской властью. Тогда вы собрали свыше семисот тысяч рупий и заработали благодарность от Мадера. А теперь вспомни тридцать шестой год. От имени этого же общества ты уговаривал афганских туркмен открыть в Кабуле Дом для эмигрантов. С кем только ты не встречался? И с Джунаид-ханом, и с его сыновьями, и с влиятельными афганцами, даже с одним королевским генералом. Дом открыть удалось, и ты, Нуры, снова заслужил похвалу Мадера. Ведь Дом для эмигрантов, по сути, стал филиалом германского абвера, а все твои поездки по Афганистану служили одной цели — созданию шпионской сети в стране, вербовке новых агентов. Так что, Нуры, от этого общества тебе отмахиваться просто неприлично.

— Да, кое-что я забыл, Ашир.

— Тебе хочется забыть! Но мы ведь условились, Нуры, говорить обо всем без утайки. Да, я знаю, ты больше жил в Иране, Мадер держал тебя под рукой. Но ты поспевал всюду и с заданиями хозяев справлялся блестяще. Все тобою были довольны — и Мадер и Кейли... Так какие организации тебе еще известны? Я имею в виду националистические, действовавшие против СССР.

— В иранском ауле Хасарча действовал Туркменский национальный союз во главе с Кульджаном Ишаном, в Стамбуле — Туркестанское национальное объединение. Денег на то не жалели...

Надо сказать, что в то время в Иране и Афганистане возникло немало и других организаций из числа узбеков, казахов, туркмен. В конце двадцатых и в начале тридцатых годов в странах Ближнего и Среднего Востока антисоветские организации появлялись как грибы после дождя. Их всех роднило одно — ненависть к Советской власти. Но руководители эмигрантских организаций понимали, что на одной ненависти далеко не уедешь и им самим с Советами не совладать. Нехватка денег и сил заставляла их искать выход. Какой? Искать хозяина! А хозяева тем временем подыскивали себе

слуг. Так что каждый обрел то, что искал... За спиной каждой эмигрантской организации встали разведки Англии, Германии, Франции. Они снабжали отряды басмачей оружием, боеприпасами, транспортом. Ничего не жалели — ни золота, ни денег. Лишь бы воевали, расшатывали Советскую власть...

— Кое-кто денег не жалел, а вы свои души.

— У меня не было иного выбора!

— Не криви душой. Был выбор и у тебя, сына и внука батрака. Родина, Айгуль, твои дети, твоя земля, на которой ты сеял хлеб.

— Я боялся. За Мовляма, за службу у Джунаид-хана.

— Лучше понести кару, чем заживо похоронить себя на чужбине. Присягать чужому знамени, воевать против своего народа — это страшнее смерти. А сколько честных людей, наших сверстников, ради Отчизны приняли смерть... Помнишь легенду нашего старейшины Аннамурата-ага? Он часто рассказывал ее нам, детям Конгура. Умирая, молодой падишах умолял аллаха сохранить жизнь, мол, еще очень молод, красив и не успел насладиться прелестями земного бытия. Тогда ангелы смерти, пришедшие за ним, сказали: «Аллах не отнимет твою жизнь, падишах, если вместо тебя кто-то другой примет смерть». Вместо падишаха согласилась умереть его молодая жена. Ангелы увели с собой молодую шахиню... Почему же она, тоже молодая и, видимо, не меньше падишаха любившая жизнь, согласилась на самопожертвование? Да потому, что падишах был для нее олицетворением Отечества, и молодая женщина принесла в жертву себя — ради родины, ради любви...

— Когда человек молод, он думает только о себе.

— Это ты о себе говоришь! Неужели за эти годы не задумывался о своем народе, о Родине?! Какую мы войну пережили! Не только на фронте, где днем и ночью лилась кровь наших джигитов, где сложили головы лучшие сыны и дочери народа, но и в тылу. Все шло на фронт, для победы над фашизмом. Айгуль, дети твои тоже пережили это...

Нуры тяжело вздохнул, опустил глаза:

— У тебя, Ашир, судьба сложилась счастливо. Ты всю жизнь провел дома, где и стены приходят на помощь. Ты по жизни шагал как по укатанной дороге. Хотя догадываюсь, что в войну побывал в Германии. Не по-

мню где, не то в Италии, не то в Германии, мне говорили, что некий перебежчик Таганов исправно немцам служит. Подумал — однофамилец. Только теперь понял, что это был ты, Ашир. Ты прожил под чужой личиной каких-то три-четыре года, зная, что тебя ждут на Родине, а я рядился в эту шкуру всю жизнь без какой-либо надежды. Я считал себя орлом. И эту сильную хищную птицу, оказывается, можно приручить. Ты знаешь, как это делается? Однажды в Иране, в Туркменской степи, видел. Меня это так потрясло, что на всю жизнь запомнил.

Поймать птицу не составляет больших трудов, — начал рассказывать Нуры. — Для приманки нужно посадить в сеть голубя, зайца или кеклика * и устроить засаду... Попал орел в сеть — не зевай, вяжи... А через какой-то месяц, смотришь, и вольнолюбивая птица в хищных руках человека превращается в послушное существо. Поверить трудно! — Нуры дернул воротник, будто он душил его, и продолжал:

— Хитер человек на выдумки. Поймав птицу, он тут же надевает ей на голову кожаный колпачок, и мир погружается для нее во тьму. И это после высокого неба, где орел первым встречал зарю. Пленника сажают в юрте на аркан, слабо натянутый между решетчатыми стенками, и теперь ему, привыкшему на воле чувствовать под собой твердую опору на скале или дереве, приходится с огромным трудом удерживаться на весу. Для орла наступают самые мучительные дни, нет ему покоя ни днем ни ночью, так как все в многочисленной семье охотника, стар и млад, проходя мимо него, считают нужным дернуть за аркан. По ночам встают специально, чтобы растормошить дремлющую птицу, а на рассвете сам хозяин тоже тряхнет — не спи! У бедного одна забота — не потерять равновесия, удержаться, не сорваться с зыбкого аркана.

Охотник иногда дает птице отдохнуть от мучений, чтобы еще больше привязать к себе. Он ласково гладит ее, что-то приговаривая, снимает с головы колпачок, сажает на руку, одетую в кожаную перчатку, и протягивает кусочек вяленого мяса. Орел жадно хватает пищу, разглядывает своего избавителя, прислушивается к его голосу, а охотнику только того и надо... Затем на птицу снова надевают кожаный колпачок и са-

---

* **Кеклик** — каменная куропатка.

жают на раскачивающийся аркан, снова не дают покоя. Это же пытка!

Немного помолчав, Нуры продолжил:

— И когда охотник еще раз приходит как спаситель, снимает с глаз орла темную завесу и кормит с рук, то для него уже нет ничего милее лица и голоса хозяина, его перчатки, с которой и белый свет видит, и покой обретает, и еду получает. С того дня гордый, независимый орел верно служит своему хозяину. На охоте он снова видит высокое небо, но уже с руки хозяина, где восседает на кожаной перчатке, вновь взмывает ввысь, но чтобы устремиться за добычей. Опять-таки для хозяина. Казалось бы, взлетел — и свободен, лети на все четыре стороны. Воля! Но нет — орел, поднявшись в небо за добычей, непременно вернется с ней к хозяину, так как его ждет награда — кусочек вяленого мяса.

— Но ведь орел — неразумное существо, не знает, что он невольник, — с усмешкой перебил Таганов. — Он не сознает, что может освободиться от ярма хозяина. Взять да улететь. Даже с добычей. Так то птица — орел, а ты, Нуры, — че-ло-век!

Курреев помотал головой, поняв, что своим рассказом противоречит самому себе... Вряд ли орел, становясь слугой человека, испытывает чувство унижения, попранного достоинства. А вот Нуры Курреев, всякий раз поступая под начало нового хозяина, переживал, терзался.

— А что мне оставалось делать? Иначе я подох бы голодной смертью! Я догадываюсь, почему ты усмехнулся. Может, смеешься, что сравниваю себя с такой царственной птицей? Но каждый думает о себе хорошо.

— Это право каждого, — примирительно проговорил Таганов. — Знаю одно — ты мог вернуться домой. Страх, как тот кожаный колпачок, заслонил от тебя белый свет. Ты и сейчас еще трусишь, стараясь что-то утаить. Но многое из того, что ты рассказываешь, нам давно известно. Единственное сейчас твое спасение — это откровенное признание. Разве ты не испытываешь потребности обо всем рассказать?

— Бывает такое... временами, — Курреев виновато пожал плечами. — Я постараюсь, Ашир. Можешь задавать любой вопрос.

Таганов включил магнитофон и стал по ходу допроса делать пометки в своих бумагах. Курреев торопился,

словно боялся, что его перебьют, не дадут рассказать обо всем, что вспомнилось сейчас.

...Правду говорят: когда у отары чабанов много, овцы с голоду дохнут. Так было и с эмигрантскими организациями, которые возникали как пузыри в дождь и тут же лопались. В них действовали какие-то темные личности — проходимцы и бандиты, контрабандисты и наркоманы, не брезговавшие ничем: ни убийством и обманом, ни интригами и шантажом. И верховодили ими авантюристы, один похлестче другого, а потому так часто и сменялись. Играя в большую политику, корча из себя народных вождей, больших и малых, они на самом деле занимались шулерством, водили за нос всех ближних — даже своих благодетелей, строили козни, чтобы надуть соперника, оказаться наверху, отхватить кусок пожирнее.

Разведывательным службам Англии и Франции, Германии и Турции, тоже не очень ладившим между собой, изрядно надоела мышиная возня подопечных, и они взялись за создание закордонных координирующих центров, способных объединить все крупные и карликовые эмигрантские организации. Вот когда сгодились и Туркестанский национальный центр — ТНЦ, и «Общество эмигрантов Бухары и Туркестана» («Анджомане мухаджерин Бухара ва Туркестан») — АМБТ, и Российский общевоинский союз — РОВС. И пускай там грызутся между собой туркестанцы — Кейли, Лоуренсу или Мадеру важно организовать работу так, чтобы побольше загребать жар чужими руками.

«Общество эмигрантов Бухары и Туркестана» имело легальный центр в Дели, издавало журнал «Голос эмигранта». В городе Пешаваре на здании филиала этого заведения даже красовалась вывеска с надписью «Комитет счастья Бухары и Туркестана». Подобные филиалы функционировали в Бомбее и Стамбуле, Мекке и Берлине, Дамаске, Париже, Кабуле. Была развернута лихорадочная деятельность по формированию добровольческой мусульманской армии, налажена связь с главарями басмаческих банд.

Особая забота проявлялась о подготовке кадров будущих «спасителей» Бухары и Туркестана. Для этого в Пешаваре, Бомбее и Дели были открыты специальные школы.

— В какую школу тебя направили? — спросил Таганов. — И сколько ты там пробыл?

— Пешаварскую. Там я пробыл три месяца, потом Мадер отозвал. А уйти оттуда было не так просто.

— С каким заданием он тебя послал?

— Школой заправляли англичане. Мадеру хотелось знать об этой школе, иметь там свою агентуру. Из числа учителей и учеников. Я завербовал там пятерых.

— Кто они?

— Туркмен, казах, узбеки...

— Меня их имена интересуют.

— Ты их знаешь. Их посылали взорвать железнодорожный мост через Амударью. Они были арестованы в Мерве и Чарджуе. Один перед самой войной, трое в войну, — и Курреев назвал имена агентов Мадера. — Ну а остальных курсантов — их там пятьдесят с лишним было — взял на заметку. Многих Мадер уже во время войны завербовал, кое-кого забросил на советскую сторону.

— Ты напиши их имена, — Таганов положил перед Каракуртом чистый листок бумаги.

— Хорошо. Я постараюсь вспомнить, — Курреев свернул листок вчетверо и положил в карман. — Это было так давно. Я подумаю в камере. Ты только дай мне карандашик.

— Какие дисциплины изучались в школе? — Таганов протянул Куррееву остро заточенный карандаш и еще пару листов бумаги. — И почему Мадер так быстро тебя отозвал?

— Изучалась общая грамота, ислам, военное дело. После прихода к власти Гитлера Мадер отправил меня в Стамбул, на курсы при военном училище. Потом в Берлине учился целый год. А из Пешавара он меня отозвал, торопился, чтобы после выпуска из школы не послали сразу в Среднюю Азию. А в школе я даже самого начальника курсов завербовал!

— Сколько в Стамбуле пробыл?

— Тоже год. Там я в ресторане подрался с одним турком, ребро ему сломал. Он оказался офицером, сыном какого-то паши. Мадер избил меня и срочно выдворил из Стамбула. Уберег тем самым от самосуда турок, которые днем и ночью ходили за мной по пятам. Ну а в Берлине с учебой у меня не клеилось. Способностей не хватало. Непоседлив я. Сбегать, слетать, достать, провернуть — это по мне. Мадер как-то говорил — дескать, хотел из Курреева сделать деятеля типа Чокаева или Вели Каюма — не получилось.

— А кого Мадер прозвал «мой маленький туркменский Отто Скорцени»?

— Вам и это известно? — Курреев, потупившись, исподлобья стрельнул глазами в Ашира. — Меня... Мадер поручал мне самые щекотливые задания, и я исполнял их чисто, без шума. Одного американского офицера после войны пришил — тоже по приказу Мадера. Конечно, до Отто Скорцени мне далеко. Мадер, как многие немцы, был тщеславен. Сравнивая меня со Скорцени, он возвышал себя. Значит, себя он видел фюрером. А Скорцени был хам и кретин, у которого исправно работали руки и челюсти. Мозгов же было столько, сколько у курицы. Один немец как-то мне говорил: «Отто Скорцени — это гориллоподобный человек с повадками зверя, который спит, жрет, ходит в сортир и — главное — проворно исполняет волю Гитлера».

— Мы чуть забежали вперед, — улыбнулся Таганов. — Рассказывай по порядку. Давай вернемся в тридцатые годы...

И Курреев вернулся в тридцатые годы, в Иран и Афганистан, где «Общество эмигрантов Бухары и Туркестана», возглавляемое реакционным духовенством, запускало щупальца и в мешхедский «Шарк Юлдуз», и в Герат — к сторонникам Джунаид-хана, и в окружение Ишана Халифы, крупного басмаческого предводителя, по своему авторитету в эмигрантских кругах соперничавшего с Джунаид-ханом и бывшим эмиром Бухары Алим-ханом. Пыталось оно повлиять и на Туркестанский национальный центр.

Но не тут-то было. Дело в том, что сторонники АМБТ и ТНЦ поклонялись разным идолам: первые исповедовали панисламизм, вторые — пантюркизм. Лидеры АМБТ спекулировали на религиозных чувствах простых мусульман, пытаясь привить им ненависть к СССР, объединить их на борьбу с Советской властью. При этом они ссылались на аллаха, который, дескать, сам повелел свергнуть большевиков, советский строй. Нечто подобное проповедовали и пантюркисты.

Панисламисты утверждали, будто анатолийские турки, узбеки, туркмены, киргизы, татары, башкиры и другие тюркоязычные народы происходят от одного пранарода — древних тюрков и что все эти национальности, имеющие каждая свою самобытную древнюю историю, якобы являются родственными по крови племенами и происходят от одного прародителя.

Однако панисламизм, укрепляя позиции ханов, баев и мулл, призывал под знамя ислама всех мусульман независимо от их языка и считал, что политический союз мусульман во главе с халифом важнее всех других государственных и политических объединений.

Пантюркисты проповедовали объединение под эгидой Турции не всех мусульман, а только народов, говорящих на тюркских языках, и прежде всего тюрков-мусульман, якобы являющихся одной нацией. Они утверждали, что все тюркоязычные народы принадлежат к одной расе и будто турецкий язык — первоисточник, праязык, от которого произошли все языки мира. Ратуя за создание «Великой Турции», пантюркисты считали, что она должна объединить территории Кавказа, Крыма, Поволжья, Средней Азии, Казахстана — словом, все земли, где жили или живут народы, говорящие на тюркских языках.

Но когда турецкие националисты имели дело в странах с тюркоязычным населением, они стояли за пантюркизм, а когда им приходилось обращаться к народам, говорящим на других языках, например, к арабам, таджикам, афганцам, тогда они пускали в ход идеи панисламизма. Недаром на Востоке говорят: «Остерегайся не барса с тремя пастями, а человека с двумя лицами».

Панисламизм и пантюркизм — разновидности реакционных учений, взятых на вооружение эмигрантскими организациями, суть которых сводилась к тому, чтобы собрать под знаменем ислама все темные силы и объявить войну Советскому Союзу. Хотя эмигрантское отребье, объединенное глухой ненавистью к первому в мире социалистическому государству, и дудело в одну дуду, но «боги» у них были разные и, главное, — кошельки врозь. За АМБТ стояла английская Интеллидженс сервис, за ТНЦ — германская разведывательная служба.

Британская разведка долгое время делала ставку на бывшего бухарского эмира Алим-хана, человека сказочно богатого, имевшего много сторонников, и умело использовала его авторитет и средства в тайной и открытой войне против СССР. Так длилось до тридцать первого года, до разгрома басмаческих отрядов Ибрагим-бека, на которого Алим-хан возлагал большие надежды. Крах басмачества в Средней Азии подорвал его веру в победу над Советской властью. Разуверился эмир

бухарский и в англичанах, которые заметно уступали свои позиции германской разведке. Чем дальше — тем больше. И бывший эмир Бухары стал отходить от политической деятельности, занялся коммерцией, пустив в торговый оборот богатства, награбленные некогда в Туркестане.

Рабы обычно радуются бессилию своего господина. Так и Курреев, вспоминая своих бывших хозяев, смаковал их слабости, пороки или неудачи. Злорадствуя, он как бы мстил им задним числом и несказанно радовался, когда вдруг неожиданно для себя обнаруживал, что те, перед кем сам он некогда трепетал, были не такими уж всесильными, какими казались тогда. Оказывается, они, как и все простые смертные, так же пеклись только о себе, о своих благах. А он, глупец, лез из кожи вон, полагая, что свет сошелся на них клином.

В спокойный, рассудительный тон Курреева вкрались ехидные нотки:

— Самому эмиру коммерцией заняться кишка была тонка. Тут голову ломать надо, соображать да нос по ветру держать... Его делами заправлял один дошлый коммерсант. Дальний родич эмира. Знал я его. Да эмир сам потом опростоволосился. Всюду трезвонил о святом деле ислама, о бескорыстии в борьбе с большевизмом, а сам на кассу АМБТ позарился. На деньги, что оно получило на закупку оружия, на борьбу с Советами. Все думали, эмир — человек бескорыстный... Если ему не верить, то кому еще? А он взял да и пустил в торговый оборот общие деньги. Ловко! Только лидеры АМБТ не оставили в покое своего бывшего кумира. Опозорили на весь белый свет. В международный суд подали на него. Скандал был какой! Судили. Слупили как с миленького... — Курреев довольно потер ладонями, неожиданно спросил: — Правду говорят, что Алим-хан в сорок третьем году обратился к Сталину с просьбой?

— О чем это ты? Скажи яснее. — Таганов загадочно улыбнулся.

— В сорок пятом Алим-хан отдал богу душу. Это я точно знаю... А вот в сорок третьем эмир, видно, готовясь к смерти, говорят, обратился к советским властям с просьбой выделить ему два квадратных метра на священной земле, у мавзолея святого Хезрета Бехауддина, что под Бухарой... Ну, чтобы похоронили его там.

А Сталин, рассказывали, отказал, ответив: «Нечего поганить советскую землю». Правда это, Ашир?

— Наша печать об этом ничего не сообщала, — усмехнулся Таганов. — Могу сказать лишь о другом, что мне известно. Эмир бухарский, я знаю, всю жизнь мечтал иметь меч из метеорита или, как говорят, из «небесного металла». Оружие, изготовленное из него, будто священно и непобедимо. Как-то прослышал эмир, что у Джехангира, одного из Великих Моголов, некогда правивших Индией, хранились в сокровищнице две сабли, кинжал и наконечник копья, сделанные искусными индийскими оружейниками. Ездил эмир в Индию, пытался за баснословную цену приобрести что-нибудь из этого оружия, чтобы потом им своих врагов сокрушать. Да не удалось: то ли не сторговался, то ли англичане еще раньше вывезли эти реликвии. И тогда правитель Бухары решил на страх врагам изготовить меч из «небесного металла» у себя в эмирате. Но ничего у него не вышло, хоть и пришлось казнить лучших своих оружейников, так и не сумевших выковать «священное оружие» из метеоритного железа. Оказывается, в «небесном металле» большая примесь никеля, а он, как известно, горячей ковке не поддавался.

Курреев снова довольно потер ладони, будто радуясь неудачам бывшего эмира, и, чуть помолчав, вернулся к своему прерванному рассказу:

— Так что уход Алим-хана в коммерцию понятен... Обидно ведь стало старому английскому агенту, у которого стаж службы в Интеллидженс сервис был побольше, чем у всех нас. Алим-хан терпеть не мог Ишана Халифу, который заявился в Афганистан в двадцать первом году, после неудачной осады города Керки басмачами и белогвардейцами. Там Ишан Халифа руководил осадой. У Алим-хана были свои причины ненавидеть его. Беглый эмир и в Афганистане продолжал считать себя владыкой Бухары и выше себя в эмигрантских кругах никого не видел. А тут как-то собрались все эмигранты и стали судить-рядить, кого же назначить падишахом после свержения в Туркестане Советской власти. Центром «независимого мусульманского государства» избрали Ташкент. А кого падишахом? Иные думали — Алим-хана. Да и сам эмир так предполагал. Кого же еще?! А тут взяли да и назвали Ишана Халифу. — Курреев залился злорадным смешком и, прокашлявшись, продолжил: — Алим-хан не мог

простить этого Ишану Халифе, отказывался иметь с ним дело, вел себя как капризный ребенок, которого обошли подарком. Он все винил Джунаид-хана, говорил, что туркмены строят против него козни, хотят его с белого света сжить. Конечно, к избранию Ишана Халифы падишахом руку приложил и Джунаид-хан, но секрет тут в другом — германская разведка захотела видеть падишахом этого своего агента. Ну а на Джунаид-хана немцы надавили...

Действительно, Ишан Халифа, чтобы оправдать доверие своих хозяев, ускорить свержение Советской власти в Средней Азии, лично забросил в район Керки несколько басмаческих банд агентов-курьеров, которые почти не занимались разбоем, а доставляли антисоветскую литературу, шифрованные письма, вывозили за кордон ответы на них, ценности, переправляли связников.

Руководители афганского филиала АМБТ, в том числе Джунаид-хан и Эшши-хан, с приходом к власти Гитлера заплясали под дудку германской разведывательной службы, стали платными агентами абвера. И запели они по-иному: дескать, немцы и японцы — великие и непобедимые нации. Только они, и никто другой, способны освободить советских мусульман от заклятых гяуров. А поэтому, мол, надо крепить дружбу и сотрудничество с ними, чтобы одолеть большевизм, либо умереть за веру... на стороне Германии.

Ишан Халифа, уже видя себя в роли падишаха Туркестана, лез из кожи, чтобы объединить усилия филиалов АМБТ, ТНЦ и РОВС. За это же взялись Мустафа Чокаев и Садретдин-хан, главари белой эмиграции, втайне ненавидевшие друг друга, но шагавшие в одной упряжке: просто выжидали удобный момент, чтобы дать подножку «ближнему». Во все филиалы ТНЦ Мустафа Чокаев разослал пятнадцать эмиссаров с заданием развернуть разъяснительную работу среди эмигрантов, организовывать сбор средств, создавать новые ячейки ТНЦ не только в Иране и Афганистане, но и в городах и селах Советского Туркменистана. Эмиссарам вменили в обязанность формировать из эмигрантов вооруженные отряды, которые должны быть готовы к тому, что Япония вот-вот нападет на СССР, и тогда войну между двумя странами надо будет использовать для освобождения Туркестана от большевиков и провозглашения там тюркского национального государства.

Вскоре разговоры о войне между СССР и Японией приутихли, но немецко-фашистская разведывательная служба стала усиленно распространять среди эмигрантов слухи о том, будто Советский Союз задумал захватить Иран.

Ишан Халифа, тоже выполнявший задание гитлеровской разведки, в сентябре 1940 года созвал совещание, на котором обсуждались задачи туркменской эмиграции в связи с предстоящим нападением СССР уже... на Афганистан. «Будущий падишах Туркестана» повторил измышления о том, что Советский Союз готовит вооруженную агрессию против своего южного соседа, а потому, мол, эмигранты должны объединяться в вооруженные отряды, чтобы помочь афганскому правительству отразить вторжение советских войск.

Разведки империалистических государств охотно пользовались и услугами «Российского общевоинского союза» — РОВС, известной белоэмигрантской организации, объединявшей ярых врагов Советской власти. Ее филиалы были разбросаны по многим странам мира. В Западной Европе во главе РОВС стояли белогвардейские генералы Кутепов и Миллер, а его филиалом в Мешхеде заправлял бывший царский полковник Грязнов. Это была далеко не единственная обязанность монархически настроенного офицера, исполнявшего «по совместительству» должность агента Интеллидженс сервис. Действуя вкупе с разведчиками из английского консульства и туркестанскими эмигрантами, он не брезговал ничем — ни уголовными преступлениями, ни политическими или шпионско-разведывательными акциями. Такого типа деятель приглянулся и шефам германского абвера. И Грязнов с приходом к власти фашизма в Германии без сожаления сменил своих прежних хозяев, выторговав себе должность резидента немецкой разведки. Его стараниями германская разведывательная служба распространяла фашистские издания, вербовала агентуру из эмигрантов.

Тесные контакты с РОВС поддерживали и лидеры туркестанской эмиграции. Бывший советник эмира бухарского Хайдар Мирбадалев стремился скоординировать действия РОВС и ТНЦ. Ярый националист и прожженный интриган пытался даже подчинить себе мешхедский филиал РОВС, а самого Грязнова «обратить» в свою веру. А муфтий Садретдин-хан, выступая в качестве «специалиста по религиозным и национальным

вопросам Туркестана», силился помочь РОВС в расширении сферы его антисоветской деятельности на территории республик Средней Азии.

Словом, эмигрантское отребье, хотя и раздираемое внутренними противоречиями, но направляемое одной рукой — международным капиталом, старалось активизироваться, прибегая к общей тактике, используя единые лозунги и призывы, направленные на свержение Советской власти в Средней Азии и Казахстане.

...Теперь Ашир Таганов был доволен Курреевым, который, видимо, понял, что ложь бессмысленна, а потому перестал изворачиваться. Многое из того, что он рассказывал, подтверждалось данными, имевшимися в органах советской контрразведки. Но Ашир все чаще замечал в поведении Нуры какие-то странности: становились тусклыми только что ясные глаза, голос падал и дребезжал. Наркоман! Следователь лишь удивлялся выдержке Курреева: такие не могут ведь долго обходиться без наркотика, заболевают: одних одолевают скепсис и страх, другие делаются легковозбудимыми и раздражительными.

Интуиция и опыт подсказывали Таганову — надо ускорить допрос, побыстрее узнать имена среднеазиатских агентов, переданных Каракурту Вилли Мадером. Однако Ашир твердо знал и другое — нельзя торопить следствие: необходимо прежде детально разузнать о предвоенных годах жизни Курреева, тесно сплетенных с его службой у гитлеровцев, а уж затем и в БНД — федеральной разведке Западной Германии. Тогда в своих показаниях Курреев свяжет себя сам новыми фактами и именами, деталями и датами, что неизбежно будет возвращать его к тем событиям минувшей войны, которые невозможно обойти молчанием. Тут-то он и будет вынужден, вольно или невольно, рассказать без утайки обо всем, значит, и назвать имена, пароли и явки агентов, засланных Мадером в Среднюю Азию.

На очередном допросе Курреев произвел на Таганова еще более тягостное впечатление — глаза блеклые и слезливые, весь вялый и сникший. Каракурт что-то забормотал о своих старых болезнях и неожиданно попросил хотя бы один мысгал терьяка *.

— Лучше перетерпи, может, от дурной привычки и отвыкнешь...

* Мысгал — золотник, мера веса, равная 4,26 грамма; терьяк — опиум.

— Не отвыкну я... Это ж не привычка — болезнь. Весь этот месяц не жил я без терьяка. Ни одного дня...

— Не городи чепуху. Что, терьяк тебе прямо в камеру доставляли?

— Да-а-а... Сюда и соринку не занесешь. Был у меня терьяк... В таком виде, что не сыщешь. Кончился теперь.

Сам Таганов не выкурил в жизни ни одной папиросы, но за время службы ему доводилось иметь дело с наркоманами, хотя ему, следователю, было непонятно болезненное пристрастие иных людей к наркотикам. Но как Курреев сумел пронести в камеру терьяк?

— Я ведь еще там, — Каракурт мотнул головой, — за кордоном задумал остаться на родной земле. Знал, что терьяком здесь не разживешься, а без него я и дня прожить не могу. Перед тем как перейти границу, я имел чуть ли не килограмм... В трубочках. Мне все-таки удалось тайком пронести часть терьяка, хоть и очень трудно было... А теперь вот все съел... или выпил. Главное, сейчас мне нужен терьяк. Я болею, Ашир...

— Хорошо, я подумаю, как тебе помочь. Но терьяк не обещаю. Теперь к делу... Кого ты еще знал из главарей ТНЦ?

— Никого я не знаю... Никого! — вдруг истерично выкрикнул Курреев и тут же сник, обессиленно уронив голову на руки. Плечи его стали мелко вздрагивать. — Не могу больше... Нет сил, — он поднял голову, в глазах его блеснули слезы. — Ну дай мне немного терьяку...

— Я уже сказал, что подумаю, как помочь тебе.

— Вон американцы чего только не дают своим арестованным. Любой наркотик... Лишь бы арестованный язык развязал...

— Мы не американцы.

— Ашир, ты жестокий человек. Ты метишь мне за Айгуль и наслаждаешься моими муками... Если не дашь мне терьяку, то показаний давать не буду...

— Не давать показаний — твое дело. Никто неволить не будет. — Таганов нажал на звонок, и в дверях возникла фигура сержанта-конвоира.

Курреев встал и понуро пошел к выходу. Он еле переставлял ноги, шаркая ими, как дряхлый старик.

Утром следующего дня в кабинете Таганова раздался телефонный звонок. Ашир узнал чуть взволнованный

голос своего заместителя, который доложил, что арестованный Курреев отказался от завтрака, грозит голодовкой и вообще ведет себя вызывающе, требует, чтобы следователь немедленно выслушал его.

Вскоре Курреева ввели к Таганову. Сев на свое место, Курреев достал из кармана носовой платок. Глаза его были мутные, как арычная вода, слезились, вид у него был какой-то помятый, жалкий.

— Видишь, Ашир, я болею. — Курреев вдруг выпрямился, глаза его — с них на миг спала мутная пелена —мелькнули хищным огоньком. Каракурт положил перед Аширом сложенные вчетверо листки бумаги. — Вот, это списки пешаварских курсантов... Я вспомнил и тех, с кем в Стамбуле и в Берлине учился. Я все сделаю, Ашир. Ты только помоги... Вчера ты пообещал дать мне терьяку...

— Такого обещания я не давал. Лечить будем тебя!

— Нет! Ты не лечить меня задумал, а на тот свет отправить. С чего такая сердобольность? Лечить Каракурта — шпиона и предателя?! Я ненавижу тебя, Ашир! Ненавижу за то, что в твоих руках моя судьба. Ненавижу за то, что мы с тобой, два паренька из одного аула, вместе росли, учились, а судьбы оказались разными. Вся моя беда началась не с меня, а с моего отца. Ничтожного, раздавленного человека, который из-за своей трусости не смылся, побоялся уйти вовремя от Джунаид-хана. А твой оказался попроворнее, знал, чья возьмет. Я жил в таких странах, где под справедливостью понимался произвол. Там тебя могут избить, убить, над тобой измывается каждый, у кого мошна потолще. Разве на насильника найдешь управу, если наверху сидят такие же, как он. Знакомо тебе, Ашир, чувство, когда тебя могут втоптать в грязь, а ты не можешь даже пикнуть?

Курреев схватил со стола стакан с водой, выпил его большими, жадными глотками и, вытерев губы рукавом, продолжал — торопливо, будто боясь, что его не выслушают до конца:

— В пору юности окружение Джунаид-хана было моим обществом, а он сам — моим кумиром. Я верил ему больше, чем отцу, а он предал меня, бросил на растерзание кизыл аскерам *, бежал, спасая свою шкуру. А юзбаши, его приближенные? Они дурили друг друга

* Кизыл аскеры — красноармейцы.

и все скопом обманывали своего хозяина. Даже Эшши нагло водил своего отца вокруг пальца. Какой тогда спрос с чужих? С того же ишана Ханоу, который лгал всем, нам и себе. Мустафа Чокаев, когда говорил об освобождении Туркестана и Казахстана от красных, чуть ли не плакал навзрыд — маскарабаз * несчастный! А сам торговал своей родиной, готов был положить весь мир к ногам англичан или немцев... Он приласкал Вели Каюма, приблизил к себе, чтобы опереться на него, а тот взял да и отравил своего благодетеля. И поделом!..

— Когда ты впервые встретился с Вели Каюм-ханом? — неожиданно спросил Таганов.

Курреев помолчал, собираясь с мыслями.

— В 1934 году, в редакции журнала «Яш Туркестан», — ответил он. — Помогал Чокаеву выпускать этот журнал, который распространялся среди туркестанских эмигрантов... Да какой он к черту хан! Каюм-хан да Каюм-хан!.. — взорвался вдруг Каракурт. — Ханом его стали величать после того, как он заделался президентом Туркестанского национального комитета. Сам изволил... Хан! Лестно все-таки... Стал ханом в сорок втором после убийства Мустафы Чокаева. Видать, не без команды свыше. Тут, пожалуй, не обошлось и без Розенберга. Говорят, немцы так и не простили Чокаеву его старую любовь к англичанам. Все подозревали, что он в две руки играет. Да и Вели Каюм, наверное, масла подливал. А так до самой смерти Чокаев был здоров как бык, жрал плов, лакал шнапс. Еще ездил в Италию, шнырял по концлагерям, подбирая желающих вступить в Туркестанский легион. На другой день после возвращения в Берлин его пригласил в гости Вели Каюм. На стол, говорят, подали любимое блюдо Чокаева — плов. А утром его нашли отравленным. Так Вели Каюм стал президентом и ханом. Так все его знали как сына ташкентского торгаша. В двадцать втором он с большой группой юношей поехал учиться в Германию. Хотел стать юристом — не получилось, экзамены завалил. Тогда на сельскохозяйственный факультет подался, окончил с грехом пополам. Многие, кто с ним поехал, вернулись потом на родину, а этот остался, принял германское подданство. Он похлестче самого Чокаева — кроме

* Маскарабаз — шут.

узбеков и немцев, никого не признавал. Чокаев сам был такой — на такого же нарвался... Говорят, ремесло умирает, если ученик не превзойдет своего учителя... А Кейли? Сколько добра скопил на крови и слезах туркменских дайхан, женщин. Я видел у него девичьи косы, отрезанные, с национальными украшениями. А Мадер? С виду такой обходительный, вежливый, аккуратный, голоса на тебя не повысит. Ради своей «Срединной империи» был готов отдать на заклание все человечество, но тихо, без шума. Он недолюбливал Гитлера за то, что тот больше кривлялся, чем делал. Мадер произносил высокопарные слова о Германии, а сам больше думал о себе и всю жизнь переводил личные капиталы в швейцарский банк. А Рут, жена Вели Каюма? Агент гестапо! Всю жизнь блудила с другими, а старость доживает с Вели Каюмом, за которым следила, ловила каждое его слово, даже когда были наедине, чтобы потом донести в гестапо. А моя жена Айгуль? Разве она не гуляла с Мовлямом? Его-то теперь нет, зато ты у нее остался. Думаешь, я поверю, что оставил ее в покое? Где же святость семьи?..

— Ты бред несешь, когда об Айгуль так говоришь, — перебил Таганов. — Если на душе темно, это не значит, что весь мир темный.

Курреев часто и шумно задышал, затем, словно опомнившись, заговорил спокойнее:

— Ты, Ашир, как-то говорил о любви... Кто меня любил?

— Ты сам отнял у себя право на любовь.

— Мы по-разному понимаем счастье. У тебя оно хлипкое, интеллигентское, а у меня волчье, такое, какое должно быть у вольного человека. Счастливый человек — это вольный человек, который всем своим существом осознает свою внутреннюю волю, человек, который не знает условностей, норм поведения. Они лишь отупляют человека, связывают его волю. Счастлив тот, кто отрешен от разума, свободен и может дать полную волю своим чувствам. Святым для него должно быть собственное «я», и только «я»...

— Словом, ничего святого, кроме собственной шкуры.

— А ради чего я должен думать о другом? Переживать за чужого, делиться с ним радостью. Если у меня радость, то она — моя. Я так жил... Я жил в волчьей стае, по ее законам, и сейчас не хочу жить, как ты ве-

лишь. Разговоры о чести, о любви к ближнему — это словоблудие. Люди так далеки друг от друга, что их разделяет все — взгляды, интересы, стремления. Потому что каждый живет в своей скорлупе, сам по себе и для себя.

— Случайно в войну ты не слушал лекций в Сорбонне? — спросил Таганов. — Там читал один прохвост, получивший из рук Гитлера диплом профессора. Звали его не то Гийом, не то Рейно, запамятовал. В своих лекциях проповедовал теорию потенциальной измены. Она очень напоминает мне твой истеричный монолог.

— Ничьих я лекций не слушал, — чуть спокойней произнес Курреев. — Жизнь — вот мой учитель.

— И еще этот новоявленный профессор, — продолжил Таганов, — чтобы потрафить своим фашистским хозяевам, призывал: «Смирись, человек! Ты — червь! Не ропщи на свою судьбу. Смирись перед силой. Унижайся, и этим унижением ты возвысишься в веках...» И прочую ахинею нес, всего не упомню... Ты, Нуры, знал только одну Германию — фашистскую, гитлеровскую. Ведомо ли тебе, что была еще и другая, которая не склонила головы перед Гитлером. Так вот эта Германия даже в мрачную пору фашизма свято чтила Томаса Манна, своего великого сына, человека. Антифашисты тайком читали его книги, ибо нацисты запретили даже произносить имя писателя. В одном из своих писем Томас Манн писал друзьям, что человек стоит перед выбором между ангелом и зверем. Кем он станет, зависит от самого человека, от его морали, духовной жизни, от нравственных исканий, от того, как он стремится к тому, чтобы одолеть свои слабости, пороки и стать настоящим человеком...

Каракурт устало закрыл глаза и сидел молча, пока за ним не пришел конвоир.

...Лечили Курреева опытные врачи Ашхабада. В больнице он посвежел, даже прибавил в весе. Вначале с недоверием относился к медикам, не принимал лекарств, отказывался от уколов, думая, что его собираются умертвить. Но вскоре, убедившись, что ничего дурного ему сделать не хотят, стал выполнять предписания специалистов-наркологов.

Лечение дало свои результаты — Курреева уже больше не мучили приступы наркомании. Теперь, успокоившись, он мысленно возвращался к беседам с Аширом Тагановым и словно со стороны оглядывал свою

жизнь. Приходило сознание того, что совсем не так, как следовало, прожил он свой век, весь из сплошных ошибок. Всю жизнь он был одиноким, а чувство одиночества всегда порождает мучительную вереницу воспоминаний, которые тревожат, теребят, терзают душу. Это чувство не проходило и теперь, но раньше он прятался в себя, словно отшельник, чтобы люди вдруг не разгадали его думы. Сейчас ему захотелось с кем-то поговорить, излить душу.

И он снова подумал о Таганове... Робко, несмело, но именно о нем, о Таганове. Как он не подумал раньше? О аллах, эта проклятая болезнь, как всегда, разбудила в нем зверя, и он, кажется, наговорил Аширу непростительное. Ему, только Аширу Таганову, расскажет Нуры обо всем, что передумал, осмыслил по-новому, вспомнил на больничной койке. Он вдруг почувствовал необычайную легкость на душе, казалось, взмахни руками — и запаришь птицей над горами и пустыней, над родной Туркменией.

И Нуры Курреев мысленно полетел к своему прошлому, вспоминая то, что мучительно рвало ему теперь душу.

ДОРОГОЙ БЕСЧЕСТЬЯ

— Слушайте, люди славного Шехрислама! — вещали глашатаи на площадях многолюдного города, славившегося мастерством оружейников и гончаров, чеканщиков и зодчих. — Слушайте!.. Вероломные каракитаи напали на земли Турана. Они предают огню наши дома, бесчестят наших жен и дочерей, убивают наших братьев... Люди! Вы слышите, как стонет наша многострадальная земля?! В ком жива честь, — к оружию! Лучше гордая смерть, чем позорный плен!

С раннего утра кварталы города жили этой новостью; с холодеющими сердцами люди внимали очевидцам, испытавшим изуверство чужеземцев. Разорение и тлен оставляли они за собой. Воинов диких орд счесть невозможно.

В город стекались беженцы. Вражеские полчища, двигаясь по земле Турана, огнем и мечом прокладывали себе путь, угрожали славному Шехрисламу.

Все горожане от мала до велика вышли за крепостные стены — копать рвы, наполнять их водой; оружейники ковали копья и мечи, кольчуги и шлемы; кузнецы выделывали казаны и чаны, а жены топили в них смолу; гончары готовили на долгую осаду посуду для воды; женщины и дети тесали колья, вили веревки. Весь люд готовился к бою.

Молодой кузнец Язмурад, искусно изготовлявший мечи из дамасской стали, дни и ночи без устали ковал оружие. На исходе древесный уголь, и мастер поспешил к своему другу Ниязу, оружейнику из соседнего квартала, чтобы одолжить у того угля для горна. Друга он дома не застал. Тот тоже, изготавливая оружие, сжег весь уголь и теперь уехал в горы, в арчовые леса, где железных дел мастера валили деревья, заготавливали древесный уголь. «Поеду-ка и я туда», — решил кузнец.

Мигом собрался в дорогу Язмурад. Надел кольчугу, вооружился мечом и луком, взял

инструменты и поскакал к синеющим вдали отрогам Копетдага.

К вечеру кузнец добрался до родника со студеной водой, чистой и прозрачной, как слезы прелестных гурий, что Салсабиль, легендарный райский источник, упоминаемый в Коране, по сравнению с ним покажется жалкой лужей.

Дальняя дорога, бессонные ночи, проведенные за горном, сморили Язмурада. Едва разведя костер, поставив в него железный кувшин с водой, он тут же уснул богатырским сном.

Случилось так, что в ту пору слонялся в горах никчемный человечишко, собиравший дрова. Наткнулся он на безмятежно спавшего кузнеца и ахнул — то ли от неожиданной встречи с человеком в безлюдных местах, то ли от подлых мыслишек, появившихся в его голове.

Было, конечно, чему дивиться: Язмурад, красивый, как прекрасный Юсуф, стройный, как кипарис, лежал на траве. За поясом — кинжал в серебряных ножнах, рукоять с золотой насечкой и затейливыми инкрустациями, рядом два стреноженных иноходца арабских кровей — одно загляденье, на земле — поклажа в шерстяных чувалах.

Молодой кузнец не просыпался, а человечек все стоял над ним как вкопанный. Зависть туманила его разум, шептала ему чудовищное: «Почему он так красив, а я безобразен? Почему он при оружии, а я безоружен? Убить его надо. Красота его мне не пристанет. Зато кони, оружие станут моими... Кто его хватится? Сгинул человек в дороге! Каракитаи Шехрислам вот-вот раздавят. А если он проснется — одним мизинцем меня придушит...»

И трус свершил свое гнусное дело — зарезал спящего человека, ограбил, сбросил труп в ущелье, а сам, переодевшись в его одежду, бежал.

Вскоре вернулся домой Нияз и узнал, что Язмурад поехал за ним следом. Странным показалось оружейнику исчезновение друга.

Разминуться они не могли — дорога в арчовые леса одна: вдоль кяризов — подземных водных галерей и по горным кручам. Смутная тревога заполнила душу Нияза, и он отправился на поиски друга.

В глубоком ущелье Нияз отыскал обезображенный труп Язмурада, привез к себе домой, дал знать матери покойного, а сам занялся розысками убийцы. Нияз, известный в округе следопыт, легко отыскал изувера и, привязав его к конскому хвосту, с веревкой на шее провел по всему Шехрисламу — так поступали с убийцами, ворами и прелюбодеями, а после привязал к могучей чинаре, росшей во дворе.

В доме Нияза свершался по усопшему поминальный ритуал. По тогдашним обычаям поминки справлял самый близкий друг умершего. Люди Шехрислама, собравшиеся на тризну, сочувствовали убитой горем матери, высокой женщине, статной и гордой.

После трапезы и джиназы — заупокойной молитвы мать поднялась с места, обнажила седую голову, поклонилась солнцу, светившему над головой, куполу мечети, сверкавшему золотом, затем отвесила глубокий поклон Ниязу, его жене, всем их родичам.

— Спасибо вам, люди, за честь, — скорбно произнесла она. — Спасибо, что почтили память единственного сына, который был мне дороже собственных глаз. Но не время сейчас тризну править и слезы лить — заклятый враг топчет земли Турана. Народ поднимается на защиту своих очагов. Бедному Язмураду не довелось скрестить свой меч с вероломным иноземцем. Но с выкованным им оружием пойдут в бой сотни джигитов. Это тешит мое материнское сердце... А теперь, люди, не обессудьте меня. Я хотела бы взглянуть на заклятого кровника, поднявшего руку на моего сына.

Люди притихли — сейчас свершится акт возмездия. Нияз взял женщину под руку, повел к чинаре, где был привязан убийца. Мать

медленно, словно слепая — слезы застилали глаза, — приблизилась к дереву.

Вот Нияз вложил ей в руки дамасский клинок, острый как жало. По существовавшему тогда закону кровной мести мать имела право своей рукой покарать убийцу. Лишь два шага отделяли ее от человека, который лишил жизни ее сына. О всевышний! Она ожидала увидеть дива — рогатое чудовище, с хвостом и копытами, обросшее шерстью, с налитыми кровью глазами, или злого Иблиса — сатану и дьявола, а увидела неказистого человечка, бледного, трясущегося от страха.

«Неужто женщины родят таких? — думала она. — Несчастные матери... В лихую годину эти люди не выдерживают испытаний, становятся предателями. В чести они видят бесчестье, в чужой радости — горе, в белом — черное, в красивом — уродливое, в добром — злое. Когда народ горюет, они смеются, когда люди радуются, они исходят злобой. Им неведомы ни отцовство, ни братство, они не испытывают привязанности к отцу и матери, к семье и близким, у них не бывает друзей, ни даже врагов. У кого нет горечи, у того нет и сладости. Они не знают, что такое любовь, счастье, верность родине и долгу... И жить-то им на белом свете — одна мука. Такому быть моим врагом, а значит, и врагом моего сына — большая честь... Враг у ворот Шехрислама, враг сейчас тот, кто посягает на свободу родины, моего народа...»

— Это мой кровник?! — Мать указала острием клинка на убийцу. — Он?!. Нет! Он... не может быть моим врагом. Я дарую ему жизнь. Развяжи его, Нияз! — И она вернула ему клинок, повернулась к людям, ожидавшим зрелища. Ее лицо было спокойным и величавым, как хребты Копетдага.

А убийца, жалкий и ничтожный, распластавшись у комля чинары большим червяком, часто вздрагивал, все еще не оправившись от страха, ибо плохо соображал и не верил в свое спасение, что-то жалобно мычал. По его грязному, сморщенному лицу текли ручейки

слез, оставлявшие бледные полоски; он пытался поцеловать ноги этой великодушной женщины, но, не рассчитав, ткнулся вытянутыми мокрыми губами в землю, в оставленный ею след.

Из рассказов аксакала Сахатмурада-ага,
что живет в долине Мургаба

Древний караван-сарай, видавший еще воинов грозного Тамерлана, засыпал тревожным сном. На его черном дворе укладывались усталые верблюды, всхрапывали полусонные лошади, брыкались стреноженные мулы. Под трухлявым камышовым навесом, у наглухо закрытых дверей кавеханэ — кофейной, на голом саманном полу копошились тени. Люди переговаривались шепотом, с опаской поглядывая на узкие бойницы окон высокого каменного дома, стоявшего напротив. Там жил бойкий, но строгий сарайман —смотритель караван-сарая, из милости пускавший сюда на ночь бездомных и нищих со всей округи.

Правда, о сараймане шла и нелестная молва: без корысти и пальцем не шевельнет. Но какое дело до того сирым и бездомным, которым и приткнуться негде. А на улице заночуешь, жандармы заберут, в зиндан-тюрьму, на съеденье вшам, клопам и блохам упрячут. А тут худо-бедно, какая ни есть, — крыша над головой, а там, смотришь, и работа подвернется.

Свернувшись калачиком у вьюков с шерстью, Нуры Курреев вяло и дремотно думал о сараймане, своем новом благодетеле. Может, напраслину возводят на человека? А он участливо расспросил его, Нуры, внимательно выслушал, повздыхал, прочел заупокойную молитву по отцу, приютил... Когда прибывали купцы с караванами, давал заработать. Платил, признаться, негусто... Да разве на всех напасешься? Таких, как Курреев, вон сколько!

И в самом деле Нуры Курреев был в душе благодарен сарайману, насколько могла быть благодарна его непостоянная натура, подтачиваемая ржой трусости и страха, признателен этому вечно озабоченному человеку, оказавшемуся хивинским туркменом по имени Шырдыкули.

Обитатели караван-сарая, охочие до чужих секретов,

уверяли, что сарайман, смахивающий своим обличьем на европейца, светлокожий, лишь для виду держит караван-сарай. На самом деле он крупный торговец, скрывающий свои доходы, чтобы не платить налогов.

Да, Шырдыкули, он же Платон Новокшонов, агент английской разведки, действительно рядился в чужую одежду. Осужденный советским судом на длительный срок заключения, он с превеликим трудом смог бежать из-под стражи, ускользнуть за кордон и поселиться в горном проходе между Ираном и Туркменией, где на перекрестке многих дорог стоял древний караван-сарай. Всеми своими повадками он напоминал курейшитов, средневековых жителей Мекки, которые не признавали ислам, исповедовали многобожие, одинаково неистово поклоняясь и богу и сатане. Но в отличие от древних арабов, слепо обожествлявших свои фетиши, Шырдыкули, расчетливо поклоняясь «богам», признавал силу и власть лишь одного «демона» — золота.

Ходили слухи, что сарайман снаряжал оружием и конями лихих людей, совершавших набеги на соседние племена и за кордон, откуда они привозили богатую добычу, красивых наложниц. Нуры и сам бы не прочь пограбить всласть, особенно сородичей, оставшихся там, на родине. И какое ему дело до проделок сараймана — пусть хоть людьми торгует! Главное, что Шырдыкули, которого Нуры никогда до этого не знал, сочувственно отнесся к бывшему джунаидовскому телохранителю.

— Мы, туркмены, дети единой веры, верные слуги аллаха. Сам аллах велел помогать друг другу. А чужбина нас роднит и сближает, — рассуждая так, Шырдыкули протягивал Куррееву чашку со вчерашним пловом или кусок зачерствелого чурека.

Только днями Курреев заметил, что глаза его благодетеля, влажные, с блестящими зрачками, посажены слишком близко друг от друга и смотрят недоверчиво. Коченея под стылым взглядом, Курреев передернул плечами, но привередничать не стал и, давясь едва пришедшими на ум словами благодарности, принял деревянную чашку. Ежедневные подношения сараймана Нуры принимал за благодеяние, содрогаясь при мысли, как бы скоро не пришлось за милостыней руку протягивать.

С тех пор как Нуры Курреев бежал из родного аула, оставив там жену и сына, прошло почти два года. Он изъездил всю Туркменскую степь вдоль и поперек, исхо-

дил многие города и села, раскинувшиеся вдоль ирано-советской границы, надеясь отыскать Джунаид-хана, его сыновей Эшши-бая и Эймир-бая — за ними он, Курреев, и кинулся, как пес за хозяином. Но его бывшие повелители словно сгинули. Курреев продал коня, оружие, обносился, истратил все золотишко, отыскавшееся в отцовском ковровом хорджуне — ковровой переметной суме.

Но дни шли, полуголодные, унылые, похожие друг на друга. Казалось, целая вечность отделяла Курреева от того момента, когда его конь ступил на чужую, постылую землю. Чтобы не умереть с голоду, он нанимался и в пастухи, и в батраки. Но стоило ему задуматься, чьи стада выпасал, кому богатства наживал, цепенел от злобы. А когда вспоминал отцовскую отару, перехваченную советскими пограничниками, сердце кровью обливалось. Хотя бы половину той отары сюда, хотя бы самую малость того добра, что запрятал отец в Каракумах, в глухом урочище Пишке... О, тогда Курреев зажил бы, не зная печали, тогда и вовсе не стал бы разыскивать своего бывшего хозяина. Пропади он пропадом!

Овцы, ковры, халаты, дорогие украшения снились Куррееву по ночам. И тогда не хотелось просыпаться, вставать, а тем более идти на работу, чтобы таскать чужие вьюки, поить чужих коней, убирать за ними навоз. За годы, проведенные в басмаческом отряде, он отвык от труда, от земли, омача — деревянной сохи. Дух собственничества, скаредности, легкой наживы так въелся во все поры его тела, что подточил в нем и те здоровые ростки, появившиеся было, когда в родном Конгуре он зажил новой жизнью в коммуне, радуясь своему обновлению — работе на водяной мельнице, утренним зорям в поле...

Разве к лицу воину ислама, басмаческому джигиту в грязи, в навозной куче копаться? И сейчас, будь он чьим-то нукером, имей опору, такого хозяина, как Джунаид-хан, за ним дело не стало бы. Без хозяина в этой чужой стране он был ничто. «Неужто в постылом краю крикливых шиитов нет нужды в отчаянных джигитах?» — зло подумал Курреев и тут же подосадовал на себя.

Давно ли в Мешхеде на многолюдной базарной площади, вблизи гробницы шиитского имама Резы, случайно услышав родную речь, он радостно кинулся к рослому, в каракулевой папахе человеку, которого принял было за земляка. Но тот смерил Курреева презритель-

ным взглядом и неожиданно дал ему такую затрещину, что Нуры не удержался на ногах.

— Презренный раб, говори по-человечески! — Рослый человек смачно сплюнул тягучую слюну, ядовито зеленую от наса — нюхательного табака. — На иранской земле принято говорить по-людски, на фарси.

— Я слышал... Вы сами только что говорили по-туркменски, — робко, чуть заискивающе ответил на фарси Курреев, поднимаясь с земли и отряхивая с халата липкую пыль. Он затравленно оглядывался по сторонам, не видел ли кто его позора: из раскрытых настежь дверей духанов, кавеханэ и шашлычных выглядывали насмешливые, глазастые физиономии усатых персов. Ни одного сочувствующего взгляда.

— Это тебе почудилось, босяк несчастный, — с издевкой ухмыльнулся незнакомец. Он достал из кармана янтарные четки и, перебирая их толстыми, мясистыми пальцами, неторопливо зашагал к соседней лавчонке, откуда доносился щекочущий ноздри запах свежеиспеченного лаваша — тонко раскатанного, как сероватое полотно, пшеничного хлеба.

Но Курреев в тот миг забыл о мучившем его с утра голоде. Надо было немедля догнать обидчика, с ходу нанести точный удар по шейному хрящу, сильным рывком сбить с ног — так учил валить свои жертвы джунаидовский палач Непес Джелат, а после топтать его ногами, смешать в кровавое месиво нос, лицо... Когда человек видит свою кровь, наставлял Непес, он цепенеет от страха, если ему даже и не больно. Но на сей раз Курреев сам закостенел с перепугу. Доведись такое в Каракумах, на родине, подумал Нуры Курреев, разве спустил бы кому? А с этого лупоглазого шиита заживо шкуру содрал бы!..

...Тоска по дому все чаще глодала Курреева. И вдруг неожиданно даже для самого себя он вспомнил о матери, не по годам дряхлой, не пожелавшей разделить с отцом беспокойную басмаческую жизнь. Почему Нуры так редко вспоминал о ней? Может, потому, что она никогда не одобряла поступков мужа и сына. «Сам непутевый, — укоряла она мужа, — и еще сына с пути сбил...» Она, как и многие жены басмачей, больше молчала, но ее молчание было красноречивее всяких слов и горьких попреков. Зато мать как-то легко и быстро сошлась с Айгуль... Как она там? Как сын? Курреев не знал, кого еще родила жена и жива ли она вообще? Там, за кор-

доном, в глухом ущелье, в пылу жаркого боя, когда был смертельно ранен отец, Нуры бросил жену, ходившую на сносях. И сейчас, по прошествии двух лет, даже самому себе не хотел признаться, что струсил он тогда, ценою чести спасая свою жизнь. Какой же он джигит? Ему бы вместо тельпека — барашковой папахи носить бабий платок... Кому такая жизнь нужна? Ломаный грош цена ей в базарный день...

Курреев тут же отгонял эту едва нарождавшуюся здравую мысль... Кого же родила Айгуль, дочь или еще одного сына? От кого ребенок?! От Мовляма? Или от Ашира Таганова?..

Нуры в бессильной ярости закусил нижнюю губу, почувствовал на языке солоноватый вкус крови... Жаль, ох как жаль, что не удалось тогда снести голову и этому красному выродку.. Какой был бы славный подарочек для Джунаид-хана! О, Нуры помнит радостный блеск в глазах басмаческого предводителя, когда преподнес тому хорджун с головой Мовляма, своего двоюродного брата, запродавшегося большевикам. Даже невозмутимый Непес Джелат позавидовал. Носил бы Мовлям голову на плечах, если бы не Айгуль. Все беды от нее. Неужто змею у сердца пригрел?! И все же любит он ее, с черными как смоль волосами, белым, как снег пустыни, телом... Так чего ж ты все-таки хочешь? — спрашивал себя Курреев. К кому так рвешься? К ребенку? К подлой изменщице, которая предпочла тебя другому?

Ревность расплавленным свинцом залила все его нутро, заклокотала в горле... Курреев, закатавшись по земле, не заметил, как у него вырвался крик, злобный, безысходный, будто вой одичавшей в волчьей стае собаки.

Из-под навеса, от кавеханэ, к Нуры метнулась какая-то тень.

— Ты что, малахольный? За ворота хочешь?

Курреев не успел опомниться, как получил сильный пинок в живот, да такой, что свело дыхание. Тень, чертыхаясь, не спеша удалилась обратно под навес. Курреев и не помышлял дать сдачи обидчику — ведь это был атаман здешних босяков.

Еле отдышавшись, Нуры сел, поправил под собой сбившийся халат, драный и серый, как дорожная пыль, и, устроившись поудобнее, вскоре забылся тревожной дремотой. Он услышал, как где-то вдали пропели вто-

рые петухи. Петухи тут поют по-другому, сипло, взахлеб, не то что конгурские забияки, будившие его по утрам звонким, чистым пением. «Нет, нет! — проносилось в затуманенной от сна голове. — Лучше подохнуть на родине нищим...»

Курреев не без умысла пожаловался Шырдыкули, как ему опостылела беспросветная бродячая жизнь и что он серьезно подумывает вернуться домой. Шырдыкули мотнул головой, блеснул глазами, плавающими в желтых белках:

— Ты что, джигит, спятил?! Скольких ты красных аскеров порешил? У самого Джунаид-хана, заклятого их врага, в телохранителях ходил. За такое ни одна власть не простит, а советская тем более. Подожди! Есть тут у меня один знакомый. Очень он интересуется такими вот отчаянными парнями.

Слова Шырдыкули вселили в душу Курреева надежду. Но что-то сарайман после того ни разу не оставался с Нуры наедине, будто вовсе и не было того разговора. Забыл, может?..

Нуры не мог понять, отчего вздрогнул. Кто-то тихонько дергал за рукав — Курреев насторожился, но, увидев над собой в полутьме детскую фигурку, успокоился. Нуры узнал немого мальчишку, попрошайничавшего у кавеханэ. Мальчуган, приложив палец к губам, поманил Нуры за собой в приоткрытые ворота, обычно запираемые на засов и множество запоров.

Шлепая босыми ногами по пухлой, еще не остывшей дорожной пыли, Нуры едва поспевал за немым, ориентировавшимся в темноте не хуже камышового кота. Курреев дважды порывался остановить мальчишку, спросить, куда он его ведет. Но тот упрямо тряс головой, что-то мычал, тыча рукой в сторону гор. Тогда Нуры оставил в покое своего бессловесного поводыря и принялся бормотать одну и ту же молитву: «О аллах, вверяю тебе свою горемычную судьбу!..»

Они долго шли по дороге, вспугивая бездомных собак. Миновав уснувшее горное селение, свернули на каменистую тропу, приведшую к уединенному дому, который окружал высокий дувал, утыканный бутылочными осколками. Немой подвел Курреева к небольшой калитке, прорубленной в массивных, обитых железом воротах, и, ткнув в них пальцем, что-то промычал, затем тут же растаял в темноте.

Калитка скрипнула — Нуры робко, озираясь по сторонам, шагнул во двор. Кто-то схватил его за руку и повел по дорожке к дому, чем-то напоминавшему мрачный мешхедский зиндан, в котором как-то пришлось отсидеть после очередной жандармской облавы. Его ввели в просторную комнату, устеленную цветастыми персидскими коврами, залитую ярким светом «молний» — пузатых керосиновых ламп, развешанных на стенах, по углам. На широкой тахте, покрытой ярким атласом, сидело двое: сарайман и высокий, как жердь, незнакомый мужчина в очках, с европейскими чертами лица. Шырдыкули, что-то пробормотав, многозначительно взглянул на Курреева и вышел. Поблескивая стеклышками очков, европеец весело, словно старый знакомый, улыбнулся Нуры, пригласил сесть на тахту, у которой стоял низенький столик.

— Вам сердечный привет от Джунаид-хана и его сыновей. — Европеец говорил на туркменском языке с легким турецким акцентом.

— А где они? Они живы?!

— Живы, живы! — осклабился европеец, обнажив ровные крупные зубы. — Они ищут вас.

Достав из кармана записку, он протянул ее Нуры. Курреев сразу узнал почерк Эшши-бая и замысловатую печать Джунаид-хана, которую тот обычно ставил на фирманы — указы. «Нуры-джан, верь этому человеку, — прочел Нуры. — Он наш благодетель...» Курреев ухмыльнулся: «С каких это пор я стал Нуры-джан — душа моя?» Но вслух воскликнул:

— Слушаюсь и повинуюсь, мой тагсыр! * Воля Джунаид-хана для меня закон!

— Прекрасно, мой эфенди! ** — Лицо европейца посерьезнело. — На людях можете называть меня Велихан. А сейчас — за дело!

Курреев, приглядевшись, обратил внимание, что европеец — а это был сам Вилли Мадер, эмиссар германской разведки, недавно вернувшийся из Китая, — смахивал одновременно и на туркмена, и на таджика. Такой же чернявый, с темными глазами на продолговатом лошадином лице, облаченный в скромную одежду му-

---

* Тагсыр — повелитель.
** Эфенди — господин.



сульманских паломников, совершающих хадж* в Мекку.

— Вы скоро свидитесь со своими друзьями, — Мадер не сводил с Нуры настороженных глаз. — Но больше всего, мой эфенди, полагайтесь на себя. От вас самого будет зависеть ваша судьба, будет ли у вас работа, кусок хлеба и кров. Златых гор не обещаю — все в воле аллаха. Мой дружеский совет — выбросьте из головы саму мысль о возвращении в Туркмению. Да и Советская власть таким, как вы, не прощает. У вас одна дорога — только с нами. Вы, вероятно, догадываетесь, кто я такой. Я не англичанин, я ваш друг. Я пришел, чтобы спасти от голода, нищеты и смерти. Джунаид-хан, наш общий друг, высоко отзывался о вас.

Мадер кинул косой взгляд на бесшумно отворившуюся дверь, в которой с большим медным подносом в руках появился Шырдыкули.

Нуры злым взглядом вперился в сараймана, с языка едва не сорвалось: «Ну, хивинский плут! Сколько золотых туманов заполучил за мою душу? С чего это ты так? — тут же одернул себя Курреев. — Сейчас разумнее в ножки поклониться... Кому только? Может, этому чужеземцу? Но где они, мерзавцы, раньше были, где? Ждали, когда я с голоду околею?»

Курреев жадными глазами вперился в медный поднос, весь заставленный едой. Широкие ноздри хищно вздулись — в носу защекотало от давно забытого острого запаха баранины, сдобренной специями. Взгляд его упал на разварившиеся аппетитные куски мяса, возвышавшиеся горкой, на тонкий свежеиспеченный лаваш, квадратные ломтики овечьей брынзы, присыпанные мелконарезанным зеленым луком и душистой травой — кинзой, янтарные гроздья винограда, огненные гранаты, хурму.

Такую царскую еду Курреев не видел целую вечность. Разве только в джунаидовской юрте, когда наезжали Кейли, послы эмира бухарского или тайные советники турецкого султана. Не замечая насмешливого взгляда своего благодетеля, не ожидая приглашения, Курреев придвинул к себе поднос и набросился на еду. Раздавалось лишь сопенье и чавканье. Обливаясь потом, Курреев пожирал все, мешая горькое и сладкое, заедал

---

* Хадж — паломничество в Мекку и Медину. Мусульманину, совершившему такое паломничество, присваивается духовный сан «хаджи».

густо наперченное мясо приторно-сладкой хурмой, вовсе не подозревая, каким жалким и ничтожным он выглядел в тот момент со стороны.

Шырдыкули внес большую пиалу с голабом — розоватой водой для споласкивания рук после еды. Курреев тут же выпил ее до дна. Подними он голову, увидел бы скривившиеся в презрительной усмешке губы немца. «О, майн гот!..» Шырдыкули же не удержался — прыснул от смеха.

Наконец Курреев отвалился от столика, смачно отрыгнул, обтер жирные руки о салфетку. Мадер был занят своей трубкой и, казалось, не обращал на Нуры никакого внимания.

— В животе пусто и на душе грустно. — Немец улыбнулся, хотя подумал иное: «Голодный ишак быстрее сытой лошади скачет. Не поторопился ли я с едой?.. А, шайтан с ним!..» — Все прекрасно, мой эфенди. Итак, вас разыскивает Джунаид-хан...

Напрасно тревожился эмиссар германской разведки. Этот молодой обносившийся туркмен со странной, словно данной в насмешку фамилией Курреев — Ишачков, оказался на редкость сговорчивым. Это и радовало и настораживало разведчика. С таким держи ухо востро: шустрый больно. А шустрые непостоянны... А Джунаид-хан, а его сыновья? Разве Мадер мог на них положиться? Они богаты, независимы, могут снова переметнуться к англичанам, если те подороже заплатят и если фортуна снова отвернется от Германии. А этот Ишачков, то бишь Курреев, — голь перекатная, побежит как щенок за тем, кто его приласкает.

Мадер, проверяя собеседника, а заодно и себя, задавал уйму вопросов, испытывал его находчивость, сообразительность.

— Туркмен признает только... силу, — заговорил Курреев. — Когда Джунаид-хану не изменяла удача, его окружала тьма нукеров, у его ног ползали даже ишаны, ахуны, известные во всем Туркестане духовники. А про ханов, баев и простую чернь и говорить нечего. Я знал одного голодранца, Тагана, моего односельчанина. Обласкал его хан, сотником сделал. А он? Ответил черной неблагодарностью, переметнулся потом к красным. Почему? Да потому что прежняя сила у Джунаид-хана убыла... Вот и изменил, собака. А красные его тут же искусили, сделали командиром эскадрона. Да недолго пришлось ему верховодить. Хырслан,

земля ему пухом, подстрелил его, а Аннамет заманил в ловушку и сжег заживо...

— Кто такой Аннамет? — перебил Мадер. — Где он сейчас?

— Он был правой рукой сотника Хырслана, потом сам стал ханской сотней командовать, юзбашом. Сейчас должен быть подле Джунаид-хана. Красивый такой, аж мозги видать!.. Безносый. — В темных зрачках Курреева вспыхнули злые огоньки. — А что худого сделал я, что отняли у меня жену, детей? Их дал мне аллах... Жаль, не успел я сквитаться с Аширом, сыном Тагана... Змееныш, родившийся от собаки! Будь у меня сила, власть, тот же Ашир заглядывал бы мне в глазки! Будь у Джунаид-хана сила, большая армия, комиссарам во веки веков не обратить туркмен в свою веру. Пророк Мухаммед с мечом и Кораном в руках обращал язычников в свою веру. И нам нужен сейчас такой пророк, с жесткой рукой и твердой волей, глухой к людским мольбам. Беспощадный и мудрый. Мягкость, бесхребетность ведет к гибели народа. Джунаид-хан, не дрогнув, застрелил родную дочь, убил брата. Во имя веры, во имя великой цели! Хан любил повторять: «Султан не знает родства».

Мадера так и подмывало перебить Курреева: «Вы правы, мой эфенди. Такой пророк нам нужен всем. Скоро он явится миру! Ему покорятся все народы земли...» Но немец лишь молча кивал головой.

Нуры Курреев, еще вчера сносивший пинки, доедавший объедки с чужого дестерхана-скатерти, уже исходил желчью, злобой. Сидя с Мадером за бутылкой иранского шербета, мнил себя чуть ли не самим Джунаид-ханом, ведь он тоже не дрогнул, когда убивал своего брата. Поступок, достойный султана.

Щуря близорукие глаза, Мадер снял очки, тщательно протер стеклышки платочком и снова водрузил их на крупный, породистый нос. «Вот какие нам парни нужны, — подумал он. — Легион таких фанатиков, и Туркестан у наших ног...» Что ж, он, Мадер, не прогадал, не ошибся в этом молодом злом туркмене.

Сколько ни вглядывался Нуры в глаза своему собеседнику, так и не понял, что тот думал. О людях с такими непроницаемыми лицами хан как-то заметил: «Лучше иметь невозмутимое лицо, чем несметную казну». Однажды хан, распекая своих юзбашей за жадность, сказал: «И чего вы за богатством гонитесь?

О душах своих позаботьтесь!.. Богатство закабаляет человека, лишает его воли». Тоже лицемер! Слушай, что мулла говорит, но не поступай, как он делает, ибо у него слова всегда расходятся с делом. Напротив, богатство раскрепощает человека, делает его свободным, независимым. Бедность — это жизнь на коленях, а в богатстве сила и величие. Уж это-то Каракурт на себе познал.

— О мой эфенди! — Мадер вынул изо рта дымящуюся трубку. Говорил он, как всегда, чуть выспренне. — Да вы никак пригорюнились... Как вершина горы не бывает без дымки, так и голова джигита без думки — так, кажется, говорят туркмены? Надеюсь, вы не думаете плохо о своих друзьях? Подойдите вон к тому столу, я кое-что вам продиктую, — немец кивнул головой на темный секретер, стоявший в углу.

Округлые буквы, старательно выводимые рукой, косо ложились на листок: «Я, Нуры, сын Курре, родом из аула Конгур, по кличке Каракурт, обязуюсь верой и правдой служить разведывательным органам Германии...» Курреев прочел написанное и сам подивился: неужели все это он написал? Ведь последний раз брался за карандаш года три назад, когда помогал личному секретарю Джунаид-хана, которому хотел доказать, что аульная школа, а после и уроки ишана Ханоу неплохо выучили грамоте и его.

Над ухом раздался игривый голос немца.

— Каракурт! — хохотнул он. — Недурно придумано, а? Мы, немцы, любим символику. Это говорит о высокой культуре нации. Говорят, укус каракурта, этого невзрачного на вид паука, сражает наповал даже верблюда. Колоссально! Каракурт, каракурт... Прелестно, мой эфенди! — Мадер потирал длинные костяшки пальцев. — Не довелось мне пока увидеть это экзотичное насекомое. Разве только в музее. Не бывал я в Туркмении, не приводилось...

— А может, махнем, мой тагсыр? — В глазах Курреева мелькнули чертики. — Я покажу вам и каракуртов. Поведу такими тропами, что ни одна собака не сыщет. На Каракумы поглядели бы и этому голодранцу Аширу Таганову кишки заодно выпустили бы...

— А вы, мой эфенди, сорвиголова! — Мадер с восхищением оглядел своего новоиспеченного агента. — Увидеть Туркмению — моя голубая мечта. Надеюсь, мой эфенди, что в один прекрасный день вы пригласите

меня в свой дом. Не украдкой мы с вами туда войдем, а открыто. Разумеется, это будет возможно, когда изгоним оттуда большевиков. И приблизить этот час в наших с вами руках.

В дверях снова бесшумно возник Шырдыкули с ворохом одежды и обуви. Каракурт облачился в темный персидский костюм, обмотал вокруг головы белоснежную чалму, обул мягкие с загнутыми носками ичиги и стал похож на шиитского богомольца.

— Колоссально, мой эфенди! — Мадер оглядывал Курреева со всех сторон. — Говорят, в крови у предгорных туркмен немало персидского. Как же, веками обменивались визитами, набегами, наложницами... Любой перс заглядится на ваш горбатый нос. А теперь выслушайте меня внимательно. — Лицо немца еще больше заострилось. — Вы отправитесь в Мешхед, к реке Кешефруд, что пересекает город, затем по территории мавзолея имама Резы или, как называют его туркмены, Кизыл имама. На втором мосту, за мавзолеем, вверх по реке, каждый четверг после полудня вас будет ждать мой человек. Встретитесь с ним и станете его тенью. Запоминайте всех, с кем он встретится, их имена, приметы. Запоминайте все, о чем они будут говорить. Вас поведут на сборище, где будут люди, которые нас интересуют. Запоминайте их имена, где живут. В Советском Союзе ли, в Иране, Англии, Афганистане, Германии, Турции, хоть в преисподней. Пароль для связи: «Скажите, верно ли, что для получения сана хаджи достаточно побывать у святого Кизыл имама?» Отзыв: «Святая святых мусульман — Кааба в Мекке, но страждущему правоверному и посещение Кизыл имама дает право на такой священный сан». Знайте — всякий, кто придет с таким паролем, мой человек, и вы обязаны ему повиноваться.

Лицо Курреева поскучнело — эмиссар довольно отметил: «Шельмец! И тщеславен. Кажется, я не прогадал...» — и фамильярно похлопал по плечу Нуры:

— Не огорчайтесь, мой эфенди. Это ваше первое задание. Придет время, будете сами людьми повелевать. Но сначала докажите, что и как вы умеете делать. А пока возьмите вот это, — Мадер протянул Нуры два тугих мешочка с иранскими кранами и туманами *.

* Кран — серебряная монета Ирана, находившаяся в обращении до 1932 года; туман — золотая монета, равная десяти кранам.

Долго еще наставлял эмиссар своего нового агента. «Мы, немцы, рационалисты, — говорил он. — Мы экономим на всем. Особенно не следует расточительствовать самым драгоценным — временем, нельзя охотиться только за чем-то одним — материалом ли, человеком ли, сведением ли: так можно себя легко разоблачить. Надо уподобиться пчеле, которая летает повсюду, не пропускает ни одного цветка, собирая медоносный нектар. Так и агент не должен гнушаться любой полезной информации, даже самой мелкой. Проявляй интерес ко всему, но так, чтобы со стороны никто не заметил. В этом мастерство агента!..»

Убедившись, что агент внял всем его советам, Мадер процедил сквозь зубы:

— Как видите, мой эфенди, мы вам доверяем. Теперь надо оправдать это делами! Предупреждаю, не вздумайте сбежать. За вами однажды такое замечалось... У нас руки длинные и беспощадные. Мы отыщем вас даже на дне хазарском. И еще один совет: не пытайтесь ухватиться за две лодки. Мы это разгадаем сразу. Утонете иначе, мой эфенди!..

Спустя недели полторы, по дороге из Астрабада в Мешхед, в толпе богомольных паломников с нищенской сумой на шее шагал Нуры Курреев. Его губы что-то бормотали. Но не молитву, которую должен творить странствующий дервиш, направляющий свои стопы к святой гробнице, а советы и наставления Мадера, известного в кругу коммерсантов под именем Вели-хана Кысмата, турецкого коммивояжера, представителя одной солидной берлино-стамбульской торговой компании.

Отпрыск древнего рода, барон, он гордился тем, что его предки, рыцари-крестоносцы, присягали Тевтонскому ордену, ходили крестовыми походами на Русь. В роду Мадера не было ни по отцовской линии, ни по материнской даже худородных французов и испанцев. Его далекие пращуры, огнем и мечом прокладывавшие путь «воинству Христа», брали себе жен лишь из родовитых кланов. Да, Мадер мог поручиться за чистоту генеалогии. Людям, впервые встречавшимся с ним, он не упускал добавить, что весь его род издревле исповедует католицизм.

Спустя несколько лет Вилли Мадер сочтет за благоразумие не заикаться о своей приверженности к като-

лической вере. Почему? Фюрер был против католицизма, так как ревновал людей к богу, не хотел делить с ним их любовь, считая, что в Германии, а затем и во всем мире должно быть только одно божество — он, Адольф Гитлер. Об этом Мадер знал давно. Но пока Гитлер, ходивший под своей фамилией — Шикльгрубер, выкрикивал бредовые лозунги в мюнхенском пивном погребке Мюнхенбрауэнкеллер, барон не обращал внимания на истеричные речи какого-то там безвестного ефрейтора. Когда же Германию стала захлестывать ядовитая волна фашизма, то в ее мутной пене Мадер разглядел неряшливую, засаленную челку фюрера. И барон сказал в кругу военных на дипломатической службе: «Немцам нужен такой пророк. Каждый народ достоин иметь своего вождя. Само небо послало его Германии...»

Изрекая это, обер-лейтенант Мадер был не очень-то искренен: им руководил голый расчет, надежда, что сказанное им дойдет до Гитлера и его заметят. Но видно, Гитлеру доносили только крамольное. А ведь Мадер, ходивший в любимчиках Вальтера Николаи, шефа разведывательной службы рейхсвера, привык быть всегда на виду. Какой теперь прок из того, что Николаи некогда прочил Мадеру блестящую карьеру разведчика, — имя этого грозного шефа разведки теперь называли не иначе, как с приставкой «бывший». Того же, кто составил Мадеру протекцию, уже давно не было в живых. Близкий родич Вилли Мадера — белогвардейский генерал, барон Роман Унгерн фон Штернберг, один из злейших ненавистников Советской власти в Забайкалье, почил в бозе.

О родственнике своем Мадер мог говорить лишь высокими словами. Это его идеал, кумир, которому он подражал, по стопам которого следовал. Барон Унгерн, заглядывая в будущее Германии, лелеял голубую мечту о создании Срединной Азиатской империи. Авантюрист до мозга костей, он верил, что сильная личность сможет своей властной рукой объединить территории Китая, Маньчжурии, Монголии, Тибета и Туркестана.

Вилли Мадер бредил идеями своего родича, но ему казалось, что границы будущей «империи» тесноваты и их надобно расширить. А что, если взять на вооружение девиз старого феодального права — где прошел мой конь, там моя земля?

В родовом имении Аренсдорф, что под Берлином, в

семейном архиве барона хранился как дорогая реликвия черновик письма Унгерна одному влиятельному китайскому генералу: «Смысл своей жизни вижу в цели «Азия для азиатов», в неустанной организаторской работе по образованию Срединного Монгольского царства... Сейчас пока возможно только начать восстановление такой империи и возрождение народов, населяющих территории от Тихого и Индийского океанов до Каспийского моря, то бишь Хазарского... Спасение Китая от революционной смерти вижу в восстановлении династии Цинов, которая способна задушить и мировую революцию, тлетворный дух которой зародился в Европе. Вашему превосходительству необходимо действовать из Пекина в направлении на Тибет, Китайский Туркестан. Пора покончить с английским влиянием в Индии. В этом плане я уже начал сноситься с киргизами, туркестанцами, с их влиятельными деятелями, послал им подарки, серебряное оружие, дорогие халаты...»

Вилли Мадер своей рукой жирно подчеркнул синим карандашом слова «киргизами, туркестанцами, с их влиятельными деятелями». Кто они, как их зовут? О, Мадер дорого бы дал, чтобы узнать их имена... Барон Роман Унгерн, бесславно закончивший свою жизнь в гражданскую войну, видно, с целью конспирации не назвал тех, с чьей помощью надеялся «восстановить» «Срединную Азиатскую империю».

Молодой барон, шагавший в ногу с жизнью, не мог не модернизировать теорию Унгерна. Вилли Мадер предрекал гибель старому Западу, «породившему учение коммунизма», предсказывал крушение всех европейских стран, в том числе Советской России. Все они, утверждал новоявленный пророк, лишь за исключением Германии, будут повержены в прах, а на их руинах вырастет новое немецкое государство. Великая, Вечная Германия! И под кронами этого гигантского платана суждено родиться цветнику — Срединной Азиатской империи. Известно, однако, что в тени деревьев цветы не растут, они хиреют и погибают, становясь удобрением для сильных и больших растений.

Потому Мадер, веря в свое высокое предназначение, с радужными планами отправился в далекий Китай, избранный им самим по доброй воле. Но жизнь опрокинула все его прожекты, которым не суждено было сбыться, как не суждено было сбыться и планам его родича.

Года два назад разведчика отозвали в Берлин и на-

правили оттуда в Иран: то ли шефы разведки рейхсвера сочли, что успехи китайской революции весьма ощутимы и сводят на нет все потуги германского империализма подчинить себе экономику этой далекой страны, то ли стало явным, как одряхлел британский лев и Туркестан уже становится ему не по зубам, что пришла пора сменить его германским орлом.

Германия, потерпевшая поражение в первой мировой войне, заметно оправилась, восстановила свой военно-промышленный потенциал. Немецкие толстосумы, реваншисты, которым снова не давала покоя мечта о «жизненном пространстве», рьяно стали вмешиваться в мировую политику, уверовав, что пришло время встать на равную ногу со своими вчерашними победителями и даже сменить их в колониях и метрополиях. Для этого требовалось прибрать к рукам их агентуру во всем мире, и прежде всего в Советском Союзе. Немцы не могли простить англичанам, что те в четырнадцатом году одним ударом ликвидировали у себя германскую разведывательную сеть, и теперь взялись за ее восстановление, чтобы завладеть военными секретами коварного Альбиона, вернуть себе, где только можно, лавры непревзойденной разведки. Мадер тоже был одержим этой идеей...

Перед Вилли Мадером, прибывшим в Иран с особыми полномочиями, были поставлены далеко идущие цели: создать в Средней Азии широко разветвленную разведывательную службу; сколотить из германских военнопленных, не выехавших на родину, а также из местных буржуазных националистов, бывших баев, кулаков и мулл подпольные организации, которые после вторжения интервенционистских войск должны поднять в тылу Красной Армии вооруженный мятеж. Ему также вменялось в обязанность активизировать басмаческое движение и, используя противоречия среди его вожаков, выявить английскую агентуру и перевербовать ее.

Германский эмиссар, рьяно взявшийся за дело, не терял надежды, что все же удастся выйти на туркестанцев, с которыми некогда был связан его родич Унгерн. И ему уже кое-что удалось. Правда, пока что он не разыскал тех, кого хотелось бы, но зато сравнительно легко завербовал Джунаид-хана, его сыновей, их приближенных, а также отдельных нукеров, прежде служивших англичанам. Кое-кто даже согласился на роль агента-двойника... Взять того же Черкеза Аманлиева и его красотку Джемал.

О, Мадер гордился ими... Это его находка! Сколько он ухлопал времени и денег, чтобы приручить эту дикарку Джемал, дочь краскома Таганова. Не по своей воле стала она женой джунаидовского юзбаши-сотника Хырслана, который похитил ее и увез с собой в Иран.

Джемал, пытавшаяся вернуться на родину, в Туркмению, попала в руки иранских пограничников, но Мадеру удалось подкупить кое-кого, заполучить Джемал. А заодно и юного Черкеза, сына Аманли Белета, тоже краскома, предательски убитого басмачами.

Молодые люди любили друг друга, и это оказалось на руку немецкому эмиссару, который вывез их в Германию, чтобы сделать из них первоклассных шпионов. Он устроил их в разведывательную школу рейхсвера под Берлином, где они покорили учителей незаурядными способностями...

Придет время, надеялся Мадер, и имена его учеников, Джемал и Черкеза, заблистают яркими звездами на небосклоне германской разведки.

Немало разузнал Мадер и у Курреева. До отъезда Нуры в Мешхед эмиссар еще не раз долго беседовал с ним, выведывая имена родственников, знакомых, бывших джунаидовских приближенных, юзбашей, нукеров, оставшихся в Туркмении, торговцев, приезжавших в басмаческий стан с товарами, с оружием. Словом, всех, с кем Куррееву вольно или невольно доводилось встречаться в Каракумах или в Иране. Тайники памяти, как и пути господни, неисповедимы: смотришь — вспомнит кого, на след выведет. Ведь барон Унгерн писал людям, а не призракам.

Эмиссар не случайно снарядил Курреева в Мешхед, где уже действовало немало эмигрантских организаций, в которых ошивались все, кто выдавал себя за врагов Советов. Мадеру они и в самом деле были нужны, но не всякая там шушера и проходимцы, ищущие легкого заработка. Пусть Каракурт исполнит эту грязную работу, определит, с кем стоит работать...

Все это предписывалось совершенно секретной инструкцией германской разведывательной службы. По той же инструкции в Тегеране и Мешхеде на конспиративных квартирах Мадер вмуровал в стены массивные сейфы особой конструкции, изготовленные немецкими мастерами. В них хранились так называемые черные книги — обширная картотека, в которую эмиссар уже начал вносить имена жителей Ирана, Афганистана,

Средней Азии — резерв будущих шпионов. На каждого завел особую карточку, где указывал его имущественное и семейное положение, черты характера, слабости, наклонности, тайные пороки. Эти сведения еще пригодятся Мадеру или его преемнику при вербовке: ведь надо знать, кого можно взять испугом, кого обманом или подкупом. Так германская разведка действовала повсюду, пытаясь насадить массовую шпионскую сеть в приграничных районах своих будущих противников.

...Еще издали коренастая фигура человека, неторопливо прошедшего по мосту, показалась Куррееву знакомой. Забыв наставления немца, Нуры сломя голову бросился вдогонку, но коренастый, перейдя реку, смешался с толпой паломников, направлявшихся к мавзолею имама Резы. Нуры повернул уже обратно и тут чуть не столкнулся лоб об лоб с высоким жандармом, подозрительно оглядывавшим его. Все произошло так неожиданно, что Курреев даже не успел испугаться. Но когда отошел от жандарма на почтительное расстояние, почувствовал, как спина под халатом покрылась испариной. Нуры хотел было прибавить шагу, лишь бы уйти с того проклятого места, показавшегося ему ловушкой, но ноги предательски запеленало страхом. Он осмотрелся по сторонам, ища в толпе жандармскую форму, но не отыскал ее и испугался пуще прежнего: может, затаился где-то и наблюдает издали?

Вдруг кто-то окликнул его негромко — до чего знакомый голос! Оглянулся, увидел ту самую коренастую фигуру, потерянную им в толпе.

— О аллах! Эшши-джан! Тагсыр мой! — радостно воздел руки Курреев. — Как я рад тебе, мой повелитель!

— Тише, ты! — зашипел Эшши-бай. — Не называй меня по имени! После объясню... Это знакомый жандарм из Горгана. Ну, я и деру. У меня с ним свои счеты. Откуда его джинны принесли? После Туркменской степи, где наши джигиты пошерстили этих пучеглазых шиитов, не хочется влазить в свару. Да и отец по головке не погладит. Давай отойдем!

Они свернули на тихую улочку, и Курреев взахлеб то ли от радости, то ли от волнения начал расспрашивать о Джунаид-хане, о его драгоценном здоровье, об Эймире и, конечно, о самом Эшши. Ханский сын отвечал односложно, так и не сказав, где же находится Джунаид-хан. Но Нуры понял одно — бывший хивинский владыка из Ирана бежал.

Курреев вдруг сообразил, что Эшши ему не доверяет, оскорбившись, замолчал. Тот насмешливо оглядел бывшего ханского телохранителя:

— Может, все-таки пароль скажешь?..

— Какой пароль? — Курреев округлил от удивления глаза.

— Скажи пароль! Ты что, будто тебя дубинкой по голове огрели?

— Вах-эй! — Курреев хлопнул себя по лбу, рассмеялся. — Ну, я от Вели-хана Кысмата. Значит, я шел на встречу с тобой?..

— Ты все же пароль вспомни, — жестко проговорил Эшши-бай.

Курреев произнес пароль.

— Теперь дело другое. — Эшши-бай снисходительно похлопал Курреева по плечу. — Теперь слушай и повинуйся...

Эшши-бая и Нуры носило по всем концам Мешхеда, они метались по гостиницам, караван-сараям, ночлежным домам, где остановились туркестанские эмигранты, собравшиеся отовсюду — из Дели и Стамбула, Парижа и Бомбея, Герата и Горгана, Берлина и Пешавара. Эмигранты приехали целыми делегациями из двух-трех человек и теперь беспокоились, разрешат ли им всем принять участие в этом совещании. Все волновались, и каждый считал, что его присутствие и особенно выступление очень важно, от этого будто зависит будущее всего Туркестана. Но никто им внятного ответа не давал, и такая неопределенность развязывала языки, вызывала на откровенность, что, естественно, облегчало задачу мадеровских агентов, со своей стороны способствовавших тому, чтобы вызвать нервозность, кривотолки среди делегатов. В мутной воде рыбку ловить сподручнее.

Эмигрантские верхи решили все же созвать совещание в узком кругу. На то было много причин, но главные из них — это отсутствие единства среди вожаков и настороженное отношение к ним шахского правительства, видевшего в них агентов иностранных разведок.

Эшши-баю и Каракурту удалось попасть на совещание, завести широкий круг знакомств, словом, исполнить многое, чему наставлял их Мадер.

Путям-дорогам Эшши-бая и Нуры предстояло потом разойтись. Ханский сын все-таки сказал, что Джунаид-хан поселился в Афганистане, вблизи Герата, в селении Кафтар-хана. Нуры, конечно, был рад встрече с

сыном своего старого хозяина. Надеялся, что тот снова призовет его к себе. В окружении Джунаид-хана все знакомо — и люди, и нравы, и обычаи; там Курреев знал, как себя вести, как угодить старому хану и его сыновьям. И теперь, прощаясь с Эшши-баем, Курреев был в полном смятении, не представлял, как же дальше сложится его жизнь, не свернет ли он себе шею за первым же поворотом... Правда, теперь у него появился новый хозяин, который посильнее, пощедрее, чем Джунаид-хан, и, судя по всему, нуждающийся в услугах Нуры. Но только аллах ведает, надолго ли он понадобится Мадеру, сумеет ли Курреев удержаться возле него.

Как ни говори, гяур он и есть гяур, каким бы добряком ни казался. С Джунаид-ханом же многое связано; хоть он жесток и беспощаден, Нуры знал его повадки, капризы и слабости, чуял, когда надо промолчать, когда польстить, чтобы обуздать непомерно дикий гнев хана... Все же Джунаид-хан свой: мусульманин, одной с ним веры человек. А нож, как ни остр, своих ножен не порежет...

Так наивно думал Нуры Курреев о своем бывшем хозяине, не подозревая, что тот давно запродал его германскому эмиссару, как некогда сбывал своих нукеров эмиссарам английской разведки.

Эшши-бай уехал в Афганистан, а в Мешхеде объявился Мадер. Он разыскал своего агента в одном из караван-сараев. Каракурт не очень-то обрадовался встрече с новым хозяином, все еще живя под впечатлением расставания с ханским сыном, с которым так хотелось податься в Герат. Мадер же почему-то не обратил особого внимания на возбужденное состояние Каракурта, наоборот, остался доволен его словоохотливостью и хорошей памятью: новые имена, любопытные детали украсят картотеку, хранящуюся в стальных сейфах германского эмиссара.

Если бы Мадер чуть больше знал Курреева, то наверняка заметил бы какой-то маслянистый блеск в его глазах. Он подумал, что Каракурт, удовлетворенный своей работой, предвкушает радость получения гонорара за выполнение задания. Немец не знал, что еще Джунаид-хан, чтобы удержать Нуры в басмаческих рядах, приучал его к терьяку. Каракурт перед самым приездом эмиссара с наслаждением, почти до одури накурился опиума и потому пребывал в самом радужном состоянии.

ТЕНИ «ЖЕЛТОГО ДОМИНИОНА»

Успехи строительства социализма в республиках Средней Азии, всенародная поддержка всех добрых дел и начинаний Советской власти вызывали звериную злобу у наших классовых врагов.

Международный империализм и его наемники стремились помешать этому победному шествию, лезли из кожи вон, чтобы повернуть колесо истории вспять. На границах советских Среднеазиатских республик при активном содействии империалистических разведок сколачивались новые басмаческие отряды, подвозилось оружие, перегруппировывались силы...

В марте 1929 года эмиссары английской разведки, бывший эмир бухарский, лидеры узбекской и таджикской эмиграций, басмаческие предводители созвали секретное совещание, где наметили конкретный план вторжения на территорию Таджикистана. Возглавлять объединенные басмаческие силы было поручено Ибрагим-беку.

Вскоре представители английской разведки провели аналогичное совещание с басмаческими лидерами туркменской эмиграции.

Стан Ибрагим-бека часто навещали агенты английских специальных служб. Они инструктировали басмаческие отряды, привозили деньги, оружие, боеприпасы...

Историческая справка

Взмыленный конь с едва державшимся в седле седоком на полном скаку влетел в просторный двор, занимавший почти весь городской квартал. С недавних пор Джунаид-хан со своей челядью жил попеременно то в селении Кафтар-хана, то в самом Герате. Гонец был необычным: его величество афганский король Надир-шах прислал Джунаид-хану любезное письмо, где называл того единоверным братом и другом, милостиво приглашал приехать в Кабул.

Королевское приглашение Джунаид-хан принял без особой радости. В душе он вообще презирал всех афган-

ских правителей, у которых семь пятниц на неделе: то они милуются с Россией и Англией, то заигрывают с Германией и Турцией. Но что поделаешь, придется ехать. Не афганский король поселился на земле хивинского хана, а Джунаид-хану со своим семейством, родичами пришлось искать прибежище в чужом краю. Не поедешь, так, чего доброго, Надир-шах выдаст всех большевикам да еще куш за их головы отхватит... Екнуло сердце Джунаид-хана, но вспомнил о Кейли, о Мадере и чуточку успокоился — благо есть защитники... И все же Джунаид-хана охватывала гордость: никак сам король приглашает... Надо ехать! Интересно, что там стряслось?

На ранней зорьке по безлюдным гератским улицам мимо полуразвалившейся крепости — останков городища Искандера Двурогого пронеслась кавалькада во главе с Джунаид-ханом. Их было двенадцать — ханские сыновья Эшши-бай и Эймир-бай, палач Непес Джелат, безносый Аннамет, ставший в последнее время правой рукой хана, чем вызвал у Непеса черную зависть и глухую ненависть. Остальные — верные хану нукеры, молодые воины. Еще до восхода солнца они выбрались на каменистую дорогу и через семь дней доскакали до Кандагара, второго по величине афганского города. Чтобы не привлекать внимания людей, хан решил не останавливаться здесь, лишь позволил сопровождающим, не сходя с коней, задержаться у величественного мавзолея Ахмед-шаха. Джунаид-хан невольно залюбовался изящными, как арабские клинки, минаретами, окружавшими позолоченный яйцевидный купол.

На тринадцатые сутки усталые и запыленные всадники добрались наконец до небольшого селения, откуда до афганской столицы рукой подать. Здесь Джунаид-хан неожиданно приказал расседлать коней и привести себя в порядок. Не подобает хивинскому владыке выглядеть утомленным, жалким. Что подумает о нем Надир-шах? А другие? Еще в пути от верных людей прознал, что предстоит встреча и с бухарским эмиром Сейид Алим-ханом, и с курбаши Ибрагим-беком, возможно, и с Кейли. Что им понадобилось от хивинского хана? Если послушать мешхедских сумасбродов с их вдохновителями из Парижа, то против большевиков надо было выступить еще этой весной. Безумцы! Но чем дольше, тем глубже пускает дерево корни, так и большевики. А уже идет тысяча девятьсот тридцатый год...

Вечером, когда все уснули, Джунаид-хан долго ле-

жал в темноте с открытыми глазами, перебирая в памяти все, что пришлось увидеть и услышать в пути.

Неспокойно нынче в Афганистане. Какой тут покой, когда два коня залягались — англичане и немцы. Правду говорят, два дервиша на одной подстилке улягутся, два шаха и на всей земле не уместятся. Да и в народе смута, голытьба глаз не отрывает от Советского Туркестана, где большевики раздали байские земли, и в родном селе Бедиркенте его, ханские, угодья отвели под колхоз. И в самой королевской семье разлад, вот-вот, гляди, старший сын Надир-шаха свергнет отца и воцарится на престоле. Обошлось бы без отцеубийства. Дурной пример, как черную оспу, ветром разносит... Вообще-то не мешало бы самую малость проучить короля, чтобы смилостивился к туркменам, живущим на афганской земле. Не то им и дыхнуть нельзя, налогами давят — смотри, скоро всех туркмен афганцами запишут, на родном языке не всюду заговоришь...

Джунаид-хан перевернулся на другой бок, пытаясь уснуть. Завтра трудный день: впереди — Кабул, встречи, обеды, беседы... Хорошо бы без выкрутас, а то каждый куражится — устал хан от таких игр. Живо представил перед собой Сейид Алим-хана: поди, все такой же круглый да гладкий, как откормленный кот, наверное, как и прежде, не расстается с царскими эполетами генерал-адъютанта — о, страсть как любил ими щеголять! Всю жизнь пытался удержать в одной руке два арбуза: то подлизывался к падишаху, то становился на задние лапки перед англичанами. Недаром на него обижался Ибрагим-бек. Вот это джигит! Высокий, плечистый, с короткой сарбазской бородой. Взглянет — будто кинжалом пронзит, но упрям как осел. Погубит его характер.

Джунаид-хан встрепенулся — за окном мелькнула тень. Кто это? Уж не подослал ли Кейли убийц? За что? Может, пронюхал о Мадере? Откуда? Немцы народ деловой, солидный, без них даже шахиншахская династия теперь и шагу сделать не смеет, англичанам они давно пятки отдавили, даже в иранском правительстве своих людей расставили, до афганцев добрались, глядишь — и ставленников Кейли вытеснят.

Снаружи что-то завозилось — рука Джунаид-хана невольно потянулась под подушку, к прохладной рукояти маузера. Да это же стража, нукеры, их еще с вечера расставил Эшши! Хан подосадовал на себя: стареешь и труса праздновать стал...

Но сон, проклятый, не шел, в голову продолжали лезть какие-то путаные мысли... Кто приедет — Лоуренс или Кейли? Когда в Афганистане вспыхнул мятеж этого самозванца Бачаи Сакао, провозгласившего себя афганским эмиром, то Лоуренс отирался здесь. И года не прошло. Джунаид-хану вовсе не было жаль сверженного с трона и бежавшего в Италию Амануллу-хана. Поделом собаке! В двадцать первом с Советской Россией дружественный договор заключил, к Ленину послов своих снарядил... Показалось мало, и в двадцать шестом с Советами еще один договор подписал — о нейтралитете и взаимном ненападении. Это тогда, когда он, хивинский владыка, загнанным зверем метался по Каракумам, бился как шип, выброшенный на амударьинский лед. Выскочка Бачаи Сакао продержался недолго, как пришел, так и ушел. Его сменил Надир-шах — не обошлось без англичан.

Завтра, если будет угодно аллаху, Джунаид-хан увидится с Надир-шахом, новым королем Афганистана. Встретится и с англичанами. Но какой Кейли, к шайтану, англичанин? Большеротый, волосатый, как обезьяна... Полковник британской армии, он был родом из Львова, сыном владельца ювелирного магазина, крупного коммерсанта. Перед первой мировой войной Кейли — его тогда звали Изей Фишманом — по воле отца поехал в Лондон, но война, то ли еще что-то помешало ему вернуться на родину. Там он женился на богатой англичанке, принял британское подданство и взял фамилию тестя, матерого разведчика Интеллидженс сервис, друга военного министра Уинстона Черчилля.

Настоящий Кейли разглядел в своем зяте незаурядные задатки шпиона — хитер, изворотлив, владеет языками, много поездил по России, бывал в Туркестане, знает обычаи, нравы тамошних народов. Это была находка. И вот уже новоявленный Кейли, покидая берега туманного Альбиона, устремляется к берегам желтых миражей, чтобы помочь своему коллеге Томасу Эдуарду Лоуренсу, носившемуся с идеей создания на арабских землях «первого цветного доминиона» в составе Британской империи. Но Кейли мыслил крупнее и масштабнее своего шефа: надо пристегнуть к «цветному» еще и «желтый доминион», куда вошли бы территории Афганистана, Ирана, Турции, Хивы, Бухары, Туркестана. Пусть мусульмане называют эти земли как угодно — Ираном или Тураном, но они обязательно должны быть под про-

тekторатом Англии. Эту идею поддержал сам Черчилль.

В ту ночь Джунаид-хан уснул со вторыми петухами. До самого пробуждения ему снилось, что он, скинув калоши, в одних мягких желтых ичигах без тельпека — мохнатой барашковой папахи катался по бесконечному заледенелому полю. Да так быстро, что устал, хотелось остановиться — и не мог. Его, одинокого, все носило и носило по ледяному безмолвию так, что охватывала жуть: немудрено окоченеть, свалиться — никто даже не отыщет твой хладный труп. Упасть бы на бок, на пушистый снежок, чтобы не разбиться... Но он не совладал с погрузневшим телом, шлепнулся в какую-то жижу лицом вниз. Рыжая с густой проседью борода стала серовато-черной. «Смотри, хан, по скользкому льду ходишь... Опасно, если он еще и тонок...» — ехидно зудил Кейли. Но почему вдруг в грязи барахтался не он, Джунаид-хан, а его сын Эшши? Он проснулся в холодном поту, губы невольно зашептали: «Прибегаю к аллаху от сатаны, побиваемого камнями...»

По изумрудной долине, окруженной заснеженными вершинами гор, маленький отряд въехал утром следующего дня на полусонные улочки Пагмана — резиденции афганского короля. Осень еще не коснулась этого живописного уголка, утопавшего в зелени садов, хотя ледниковые глыбы Гиндукуша, будто сползшие к самому подножию гор, дышали уже зимним холодом.

Джунаид-хан зябко передернул плечами — то ли от утренней прохлады, то ли от неизвестности, ожидавшей его по ту сторону железных ворот дворца, у которых застыла почетная королевская стража, выстроенная по случаю приезда бывшего хивинского владыки.

Агенты хана донесли правду: в королевской резиденции, расположившейся в полуестественном парке с зеркальными прудами и звонкими родниками, собрались Надир-шах, бухарский эмир Сейид Алим-хан, курбаши Ибрагим-бек и Кейли. Все было пышно, торжественно. Под кронами кряжистых ильмов — ярко-зеленые атласные шатры с белыми султанами. В воздухе, напоенном ароматом цветов и фруктов, летали пчелы, суматошно носившиеся между столами, уставленными серебряной и золотой посудой с пряностями и сластями.

Молчаливые слуги бесшумно разносили чай, соки, засахаренные фрукты. На больших столах высились поджаренные на вертеле барашки, запеченные в тамдыре

горные куропатки, заправленные шафраном, в глубоких глазурованных мисках — аппетитные горки плова, словно облитые расплавленным янтарем.

Надир-хан занимал гостей, рассказывал о прошлом Кандагара, Кабула — излюбленного места отдыха Бабура, основателя династии Великих Моголов, делал экскурсы в историю завоевания Азии арабами, вспоминал о нашествии татаро-монгол, указывал на роль ислама в истории Афганистана... Заметив, как Кейли нетерпеливо забарабанил пальцами по плетеным подлокотникам венского кресла, а Джунаид-хан заклевал носом, тщетно пытаясь перебороть навалившуюся дремоту, король сделал едва заметный знак высокому офицеру — начальнику своей охраны. Тот сказал что-то полному усатому афганцу в штатской одежде, и вскоре гости остались наедине. Надир-шах поднялся с кресла и, вздув ноздри крупного хищного носа, обворожительно улыбнулся:

— Я осмелюсь пригласить высоких гостей в наш хрустальный шатер. — Надир-шах склонил голову в полупоклоне, вытянул руку по направлению к стеклянной галерее, высившейся в конце широкой аллеи. Идея провести секретную часть переговоров в хрустальном шатре принадлежала Кейли: расположение помещений галереи исключало всякую возможность проникновения туда посторонних. — Там, если будет угодно аллаху, мы продолжим нашу беседу.

В просторном зале, уставленном веерообразными пальмами, на больших и малых столах в изящных фарфоровых вазах — розовощекие яблоки, восковые груши, гроздья черных «дамских пальчиков»... В высоких хрустальных графинах, похожих на миниатюрные башни минаретов, алой кровью искрился на солнце гранатовый шербет. В стране сухой закон, и потому Надир-шах распорядился не подавать к столу спиртного.

Внимание Джунаид-хана привлек покрытый молитвенным ковриком круглый столик, на котором, сверкая золотым тиснением, лежал Коран, а поверх него отливал вороненой сталью маузер. Зачем это? Где он раньше видал такое? Что мы, маскарабазы — шуты придворные?!

Первым к столику подошел Надир-шах, высокий, нескладный, и, повернувшись лицом к собравшимся, картинно припал на колени, поцеловал маузер, затем, раскрыв заложенную страницу Корана, забубнил: «Во имя аллаха милостивого, милосердного!..» Надир-шах читал

Коран скороговоркой, и если бы Джунаид-хан не знал назубок многие его страницы, то навряд ли что понял. Затем король захлопнул книгу, торжественно произнес:

— Клянемся священной книгой мусульман — Кораном, нашей святыней — зеленым знаменем пророка Мухаммеда, что мы, волею аллаха король афганский, не пощадим жизни своей, чтобы очистить земли Туркестана, Бухары и Хивы, избавить наших единоверных братьев от власти шайтана. Мы клянемся вытравить из своих сердец милосердие... Клянемся нашей честью, клянемся святыней из святынь — Кораном! — С этими словами Надир-шах приложился к кожаному переплету и, чмокнув губами, поднялся.

Один за другим к круглому столику подходили Сейид Алим-хан, Джунаид-хан, Ибрагим-бек. Только Кейли, не сходя с места, театрально поклонился, осенил себя крестным знамением.

Джунаид-хан понял, что все собравшиеся за исключением его знали о цели сборища. «Да разве оружие целуют? Будто это прелестная пери, — усмехнулся про себя Джунаид-хан, не признававший ни ритуалов, ни их символических значений. — Из него по врагам надо стрелять...» Но вскоре хан отвлекся: то, о чем заговорили собравшиеся, утешило его дремучую душу.

— Братья! — Надир-шах торжественно оглядел собравшихся. — У нас одна забота — вернуть земли, богатства, отнятые у наших братьев большевиками. Мои воины хоть сегодня готовы освободить Бухару и Хиву, вернуть их законным владельцам, вам, ваше величество, и вам, ваше высочество. — Афганский король учтиво поклонился Сейид Алим-хану и Джунаид-хану. — Для борьбы с Советами мы создали «Комитет мусульманского объединения». Наш искренний друг, — король склонил голову в сторону Кейли, — заверил, что его правительство щедро снабдит нас оружием, боеприпасами. Но прежде чем начать поход, нам следует обговорить детали. Афганская сторона хочет получить твердую гарантию, что королевству будет возвращен Пендинский оазис, мошеннически отторгнутый у нас еще русским падишахом. Мы хотели бы исправить наши границы от Серахса и Мерва до Амударьи, вернуть наши исконные земли и в Южной Бухаре. Всевышний свидетель — эти земли всегда были владениями афганской короны.

Эмир молча проглотил позолоченную пилюлю — видно, с ним был уговор. Но Джунаид-хан не утерпел:

— Помилуйте, ваше величество, — кустистые брови хана острым углом сошлись над переносьем, — Мерв и Серахс никогда не принадлежали Афганистану...

— Они не были и хивинскими, — саркастически улыбнулся Кейли. — Но не будем делить то, чем пока не завладели... Сейчас главное — поднять против большевиков всех мусульман Туркестана.

— Я помню, как лет двенадцать назад, — гнул свое шах, — вооруженный отряд, овладев Кушкой, двинулся на Мерв. Большевики подняли шум, в Мерв прибыл глава Туркестанского правительства, нам пришлось отойти к Кушке. Тогда в Мерв мы посылали своих мулл, консулов. Они опросили туркменских вождей, хотят ли они под власть мусульманского шаха? Тамошняя знать, местные вожди заверили наших людей, что туркмены, все туркестанцы любят афганцев и намереваются поднять восстание, истребить в Средней Азии всех неверных и большевиков...

— Это вам мервцы говорили? — спросил Джунаид-хан. — Те, что живут в городе? Так это же каджары! * Истинные туркмены в аулах, по Мургабу расселены... А каджарам вы не верьте! Если почуют выгоду, так мать родную на базар выведут, без корысти они и пальцем не шевельнут... Помани их золотом — хоть на край света пойдут. У них даже петухи на других петухов непохожи. Всюду петух курицу зерном угостит, а каджарский у курицы корм из клюва выхватить норовит...

Все рассмеялись. Громче всех, поблескивая влажными глазами, хохотал англичанин.

— Почему они так скупы? — Кейли усек маленькую хитрость Джунаид-хана, пытавшегося шуткой сгладить впечатление от реплики, поданной им королю.

— Да эта скупость у них в крови, в воздухе, даже в воде...

Слова Джунаид-хана перенесли Кейли в далекий Львов, на его узкие улочки, в тихий особняк, построенный еще шляхтичем Юзефом Понятовским, дослужившимся до маршала у Наполеона Бонапарта. Кто только не зарился на этот красивый дом с причудливыми беломраморными колоннами, построенный в стиле барокко, но его баснословная цена отпугивала всех. Только Фишман-старший, ворочавший миллионами, прибравший к рукам многих влиятельных польских панов, смог приоб-

* Каджары — тюркское племя, поселившееся в Северном Иране, а также династия, правившая Ираном в 1796—1925 годах.

рести это родовое имение. Львовский коммерсант учил сына: «Запомни, сынок, человек стареет, умирает, золото же не подвластно годам, оно всегда в силе. Никто желтым металлом не брезгует — ни короли, ни нищие! Я бы качал золото из воздуха. Все земное, даже неземное пропитано золотой пыльцой. А глупцы и не ведают о том...»

Когда Изя Фишман давал согласие служить в английской разведке, то такое решение принял, вспомнив уроки своего отца, ибо всем нутром почуял, что на новой службе есть чем поживиться: «О, Азия еще так целомудренна, что там можно ковать золото руками самих же азиатов! Из капель — море, из миллионов — миллиарды. Это и есть та река, которая «притекает», но не «утекает».

Вот что напомнили английскому эмиссару джунаидовские слова. «Скупость не порок, а добродетель...» — чуть не проронил Кейли. Но он отогнал не ко времени нахлынувшие воспоминания — надо в два уха слушать Ибрагим-бека. Тут Кейли не сразу мог взять в толк, что хочет сказать сей неумытый басмач, на которого военное министерство Англии имело свои особые виды. Эмир-то пустое место, труслив, разуверился в победе, но у него имя в мусульманском мире, его пока можно использовать как знамя. Правда, знамя-то с пятнами, изрядно изодранное. Зато казна его еще не оскудела, чтобы Кейли мог так легко исключить «его величество» из игры. Оказывается, пока Кейли предавался мечтам, Сейид Алим-хан только что соизволил выступить. «Своей властью» он уже назначил Ибрагим-бека... наместником в Бухаре, которую еще предстояло отвоевать у Советов. Так наперед было предписано эмиру. Боже мой, боже мой! Что мелет этот бандюга?! Ибрагим-бек почему-то говорил не по сценарию. Ах, слюнтяй! Так Кейли подумал об эмире. Этот не пересказал Ибрагим-беку заранее наставления эмиссара, и теперь этот разбойник всю обедню испортит.

— Я исполню свой долг, — Ибрагим-бек ощупывал эмира дерзким взглядом. — Предписания высокого мусульманского комитета для меня — закон! Мне храбрости не занимать. На моей родине, в Локайской долине, немало верных мне людей. Я соберу по всей Восточной Бухаре преданных мне и поведу их на красных, отправлюсь туда хоть сейчас. Я омою их кровью землю своих предков! Но я не уверен, что после того, как я сделаю

всю грязную работу, там не явится на готовенькое с фирманом его величества и со своей новенькой печатью верховный главнокомандующий воинства ислама...

— Боже мой, о чем вы вспомнили, друг мой?! — перебил Кейли. — Вы, насколько я понял, завели речь о покойном Энвер-паше... Мы действительно благоволили к нему, послали его в Туркестан к вам на помощь. Но, видит бог, мы до сих пор не ведаем, почему вы, ваше величество, — Кейли бросил укоризненный взгляд в сторону эмира, — отстранили тогда Ибрагим-бека, такого талантливого полководца, и доверили армию Энверу...

— Но вы же сами его послали! — Эмир возмутился вероломству англичанина.

— Да, послали... Боже мой! Боже мой! — Кейли имел привычку к месту и не к месту повторять эти слова. — Как преданного делу ислама человека! Но ничего вам не советовали. А Энвер-паша не смог тогда овладеть Душанбе, потерпел поражение под Байсуном и Кабадианом...

Эмир только пожал покатыми женскими плечами: душа его, возмущенная цинизмом англичанина, клокотала гневом. Его, самого эмира Бухары, так унизить, отшлепать как мальчишку! В старое доброе время болтаться бы этому пучеглазому на виселице. А ведь он укрыл, спас его в Бухаре, когда за ним по пятам гнались чекисты. В Мешхед переправил... Неужели он, Кейли, не помнит, что сам распорядился сместить Ибрагим-бека, назначить Энвер-пашу, зятя турецкого султана...

— Ибрагим-бек тоже хорош! Оставил Энвера под Душанбе, — Джунаид-хан укоризненно покачал головой. — Ушли вы, от Энвера откололись Ишан-Султан, Фузайла Максум...

— Вы-то, хан, сами тоже пятки смазали, — огрызнулся Ибрагим-бек. — Блестели прямо как головы ваших плешивых нукеров...

— Я ждал вас в Хиве, но сигнала вашего так и не дождался. Я собрал под свое знамя тысячи храбрых джигитов. А вы, оказывается, перегрызлись, дело загубили, а теперь тут вот жалим друг друга...

— Будешь жалить, если всем цена равна. — Ибрагим-бек кинул злой взгляд на эмира. — И тем, кто воду носил, и тем, кто лишь кувшины бил...

— О аллах! — Эмир раскосо закатил глаза к небу, сморщился, будто придавил зубами незрелую алычу. —

Вразуми этого ревнивца! — И, уже обращаясь к Ибрагим-беку, плаксиво произнес: — Нельзя меня, мой друг, всю жизнь укорять старым. На то была воля всевышнего... Девять лет прошло, бренное тело покойного уже с землей смешалось, а вы все не угомонитесь. Забудьте старое, мой друг. Вы единственный и неповторимый полководец армии ислама...

Опасаясь, как бы страсти не разгорелись, эмиссар решительно поднялся с места. Эмир застыл в ожидании: что скажет этот наглец? Ведь от смещения Ибрагим-бека Кейли внакладе не остался: зять турецкого султана оказался гораздо догадливее басмаческого предводителя, преподнес в дар англичанину золотую корону византийского императора. Древняя корона перебывала до этого во многих руках, так что не сохранила первоначально оправленных в нее драгоценных камней, но зато много весила. Чистым, червонным золотом...

— Угомонитесь, друзья мои! — Кейли оглядел всех, будто видел впервые. — Ничьей в том вины нет. Лучше послушайте...

И английский эмиссар, взяв бразды разговора в свои руки, изложил детально разработанный план вторжения басмаческих сил в Среднюю Азию.

— Мои верные люди сообщают, — продолжал Кейли, — что дайхане недовольны Советской властью. У них стали объединять даже кур, отбирать единственную козу... Нашим людям удалось кое-где внедриться в местные Советы, и они теперь помогают властям перегибать палку, подливают масла в огонь. Все это нам на руку. Словом, плод наливается соком, к весне он созреет окончательно. Истина известная — зрелый плод надобно срывать! Надеюсь, никто из вас не сомневается в успехе нашего предприятия? У большевиков есть крылатая фраза: «Из искры возгорится пламя». Умно сказано — слов нет. Вот мы и разведем из маленьких костров большой пожар. — Эмиссар мечтательно прикрыл веки. Ему чудились звон — не клинков, а золотых монет царской чеканки, высыпаемых из ковровых хорджунов, переливы золотых ложек, посуды. Все это обещал эмир, если Ибрагим-бек сумеет зажечь басмаческий пожар в Локайской долине и вывезти оттуда некогда спрятанные золотые изделия. Англичанин без обиняков дал знать Ибрагим-беку, что покойный Энвер-паша был щедрым человеком... Да не оскудеет рука дающего! А он, Кейли, к тому же и коллекционер, собирает золотые безделуш-

ки, монеты, древние фолианты, старые-престарые статуэтки, медные и бронзовые фигурки, которые можно разыскать в старинных крепостях, в курганах. Азиатам же зачем они?

Ибрагим-бек многозначительно ощерился, оскалил крупные кариесные зубы. Посулил привезти такое, чего даже в сказочной Индии не сыщут. Кейли довольно улыбнулся, прикрыл короткими пухлыми пальцами глаза — снова услышал голос отца: «Мой дорогой мальчик! Ты сам не ведаешь, какое ты прислал чудо, ему цены нет! Твоя шапка (так старик называл византийскую корону) свела с ума всю Польшу. Покупателей пруд пруди, да никто подступиться к ней не может — духу ни у кого не хватает. А точнее — денег... Подожду... Я человек терпеливый. Говорят, собирается ко мне один американский миллионер — жду вот его...»

На эмиссара недовольно уставился Джунаид-хан. Кейли мотнул курчавой головой на короткой, как у боксера, шее, словно отгоняя наваждение. Что за ахинею несет этот старый дуралей?

— Оружием вы нам поможете, боеприпасами тоже. — Джунаид-хан поглаживал клинышек рыжей бородки. — За это вам спасибо... Людей вот, аскеров с пушками — дадите? Или так же дадите, — последнее слово хан произнес с ударением, вкладывая в него понятный всем смысл, — как дали мне тогда, в год Зайца?

— Но вы-то, Джунаид-хан, ничего тогда не потеряли! — саркастически улыбнулся Кейли. — Боже мой! Думаете, я не знаю, что вы из Ирана тронулись с караваном в девяносто верблюдов? А сколько до этого переправили добра в Герат? Вы, поди, на свое имя счет открыли в заграничном банке, а для нашего комитета, для нашего общего дела не дали пока ни шиша...

— Да, вы правы, слава аллаху, я пока ничего и никого не потерял. Но я посылаю в пасть красного дьявола своего старшего сына.

— Как?! Разве не вы сами поведете свои отряды?

— Нет! — Джунаид-хан решительно мотнул головой. — Я уже стар, какой из меня вояка! Эшши не хуже меня справится с делом.

«Трусишь, старая лиса... — думал Кейли. — Сыном откупиться хочешь...»

— Нам ничего не остается делать, как воевать с Советской властью, — продолжал Джунаид-хан. — Она делит туркмен на трудящихся и баев... Баям сулит ги-

бель, а остальным — жизнь. Поэтому мы будем биться с большевиками насмерть, иного выхода у нас нет. Если будет надо, то и сам я сяду на коня.

— А вы как думали, дорогой хан-ага? Рыбку съесть и в воду не залезть? — Эмиссару хотелось сбить спесь с этого экс-владыки, возомнившего себя чуть ли не ханом всей Туркмении. — Никто вас неволить не собирается. Дело Англии — помогать друзьям. Вы же еще дров не наносили, костров не развели. Кто за вас пожар разожжет?.. А за аскерами и пушками дело не станет. Великая Британия умеет ценить своих друзей...

Словоблудничал Кейли. Да ему больше ничего и не оставалось. Разве мог он признаться, что владычица морей не могла, как в былые времена, диктовать миру свои условия. Вчерашние союзники по Антанте напоминали скорпионов в банке, пытавшихся ужалить друг друга. Дядюшка Сэм наступал на хвост дряхлеющему британскому льву.

«Не поджигай — сам сгоришь, не копай другому яму — сам в нее угодишь», — бытует мудрость на Востоке. Англия не выдерживала конкуренции среди империалистических держав. Зашатались основы Британской империи — в ее колониях и доминионах уже повеяло ветром свободы... В самой Англии обострялась классовая борьба — бастовали горняки, железнодорожники, моряки. Никак не могли поделить министерские портфели лейбористы и консерваторы... Английский империализм, видя в существовании Советского Союза угрозу своей колониальной системе, старался в то же время проводить свою парадоксальную политику: с одной стороны, он поставлял оружие басмаческим бандам, желая подогреть антисоветское движение, с другой — заключил торговый договор с СССР.

Разве мог Кейли сказать собравшимся, что Англия всегда норовила проскочить в рай на чужом горбу? Мастер провокаций и интриг, она имела колоссальный опыт по стравливанию народов — русских с персами, афганцев с туркменами, индусов с пакистанцами. Джентльмены, важно заседавшие в палате лордов, знали тончайшие рецепты, как «заварить кашу», посеять семена раздора среди целых племен и народов... А когда наступала пора дележа власти, то английские генералы приводили за собой батальоны наймитов, вооруженных британским оружием.

После полудня гости стали позевывать — пора рас-

ходиться. Вскоре королевская резиденция опустела, лишь кое-где мелькали тени торопливо пробегавших слуг.

...Поздней ночью в калитку особняка, где остановился Кейли, раздался стук. Шофер-пенджабец, осторожно посмотрев через окно, увидел на улице конников. Он впустил во двор одного — коренастого, в лохматой барашковой папахе, провел его в дом.

Кейли еще не спал. Выйдя в гостиную, он узнал в ночном госте Эшши-бая. Тот, крепко держа под мышкой тяжелый, туго набитый хорджун, угодливо улыбался.

Наметанный глаз эмиссара определил, что в хорджуне, зашнурованном волосяной тесьмой, — золото. Англичанин чуть не задохнулся от радости, выпуклые глаза заблестели словно маслины. Он подхватил Эшши-бая под руку и, прохаживаясь с ним по просторному залу, не знал, куда усадить ханского сына. Что ж, ликовал Кейли, урок, преподанный Джунаид-хану на совещании, пошел впрок... Не такой уж хан скряга, каким показался еще там, в Каракумах. Расщедрился, как халиф багдадский...

Не успела за Эшши-баем закрыться дверь, как Кейли трясущимися руками развязал хорджун. Глаза не обманывали Кейли: золотые монеты царской чеканки, высшей пробы. Не удержался и, как делал отец, попробовал одну монету на зуб. Червонное!.. У этих неотесанных каракумцев губа не дура...

Кейли не спеша открыл массивный сейф, замаскированный за шкафом из мореного дуба, и, священнодействуя, ласково перебирая каждую монету, мерцавшую тусклым сиянием, переложил туда все золото. Третью часть поместил на видное место, на верхнюю полку — на нужды «комитета», остальное — вниз и подальше — это для себя. Подальше спрячешь — поближе возьмешь.

В ту ночь Кейли засыпал радостный и счастливый, ему даже не приснились сны.

Утром следующего дня «комитет» собрался снова. Та же стеклянная галерея, те же пальмы, но без молитвенного коврика и Корана с маузером. Разговор на этот раз был коротким: единодушно решили выступать, советскую границу переходить крупными отрядами, в заранее разведанных местах. Начать сразу же после новруза — новогоднего праздника мусульман, дня весеннего равноденствия, а пока копить силы, сколачивать группы, отряды.

— Теперь следует договориться об оружии и боеприпасах, — изрек афганский король. — С голыми руками на большевиков не пойдешь.

Все согласно закивали головами. Джунаид-хан о чем-то зашептался с Ибрагим-беком, но, когда Надир-шах посмотрел в их сторону, Джунаид-хан торопливо произнес:

— Мне понадобится двадцать пять — тридцать вьюков. Остальное отыщем в Каракумах.

— Я хочу получить в три раза больше. — Ибрагим-бек, мельком взглянув на эмира, уставился на Кейли. — Люди мои безоружны...

— Нам тоже столько, — произнес король. — Но в наше время ничего даром не дается... Дела комитета — это богоугодные дела, а за оружие сэру Кейли надо платить звонкой монетой... И не забыть отблагодарить его за праведные труды во имя святого дела.

— Я весьма признателен вам, ваше величество! — Кейли галантно поклонился Надир-шаху, довольный, что король хорошо усвоил проведенный накануне инструктаж. — Оружие сначала надо заказать, потом уж доставить. Наши фабриканты и пальцем не шевельнут, пока не внесешь задатка...

Джунаид-хан досадливо поморщился. «Осел старый, — ругал он себя, — поторопился, отдал этому пучеглазому почти все золото, что привез с собой. Теперь еще раскошеливайся...»

— Туркмены не так богаты, — Джунаид-хан, сам того не замечая, щипал себя за бороду, — как вы думаете... В Афганистане не разживешься, а до Туркмении далеко...

— А вы думаете, мне легко? — перебил Кейли. — Оружие сюда доставляют на пароходах, по морям, разгружают в Бенгалии, а оттуда на мулах везут через весь Индостан по адскому пеклу, по ледяным горам. Боже мой! Пока доберешься до Лахора, проклянешь день, когда родился, а от Лахора до Кабула — еще сколько!

Эмиссар был прав — путь с оружием трудный. Зато дело прибыльное. А Кейли без выгоды тоже не пошевелится, даже если придется поступиться интересами Британии. Что ему до скупого английского казначейства? Скупердяи! Немцы вон на вербовку одного вшивого агента отваливают кучу денег. Не ассигнациями — золотом! А хозяева знаменитого Интеллидженс сервиса гроши считают и то трясутся. Джентльмены паршивые!

Но разве скажешь об этом хану с козлиной бородой? Он хочет получить оружие сейчас, авансом. Дудки! Да Кейли завалит оружием с ног до головы всех хоть сейчас. В городах и селах Афганистана у эмиссара тайные склады ломятся от винчестеров, маузеров, пулеметов, патронов. Они были припасены еще для мятежных отрядов Бачаи Сакао, но бедолаге не повезло. А ведь Кейли предупреждал своих шефов: не на того конька ставите! Не послушались...

На Лоуренса положились, думали, что он — ясновидец. А он сел в лужу со своим Бачаи Сакао, бывшим унтер-офицером афганской армии, который недолго правил под именем Хабибуллы. Уму непостижимо, и чем только обворожил Лоуренса этот Бачаи Сакао — «Сын водоноса»? Благородным происхождением? Но по общественному положению на селе ниже водоноса стоял лишь мурдашуй — мойщик трупов. Может, военным талантом? Так ведь унтер-офицер феодальной армии читать едва умел. Богатством? Единственное, что унаследовал этот Хабибулла у отца, — необычайную физическую силу. Сын водоноса, не тужась, гнул руками лошадиные подковы, раздвинул толстенные тюремные решетки, когда ему однажды угрожала смертная казнь за ограбление правительственного каравана. Это, видно, и подкупило Лоуренса, которого друзья еще в Аравии прозвали «фигляром в бурнусе» за его слабость выряжаться в одежду арабов. Но Кейли сердцем чуял, что сына водоноса ждет крах, и поэтому эмиссар распорядился оружием по-своему — утаил. Даже Лоуренс о том не знал. Кто теперь, после разгрома мятежников, будет доискиваться, попало ли в их руки оружие, присланное военным министерством Англии. Теперь оно, поднявшись к тому же в цене, принадлежит ему, Кейли, и он распорядится им как ему заблагорассудится. Говорят же — кривой кол кривой же колотушкой вколачивают. Это уж его бизнес. Кейли непременно запросит Лондон: пришлите оружие, да поскорее! Не опустели же оружейные склады, что в Индии...

— Да будет вам известно, хан-ага, — продолжал Кейли, — что мне приходится нести двойные расходы, по комитетским делам и по военным... Но у вас есть выход... Если не можете рассчитаться золотом, то кто вам запрещает оплатить коврами, каракулем, паласами, скакунами... Боже мой! Да мало ли богатств в Туркмении?! У вас прекрасные ковры! В Англии они в цене. У вас

чудные национальные женские украшения — гульяка, серьги, гупба, и все они из чистейшего золота или серебра, филигранной работы... Боже мой, боже мой! Или теперь туркменки не ходят в таких нарядах? Или, хан-ага, у вас не найдется отважной десятки? Две-три вылазки в пограничные районы Туркмении — и вот вам караваны добра! Ведь это же ваше, байское, отобранное большевиками! И вы смеете, хан-ага, говорить, что туркмены не так богаты. Боже мой, боже мой!..

Джунаид-хан молча снес попреки англичанина, хотя и раньше знал, что тот даром ничего не даст. Нечего было унижаться и выставлять себя перед людьми бедными, сирыми. «Что, хан, захотел, чтобы тебя пожалели? — досадливо укорял себя Джунаид-хан. — Кто пожалеет? Эти шакалы? Сиди уж, помалкивай да пораскинь мозгами, куда снарядить нукеров за добычей. Оплошал, старая коряга!..»

Как-то вечером у особняка Кейли остановился всадник, чье лицо шоферу-пенджабцу показалось знакомым. Не снимая мохнатой папахи, натянутой почти на брови, в грязных сапогах, он сидел в вестибюле, дожидаясь, пока выйдет Кейли. Лицо его, перехваченное черной лентой поверх того места, где раньше находился нос, было усталым и запыленным.

Портьера раздвинулась — вошел Кейли. Он сразу узнал Аннамета.

— Вам привет от моего господина Джунаид-хана, — Аннамет низко поклонился. — Он прислал Эшши-бая с караваном. В Кабул мы не въехали... Ждем вас в селе Дашти-Кала.

Кейли тут же собрался, отдал распоряжения шоферу, а сам поскакал вместе с Аннаметом, предусмотрительно приведшим запасного коня.

Вскоре в Дашти-Кала появился и шофер, привезший каких-то расторопных афганцев, которые как воронье, проворно растаскивающее поживу, тут же увели тяжело груженных верблюдов в ночь по известным лишь им тропам.

Скоро и из Индии придет караван с оружием и боеприпасами. Его также разведут по верным людям, а басмаческие отряды англичанин пока вооружил из старых запасов. Транспорт, прибывший из Индии, тоже не уйдет пустым: вернется с тюками, набитыми шелком и каракулем, коврами и паласами. Их доставят морем в Лондон, в фирменный магазин «Тысяча и одна ночь», принадле-

жащий самому Кейли. Не забудет он и о своих родичах, друзьях, опекунах и шефах. Отцу отправит золото, шефу — терракотовых божков, королеве — десять горячих, как дыхание пустыни, ахалтекинских скакунов, к которым царствующая особа питала пламенную страсть. Кому что...

Перед самым отъездом Эшши-бая в Герат английский эмиссар снова встретился с ханским сыном, высказал свое удовлетворение добротными товарами, присланными Джунаид-ханом, поблагодарил за скакунов, за украшения.

— Ваш отец на словах скуп, — льстил Кейли, — а прислал царские подарки. Боже мой, боже мой! Теперь я обрадую вас, — не сморгнув, соврал Кейли. — Вчера прибыл караван с оружием. Не успеете вы приехать в Герат, как вам доставят мои тюки. — Он качнул головой, давая знать Эшши-баю, чтобы тот попросил Аннамета оставить их вдвоем.

— Извините, ага, — Эшши-бай посмотрел на посапывавшего Аннамета, — у меня от него секретов нет. Он отныне глава контрразведки моего отряда, с которым я пойду на большевиков.

— Что с Непесом Джелатом? Он тоже идет с вами?

— С отцом остается... Хан так захотел, тяжеловат Непес для такого похода.

— Слушайте тогда... Иные панически боятся большевиков. Напрасно. Если даже вас схватят, повинитесь на словах, поверят... Больше морочьте им голову — они доверчивы. Большевики часто объявляют амнистию, прощают даже своим ярым врагам. Законы у них не такие, как у нас. Головы они не рубят, рук не отсекают, на кол не сажают...

Кейли в ту минуту был искренен, и слова о гуманности советских законов вырвались у него невольно. Он и не подозревал, какую роль они сыграют в судьбе безносого Аннамета, который внимал каждой фразе эмиссара.

— Поищите наших людей. Жизнь их разметала повсюду, но они ждут. Это ваша опора. Запоминайте... — И Кейли несколько раз повторил имена, адреса и пароли своих людей, затаившихся в Туркмении.

Эшши-бай сидел, опустив голову, боясь пропустить хоть одно слово эмиссара. И будь тот повнимательней, то заметил бы, что ханский сынок загадочно улыбнулся: он думал о долговязом немце Вилли Мадере.

УКУС КАРАКУРТА НЕ СМЕРТЕЛЕН

В моем штабе были прекраснейшие офицеры, говорящие на нескольких языках. С их помощью мне удалось внедрить своих агентов даже в правительственные учреждения большевиков, я располагал контингентом людей, постоянно разъезжающих в местностях, которые считал важными. Мои агенты действовали на территории, раскинувшейся более чем на тысячу миль. На Среднеазиатской железной дороге едва ли был хотя бы один поезд, в котором мы не имели бы своего агента; не было ни одного значительного железнодорожного узла, где бы не работали два-три наших человека... На территории Туркестана мы имели большую великолепную организацию, созданную офицерами моей миссии... Мы не делали грубых, ошибочных, непроверенных донесений, хотя и поставляли целый поток информации... Было настоящим чудом, что офицеры моей миссии довели до столь высокого совершенства осведомительную систему.

Генерал-майор В. Маллесон.
Британская военная
миссия в Туркестане в 1918—1920 гг. Лондон.
Воспоминания

Два всадника в кофейных аба — арабских плащах из верблюжьей шерсти — спешили крупной рысью по дороге к святой гробнице Шахруда. Когда позади скрылись золотые купола Мешхеда и впереди завиднелся дынеобразный купол усыпальницы, окруженной рощицей эльдарских сосен, кони перешли на ленивую трусцу.

Со стороны казалось, что это богомольцы, едущие на поклонение к гробнице святого, и ведут они мирную, безобидную беседу. Один из седоков, будто влитый в новенькое поскрипывающее английское седло, был Нуры Курреев, другой — Вилли Мадер, ехавший с ним стремя в стремя и не менее молодцевато сидевший на горячем ахалтекинце.

Съехали с дороги, спешились, привязали коней к низкорослой фисташке и, оглядевшись по сторонам, — всю-

ду простиралась степь с клочковатыми зарослями ершистой арчи и с засохшими зонтиками чаши джейрана, — присели на гладкий, прогретый солнцем валун. Курреев, поглядывая на еле заметные фигурки богомольцев у мавзолея, продолжал свой прерванный рассказ:

— Русские эмигранты вначале заартачились, передали, что не пришлют никого на совещание, названное туркестанцами большим маслахатом. А русского главаря полковника Грязнова я и в глаза не видел. Сыр-бор разгорелся из-за Мирбадалева. Кто-то донес Грязнову, что Мирбадалев обзывал русских грязными нечестивцами. И при белом царе, говорил он, правоверные изгибались перед русскими, и в мусульманской Бухаре без них дыхнуть не смели, и здесь, мол, в Мешхеде, этот Грязнов корчит из себя генерал-губернатора... Ну а Закир Вахидов, приехавший из Парижа с полномочиями от Мустафы Чокаева, главы «Туркестанского национального центра», урезонивал Мирбадалева. Вахидов — башкир, такой круглый, полноватый. В декабре семнадцатого под защитой атамана Дутова создавал националистическое башкирское правительство. Видать, хитер как лиса. Однажды я видел его в Каракумах, в ставке Джунаид-хана. Так он говорил: «Успокойтесь, достопочтенный Ходжа-ага, все мы грешны, все мы под кем-то ходили или ходим. Такова воля аллаха! Сейчас, когда свет белый перевернулся, без сильной опоры не прожить. Все кого-то обманываем, не ангелы ж мы, а люди грешные... Не обессудьте, Ходжа-ага. Я чту вас и ваш священный сан хаджи». После маслахата Эшши-бай растолковал мне тонкий намек Вахидова. Оказывается, Хайдар Ходжа Мирбадалев из сартов, из каджар...

— Из кого, из кого? — переспросил Мадер.

— Из сартов... Это искаженные тюркские слова «сары ит» — желтая собака, — объяснил Курреев. — Так в Туркестане называют каджаров, есть такое тюркское племя, поселившееся в Иране, — за светлый цвет их кожи и глаз. Эмир бухарский, все хивинские ханы за исключением Джунаид-хана окружали себя сартами или каджарами. Правители их любят за собачью услужливость... Так услужливы, что при разговоре умышленно заикаются, так подобострастны, что даже язык отнимается. Потом, когда кому-либо из них удается в правители выскочить, привычка заикаться остается на всю жизнь. Мирбадалев четыре десятка лет прослужил в Бухаре, в русском резидентстве. Его недолюбливал эмир за

то, что тот ходил в фаворитах русского царя. Теперь, когда большевики сбросили царя, Мирбадалев завилял хвостом перед англичанами. Ну чем не желтая собака?! В девятнадцатом году он с ведома эмира бухарского скрывал у себя дома английского полковника Кейли, того самого, которого я дважды видел в Каракумах. По следам Кейли большевики пустили чекистов, да англичанин сумел в Иран улепетнуть. Даже дураку ясно — Мирбадалев с англичанами...

Мадер и сам догадывался, что Мирбадалев — резидент, один из лидеров туркестанской эмиграции, знает ее людей и, конечно, лезет из кожи вон, чтобы выслужиться перед Интеллидженс сервис. Вот кем стоит заняться, уж эта желтая собака наверняка выведет на след всех псов, которые служат англичанам! Чего же угодно мсье Мустафе Чокаеву, что из самого Парижа Вахидова прислал? Да и он ли его прислал? Англичане почему-то не ставили на Чокаева, на этого лощеного типа, от которого, как от шансонетки третьеразрядного кабаре, всегда исходил запах дешевеньких духов. Мадер был знаком с Чокаевым, которого подобрала французская разведка, досконально знал его незадачливую биографию.

Тихо вокруг. Зной струился в воздухе волнами. Большие ребристые камни, потрескавшиеся от жары, будто разбросанные чьей-то гигантской рукой, простирались до самого горизонта. Над горячей степью повисли жаворонки.

«Тут как дома — небо без облаков, солнце горячее, — в глазах Нуры мелькнула грусть. — Птицы такие же. А Конгур далеко...»

— На нас обращают внимание, мой эфенди. — Голос Мадера доносился словно из подземелья. С минарета мавзолея в их сторону вглядывался человек. Час полуденной молитвы еще не настал, и тот, кто взобрался во внеурочное время на минарет, мог наблюдать лишь за двумя спешившимися всадниками, почему-то не торопившимися к святой гробнице. — Нам, немцам, в этой стране мало что угрожает. Но разумно, мой эфенди, если мы не будем привлекать к себе внимание.

Ведя на поводу коней, они зашагали в сторону гробницы. Каракурт хотел было рассказать о прошлом Вахидова, но Мадер перебил его.

— Кто еще был на маслахате? — Мадер погладил

рукой гладкую шею неспокойного ахалтекинца, чуть замедлившего шаг.

— Джапар Хороз... Так его зовут. — Каракурт тоже попридержал своего коня, а когда ахалтекинец поравнялся с карабахцем, продолжил: — Хороз по-туркменски «петух»... Он и похож на петуха. Сам он мервский. Старый знакомый... Раза два встречался с ним в Каракумах, привозил Джунаид-хану оружие. При русском падишахе служил агентом охранки, а в девятнадцатом, когда в Мерв вернулись большевики, он ушел в Иран с англичанами, боялся, прикончат красные... Я бы его, собаку, и сам порешил. Морда у него такая противная, глаза серо-желтые, усы топорщатся, как у кота, и борода козлиная с проседью... Сразу не поймешь — петух или козел перед тобой в образе человека. А в тот год, ну когда мы ушли из Туркмении, он должен был доставить караван оружия. Джунаид-хан говорил, что Джапар Хороз у англичан оружие-то получил, но нам не довез. Продал курдам, что вечно воюют с иранским шахом. А в этот раз Джапар Хороз приехал с Вахидовым, хвастался, что белый свет перевидал, между Мешхедом и Парижем курсирует. Никак хозяев сменил, шакал...

— Что еще? — Мадер не сводил глаз с мавзолея. На минарете теперь никто не маячил.

— Вахидов все успокаивал Мирбадалева. — Курреев сильной рукой сдавил железный мундштук своего скакуна, выделывавшего копытами вензеля. — Как ребенка уговаривал. Ну что плохого, говорил он, если мы объединим свои силы с русскими, мы под одним богом, мол, ходим... Православный Иисус Христос — это ваш Иса, пророк и посланник аллаха. А дыхание Исы, утверждает Коран, животворно: воскрешает мертвых, исцеляет калек, больных. Вахидову подпевал и Эшши-бай: «Вспомните Искендера-падишаха или — как его зовут — Александра Македонского. Он завоевал Иран и Туран, когда язычники — предки туркмен и персов об исламе и слыхом не слыхивали. Теперь же его, иноверца, считают правоверным, а иранский шах даже объявил его своим предком. Я готов породниться хоть с самим шайтаном, лишь бы нашему общему делу выгода. С паршивой овцы хоть шерсти клок!» А по мне, мой тагсыр, все это пустой треп.

— Не скажите, не скажите, мой эфенди! И бегство умелое иногда считается доблестью. Некий смертный однажды попросил пророка: «Сулейман, научи меня языку

животных!» Пока человек не знал, что пророк Сулейман понимает язык птиц и животных, ему было невдомек, какой волшебной силой обладал мудрец...

— Вы говорите загадками, мой тагсыр...

Мадер не успел ответить — навстречу им высыпала толпа юродствующих странников. Многие из них сидели или лежали в тени развесистых платанов, на мраморных ступенях, ведущих к стройной стрельчатой арке гробницы. Они что-то кричали, клянчили подаяние, молили о снисхождении. Кто-то подполз к ним на коленях, вытирал ладонями пыль с их сапог, какой-то безногий целовал края плаща Мадера.

— Хув хак! Он бог, он истина! — Длинный, высохший, как мумия, дервиш потрясал над головой посохом.— О правоверные, сотворили ли вы молитву и омовение, прежде чем направить свои стопы к святой гробнице?

Мадер полез в карман, чтобы ублажить крикливого дервиша, но откуда-то выскочил седобородый ахун * в чалме и воскликнул:

— О безумец, остановись, если не хочешь быть растерзанным толпою! — Ахун, щупленький и подвижный, замахал руками — верующие безропотно повиновались, тут же разошлись. Служитель аллаха признал в пришедших непростых людей, хотя из-под их абы виднелись черные со стоячим воротником потертые сэрдари — иранская национальная одежда, похожая на что-то среднее между сюртуком и поддевкой, а на головах — шапчонки из грубоватого черного войлока. Ох уж эти иностранцы! Не знаешь, как им угодить. Днями наезжал сановник из Тегерана, битый час увещевавший быть предупредительным с гостями, особенно с немцами и англичанами: «Они наши друзья... Они борются с большевиками». — На всех денег не напасетесь... Что проку им подавать? Они обратят ваши деньги в терьячный дым. Отдайте их мне, они пойдут на пользу нашего ордена. — Старик протянул руку, и Мадер вложил в его ладонь пару серебряных кранов.

Ахун пригласил гостей за невысокую глинобитную ограду, за которой в углублении простиралась протоптанная просторная площадка. Они спустились по истертой каменной лестнице к белому ноздреватому валуну, захватанному руками. Над ним возвышался потемневший от времени кривой гладкий столбик арчи, усеянный

* Ахун — мусульманское духовное лицо, старший мулла.

шляпками гвоздей. Так верующие выражали аллаху свои мольбы об исцелении, о счастье и благополучии, оставляли у камня деньги, приношения, здесь же закалывали баранов.

— Этот белый камень обладает чудодейственной силой, исцеляет от недугов. — Голос ахуна звучал высоко, торжественно. — Яблоко заплачет, гранат засмеется... — Он заученно повел бровью: из кельи, встроенной в дувал, вышел юноша атлетического сложения и застыл изваянием у валуна. — Камень наделен чудотворной силой... Ба-алла! С богом!..

Юноша, сложив руки по швам, лег на землю, положив голову на камень. Тут же какая-то сила, легко поворачивая его с боку на бок, покатила по площадке. Метров через тридцать он поднялся, подошел к гостям. Мадер достал из кармана несколько монет, протянул их парню, но ахун проворно выхватил деньги из рук немца.

Мадер попросил юношу повторить еще раз, тот взглянул на старца, но, заметив, что он кивнул головой, снова, однако уже с неохотой, лег на камень и покатился по земле. Вскоре парень, не докатившись до прежнего места, поднялся и быстро юркнул в свою келью.

Курреев с раскрытым ртом смотрел на чудо, не замечая снисходительной складки, залегшей у губ Мадера. Немец, взглянув на карманные часы, заторопился: время близилось к двенадцати. Вскочив на застоявшихся коней, Мадер и Курреев выехали на дорогу, обсаженную гималайскими кедрами, проскочили мелководную речушку, разлившуюся по серой гальке. Когда гробница с ее кладбищем и небольшим селением остались позади, всадники перешли на неторопливый шаг.

— Вы, мой эфенди, уповаете только на силу, — заговорил Мадер, возвращаясь к прерванной беседе. — Но сила без хитрости, как человек без мозга. Чтобы хитрить, надо лгать, обманывать, ибо в наше время честность — анахронизм, свойственный глупцам... Эпоха рыцарства давно канула в вечность. Но и обману должен быть свой предел. Один из моих знакомых, — ему, кстати, прочат большую карьеру, — говорит: «Врите, но знайте меру. Ложь должна быть такой величины, чтобы слушатели не посмели подумать, что ее можно выдумать». Разве случай у гробницы не преподал нам урок хитрости и обмана с именем аллаха на устах? Вы, мой эфенди, поверили, что там свершилось чудо... Но чуда-то не было! Заметили, что во второй раз парень ложился

на камень без особого желания. На лбу у него выступили капельки пота, весь он взмок... Рукава рубашки были порваны выше изгиба локтя. Когда он катался по земле, я видел, как от напряжения вздувались его бицепсы. Просто у парня хорошо натренированные мускулы, а у ахуна — мозги... Юноша — это сила, священнослужитель — сама мудрость, хитрость. В союзе они властвуют над богомольцами, которые считают за великое благо поклониться служителю аллаха, коснуться губами края его одежды. Такого почитания, послушания верующих он добился, мой эфенди, умом и хитростью. Словом, он как Сулейман — понимает язык животных.

Всадники обогнули невысокий холм, скрывший за собою купол мавзолея, и, не сдерживая разгоряченных коней, поскакали по степи. Ветер свистел в ушах, резвый карабахец вырвался вперед, оставив ахалтекинца позади. «А он еще говорит, что сила — не все. — Курреев натянул уздечку и, горделиво подбоченясь, оглянулся назад, дожидаясь отставшего Мадера. — Как тебе меня обогнать, если у коня твоего силенок мало? Нет, нечестивец, сила — это все!»

— Господин Вахидов прав — русской эмиграцией пренебрегать нельзя. — Мадер, догнав Курреева, сошел с лошади, подтянул подпругу и выразительно взглянул на Каракурта: нечего ликовать, если б не ослабел седельный ремень, то мой конь как пить дать обскакал бы твоего. — Русским белогвардейцам большевики насолили не меньше, чем туркменам, и злости у них к Советской власти хоть отбавляй... О чем еще говорили там?

— Вахидов и Джапар Хороз перед маслахатом побывали в Мерве. — Курреев тоже спешился. — Ездили, чтобы встретиться с тамошними националистами. Виделся Вахидов и с братьями Какаджановыми. Я уже говорил, есть там такие... учителя, в Турции учились. Они создали в Мерве нелегальную типографию. Только раз издали газету и, кажется, успели выпустить листовки... Сейчас Какаджановы затаились как мыши. Типографию чекисты накрыли, кто-то из местных жителей донес. Правда, никого не арестовали — оплошали чекисты. Вахидов привез с собой несколько листовок, одну я захватил для вас. — И Каракурт протянул Мадеру скомканную бумажку.

Мадер, расправив листовку, начал читать ее вслух:

— «Люди, правоверные! Нам, туркменам, большевики навязывают индустриализацию. Индустриализация!

Наши отцы и деды прожили без нее... Среднеазиатский верблюд не может угнаться за московской лошадью... Наш верблюд все равно не выдержит лошадиной скорости, и поэтому мы пойдем своим путем... По пути, начертанному аллахом!..» — У Мадера не хватило терпения дочитать листовку до конца, он с досадой скомкал ее, швырнул на землю. — Такую чушь мог написать только... верблюд! Разве так агитируют?!

— Вахидов тоже недоволен поездкой в Мерв, обзывал тамошних националистов пустоголовыми...

— Судя по листовке, мой эфенди, они умом не блещут.

— Каджары они и останутся каджарами. Собачье племя взяточников и блюдолизов! Воду мутить они мастера, а когда надо умом пораскинуть, смердят, как дохлые верблюды...

— Вы так и при Мирбадалеве рассуждали? — Мадер вскинул брови.

— Что вы, мой тагсыр! Я же знаю, что он из каджаров...

Германский эмиссар был наслышан о неприязни туркмен к каджарам, чьих предков поселил в Мерве еще сам Тамерлан. Ханские визири, сановники, городские торговцы, ростовщики, ювелиры, священнослужители, ремесленники, цирюльники, мойщики трупов — чем только не занимались каджары, испокон веков обитавшие в благодатных краях Ирана, Кавказа и Средней Азии. Родовые вожди этого племени, живя на туркменской земле, причисляли себя к шахиншахской династии, долго правившей Ираном, высокомерно относились к соседним племенам.

— Теперь, мой эфенди, о цели маслахата. — Мадер снял очки и, щуря близорукие глаза, протер замшей запыленные стеклышки. — У каждого дела своя сердцевина.

— На второй день полковник Грязнов прислал-таки двух своих людей. Они тоже сказали — быть войне! Договорились действовать сообща, обратиться за помощью и деньгами в английское консульство в Мешхеде, послать ходоков к афганскому королю, к Джунаид-хану, Ибрагим-беку, связаться с Туркестаном, с баями тамошними.

Вдали послышалось блеяние овец, глухой звон колокольцев. Зоркие глаза Курреева заметили в степи

две чабанские палатки, похожие на черные вороньи крылья, отару.

Едва всадники приблизились к отаре, как им навстречу выбежал смуглый, будто прокаленный солнцем, молодой чабан. Забыв даже поздороваться, спросил, нет ли среди гостей тебиба-знахаря. Сбивчиво объяснил, какая случилась беда: его товарища ужалил каракурт. Мадер и Курреев невольно переглянулись.

Нуры прошел с чабаном в палатку, где на серой кошме, тяжело переводя дыхание, корчился от боли широкоскулый парень с мертвенно-бледным лицом. Его колотил озноб, в глазах, перекошенных нечеловеческой болью, мелькнула надежда.

Курреев достал из кармана абы коробок и головками двух зажженных спичек прижег ранку на руке пострадавшего.

— В стаде найдется черный баран? — Курреев поднял на чабана озабоченное лицо. — Непременно черный и обязательно старый...

— Найдется, ага.

— Так надо зарезать. Чем скорее, тем лучше!

— Я, ага, этого не смею делать, —пролепетал смуглолицый чабан. — Отара не моя. Это овцы господина...

— Ну и подохнет тогда твой напарник, — вскипел Курреев. — Что мне, себя зарезать?! Но я ж не баран!

— Сколько стоит один баран? — вмешался Мадер.

— Два тумана. — Чабан не понимал, зачем понадобился черный баран этим путешественникам, когда на их глазах погибает человек. Но два золотых тумана, протянутые Мадером, он все же принял и тут же выбежал из палатки.

Чабан притащил барана, свалил его возле палатки на серые камни и надрезал горло. Затем за дело принялся Курреев. Он ловко освежевал барана, вспоров ему брюхо, достал дымящийся желудок, вывернул его наизнанку, затем приложил на место укуса. Туго перебинтовав чабана платком, Нуры уложил его на кошму и накрыл с головой.

Смуглый чабан пригласил гостей к едва тлевшему костру, подбросил туда несколько чурок сухой арчи и поставил в пламя прокопченный кувшинообразный медный кумган — чайник с водою. Вскоре он закипел, и чабан крючковатой палкой, подцепив за изогнутую ручку, выхватил из огня булькающий сосуд, всыпал в него горсть заварки и, дав чуть отстояться, разлил по ма-

леньким стаканчикам пахнущий дымом и мятой крепко заваренный черный чай. Временами он поглядывал на своего товарища, неподвижно лежавшего на кошме. Тот уже перестал стонать и, казалось, уснул.

Солнце уже клонилось к закату. Чабан угостил гостей густо наперченным жарким из баранины и, увидев, как завозился его товарищ, подошел к нему, откинул кошму. Еще недавно обезображенное страданием лицо чабана теперь расплывалось в широкой благодарной улыбке.

— О мой эфенди! — восторженно всплеснул длинными руками Мадер. — Вы свершили чудо! Да вы сам Авиценна! Объясните, пожалуйста, почему вам понадобился именно черный баран и к тому же старый?

— Овцы поедают каракуртов, — довольно улыбался Курреев, польщенный похвалой шефа. — А черный баран к ним особенно нещаден. Он набрасывается на них как шакал на падаль... А почему его желудок излечивает от укуса — не знаю... Видно, так аллаху угодно.

— Я объясню вам, почему. — Тонкие губы Мадера скривились в усмешке. — У животных, поедающих этих ядовитых насекомых, вероятно, вырабатывается в организме какой-то определенный иммунитет... Как бы объяснить вам?.. Словом, противоядие! И желудок, впитавший в себя яд каракуртов, становится своеобразной сывороткой.

Курреев не очень-то уразумел ученые слова Мадера, но на всякий случай кивнул головой. Ему было невдомек: на кой черт немцу нужен этот чабан, из-за которого выбросил на ветер кучу денег? И подыхал бы себе! Но экономному Мадеру, расставшемуся с двумя туманами, хотелось поразить Каракурта своим великодушием. К тому же ему, человеку любознательному, небезынтересно было узнать, почему Курреев затеял заколоть именно черного барана. Разве мог знать Курреев, что Мадер в отчете, представленном позднее начальству, впишет деньги, истраченные на чабана, в графу расходов по вербовке нового агента по кличке Каракурт.

— Выходит, мой эфенди, укус каракурта не смертелен? — Мадер многозначительно взглянул на Курреева. — У каждого яда есть противоядие...

— Смертелен, мой тагсыр, смотря как жалить, — нашелся Курреев.

— Браво, браво, мой эфенди! — Немец был доволен Каракуртом.

О многом переговорили Мадер и Каракурт по дороге в Мешхед. Но Эшши-бай, с которым Мадер уже успел встретиться до его отъезда к себе в афганский город Герат, рассказал о маслахате со всеми подробностями. Каракурт не открыл Мадеру ничего нового, лишь подтвердил рассказ Эшши-бая, и эмиссар был доволен новым агентом, который успешно выдержал свой первый экзамен.

Прощаясь, Мадер дважды переспросил о Вахидове, не знает ли Каракурт об истинной цели его поездки в Туркмению. Тот повторил уже сказанное им, действительно не подозревая, что на Вахидова возложено более чем деликатное задание — попытаться выйти на след агентуры, оставленной еще генерал-майором Маллесоном. Чье задание исполнял Вахидов? Самих англичан? Исключается. Они и так все знали о своих агентах. Французов? А им-то зачем? Французы — публика нетерпеливая... Калифы на час. Или немцев?.. Тогда это не так страшно, и Мадер может спать спокойно. Он знал, что центр нередко через голову своих эмиссаров дает разным агентам одинаковые задания — так надежнее. Но почему кто-то другой должен обскакать его, Мадера?

И германский эмиссар, наставляя Эшши-бая, сообщившего ему об истинных целях Вахидова, говорил:

— Чекисты не могли переловить всех агентов Маллесона. Ведь кто-то должен же остаться.

— Может быть, это те, о которых Кейли сказал? Кое-кого из них я знаю.

— Все может быть, мой эфенди. А могут быть и другие. Поинтересуйтесь. Не исключено, что они уже на крючке у чекистов и их держат как приманку...

Эшши-бай молча приложил руку к груди.

Курреев об этом разговоре пока ничего не знал. Ночью, засыпая у раскрытого окна, он слышал не то во сне, не то наяву жалобное пение какой-то птицы и глухие всплески воды. На рассвете он вскакивал с постели от неясной тревоги, будто разбуженный чьим-то пронзительным взглядом, окидывал глазами двор, сполоснутый радужными красками душистых цветов, видел угрюмого садовника, поливавшего клумбы, красноклювую перепелку в ивовой клетке, подвешенной к раскидистому гуджуму *, искристый фонтан, захлебывав-

* Гуджум — ильм, род вяза.

шийся в огромной мраморной чаше. Ему казалось, что в клетке не полевая птичка, а он сам. И тогда перед глазами вставал родной Конгур, глинобитная мазанка, овечий загон из гибкого тальника, искрящий огнями глиняный тамдыр, в котором пекла чуреки Айгуль... Его Айгуль, красивая, ладная.

Нуры, проснувшись, не открывал глаз, словно хотел продлить видение. Наконец поднялся, оделся и побежал в соседнюю кавеханэ, где кофе и в помине не было, но зато подавали в миниатюрных стаканчиках крепкий черный чай, могли покормить. Можно там насосаться и маслянистого дыма терьяка и соснуть прямо на коврах, где и курят.

Всякий раз, когда Мадер куда-либо уезжал, Курреев не упускал случая побывать в кавеханэ и пропадал там долгими вечерами, забываясь в дурманном угаре терьячного дыма... Кто этот высокий, как каланча, человек? Он подошел к Нуры, схватил его за воротник, поднял кверху, как щенка, потряс, да так больно, что остро чувствовались упиравшиеся в кадык костлявые пальцы. Да это же Мадер! «Ты должен жалить смертельно, — трубно гремел его голос. — На то ты и Каракурт!.. Зачем ты куришь опиум? Какой из опиомана, к черту, разведчик? Слышишь?..»

Курреев очнулся и в полутьме услышал над собой вкрадчивый голос хозяина кавеханэ: «Слышите, ага? Уже поздно. Мы закрываем...» Нуры нехотя поднялся, вышел на улицу и побрел домой.

ДОРОГОЙ ДОБРА

Один старый дайханин копал лунки, чтобы посадить саженцы фисташки. Увидел его сосед, ехидно заметил:

— Фисташка-то через тридцать лет начинает плодоносить... Уж не думаешь ли ты, старик, еще столько прожить?

— Не о себе пекусь, — ответил дайханин. — Я тоже не сажал деревьев, урожай с которых сейчас собираю. Они посажены людьми, жившими до меня. Так пускай потомки вкушают плоды моих саженцев.

Туркменская притча

Говорят, что почитаемый среди народов Востока мудрый Молла Насреддин, чье острое слово служило простому люду и оборачивалось оружием против сильных мира сего, прожил до глубокой старости.

Однажды сидел он под тенью густой чинары, разрезал острым ножом яблоки, ел, а семечки аккуратно собирал в тряпочку.

Кто-то из молодых, увидев Моллу Насреддина за таким занятием, спросил:

— Ты что делаешь, Молла-ага?

— Разве не видишь, семена собираю...

— А зачем тебе это нужно?

— Посеять хочу, дерево вырастить.

— Вот чудак! — ухмыльнулся молодой человек. — Пока соберешься посеять, пока они взойдут... И взойдут ли? Пока дерево вырастет, плодоносить начнет... Не много ли воды в Мургабе утечет? А ты, Молла-ага, девятый десяток разменял никак. Когда плоды-то вкусишь?

— Не беда, сынок, — ответил мудрец. — Ты вкусишь плоды. Твои сверстники будут их есть. Все, кто будет в живых.

Из рассказов аксакала Сахатмурада-ага, что живет в долине Мургаба

В родной Конгур Ашир Таганов наезжал часто, особенно в последнее время, когда, оклеветанный Платоном Новокшоновым — английским агентом по кличке Хачли, временно оказался не у дел. Но справедливость восторжествовала, туркменские чекисты разоблачили врага, пробравшегося в органы советской контрразведки; Аширу вернули доброе имя, восстановили на прежней работе.

Нет худа без добра. Несколько месяцев вынужденного бездействия он провел в Конгуре. Засел за учебники немецкого языка, а когда хотел проверить на практике свои теоретические познания, наезжал в Ашхабад, к Ивану Гербертовичу Розенфельду, старому другу отца, разговаривал с ним, с его женой Бертой и племянницей Гертой на их родном языке.

— Ты, Ашир, прямо-таки полиглот, — восхищался Розенфельд заметными познаниями своего юного друга. — А произношение-то, произношение, ты только вслушайся, Берта, — обращался он уже к жене. — Как у южанина Германии, так саксонцы разговаривают... — И старый чекист заводил с Тагановым беседу на немецком языке.

Наверное, Иван Гербертович, которого отец называл Гансом, его настоящим именем, был прав. Кому, как не ему, немцу, бывшему «спартаковцу», судьбой заброшенному в Туркестан в гражданскую войну, судить о познаниях Ашира в немецком языке.

А вот мать, старую Огульгерек, сын огорчал.

— Ты, Ашир-джан, день-деньской за книгой, — журила она. — И ночи напролет. Так и о женитьбе забудешь. Мне пора бы и внуков увидеть. Вон в Конгуре сколько девчат красивых да пригожих. А выйти за тебя, моего красавца, любая девушка за честь почтет...

— И ворона, говорят, ласкала своего вороненка: «Ох ты мой беленький!» — отшучивался Ашир и тут же, сдвинув на переносье густые черные брови, серьезно добавлял: — Женитьба не уйдет, и красавицы в ауле тоже не переведутся.

— Тогда, сынок, позволь Бостан замуж выйти! По обычаям нашим, ты знаешь, младшая сестра не вправе на это, пока старший брат не женится или ей не разрешит. Ты теперь ей и за отца. — Огульгерек по-бабьи всхлипнула, утерла кончиком платка повлажневшие глаза.

— Жених-то кто, мама? — Ашир обнял мать за худенькие плечи.

— Мельник колхозный... — Огульгерек подняла на сына глаза — в них застыла тревога. — Атали, сын Доврана, байского чабана. Ты его привел из песков...

— Тот самый, что у басмачей вожаком десятки был?

— Да он пробыл самую малость, никого не убил, не ограбил.

— Напрасно ты волнуешься, мама. Знаю я его. Бедняцкий сын, а в басмачах по неразумению оказался. Главное, человек правильный...

Мать облегченно вздохнула: счастье-то какое — Ашир понял ее, не стал противиться замужеству Бостан. Ох, как она опасалась, что Ашир вдруг заупрямится, помешает счастью Бостан. Не меньше Огульгерек переживала и за сына, боялась, как бы брак сестры не отразился на его службе: днями руководство ГПУ Туркменской ССР повысило Ашира в должности.

...Поздней туркменской осенью, щедрой на теплые, сухие дни, Таганов, получив отпуск, приехал в родной аул. Еще в позапрошлом году из одного горного селения он привез семена чинары и посеял их в укромном местечке возле реки Алтыяб. Они дали крепкие ростки, вытянувшись в тоненькие, стройные саженцы, и, чувствуя приближение зимы, уже сбросили золотую листву, чтобы по весне снова вырядиться в изумрудный убор.

Пора пересаживать, решил Ашир, облюбовав пять белоствольных чинар, росших с краю. Поймал себя на мысли: в семье Тагановых тоже пятеро. Пусть эти чинары будут живым памятником отцу и тем, кто погиб с ним за Советскую власть.

Ашир осторожно, чтобы не повредить корней, выкопал саженцы, принес к дому и занялся лунками.

— Доброе дело задумал, сынок, — застал его за этой работой Агали Ханлар. — Хоть чинара больно не торопясь растет, зато долговечна и служит многим поколениям людей.

— Да, в наше жаркое лето прохлада что услада. — Ашир легко вонзил в мягкую землю овальное острие дайханской лопаты. — Не беда, аксакал, зато деревья послужат тем, кто будет жить после нас. Арык вон роют десятки, а пьют из него тысячи. Тем и прекрасен человек, что живет он для других.

— Так-то оно так, сынок, — и председатель аулсовета задумчиво почесал под тюбетейкой лысую голову, —

да только эдак лет с десяток назад навряд ли кто, даже самый размудрый, рассуждал бы так... Каждый о себе пекся. На кой шайтан ему думать о тех, кто через век или через тысячу лет после него жить будет.

Агали Ханлар по-хозяйски прикинул, что если каждый аульчанин высадит хотя бы по три деревца, то Конгур через несколько лет превратится в цветущий сад. Он что-то записал в свою потрепанную тетрадку негнущимися пальцами и, попрощавшись, ушел.

Таганов задумчиво посмотрел ему вслед: душа-человек, совесть Конгура, всех его честных людей. Вот такими сильны Советы, на таких, как на гранитной основе, держится народная власть! Ведь и грамоты кот наплакал, а сколько в нем страсти, самоотверженности, энтузиазма, стремления во все вникнуть самому, дойти до сути. Таких людей могла породить только Великая Революция, та, что свершена народом.

Сколько людей познал за эти годы Таганов, сколько ярких человеческих судеб прошло перед ним... Испытание временем выдержала дружба Ашира с Игамом Бегматовым. Когда Таганова оклеветали, то Игам и его жена Марина, глубоко убежденные в невиновности и искренней преданности своего товарища делу партии и народа, написали поручительство в Центральный Комитет Коммунистической партии (большевиков) Туркменистана, заявив, что не верят злым наговорам и готовы взять его на поруки.

Те месяцы были самыми тяжкими в жизни Ашира. Отстраненный от любимого дела, бессильный опровергнуть нелепейшие, выдуманные обвинения, он не находил себе места ни в Ашхабаде, ни в Конгуре. Глупость всегда обескураживала Ашира. В час испытаний супруги Бегматовы не оставляли своего друга, часто встречались с ним, поддерживали.

Старым друзьям, как и прежде связанным общим делом, вечно беспокойным, всегда находилось о чем поговорить; Игам Бегматов работал в отделе ЦК Компартии Туркменистана.

Ашир Таганов за все годы своей сознательной жизни, и особенно за время службы в органах ГПУ, убедился, что, с кем бы ему ни приходилось учиться, трудиться или воевать, все, кого считал коллегой, товарищем по партии, отличались человеколюбием, бескорыстием, обостренным чувством товарищества и дружбы. Он даже

не представлял, как бы сложилась его судьба без друзей, без семьи Бегматовых, без сотоварищей отца, без бывшего балтийского моряка Ивана Касьянова, освобождавшего Туркмению от белогвардейцев и английских интервентов, Ганса Розенфельда, служившего в свое время в кайзеровской армии по заданию революционной организации «Союз Спартака», а потом посвятившего себя целиком делу Октября... Им, истинным революционерам, подлинным интернационалистам, Таганов был обязан всем — собственной жизнью, жизнью близких, тех аульчан, которых банда Джунаид-хана не пленила, не убила лишь потому, что в Конгур вовремя подоспел чекистский отряд Касьянова и комиссара Розенфельда.

Казалось, давно это было и в то же время совсем недавно, в самом начале тревожных двадцатых годов. В кочевом ауле, где джунаидовские всадники успели сжечь юрту Тагана, а сотник Хырслан увез сестру Ашира, юную Джемал, и сделал ее своей женой.

Со сгоревшей юртой кануло в прошлое и старое. Семье Тагановых чекисты отстроили новый дом, не хоромы, но все же это был свой кров, родной очаг. И вчерашний кочевник Таган, еще приглядывавшийся к незнакомым людям, к новой власти, понял, что у него с Советами дорога одна. Он вступил в красноармейский отряд, чтобы бороться против Джунаид-хана, со всеми, кто еще вчера помыкал такими, как он, Таган, бедняками. Таган и его односельчане, взявшиеся за оружие, знали, за что воевали, — не только за свободу, за право жить без вражды и насилия, но и за землю и воду, которые им дала новая власть. О таком раньше, даже год назад, они и мечтать не смели.

А когда отец Ашира, командовавший уже особым чекистским отрядом, погиб от рук басмачей, то первыми, кто разделил горе с семьей Тагановых, были Касьянов и Розенфельд. Они приезжали в Конгур и на годовщину памяти Тагана, сидели в кругу аульных аксакалов, вспоминая, каким искренним, честным человеком прожил свою жизнь их односельчанин. Касьянов вспомнил, что Таган питал особую привязанность к Розенфельду. Видно, за самоотверженность и отвагу, с какой он, немец, находясь вдали от своей родины, на чужбине, по своей доброй воле бился за счастье и свободу маленького народа в Каракумах. Надо родиться с великим сердцем, чтобы, забыв личное, посвятить свою жизнь другим.

И тогда, в тот вечер в родном Кунгуре, Ашир Таганов решил стать коммунистом. Со временем он вступил в ряды партии по рекомендациям Касьянова и Розенфельда, разглядевших в юноше задатки будущего чекиста.

Добро родит добро. «Дыня у дыни цвет набирает», — говорят туркмены. Рядом со спелым плодом зреет такой же. Рядом с Касьяновым и Розенфельдом Ашир Таганов не мог быть иным.

Не без влияния Таганова рос Мурад, старший сын Дурды-бая, одного из крупнейших феодалов, не захотевшего смириться с тиранией Джунаид-хана и решившегося вместе со своим родом перейти на сторону Советской власти. Но Джунаид-хан подло и жестоко отомстил «изменнику»: Эшши-бай исполнил коварный замысел отца, убил Дурды-бая и многих его ближних, а в убийстве обвинил... чекистов.

Грязную игру хана разгадали. Родные Дурды-бая, его дети, чудом оставшиеся в живых, ушли от Джунаид-хана, не захотели погибать во имя «зеленого знамени пророка».

Мурад Дурдыев поначалу жил в Ташаузе, Хиве, закончил школу, а затем о своем решении продолжить образование написал Таганову. Чекист принял участие в судьбе Мурада и посоветовал поступить на ашхабадский рабфак.

Аширу живо представился веселый, неунывающий Аташ Мередов, бывший чабан с пресноводного озера Ясга, что в сердце Каракумов. Тот самый, который по совету Таганова вступил в комсомол, стал чоновцем. Во всем кавалерийском эскадроне не было равного ему меткого, бесстрашного пулеметчика, находчивого джигита, следопыта. После нескольких лет службы в чекистском эскадроне, принимавшем участие в разгроме басмаческих банд, Аташ уехал в город учиться и, неожиданно обнаружив в себе талант артиста, поступил в театральную студию. Конечно, тут опять не обошлось без Ашира Таганова, все еще питавшего слабость к своей первой профессии.

Мысли Ашира прервал тихий голос Огульгерек:

— Ашир-джан, душа моя, поздно уже... Иди домой. В аулсовете уже лампу зажгли. Опять Агали с Айгуль будут полуночничать.

— Хорошо, мама! Ты иди — я приду. — Поливая саженцы из ведра, Ашир невольно отыскал глазами стоявшее напротив приземистое помещение аулсовета, где за

окном вдруг мелькнула тень Айгуль. Еще не отдавая себе ясного отчета, он выпрямился, и ноги сами понесли его к аулсовету.

В памяти Таганова невольно высветился тот далекий осенний день, день свадьбы Айгуль и Нуры... Сколько душевных мук стоило ему тогда заставить себя прийти на той-свадьбу и, не потеряв самообладания, сесть в круг играющих в «колечко», веселить гостей, шутить, смеяться, а после сидеть со всеми и, словно ничего не случилось, слушать песни Сахи, любимого во всей округе бахши — народного певца.

После свадьбы и даже после того, как Нуры сбежал за кордон, Ашир не раз встречался с Айгуль. Какой он ее только не видел: жалкой и беспомощной тогда в горах, когда ее, подавшуюся за мужем, отбили от басмачей; помнил грузную, ходившую на сносях, изуродованную коричневыми пятнами, растекшимися по всему лицу; видел веселой, жизнерадостной, заправлявшей делами аулсовета, строгой и решительной, когда раскулачивали Атда-бая...

И Ашир уже в который раз терзал себя: «Где истина? Почему она любит беглеца, изменника?.. Он-то, Нуры, ее любит? А если и любит, что от того?.. Его-то нет!»

Таганов решительно толкнул дощатую дверь аулсовета, да так усердно, что потоком воздуха поколебало пламя десятилинейной керосиновой лампы, висевшей на стене. Из-за стола поднялась Айгуль, все такая же порывистая, стройная, и, увидев Ашира, всплеснула белыми руками, смущенно прикрыла тыльной стороной ладони радостно сверкнувшие глаза:

— Заходи, Ашир... Что так поздно?

А он, не сводя с нее глаз, молчал, не решаясь сказать всего, о чем только думал, направляясь сюда. «Все ждешь... его? — спросил он лишь одними глазами. — Сколько можно?» — «Жду... — так же молча ответила она. — До самой смерти...» — «Скажи только — да, — продолжал он бессловесный диалог, — и твои дети станут моими. Я их люблю, как тебя, — ведь в них твоя кровь, частица твоего дыхания...» — «Нет, Ашир-джан, ты достоин большего, святого... Я тоже люблю тебя... Как брата — не больше».

— Нуры нет, считай, что его нет. — Ашир задыхался. — Изменив Родине, он изменил и тебе...

— Сердцу не прикажешь. Ты светлый человек, Ашир-джан, тебе это трудно понять... Это пытка, но моя...

— Но нельзя жить одним сердцем, есть еще чувство долга перед детьми, людьми, перед собою наконец. Язык не поворачивается, но Нуры — убийца, на нем кровь не одного Мовляма, он предатель...

— Но я его люблю! — выдохнула Айгуль.

— Одумайся, Айгуль! Неужели тебе все равно, кто будет отцом твоих детей? Что ты им скажешь, когда они спросят, кто их отец, каким человеком он был...

— Тебе, Ашир, не понять этого... У тебя человек должен быть красным или белым, середины у тебя нет.

— Да, только так! Мне больно, что ты, секретарь аулсовета, руководитель Советской власти в нашем ауле, рассуждаешь как незрелый элемент. Время сейчас такое: кто не с нами, тот наш враг. В мире идет классовая борьба, и в этой борьбе у каждого человека есть свое место в строю: он служит или добру, или злу... И если человек не может этого разглядеть, значит, что-то застилает ему глаза... Но оставим, Айгуль, этот разговор... Мне нужна ты... Я буду не только хорошим мужем, но и... отцом твоих детей. Понимаешь?..

— Я все прекрасно понимаю, Ашир-джан.. Знаю, что ты был бы чудесным мужем и прекрасным отцом. Не каждый туркмен, особенно молодой, решится на такой шаг... О таком муже мечтает любая женщина. Это не приснится даже в самых красивых снах... — Айгуль затуманенным взором смотрела на Ашира, подалась всем корпусом в его сторону — он протянул к ней руки, почувствовал запах ее волос, обнял за гибкую талию и, ощущая всем телом ее тепло, застыл в какой-то сладостной истоме, не веря тому, что происходит. Но Айгуль вдруг оттолкнула его и, на ходу поправляя сбившийся с головы платок, бросилась к окну — за дверью послышались шаркающие шаги Агали Ханлара.

Вскоре Ашир Таганов уехал в Ашхабад, его досрочно отозвали из отпуска. До отъезда он искал встречи с Айгуль, но она упорно избегала, зная, в какое смятение повергла его. В еще большей тревоге находилась Айгуль сама. Что произошло там, в конторе аулсовета: может, нежданно проснулась любовь к Аширу или то — минутная слабость молодой женщины?

* * *

— Так вон вы какой, батенька! — Высокий незнакомый человек в полувоенной форме поднялся из-за стола навстречу Аширу, поздоровался с ним и, не давая опо-

мниться, продолжил: — Наслышан о вас, наслышан... А я — Стерлигов Василий Родионович, новый коллега ваш, одним словом, и сосед по дому... Пока вы были в отпуске, устроился в этом кабинете. Теперь будем вдвоем здесь. Не возражаете?

Ашир уже заметил, что напротив его стола, в нескольких шагах, появились новый двухтумбовый стол, пара стульев. Вспомнил, что из Москвы уже давно ждали нового работника, выпускника чекистских курсов.

— Да тут места и на четверых хватит, — приветливо ответил Таганов. — Кибитка в кибитке не уместится, а аул в ауле уместится... А мы с вами и в одной кибитке уживемся. Главное, чтобы на душе было просторно...

— Во, во! — радостно вскрикнул Стерлигов. — Вы говорите как раз теми словами, которых мне не хватает. Понятное дело, вы местный, и вашими устами глаголет сама народная мудрость... Вы знаете, я долгое время был журналистом, пока чекистом не стал, и посему неравнодушен, батенька, к слову... Мне не хватает знания местных обычаев, нравов. Касьянов говорил, что вы дока по части знания национальной психологии, привычек... Так давайте условимся: вы мне будете помогать, а я вам. У меня за плечами — жизнь, опыт большой, я вас многому, многому могу научить.

Последние слова Стерлигова прозвучали как-то покровительственно. Правда, Таганов не сомневался, что его новый коллега, хотя и равен с ним по должности, но, судя по внешности, большой залысине и прорезавшимся морщинам на лбу, старше Ашира на добрых лет пятнадцать-восемнадцать.

Стерлигов обворожительно улыбнулся, и Ашир не обиделся на тон нового коллеги, с лица которого не сходила улыбка. Таганов искренне обрадовался появлению в коллективе бывалого человека; в аппарате управления уже ходили слухи, что Касьянова отзывают в Москву. А тут из самой столицы прибыл грамотный, образованный работник, учившийся до революции в Парижском университете, в прошлом репортер одного военного издания, которое выходило в Петербурге, а после Октябрьской революции вступивший в большевистскую партию. Как тут не радоваться, что в полку чекистов прибыло.

— А у меня, батенька, для вас новость. — Стерлигов почему-то посмотрел на дверь и, перейдя на полуше-

пот, сказал: — Тут я одно дело раскручиваю... Вышли мы на одного двойника, служил немцам и англичанам... Ходил курьером в Париж, Берлин, в Мешхед... В Берлине он встретил вашу сестру и ее мужа, подвизающихся в националистической организации, которую возглавляет Мустафа Чокаев. Это вот, батенька, все, что я могу вам сказать о вашей сестре. Вы с Назаровым поговорите, он тоже знает. Только, ради бога, на меня не ссылайтесь. — И он, не переставая улыбаться, приложил палец к губам.

Первым душевным порывом Ашира была признательность Стерлигову за долгожданную весточку о Джемал, словно канувшей в воду. Он только собрался открыть рот, но заметил, что Стерлигов как-то внутренне обеспокоен: наверное, казнился, что вот так сразу, при первом же знакомстве, выдал служебную тайну. Не по себе стало и Аширу: никогда бы он так не поступил. Но тут же упрекнул себя — нельзя быть придирой и буквоедом!..

Вскоре Чары Назаров подтвердил, что действительно Джемал и Черкез, завербованные немецкой разведкой, жили под Берлином, в местечке Арендорф, где прошли специальное обучение под руководством некоего Вилли Мадера. Сейчас их куда-то перевели, но куда — неизвестно. Джемал после смерти Хырслана стала наследницей его больших богатств, вышла замуж за Черкеза. «Твоя сестренка, — сказал с горькой усмешкой Чары Назаров, — богаче халифа багдадского. Да не в радость ей эти богатства. Знаем мы о них кое-что... А националистическая организация — это их «крыша». Хозяин же у них один — германская разведывательная служба. Судя по всему, их готовят забросить к нам...»

Всякий раз Ашир Таганов, думая о Джемал, невольно вспоминал о первой встрече со Стерлиговым, оставившей в нем смешанное чувство к своему новому коллеге. Таганов стал забывать об этом и вовсе забыл бы, если не один случай.

Чары Назаров перед отъездом на один из участков границы, где ожидалось вторжение басмачей, пригласил к себе Таганова и Стерлигова.

— Вам задание. Продумайте операцию, подобную с отрядом Аманли Белета. Подберите вожака, командира отряда, составьте легенду. Помните об указании Центрального Комитета Компартии Туркменистана — бой с басмачеством выиграть без крови, в крайнем

случае малой кровью... В этом гуманная цель операции....

Обговорив кое-какие детали предстоящего задания, ответив на некоторые вопросы чекистов, Чары Назаров протянул им на прощание руку, но, заметив, что Стерлигов топчется на месте, спросил:

— Василий Родионович, вам что-то неясно?

— Но кто из нас будет старшим за разработку операции?

— Ответственным назначен Касьянов. — Чары Назаров прикусил нижнюю губу, он сдерживал улыбку. — Вы старше опытом. Тут ваше слово. Таганов хорошо знает людей, местные обычаи. Пережил горечь утраты Аманли Белета. Как говорится, за одного битого двух небитых дают.

Стерлигов обиженно поджал рот. Вскоре Таганов спросил коллегу:

— Может, обговорим задание? У меня кое-что есть...

— Что вы, батенька! Времени у меня не было.

Таганов недоуменно пожал плечами: после отъезда Назарова прошло почти два дня.

— Я, батенька мой, на пирах и балах не думаю о делах. — Стерлигов выразительно взглянул на Таганова: — Не подумайте плохого, ни на какой гулянке я не был. Есть у меня непреложное правило: кончилось рабочее время — прочь дела! Пусть хоть горит! — И тут же поправился: — Для пользы же дела... Стоит ли голову по вечерам ломать? Утро вечера-то мудренее...

Таганов вышел из кабинета, рабочий день близился к концу, и ему хотелось пройтись пешком, побыть наедине с собою. Он поймал себя на мысли, что думает о Стерлигове... Вспомнился Новокшонов... Но тот был враг. Обжегшись на молоке, надо ли дуть на воду? Касьянов, хорошо знавший Стерлигова, его родственников, рассказывал как-то о новом работнике.

Стерлигов родился и вырос в семье революционеров-народников. Отца его судили по делу знаменитого в России народовольца Германа Лопатина, приговорили к смертной казни, которая перед самым исполнением была заменена пожизненной каторгой. Глухие сибирские поселения, серые арестантские рубища, холодные казематы, мрачные бараки — вот что увидел в далеком детстве Вася Стерлигов.

И вдруг как гром среди ясного неба в колонне ссыльных, вернувшейся из тайги, стража недосчитала одного

человека — им оказался Родион Стерлигов. Об исчезнувшем говорили всякое: медведь задрал, в пропасть угодил, горная река поглотила... Местное жандармское начальство, чтобы не держать ответа перед дотошными чиновниками департамента политической полиции, отписало в столицу: «утоп ссыльный».

Вскоре маленький Вася с матерью собрались в Петербург, домой, но семье «опасного преступника и смутьяна, взбунтовавшегося супротив самодержца всея Руси», в столице поселиться не позволили; пришлось ехать в Казань, где жили родители Родиона Стерлигова, люди богатые, торговавшие с местными башкирами и татарами, а через них поддерживавшие связь и с влиятельными крымскими ханами, купцами. Правда, дед Федосей, то есть Стерлигов-старший, не очень распространялся о своем «заблудшем сыне, ударившемся в революцию», но местное общество знало о том, осуждало Стерлиговых, хотя и втихомолку: богач умел затыкать рты.

Через год, когда юный Вася смирился с потерей отца, мать неожиданно стала собираться в дорогу, за границу.

И они поехали в Париж, где на вокзале их встретил... отец. Живой и невредимый, только чуть располневший, с усиками и бородкой, совсем непохожий на Родиона, месившего грязь по сибирским трактам.

Из Парижа они отправились в Константинополь, к голубым босфорским водам, где в живописной бухте раскинулся город.

Когда же в России в 1917 году свершилась революция, слетел двуглавый орел, вернуться на родину Родион все же не решился: в ушах у него по-прежнему стоял кандальный звон и чавкающие непролазной грязью таежные дороги, мерещились голубые мундиры жандармов... Но Василия он отпустил. И прежде чем тот собрался в путь, они о чем-то долго говорили, не день и не два...

О чем могли говорить перед дальней дорогой отец и сын?

...Таганов и Стерлигов жили в ведомственном доме, дверь в дверь, и окна их выходили в большой двор, засаженный акациями. Они в одно время выходили из дому и вместе шли на работу, случалось, что и возвращались вдвоем.

Ашир, шагая рядом со Стерлиговым, ловил себя на том, что его почему-то забавляла картинная внешность

коллеги, его нарочитая горделивость, размеренная походка, манера разговаривать, не стирая с лица улыбки. Вообще чем-то он напоминал артиста, репетирующего новую роль.

Они шли подле друг друга, точнее, Стерлигов на полкорпуса впереди, высокий, лысоватый. Иногда он, как конь, вскидывал голову, оглядывая синь утреннего неба, изумрудную зелень ашхабадских улиц, и, казалось, каждой своей клеточкой осязал бодрящую свежесть ветерка и тепло первых солнечных лучей. С безмятежной улыбкой он входил в здание управления, открывал дверь кабинета, садился на свое рабочее место и, тяжко вздыхая, нехотя открывал ящик стола. В рабочее время, особенно после обеда, Стерлигов часто поглядывал на часы. Как только стрелки показывали конец трудового дня, торопливо собирал бумаги, опечатывал сейф и, не дожидаясь Таганова, уходил домой. Прежде чем выйти из кабинета, он придирчиво оглядывал себя. Внешне все безукоризненно: белоснежный подворотничок, глянцево выбрит, сапоги вычищены до блеска — глядись как в зеркало.

Однажды, доставая из кармана завернутую в бумажку бархотку, Стерлигов спросил у Таганова: «Читали Чарлза Диккенса? Советую! Есть у него один герой, как я, умудренный жизнью... Он любил поучать своего юного друга, что блестящую карьеру можно сделать только с начищенными до блеска башмаками. Это так запало в мою память, что я надраиваю свою обувь с самой гимназической поры. Но, как видите, батенька, карьеры еще не сделал... В таком возрасте моя должность — это, как говорится, не Рио-де-Жанейро... Видать, не фортуна!» — И Стерлигов деланно засмеялся, поджав большой рот. Он так делал каждый раз, когда злился.

Спустя дня два Таганов вновь завел разговор о задании начальника отдела, и Стерлигов с готовностью изложил план организации чекистского отряда «Свободные туркмены»...

Ашир, выслушав коллегу, не поскупился на похвалу, — действительно, замысел операции отличался простотой, оригинальностью решения. Стерлигов удовлетворенно заулыбался, хотя идея создания отряда принадлежала самому Чары Назарову. Но Стерлигов развил, дополнил ее деталями. Ашир уже было искренне пожалел, упрекая себя в несправедливости по отношению к своему товарищу, но обратил внимание, что в до-

кладной, подготовленной Стерлиговым, где обстоятельно излагался порядок проведения операции, не называлась кандидатура командира отряда «Свободные туркмены».

— Думал я, батенька, и над этим. Есть на примете один человечище! Это он знает о вашей сестренке.

— Ему можно верить? — Ашир недоверчиво сузил глаза. — Кто такой?

— Да басмач басмачом, батенька! Но его можно... к ноготку. Будет прислуживать как миленький. Жить небось хочет...

— Откуда его родичи? Когда в басмачах ходил? Какой национальности?..

— О родичах, батенька, мне ничего неведомо. Да и не любопытствовал я — ни к чему! Контрабандист. Его имя в миру басмаческом известно. При чем тут его национальность?! Перс он, мусульманин.

— Вам лучше его знать, Василий Родионович, но, думается мне, много мы с ним не наработаем. В таком серьезном деле нам нужен человек преданный, совестливый. Другое дело, если он осознал свою ошибку, сам пришел к мысли, что должен помочь Советской власти... А не после того, как его прижмут к ноготку...

— Вы, батенька, красно глаголете. — Стерлигов заерзал на стуле, затем заходил по кабинету, не сводя глаз с Ашира; в его глазах мелькнула неприязнь. — Мы-то ведь одни, зачем разводить демаго... зачем краснобайствовать.

— Вот вы говорите, что предлагаете мусульманина. — Таганов пропустил мимо ушей реплику Стерлигова. — А ведь «наши» басмачи — сунниты, а «ваш» перс наверняка шиит. Это, знаете, равносильно тому, что примирить ярого католика и ревностного православного, хотя они исповедуют одну религию — христианство. Басмачи не поверят шииту.

— Да вы никак пичкаете меня прописными истинами, — нетерпеливо перебил Стерлигов. — Я это давно усвоил.

— Согласен, — примирительно улыбнулся Таганов. — Но я не утверждаю категорически, что мои суждения идеальны... Феодалы, родовые вожди, страшившиеся единения народов, всегда пренебрежительно отзывались о других народах. Ненависть, неприязнь они прививали и к персам, давая им презрительные клички. Это подогревали и духовники. Так из века в век, из поколения в поколение... При формировании отряда с

этим не считаться нельзя. Придется учесть и другое... Племенные и родовые отношения. У туркмен, как вы знаете, еще существуют племена, роды, даже колена. Так вот, если в отряде будет много иомудов, то придется во главе ставить представителя из племени иомудов. Над текинцами должен стоять «главарь» из племени теке. И здесь есть одна тонкость: текинцы бывают марыйские, ахальские, теджениские. Для нас, большевиков, это не имеет ровно никакого значения. А у басмачей родовые отношения на первом плане. Мы знаем — Джунаид-хан рубил головы людям только потому, что они родились текинцами, а не иомудами, как он. У него было в привычке оскорблять текинцев... Правда, в презрительных кличках текинцы тоже не оставались в долгу. Да и между самими текинцами тоже свара... Стоит послушать иного марыйского феодала, так он и ахальского текинца не считает за туркмена, дескать, истинные туркмены — это марыйские, ибо они «белая кость», «голубых кровей» и так далее и тому подобное. Конечно, такая рознь была на руку феодалам, родовым вождям, которые страшились объединения туркменских племен, простых людей.

Таганов глянул на Стерлигова, тот слушал его с натянутой улыбкой.

— Вы мне, батенька, — глухо вставил Стерлигов, — только из Корана не прочли...

— Нам и Коран знать не грешно. — На высоком гладком лбу Ашира собрались морщинки. — Мы должны знать и оружие врага. В моем родном Конгуре каждый малыш был напичкан изречениями из так называемой священной книги мусульман... Коран что-то подзабыл, а вот кое-что из Библии помню... В Новом завете есть слова Иоанна Крестителя: «И не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи...»

— Браво, браво, батенька. — Стерлигова шокировали познания Ашира, во всяком случае, он не ожидал такого ответа. — Может, вы и катехизис так проштудировали? — Но тут же осекся и, заложив руки за спину, резко спросил: — Что вы хотите этим сказать? Кто это — «И не войдет»?

— Я имею в виду «вашего» перса, — спокойно ответил Таганов. — Правда, у нас нет ничего общего с Иоанном Крестителем, но в наше святое дело должны входить люди с чистыми помыслами, а не всякая

там мерзость... Не думаю, чтобы этот контрабандист и шпион, который думает лишь как бы поскорее смыться, будет печься о судьбе заблудших дайхан. Не верю!

— Мне говорили, что вы дипломат, — Стерлигов решительно направился к двери, — но вы еще и большой демагог. Да, демагог! Вы оскорбили меня, а теперь пытаетесь извернуться. Как это называется? Восточные штучки? Я это так не оставлю! — И Стерлигов, в сердцах хлопнув дверью, выскочил в коридор.

Вскоре Таганова вызвал к себе Касьянов. В его кабинете, нахохлившись, сидел Стерлигов. Касьянов глазами указал на свободный стул, стоявший рядом с большим рабочим столом, напротив Стерлигова.

— Тут мне Василий Родионович рассказал про отряд, — ровным голосом начал Касьянов. — Блестяще разработана операция. Ни к чему не придерешься. Спасибо вам за умные мысли...

— Это заслуга Василия Родионовича, — вставил Таганов.

— Разработка, конечно, дело серьезное, творческое, — нетерпеливо повел плечами Касьянов, недовольный тем, что его перебивают, — но пока это полдела. Гвоздь — как осуществить операцию... Без сучка и задоринки. — Поморгав глазами, будто в них попали соринки, неожиданно спросил Ашира: — Так кого ты прочишь в командиры?

— По-моему, есть две кандидатуры. Первая — Мурад Дурдыев, сын Дурды-бая, убитого Эшши. Тогда Джунаид-хан распустил слух, будто Дурды-бая убили мы, но сын знает всю правду. Дед у него был крупным ахуном... Тоже в пользу нашей легенды. Убедительно: дескать, Мурад воспылал ненавистью к большевикам, мстит за своего отца. Хырслан, бывший сотник Джунаид-хана, что Джемал похитил, был его родным дядей...

— Вторая кандидатура?

— Атали Довранов. Хотя предпочитаю первого... Второй — бывший басмач, но бедняк, сын батрака. У Хырслана ходил в вожаках десятки, пользовался благосклонностью Джунаид-хана. — Ашир чуть помялся, словно раздумывая, стоит ли продолжать: — Он зятем мне доводится, женат на Бостан.

— А, этот самый... — протянул Касьянов, но его перебил ядовитый голос Стерлигова:

— Вот так-то оно... Зятечку своему протекцию в ГПУ составляем...

— Я не рекомендую своего зятя на пост председателя Совнаркома. Мое дело предложить, и криминала в том не вижу!

Стерлигов вскочил с места, но, заметив укоризненный взгляд Касьянова, опустился на стул.

— Вы свободны, товарищ Таганов, — сказал Касьянов. — Подумаем.

Едва за Аширом закрылась дверь, Стерлигов нарушил молчание:

— Да-а-а... Не такой уж он простачок...

— Мы его простачком не считаем, — возразил Касьянов. — Это думающий работник. Честный, стойкий партиец, за дело болеет...

— Оставим этот разговор, батенька, — сморщился Стерлигов. — Не на трибуне же мы... Поговорим, как на духу... Все мне обрыдло, почти всю жизнь на Туретчине прожил, а тут не успел Русью надышаться — сюда загнали. От турков уехал — к туркам же приехал. Что в лоб, что по лбу.

— Вы сопоставляете несопоставимое, — строго произнес Касьянов. — Туркмены и турки не одно и то же. Так рассуждают буржуазные националисты, которые пытаются подогреть в иных туркменах нездоровые чувства, объявить их насильственно разъединенными братьями. За этой демагогией кроются далеко идущие планы пантюркистов. Вы чекист, и я вам не советую разделять такие настроения...

— Да что это вы все взялись меня поучать! — взорвался Стерлигов. — Я, товарищ Касьянов, пожалуй что постарше вас годами, хотя чином пониже. Я ведь могу и в Москву отписать...

— Это ваше право. Но мой вам совет — прислушиваться к мнению своих товарищей. Если даже они и моложе вас. Категоричность не признак правоты... Человек, думается мне, не должен монополизировать свое мнение... Высокая культура и такт — вот что свойственно чекисту, а чекистом может быть только человек безупречно честный, с большим сердцем.

— Я снова боюсь быть непонятым, — вкрадчиво заговорил Стерлигов, заметно успокаиваясь. — Наговорю с короб, не подумавши, а потом терзаюсь... Но я прямой — все на языке. Вот вы, товарищ Касьянов, гово-

рите все правильно, ничего не скажешь. Сами же, слышал, уезжаете... А когда нам отсюда доведется выбраться? Унесем ли ноги подобру-поздорову?

— Тут моей кровью каждый вершок полит. — У Касьянова на скулах заходили желваки. — Я тут еще с гражданской... И не моя вина, что меня отзывает Москва. Все мы — солдаты партии. Отзовут вас — и вы поедете. Кадры здесь свои, национальные, растут. Пора им дорогу давать. Была бы моя воля, ни за что не оставил бы я эту землю. С ней столько связано... Народ тут чудесный. Если уж поверит, то верит до могилы, если полюбит, то любит без остатка, всем сердцем... Чтобы жить на этой земле, работать, надо любить ее людей, знать их нравы, обычаи, язык — вон как Сережа... — Касьянов тут же поправился: — Сергей Щербаков. Что твой туркмен... И любят его здесь как родного, и работать ему легко. Туркмены — народ впечатлительный, вы не смотрите, что неразговорчивы, они наблюдательны... Не углядят, так сердцем почуют. Обидчивы. У туркмен есть поговорка: малый народ обидчив. Думаю, тут есть доля истины... Как и среди каждого народа — и хорошие есть и мерзавцы... В семье не без урода.

На столе зазвонил телефон. Касьянов крутнул ручку аппарата, поднял трубку. Несмотря на сильные помехи, Касьянов узнал голос начальника пограничной заставы «Дальней». Этот по пустякам беспокоить не станет: в районе Кушки границу перешли шестьдесят три всадника и углубились на нашу территорию. Пограничники навязали им бой, но нарушители разбились на два отряда — один из них вернулся за кордон, другой скрылся в Каракумах. По непроверенным данным, второй отряд возглавляет Эшши-бай, хотя предполагалось, что вернется сам Джунаид-хан. Ведь он увез с собой долговые расписки и кое-кому грозил, что если не умрет, то непременно вернется за должком. Значит, решил сына прислать.

Касьянов уточнил, нет ли потерь с нашей стороны, как вооружены нарушители, сколько их углубилось в пустыню и что предпринято для организации преследования басмачей. Сделав пометки в блокноте, поднял озабоченные глаза на безмятежно сидевшего Стерлигова.

— Нас партия прислала сюда не за чинами. — Касьянов похлопывал широкой ладонью по блокноту, будто успокаивая себя. — И не эмиссарами мы присланы

сюда и не саблями размахивать, а людей из тьмы выводить, с классовым врагом бороться, национальные кадры пестовать. И если мы с вами, как русские люди, большевики, будем заниматься... верхоглядством, с пренебрежением относиться к людям, то это будет не что иное, как попрание национальной политики партии. Мы подорвем доверие к себе, а значит, и к партии, и к Советской власти... Ашир Таганов — сознательный товарищ. Если кто-то и наломает дров, он поймет это как надо, как ошибку чью-то, и не будет относить это ко всей партии. Но ведь у нас еще, к сожалению, не все такие... А Таганов, впрочем, парень правильный. И насчет кандидатуры командира отряда он прав, а вы ошиблись... Жизнь у парня тяжелая. Отца его басмачи замучили, сестренка вон где. Не захочешь в его шкуру-то. А вы — «одним миром мазаны»... У парня большое будущее, из него вырастет чекист высокого класса...

Стерлигов, давясь, проглотил слюну, у него непроизвольно выступил кадык, а глаза недобро блеснули.

* * *

Айгуль, улыбающаяся и смущенная, стояла в дверях, топчась на месте, не решаясь пройти в комнату, где у раскрытого окна Ашир деловито заправлял свою койку. Он не верил своим глазам: Айгуль?! И в такой ранний час. Да, это была она, загорелая, в легком длинном платье, в косынке, чуть запыленной с дороги.

Ашир не сразу нашелся, чтобы пригласить гостью в комнату, взять из ее рук узелок, предложить умыться с дороги. И только беззаботный смех привел его в себя — он бросился к ней со всех ног, потом кинулся на кухню, зажег керосинку, загремел посудой.

За чаем Айгуль передала Аширу приветы от матери, от сестренки Бостан, выложила присланные из дому гостинцы: связку сушеной дыни, маленький бурдючок тошапа — арбузного варенья, талхан — сладкое толокно из жареной пшеничной муки и толченых дынных семечек, приготовленное матерью по особому рецепту, поведала об аульных новостях, о себе. Приехала она в Ашхабад по приглашению Совнаркома на трехдневный семинар руководителей аулсоветов.

Тот день был выходным, и Ашир никуда не собирался. Не спешила уходить и Айгуль, хотя прекрасно понимала, что Ашир непременно заведет разговор, который ей не хотелось, чтобы состоялся сейчас. И когда Ашир посмотрел на нее потемневшими глазами, Айгуль умоляюще проговорила:

— Не надо, Ашир-джан! Молчи! Ох, дура я, дура!.. Зачем пришла? Да не устояла перед Огульгерек-эдже... Так она просила повидать тебя. Сама мать, понимаю...

— Неужели ты могла не прийти?.. Я так счастлив... — Ашир погладил ее рукою свою щеку. Ладонь была теплой и мягкой, у тонкого запястья билась, вздрагивая, синеватая прожилка. — А я бы хотел, чтобы каждая наша встреча была праздником...

— После того вечера я много думала о тебе, над твоими словами... Никто так меня еще не любил, как ты. Но мы, ты сам говорил в прошлый раз, уже в таком возрасте, когда живут умом. К сожалению... Не хочу, понимаешь, не хочу связывать тебя своими детьми. Поперек твоей дороги становиться не хочу. Ну поженимся мы, ну поплывем с тобой к одному берегу... Что потом? Тебя же уволят из органов... Скажут — женился на вдове басмача, предателя... И отца тебе припомнят, и Джемал. Свет белый покажется не мил, и я опостылею тебе, любовь твоя ко мне погаснет...

— Не то говоришь, Айгуль. Ты просто не знаешь меня... У меня есть учитель, Розенфельд, душа человек, друг отца. Так он любит повторять: «В моей жизни на первом плане — работа, мое дело, на втором — жена, семья». Я очень уважаю, люблю этого человека, до сего времени считал, что он прав... А у меня на первом плане стала ты. Не мыслю жизнь без тебя, не мыслю, как еще можно так жить...

— Но я не хочу такой жертвы... Что скажут люди? Что мать твоя скажет, Ашир? Ведь туркмены не признают таких браков, скажут, молодой, неженатый, девушку, что ли, не мог найти?

— Людская молва меня не волнует! Главное, чтобы мы понимали друг друга, понимали, что возврата к прошлому быть не может... Я готов на любую работу, в театр пойду или учителем... Могу в колхоз... Один у меня грех — тебя люблю...

— Зато я не смогу простить себе этого...

Ашир обнял Айгуль за плечи, попытался привлечь к себе, но она отстранилась и оттолкнула его от себя — лицо ее было каменное, холодное.

— Не надо, Ашир... Не хочу быть тебе обузой, связывать тебя по рукам и ногам. Ты большего достоин. — Голос ее потеплел. — Не обижайся на меня, Ашир-джан. Со мной счастлив не будешь. Такие, как я, счастья не приносят... — Айгуль поднялась и, подойдя к двери, кинула с порога: — Не ищи, Ашир, со мной встреч...

И она ушла, оставив после себя легкий запах дорожной пыли, домотканого кетени, из которого туркменки шьют себе платья, и душистой мяты, той самой мяты, что растет на берегах горного Алтыяба... Ашир обвел тоскливым взглядом свою большую комнату, и она показалась ему такой опустевшей, неуютной, что стало не по себе.

Во дворе он увидел странное зрелище. Стерлигов, одетый в домашний халат, в тапочках на босу ногу, и его жена, высокая дородная женщина, тоже в халате, гонялись по двору за лохматой белой собачонкой, с визгом увертывавшейся от камней и палок, которые швыряли в нее супруги. Бедная дворняжка, высунув язык, метнулась под широкий топчан, стоявший напротив окон Ашира. Это неказистое деревянное сооружение Таганов сколотил сам, и летом, когда к нему наезжали земляки, они отдыхали, пили на нем чай.

— Что вы делаете? — удивился Таганов. — Чем эта бедняжка провинилась?

— Вы, батенька, молодой. Вам хоть из пушек над ухом стреляй. — Стерлигов, тыча длинной палкой под топчан, норовил попасть в собаку. — Она, стерва, всю ночь не давала спать... лаяла, носилась как угорелая.

— Да оставьте ее, Василий Родионович, — настойчиво попросил Таганов. Стерлигов, присев на корточки, бросал под топчан камни, метя в собаку, прижавшуюся к стенке. Ашир, взяв соседа под мышку, пошутил: — Видите, она перебежала на мою территорию и просит убежища...

— Ее надо к тиграм! — Стерлигов поднялся, отбросил в сторону палку, сказал жене: — Ступай, Маша, позвони в зоопарк, пусть собачий ящик пришлют... Ступай, ступай... Мне с коллегой поговорить надо.

Мария Кирилловна важно прошествовала мимо мужчин, бросила на Таганова загадочный взгляд. Стерлигов,

подхватив под руку Ашира, заговорщицки посмотрел по сторонам:

— Только, батенька, откровенно. — С лица Стерлигова не сходила улыбка. — Разумеется, только между нами. Мы с Марией Кирилловной видели вашу даму сердца... Красавица! Слышали невольно весь ваш разговор. Не обессудьте — дверь ваша была неплотно прикрыта, окна настежь. Тут уж хочешь, не хочешь...

— Вы же туркменского языка не знаете! — Таганов чувствовал, как все в нем клокочет. — И потом это мое личное дело.

— Вы, батенька, не лезьте в бутылку. — Стерлигов не переставал улыбаться. — Я вам добра хочу... Не кричите на весь дом, что вы ради любимой готовы ГПУ оставить. А не боитесь, что вас из партии... того, а? Вы только не кипятитесь, батенька. Я понимаю вас, понимаю, что ради любви можно пойти... пойти и на такой шаг. Но все это надо делать тонко, умно. Послушайте моего совета. А по-туркменски, батенька, я действительно ни в зуб ногой. Моя Мария Кирилловна хорошо знает туркменский. По матери она турчанка, родилась в Турции, росла в семье политэмигранта.

...Шли дни. Ашир, наезжая в Конгур, часто встречал Айгуль и всякий раз замечал, что она, увидев его, становилась совсем непохожей на себя, холодной, недоступной.

Может, пора прекратить терзать себя и ее — насильно мил не будешь. Но мучительный диалог Ашира с собою длился долго, пока он не открыл одну простую истину, которая решила все. «Допустим, она стала моей женой... Что тогда? — спрашивал он себя. — Я бы оставил привычный мне круг людей, Касьянова, Розенфельда, Назарова, с которыми связывают годы работы, дружба, святая память об отце... Выходит, ради себя одного я должен оставить свою любимую работу, общее дело, людей, которые ждут от меня многого. Неужели счастье человека, смысл его существования заключается лишь в одном: что мир мне даст? А что я дам миру? А если я буду жить самим собою, что я смогу дать людям? Что? Мои друзья вложили в меня частицу своего сердца, поделились душевным богатством, благодаря чему я стал тем, кем есть. А что я сделал, чтобы продолжить себя в

других? Что толку от цветка, если он не завязывается в плод? Какой прок от дерева, если оно не дает тени, не укрывает путника от жары? Стоило ли выходить в дорогу, если знаешь, что не дойдешь до цели... А цель — делать добро, вернуть миру все, что вложили в тебя другие. Еще больше. Сеять доброе значит бороться со злом. Сколько еще на земле нечисти, сеющей зло, несчастье...»

А что он, Таганов, сделал, чтобы помочь людям? Собрался бежать, уединиться с одной своей радостью, предав товарищей, друзей, забыв о долге. А ведь Ашир принадлежал к категории людей, у которых из всех чувств самым сильным и устойчивым была воля к своему долгу. А как же Айгуль?.. Где взять такую силу, чтобы отказаться от любимой? Но никто не одолжит мужества, человек должен найти его в себе сам... Такие, как Айгуль, любят только раз, до смерти. Неужели человеку отпущено любить лишь единожды? За всю, как целая вечность, жизнь... Один-единственный раз?! А впереди целая вечность. Айгуль понять можно. Она будет ждать.

И Ашир, думая об Айгуль, снова возвращался к себе... потом к Герте. Он, как сегодня, помнил первую встречу с ней, хотя с того дня прошло шесть лет. Это она, четырнадцатилетний подросток, взирая на него голубыми ясными глазами, назвала его: «Дядя!» А он решил, что ослышался.

Таганов, на чьих глазах Герта незаметно выросла, все еще относился к ней как к девочке-подростку, и он был немало удивлен, когда она, шутя, видно, где-то вычитанными словами, заметила: «Лучше не встречаться с первой любовью. Пусть она остается как святыня, как песня, которую не допели».

Глядя в ее ясные бездонные глаза, Ашир прочел в них любовь... Неужели? Да она любит, любит его, но он почему-то не замечал до сих пор, а девичья гордость не позволяла ей признаться в этом первой.

Таганов улыбнулся: вот узнала бы мать о Герте... Старая Огульгерек-эдже знала об Айгуль все, хотя делала вид, что ей многое неведомо. Она на всякий случай, подготавливая аульчан, говорила: «Сердце матери в сыне, сердце сына в степи... Только не во мне...»

А тут мать, не подозревавшая о существовании Герты, взбунтовалась бы: «Кого в дом приведешь?! Ни она

меня не поймет, ни я ее. Это на старости-то лет?! Уж не лучше ли тогда на Айгуль жениться?» И маму жалко... Огульгерек-эдже, все еще жившая под впечатлением гибели мужа, не смирившаяся с потерей дочери Джемал, приговаривала со слезами: «Время-то какое, сынок! Когда кровь человеческая перестанет литься?»

Время действительно было суровое: Советской власти шел четырнадцатый год, а Туркменской республике и того меньше.

Новые заботы, новые тревоги заслонили от Ашира Таганова его личную жизнь.

ВОРОН К ВОРОНУ

Состарился лис, лишился плут ловкости и прыти. Не страшились его теперь даже птицы: под самым носом безнаказанно разгуливали петухи и куры, безмятежно ворковали горлинки и голуби... Видит око, да зуб неймет.

Но повадкам своим лис все ж не изменял. Ночами напролет лежал, затаившись у сусличьих нор или у тушканьей тропы. Да что толку... Даже эти несчастные грызунишки, которыми раньше брезговал, не давались в лапы: лиса подводило чутье, ускользал вспугнутый зверек. От голода так подводило живот, гляди, к позвонку пристанет.

Зашастал лис по пустыне — хотя бы падалью разживиться. Повстречался ему шакал, тоже старый. За версту от него смердило мертвечиной. Сцепились они поначалу: прошлогоднюю кость дохлого верблюда не поделили. Запыхавшись, щелкали зубами, все норовили друг другу в горло вцепиться, да силенок не хватило, разошлись, поджав хвосты. Отдышались хищники, пригляделись один к другому, снюхались... Лис на выдумки хитер, надоумил своего нового однокорытника, как легче пропитание добыть.

Зарыскал шакал по Каракумам, разнося новость:

— Слышали? Старый лис остепенился, в содеянных грехах раскаивается. На дню пять раз молится, омовения исправно свершает... В чалму обрядился, в Мекку на паломничество собрался.

Верно рассчитал старый хитрюга: среди птиц нашлись набожные, что подумывали совершить путешествие к святым местам. Да не решались: до Мекки путь неблизкий, и страшновато одним в дорогу пускаться. А тут хоть лис, как ни говори, живая душа, все не чужой, из Каракумов... Судили-рядили птицы: «Как лис себя поведет? Не примется ли за старое?»

Пустыня ж слухом полнилась, только о лисе и разговору: «Образумился, поумнел...

Угрызения совести извели! Не хочет лис уходить из мира сего бандюгой».

Поверили легковерные птицы, подались с лисом за одну компанию. Он во главе торжественной процессии, а шествие замыкал шакал. Шли, шли... Добрались до караван-сарая. Отдых, час вечернего намаза. Осмелели птицы, встали с лисом и шакалом на молитву в один ряд. Хищники, улучив момент, бросились на беспечных пернатых и, переловив всех до единого, посадили в большие чувалы — шерстяные мешки.

Случилось так, что в то самое время мудрец Сулейман, повелитель всех зверей, животных, птиц на Земле, разглядывая в волшебное зеркало свои владения, увидел вероломство лиса и шакала.

Хищники хотели приступить к трапезе, как появился Сулейман, освободил пленниц и сказал: «Черный войлок белым не станет, старый враг другом не сделается».

Туркменская притча

По утрам густой туман держался в низинах рваными, клочковатыми полосами, пока не всходило солнце и не рассеивало его голубоватым дымком испарений. Земля, еще охваченная негой ночи, казалось, не проснулась и о чем-то шепталась с травами, с кустами, росшими вдоль реки, с горами, заслонившими собой небосвод. В рассветный час все вокруг дышало безмерным покоем, налетавший ветерок, нежный посвист кекликов лишь сильнее подчеркивали девственную тишину нарождающегося осеннего дня...

И это утро, неспешное, ленивое, чем-то напоминало Джунаид-хану самого себя. Всходил новый день, с его радостями, заботами, а он вовсе не радовал старого хана...

Тоска эта была безотчетная, неясная, но гнетущая... Джунаид-хан садился на коня и скакал, пока его выносливый, как верблюд, аргамак не сбивался от усталости с шага. И вот сегодня, проснувшись еще затемно, хан, полагаясь на своего умного коня, мчался до тех пор, пока дорогу ему не преградила река. «Так это Ге-

рируд, — Джунаид-хан тут же озлился на себя, заговорил вслух. — Герируд, Герируд! Там, в Туркмении, где она течет по земле моих предков, ее называют Теджеком... А ты, старый дуралей, называешь ее Герирудом. Попал в воронью стаю — каркай по-вороньи. Что тебе остается?»

Джунаид-хан слез с коня, привязал его к горбатому тальнику и, тяжело переваливаясь, побрел вдоль реки. Шел, не оглядываясь, не озираясь по сторонам, не замечая, как потускнела над головой серебряная монета луны и как солнце прорезалось тонким лезвием на горизонте. Поднималось оно медленно, словно нехотя, заливая оранжевым сиянием горную гряду, косогор реки, жухлую траву под ногами. Медный шар солнца, будто поневоле, взбирался по небесной тверди, исполняя свое извечное движение над землей лишь потому, что оно было не властно над собой. Так и Джунаид-хан, мятущийся, был неволен собою, не отдавал себе ясного отчета, почему он просыпался среди ночи и помимо своего желания уходил куда глаза глядят, лишь бы подальше от людей.

Над головой сипло, по-старчески, с надрывом, проскрипела ворона. Здесь и вороны каркают по-иному. Не как дома... И хан, придерживая рукой новый мохнатый тельпек, задрал голову и, отыскав в небе паривщую птицу, позавидовал ей: «Подумать только, такая дрянь триста лет живет... Угомонись, хан, не гневи аллаха! Разве ты мало прожил? Тебе под седьмой десяток... Ты прожил больше пророка Мухаммеда. Ну постигла тебя неудача... Ты-то сам жив, дети твои живы, все добро при тебе. Своим богатством ты можешь затмить всех богачей Герата, Кабула, Мазари Шарифа... Ты на короткой ноге с генерал-губернаторами, завел дружбу с английским консулом в Мешхеде, к тебе шлет своих ходоков Мустафа Чокаев... У тебя есть друг Вилли Мадер. А Лоуренс, а Кейли? Тебе заглядывают в глаза русские белогвардейские офицеры. Перед тобой трепещет чернь, тебе хотят угодить афганские баи, к тебе благоволят Надир-хан и эмир бухарский... Чего тебе еще надобно?»

Самолюбивый, он даже себе не хотел признаться, что его больше всего озлила встреча персидских властей в Туркменской степи, куда подался в тот памятный год, в год Зайца. Странно все-таки устроен человек! Многое выветрилось из памяти... А вот события в Турк-

менской степи занозой сидели в сердце, видно, свежа еще была рана или стареет хан, что рассопливился подобно бабе... Что хорошего можно ждать от этих нечестивых шиитов.

За долгие годы басмаческих набегов, удач споткнулся ханский конь однажды. Никогда такого не случалось, а тут, проскочив границу, направляясь в Туркменскую степь, запнулся вдруг скакун. Да так, что чуть не вышибло седока из седла. Озлился Джунаид, приказал прирезать любимого коня, а сам пересел на другого. О небо! И этот конь споткнулся, и его прикончили нукеры. Повернуть бы хану, отказаться от своих намерений, да не увидел он в том сурового знамения и, словно горячий необъезженный скакун, закусил удила...

Поселился Джунаид-хан в Туркменской степи, между Гумбет-Хаузом и Бендер-Шахом, поближе к Каспию, не слишком вдаваясь на иранскую территорию. Хан знал, что возврата назад нет, но и персам не доверял. Шайтан их ведает, возьмут да запродадут его голову большевикам или еще похуже: обменяют на какого-нибудь богатого перса, попавшего в руки к красным.

Джунаид-хан изменил бы себе, если бы начал спокойную жизнь: не в его это было натуре. Он разослал по всем аулам Туркменской степи своих гонцов, сзывая аксакалов на большой маслахат — совет. Старейшины туркменских аулов собрались живо. Многие знали крутой нрав Джунаид-хана, а кто не испытал его на себе, уже был наслышан. Немало среди них было и соплеменников самого хана, ушедших от красных вскоре после революции и поселившихся в Иране. Несладко им жилось на чужбине, где познали цену покинутой юрты — родины. Реза-шах, а до этого династия Каджаров, иранские власти притесняли туркменские племена, пытавшиеся спасти жалкие остатки своей независимости, сохранить свои национальные обычаи, традиции. Особой шахской инструкцией запрещали носить национальную одежду, обставлять дом традиционной утварью, не разрешали даже пить любимый гок — зеленый чай. Боже упаси, если шахские сарбазы — солдаты застанут туркмена с пиалой в руке, а не с маленьким стаканчиком с черным чаем, — штрафа или порки не миновать. Разве это жизнь?..

И когда по Туркменской степи прошел слух о приезде Джунаид-хана, кое-кто искренне надеялся, что, может быть, бывший хивинский владыка своим авторите-

том облегчит положение туркмен, возьмет их под свою защиту, сумеет договориться с иранскими властями, чтобы они не обижали туркмен. Старейшины, собираясь в большой ханской юрте, крытой белыми кошмами, с нетерпением ждали, что скажет им Джунаид-хан, чего посоветует, как жить дальше, — неужели вот так всю жизнь терпеть непосильное ярмо этих своенравных шиитов.

Хан на славу угостил аксакалов наваристой бараньей чорбой, белыми пшеничными чуреками, каждому разнесли по чайнику крепко заваренного гок-чая, разливали его в пиалах и пили, пили долго и медленно, обливаясь потом, смакуя каждый глоток, внимая неторопливой беседе Джунаид-хана, который умел ловко плести словесные тенета... Послушали они хана — поверили, что в Туркмении началось чуть ли не светопреставление, ибо большевики против веры мусульманской, всех сгоняют в колхозы, а непокорных ссылают в морозную Сибирь, откуда никому нет возврата.

Поздно разъезжались аксакалы, услышав из уст Джунаид-хана то, что им хотелось услышать, чтобы раз и навсегда распрощаться с мыслью о возврате на родину, куда так хотелось вернуться не только голытьбе, но даже иным родовым вождям, баям. А этого старейшины страшились больше всего: уедет один — других на аркане не удержишь. Лишь вернувшись с маслахата, смекнули аксакалы, чего хотел от них Джунаид-хан: мягко стелет, а жестко спать. Из словесных плевел все же выбрали зерна: Джунаид-хан считал, что вся Туркменская степь принадлежит ему, он объявлял себя ее единовластным хозяином. Отныне все ее население — его, Джунаид-хана, подданные. И они обязаны платить дань ему, а не казне Реза-шаха. Это было безумием, ибо знали алчность и властолюбие Реза-шаха, ревниво считавшего Туркменскую степь вотчиной короны династии Пехлеви. Дивились люди, как это умный и хитрый Джунаид-хан смог решиться на такой сумасбродный шаг... А может быть, он и вовсе не умен?

...Это решение созрело не сразу, а после отъезда Лоуренса, нагрянувшего до совета нежданно-негаданно, пожелавшего побывать у побережья Каспия — порыбачить, поохотиться и вообще посмотреть экзотические места.

Теплая южная зима была на исходе, из мелководного залива еще не улетели лебеди, лысухи, утки и даже

розовые фламинго; вот-вот к устью Атрека пойдет на нерест вобла и сазан, а прикаспийские туркмены из племени иомудов-джафарбайцев, испокон веков промышлявшие рыбой, знали заветные места, где и зимой можно поймать осетра, севрюгу. И Джунаид-хан повез Лоуренса к морю, к своим друзьям.

Это была не поездка, а сплошная мука. Хан не очень-то верил, что этот белокурый гяур, свободно владевший арабским и фарси, чувствовавший себя в догматических дебрях ислама, как рыба в воде, давший обет дервишского послушания и к сорока годам из послушников выбравшийся в пиры — высшие мусульманские духовники, мог просто так, ради охоты и рыбной ловли, поехать на самый край света. Это он в двадцатом году, когда Джунаид-хан был в силе, состоял советником при Уинстоне Черчилле, военном министре Великобритании. После Томас Лоуренс устроил эмиру Фейсалу королевский трон в Ираке, помог свалить афганского короля Аманулу и посадить на его место недоноска Бачаи Сакао... С этим золотоволосым пиром, вырядившимся в туркменский чекмен — повседневный халат из верблюжьей шерсти, свободно объяснявшимся по-туркменски, шутки были плохи. Поэтому Джунаид-хан решил «забыть» свои обиды и даже полунамеком не выдать своего недовольства англичанами.

Но Лоуренса трудно было провести, хотя Джунаид-хан, не менее изворотливый, чем его белокурый спутник, пытался скрыть, подавить в себе гадливое чувство к этому человеку с резким квакающим смехом. Еще по дороге к морю Лоуренс будто невзначай бросил:

— Советую, мой хан, не рекламировать меня и вообще мой мусульманский сан... Представьте меня своим друзьям как этнографа, интересующегося бытом и нравами прикаспийских туркмен. Как начинающего...

В первый же день приезда в дом местного бая, владевшего на побережье всеми рыболовецкими баркасами, Лоуренс «отмочил» такое, что Джунаид-хан был готов от стыда провалиться сквозь землю.

Бай принимал гостей в большом двухэтажном доме. Жилища иранских туркмен, живущих на побережье, ничем не похожи на дома жителей, населяющих пустынную или горную часть Туркмении. Здесь дома, как журавли, на деревянных сваях: море, выходя из берегов, наступало на жилье человека, и он таким образом спасался от воды. А теперь, когда Каспий начал заметно

мелеть и не покушался больше на владения человека, привычка строить дома на сваях осталась.

Дом местного бая, стоявший особняком, выделялся во всем ауле. Нижний этаж его из белого камня; здесь размещались хозяйственные помещения — кухня, баня, в отдельных комнатах жили четыре байских жены; второй этаж — из дерева, тут байская спальня, большая михманхана — гостиная.

Джунаид-хан, увидев сдвинутую в угол мягкую мебель хамадани — кресла, диваны, низкие столики, недовольно поморщился: «Как у нечестивых шиитов». От бая не ускользнула недовольная ханская мина: гость недолго гостит, да много подмечает.

Лицо Джунаид-хана посветлело, когда он увидел на полу яркие иомудские ковры, постеленные в два наката, поверх — пуховые подушки из алого шелка, две легкие каракулевые дубленки. Лоуренс, наоборот, был слегка раздосадован; он все же, как европеец, предпочитал сидеть за низким столиком или на кресле, чем по-туркменски отсиживать ноги.

С дороги попили зеленого чая, а затем два взрослых сына хозяина внесли ярко вычищенный медный тазик с таким же миниатюрным кувшином, чтобы полить на руки гостям теплую воду. Первым тазик поднесли Джунаид-хану — по старшинству. Но он протестующе замотал головой, кивнув на Лоуренса, — дескать, сперва пусть помоет гость, который у туркмен, по обычаю, почетнее отца.

И англичанин стал мыть руки, неторопливо и чинно, как и подобает истинному мусульманину. Уж Лоуренс-то знал восточный этикет, ибо это был целый мир ритуалов, и человек, прошедший школу дервишского послушания, усваивал его на всю жизнь. О аллах! Что стряслось с Лоуренсом?! Джунаид-хан не верил своим глазам: белокурый пир не отжимал руки, а стряхивал их и, поблескивая холодными глазами, вызывающе поглядывал на хана.

Джунаид-хан стыдливо опустил глаза: «О нечестивец! Кто сказал, что он чтит наши обычаи? До звания пира дошел... Трясти мокрыми руками в высшей степени невежественно... Так поступают лишь гяуры и невежды».

Началась трапеза. Большой домотканый дестерхан, расстеленный на коврах, был уставлен блюдами, одно аппетитнее другого. В продолговатых фарфоровых суд-

ках громоздилась отварная, паровая белорыбица и вобла, в медных чашках — запеченный, покрытый румяной корочкой сазан, в больших хивинских пиалах отливала синевой паюсная икра...

Слуги вносили в деревянных, выдолбленных из урючины мисках плов, приготовленный по-туркменски с морковью, по-персидски с урюком и острой подливой; по верху хорошо разварившегося риса лежали не куски баранины, а истекающие жиром нежные лысухи, начиненные черным изюмом, айвой, маслинами.

Гости, насытившись, собирались отвалиться от дестерхана, когда сам хозяин принес несколько длинных шампуров, на которых розовели куски осетрины, равномерно прожаренные на угольях саксаула. Это знаменитый шашлык из рыбы, приготавливаемый лишь на побережье Каспия. Секретом блюда владели лишь немногие.

Снова в гостиной раздалось чавканье и сопенье. Лоуренс чувствовал, что сыт, но никак не мог совладать с собой, все ел и ел — уж таким отменно вкусным показался ему шашлык из свежей осетрины. А Джунаид-хан, съев два кусочка, теперь лишь делал вид, что поддерживает компанию, на самом же деле внимательно наблюдал за хозяином дома, его сыновьями, братом, трапезничавшими с гостями. Люди, живущие на побережье, чем-то похожи на рыб — это хан замечал и раньше. Чем? Ах да, глазами! И впрямь у хозяев, самозабвенно уничтожавших шашлык, глаза округлые, немигающие, по-рыбьи застывшие на одном месте. Так почему же и у Лоуренса такие же глаза? А чем он лучше этих... рыбоедов?

Лоуренс, будто угадав ханские мысли, поднял голову, оторвался от еды.

— О чем, мой хан, задумался? — рассмеялся англичанин.

— Разве все у меня устроено, что не осталось, о чем подумать? — в тон ответил Джунаид-хан и тут же подосадовал на себя: как мог забыть, что этот гяур умеет читать чужие мысли.

Лоуренс не удостоил ответом, поднялся с ковра, направился к двери. Следом за ним услужливо бросился один из сыновей бая, показывая дорогу во двор. Англичанин спустился со второго этажа, вышел за ворота — Джунаид-хан, подойдя к окну, молча наблюдал за Лоуренсом — и, на ходу развязывая тесемки узких туркмен-

ских штанов, стоя, не присев на корточки, как обычно делают туркмены, стал... мочиться. На виду всего аула, не преклонив коленей. Так ведут себя только неверные, особенно в побежденной стране. Байский сын, почтительно сопровождавший гостя, ошеломленный его хулиганской выходкой, шарахнулся назад, в дом, но, опомнившись, вернулся, топчась поодаль. Англичанин, сделав свое дело, как ни в чем не бывало поднялся в дом.

Не помыв руки, Лоуренс снова сел за дестерхан и принялся за второй шампур. Джунаид-хан не находил себе места от стыда: «У этих нечестивцев нет понятий о чистом и поганом. Они могут с постели взяться немытыми руками за хлеб... А во сне человек невольно протягивает руки к поганым частям тела. А этот, прости аллах, пир погаными руками уплетает за обе щеки. Подавись, гяур несчастный!»

Хан, заметив, как в холодных глазах Лоуренса мелькнула усмешка, понял, что тот ведет себя так умышленно. С чего бы?.. Джунаид-хан собирался поговорить с Лоуренсом начистоту, но хозяева ни на минуту не оставляли гостей наедине. Разговор пришлось отложить.

Утром к байскому дому подали лакированный фаэтон, и гости в сопровождении хозяина поехали на причал. Здесь их на большом баркасе ждали бородатые рыбаки. Еще с вечера хлебосольный бай распорядился закинуть в море сети, — как раз через эти места, на нерест, к устью Атрека, шел сазан, и хозяину дома хотелось позабавить своих именитых гостей.

Бай с гостями и тремя рыбаками уселись в баркас, и он легко заскользил по зеленой морской глади, направляясь в сторону устья реки, расположенного на советской территории. Шли с предосторожностями — упаси, аллах, угодить ненароком в руки красных пограничников! Не вторгаясь в чужие воды, остановились, заглушили мотор. Рыбаки стали проворно выбирать сети.

Лоуренс внимательно вглядывался в серую кромку берега — там простирались земли Советского Туркменистана. И удивительно, что этот чужой край, с которым у него были некогда связаны радужные мечты, планы, не вызывал у него никаких эмоций, если не считать того, что только один раз его тонкие ноздри чуть вздрогнули, словно у гончей собаки, почуявшей близко дичь. Сейчас он был далеко отсюда, его голову занимали другие мысли...

Странно вел себя Джунаид-хан: отводил глаза, ста-

раясь не смотреть туда, где остались и молодость, и лучшие годы, и несбывшиеся мечты. И все же он искоса бросал на ту сторону быстрые взгляды, но делал это как-то боязливо, робко, словно побитый пес, не решавшийся схватить кусок хлеба у ног хозяина, так как тот держал в руках увесистую палку.

Всплески воды, шум, вскрики вернули англичанина к действительности. У его ног трепыхался большой розовобокий сазан.

— Ух, поросенок какой! — изумился Лоуренс. Один из рыбаков бросил на англичанина косой взгляд. Джунаид-хан и бай сделали вид, что не расслышали его реплики, но, когда из сети вывалился еще один сазан, Лоуренс крикнул еще громче: — Это уже целая свинья!

Рыбаки зло смерили взглядом наглеца, и один из них, что постарше, сказал:

— Этот гяур всю нашу еду испоганил... Свят у туркмен закон гостеприимства, да если он не прикусит язык, я сброшу его в воду.

— Не горячись, истинный мусульманин! — Джунаид-хан в душе ликовал, что хоть неотесанный рыбак щелкнул по носу наглеца. — Вы простите чужеземца... Он хорошо знает наш язык, да не усвоил наших обычаев. У них свинья, да простит меня аллах, — изысканная еда...

Лоуренс тоже благодарно взглянул на рыбака: англичанин достиг, чего добивался, — его поведением возмутились, значит, о нем по побережью пойдут пересуды. Он на мгновение представил Мадера, его довольную улыбку.

Джунаид-хан не сводил глаз с Лоуренса, пытаясь прочесть его мысли, но тот отвернулся. Хан был в смятении.

Вскоре Лоуренс отбыл восвояси, но Джунаид-хан и не подозревал, что его заморский шеф, открыто вздыхавший по фашизму, по возвращении в Лондон примкнет к британским нацистам, близко сойдется с Освальдом Мосли, ярым последователем Гитлера в Англии.

По заданию Мадера гостил Лоуренс у Джунаид-хана. Пусть до иранцев дойдет слушок, а от них и в Лондон — в Туркменскую степь наезжал англичанин, но так странно вел себя, что люди, знавшие английского разведчика, ни за что не поверят, что им мог быть сам Лоуренс, тонкий психолог и знаток Востока. А сам Лоуренс, слыша потом эти пересуды, недоуменно пожи-

мал плечами — не иначе, как чья-то авантюра или злая шутка.

Стоило Лоуренсу покинуть Туркменскую степь, как бывший хивинский владыка объявил себя иранским ханом — тут не обошлось без козней Вилли Мадера. Так немцы выживали из Ирана англичан, настраивая против них персов. А шахская разведка доподлинно знала, что если Джунаид-хан — давний английский агент, повел себя так нагло на чужой вотчине, значит, не обошлось без команды из Лондона. Соглядатаи Реза-шаха исправно донесли: в Туркменской степи, у Джунаид-хана, недавно гостил сам английский эмиссар, завернувший «по пути» из Афганистана. Тайным шахским агентом был и прикаспийский бай, хлебосольно принимавший своего старого друга Джунаид-хана и его белокурого спутника. Давнему и испытанному доносчику в шахской разведке верили.

...Джунаид-хан не замечал мелкого бисера дождя, растекавшегося по лицу, падавшего капельками с седой бороды, с завитушек мохнатой папахи. Он ссутулился и не казался теперь таким рослым, как прежде; плечи его сникли, а правая рука, как безжизненная, обвисшая вдоль туловища, была схожа со старой дряблой камчой. И только глаза, острые и пронзительные, настороженно горели зеленовато-рыжим огнем.

Хан остановился, мотнул головой, стряхивая с тельпека дождевые капли, западавшие за ворот, — почувствовал, как кольнуло в боку, боль тупо растеклась под лопатками, отдалась в поясницу... «Стареешь, лев пустыни, — усмехнулся в усы Джунаид-хан. — Где она, эта пустыня?.. Ох, как далеко она осталась!.. Тебя еще никто не называл туранским тигром. Туранский тигр! О аллах, с кем только не сравнивали... А что толку? И все эти — блюдолизы и трусливые шакалы. Да и какой я лев? Ободранный и избитый. Не выставили бы пинком из Туркмении, будь я настоящий лев...»

Неожиданно в кустах что-то завозилось, зачавкало. Джунаид-хан остановился — в руках блеснула вороненая сталь маузера. Он весь вытянулся тетивой, куда девалась его сутуловатость. Джунаид-хан раздвинул ветви тальника — в камышах, у самой реки, в серой жиже грязи с хрюканьем возился старый кабан. Хан передернул плечами: «У, поганец! И холод не пронимает!»

Это был могучий зверь — таких Джунаид-хан видел лишь в тугаях — зарослях Амударьи. Летом кабан

любит одиночество и терпеть не может своих сородичей, не переносит даже визг и бестолковую беготню полосатых поросят; уходит от них подальше, в глухие места, бродит в одиночку, бирюком. Вот и прозвали его за это одинцом. А когда наступает осень, старый секач, чувствуя влечение к самке, выходит из камышей и ищет табун диких свиней, чтобы, удовлетворив свой брачный инстинкт, нести в стаде караульную службу.

Все это хану когда-то рассказывал Хачли, заядлый охотник на кабанов. «Где он теперь? — Хан не успел прицелиться маузером, секач, видно, почуяв человека, нырнул в кусты. — Ты тоже похож на этого кабана, — вслух заговорил он. — Только ты уже не самец, а сторож... Богатство свое стережешь».

Джунаид-хан огляделся по сторонам, воскликнул: «О аллах, прости мое святотатство!.. Что я, истинный правоверный, сравнил себя с этой поганой скотиной». — И он, расстегнув дубленку, отвернул ворот рубахи, поплевал себе на грудь, приговаривая: «Эстопырла! Эстопырла! Чур, свят! Чур, свят!»

В эти минуты Джунаид-хан и впрямь походил на кабана: его усы, набрякшие от дождя, свисли над губами, напоминая клыки, а сам он, как старый одинец, избегавший людей, шумных сборищ, погрузневший, тяжелый, походил на секача, способного нести лишь сторожевую службу.

Джунаид-хан снова вернулся мыслями к событиям двухгодичной давности. Увлекшись, он уверовал, что на самом деле смог бы стать ханом Туркменской степи, пусть это будет под протекторатом Англии или Германии, какая беда, лишь бы управлять ханством. Но Мадер, эта немецкая жердь, безжалостно разрушил его воздушные замки.

— Хан! — Мадер чеканил слова, будто отдавал команду. — Нам нужна игра. Игра, стоящая свеч. Вы же умный человек...

— Коза думает о жизни, а мясник печется о ее сале, — настаивал Джунаид-хан на своем последнем, реальном варианте. Его отряды, вяло отбивавшиеся от сарбазов Реза-шаха, почти бездействовали, избегали боя, но зато рвались в набег, чтобы пограбить.

— Хорошо, хан, — согласился Мадер. — Ваши джигиты, по праву победителей, хозяйничают три дня. Не зарывайтесь! Распустите слушок, что ваши молодцы исполняют волю англичан. Уходите в Афганистан. Под

Кучаном и Дерегезой поддайте курдам. Стравите их с персами. Это подольет масла в огонь... Вам хочется насолить Реза-шаху, я знаю. А нам хочется сделать его покладистым. Так что наши интересы почти совпадают...

Три дня и три ночи хозяйничали в Туркменской степи головорезы Джунаид-хана, отводя душу на местных туркменах — рыбаках, скотоводах, земледельцах; собрали богатую дань коврами, украшениями, золотом, конями — всем, чем можно было поживиться. Особенно они обирали тех, кто отказывался покинуть обжитые места и идти вслед за Джунаид-ханом в Афганистан.

Иранское правительство, видя, что дело принимает серьезный оборот и ханские нукеры могут обобрать население до нитки, ничего не оставив для поживы и сарбазам, прислало сильное подкрепление, но поздно — джунаидовцы, уведя с собой три тысячи туркменских семей, ушли в Афганистан, не забыв по дороге пограбить курдские и иранские селения.

...Дождь наконец унялся. Тучи, нависавшие над головой изодранными лохмотьями, ветер относил на запад, а на востоке во всю ширь неба разгоралось солнце. Вроде потеплело, и Джунаид-хан собрался вернуться туда, где оставил коня, но услышал людские голоса, треск сучьев. Рука привычно потянулась к маузеру, но тут он увидел приближавшихся на конях Эшши, Эймира и еще незнакомого третьего всадника. Пригляделся. Да это белокурый пир, в богатом одеянии, подобающем его высокому духовному сану. И несет же нелегкая этого белокожего шайтана!

Лоуренс еще издали сошел с коня и с руками, вытянутыми для приветствия, пошел навстречу хану, пытаясь обнять его. Но Джунаид-хан холодно кивнул, подал англичанину лишь одну руку. Лоуренс иного приема и не ожидал — хан не забыл неподобающего поведения пира в гостях у прикаспийских туркмен.

— Умоляю вас, хан-ага, не обижайтесь на старого друга, — Лоуренс улыбался одними губами, но светлые глаза мерцали холодно и равнодушно. — Мы порой не властны над собою... Нашими поступками повелевают другие... Если не шефы, то всевышний. — Видя, что его слова не возымели действия, Лоуренс бросил заготовленную фразу: — Если вы, мой хан, не уважаете во мне англичанина, то хоть чтите меня, как пира, мой высокий мусульманский сан духовника.

Хан по-прежнему дулся, ехал молча, не поддерживая

разговора сыновей и Лоуренса. Когда завиднелись окрестности Герата, англичанин придержал своего скакуна и, поравнявшись с Джунаид-ханом, резко бросил:

— Хан-ага! Не уподобляйтесь обидчивой бабе. Возьмите себя в руки! Мы сейчас въедем в город, на людях появимся... Так не давайте повода врагам языки чесать.

Джунаид-хан вскинул выцветшие брови, но, встретившись взглядом с льдистыми, колючими глазами Лоуренса, осекся, где-то в горле застряли проклятия, и он, вымещая бессильную злобу на своем умном аргамаке, остервенело огрел его камчой, понесся вскачь.

Маленькая кавалькада едва поспевала за ханом. Эшши-бай тревожно поглядывал то на отца, то на гостя. «На ком сейчас зло сорвет?» — с тревогой думал Эшши-бай. Уж сын-то знал крутой нрав отца, который с годами становился несноснее.

Подъезжая к дому, Джунаид-хан все же дал волю своим чувствам. Там, где еще утром был пустырь, купленный ханом у одного разорившегося торговца, он увидел аллею саженцев чинары. Он узнал своих батраков, вскапывавших лунки, расчищавших пешеходную тропинку, носивших воду в бурдюках.

Джунаид-хан натянул поводья — аргамак, дико сверкая белками глаз, стал пританцовывать на месте. Батраки пали ниц, управляющий имением, пожилой иранский туркмен, с побледневшим лицом кинулся к хану и, рискуя угодить под конские копыта, низко склонился в поклоне. «Там, на родине, меня так не боялись», — довольно отметил про себя Джунаид-хан.

— Какой ублюдок распорядился посадить чинары? — Джунаид-хан еле удержался, чтобы не хлестнуть камчой перепуганного управляющего имением. — Кто, спрашиваю?

Управляющий молчал, не смея поднять глаз.

— Это я, отец, — осипшим от волнения голосом произнес Эшши-бай.

— Разве ты не знаешь, что человек при жизни не может дождаться прохлады от чинары? Под ее сенью будут наслаждаться другие... А ты, я к тому времени сгинем со свету! Для кого сажаешь? Кто здесь будет после нас? Может быть, сюда придут большевики, как они пришли в Хиву, в Бедиркент. Может, сама земля афганская наплодит этих красных... Дурной пример заразителен. Значит, для этих нерезаных недоносков стараешься?! — Джунаид-хан, натужно закашлявшись,

ослабил поводья — конь, поматывая красивой головой, пошел иноходью. — В Крыму, у эмира бухарского, пока не пришли большевики, был дворец с большим садом... Так там он посадил вечнозеленый тисс. Есть такое дерево, у которого хвоя и плоды ядовитые и живет оно четыреста лет... Пусть деревья четыре века источают яд. Не думаю, что после нас люди станут лучше, благороднее. Пусть помнят... Вот так-то, сынок! А чинары вырвать! Немедленно...

Лоуренс, на что жестокий и суровый человек, которого никогда не трогали человеческие судьбы, и тот не нашелся, что подумать, — настолько его ошеломила ханская мизантропия.

Всадники на рысях въехали в просторный ханский двор. Над двумя юртами, установленными рядом с большими домами из добротного жженого кирпича, вились струйки дыма. По двору суетливо носились слуги, свежевали баранов, потрошили гусей, индюков; горел огонь в глиняных тамдырах — печах, где выпекали пышные пшеничные чуреки.

Джунаид-хан не сразу понял, с чего это весь дом всполошился, но тут же догадался: приехал Лоуренс, и Эшши-бай распорядился достойно встретить гостя. Но хана такая прыть сына озлила, и он не преминул съязвить: «Ты чего это перед этим нерезаным выслуживаешься? В ханы метишь?! Не дождешься, когда я подохну?»

Сын знал причину отцовского гнева. Не так давно, когда хан находился в хорошем расположении духа, Эшши осмелел:

— Мне, отец, скоро стукнет сорок. А я все в баях хожу... Я ведь все-таки сын самого Джунаид-хана...

— Пока я жив, этому не бывать, — отрезал Джунаид-хан.— Хватит тебе и той чести, что ты сын Джунаид-хана! В роду джунаид, что из крупного колена орсыкчи, — ты знаешь, так называют наш род — должен быть только один хан. Им ты станешь только после моей смерти.

Джунаид-хан окинул сына пронизывающим взглядом. Эшши-бай не сводил с отца по-собачьи преданных глаз, но хан в последнее время не доверял своему чаду, казалось, что тот ради ханского титула был готов пойти на отцеубийство. «Видно, потому заглядывает в глаза этому нерезаному пиру, чтобы его благосклонностью заручиться... Отойду я в небесные чертоги аллаха, будет

притворно плакать на людях... О лицемерный мусульманин! Смертельно ты ненавидишь врага при жизни, будь он сосед, аульчанин или брат родной... Грызешься, как злой пес, а стоит врагу умереть, так идешь к нему в дом, на поминки... Вздыхаешь притворно, хвалишь усопшего. А при жизни был готов сожрать его с потрохами. Гяур и тот во сто крат благороднее, прямодушнее. Если умер его враг, лицемерить не будет, на похороны не пойдет, на поминках не появится. Скорее при жизни помирится и с камнем за пазухой ходить не будет. А мы так злобны и мстительны, что самую малую обиду до самой смерти не забываем. Или труп врага сладко пахнет?!»

Больше всего Джунаид-хан боялся, что после смерти сыновья нарекут его именем своих детей, как это принято у туркмен. «Не смейте моим именем называть внуков, — наставлял он сыновей. — Чтобы ваши жены били, наказывали их?! Прикасаясь к ним, носящим мое имя, они, выходит, будут избивать, поносить и меня. Я в могиле перевернусь...»

Ханским сыновьям было и невдомек, почему отец противится такой доброй традиции. С испокон веку живет в народе этот обычай: чтобы имя человека в земле не лежало. Если бы они могли заглянуть в тайники дремучей души отца... Старому хану не давала покоя слава Чингисхана. Правда, с годами эта зависть становилась глуше, тупее, но он благоговел перед обычаями тех диких орд, некогда заполонивших почти полсвета. «Нашим бы детям научиться у них чтить своих родителей. Они боготворят своих отцов. Человек трепещет даже перед чужим, если тот носит имя его родителя. Тезку своего отца он величает не иначе как «Человек с красивым именем», «Трудноименуемый»... И никогда не назовет его имени. Дабы не осквернить. Хоть режь — не осмелится».

— Я, отец, пекусь лишь о чести Джунаид-хана. Твое гостеприимство должно быть достойно твоего имени.... Поэтому я распорядился... По-твоему, щедро. — Спокойный голос Эшши-бая вселил в ханское сердце умиротворенность.

Но Джунаид-хан виду не подал, зачем-то поморщился, будто лизнул квасцы; его лицо напоминало сыну дряблую кожуру прошлогодней дыни-зимовки гарры гыз — старой девы, которую после того, как съедена мякоть, остается выбросить на свалку или, если не гор-

чит, скормить скотине. Старый хан не переставал гримасничать... А ведь Эшши-бай прав — мудро, по-хански решил. Умаслил отца, пройдоха!

Поздней ночью, после обильной трапезы, когда все разошлись спать, Лоуренс и Джунаид-хан сидели вдвоем в ханских покоях. Перед ними стояли пузатые чайники с крепко заваренным зеленым чаем с жасмином. Уже давно остыл напиток в пиалах, никто не притронулся к белой кунжутной халве, засахаренным фруктам, сушеному инжиру, хурме...

Беседа захватила старого хана и английского эмиссара, приехавшего в Герат не с пустыми руками: вместе с ним прибыл большой караван с оружием и боеприпасами. Кейли сдержал свое слово. А вот что надобно было Лоуренсу? Видно, не простые заботы привели его в Герат, если решился пуститься в такой дальний путь. Ведь все обговорили — весной Эшши-бай перейдет советскую границу, поднимет мятеж в большевистском тылу. Может, надумал с Эшши-баем пойти?

Эмиссар не стал томить хана, видя, как тот вымученно улыбался, сгорая от нетерпения поскорее узнать о цели приезда гостя. Но гордость не позволяла Джунаид-хану спросить о том первым.

— Мы, хан-ага, хотели бы видеть вас во главе отрядов, которые зажгут пожар в тылу красных. — Лоуренс имел обыкновение смотреть собеседнику не в глаза, а в ноги. И на этот раз он уставился на мягкие, новенькие ичиги Джунаид-хана, а тот, беседуя с англичанином, всегда думал об одном и том же: «Друг смотрит в глаза, враг — в ноги. Кто же ты, друг или враг?» — Эшши-бай — хорош, смел и отважен. Ваш сын, хан-ага! А ваше имя, авторитет соберет под знамя ислама всю Туркмению... Вам только стоит показаться там, пусть только люди узнают, что вы приехали, а там тут же вернетесь, Эшши-бай сменит вас, продолжит. Важно, чтобы мятеж был связан с вашим именем...

«Хитришь, белокурый плут, — раздумывал хан. — Стоит лишь ногой ступить — все тело увязнет, словно в зыбучем песке...»

Лоуренс неожиданно поднял голову, остановил пристальный взгляд на раздумчивом лице своего собеседника.

— Вы, я вижу, хан-ага, не верите мне. — Лоуренс снова опустил глаза. — Ваша неудача — это и наш провал...

— Где гарантия? — перебил Джунаид-хан.

— Успеха мятежа или вашего скорого возвращения?

— И того и другого...

— Вот этот разговор мне нравится. Вы вернетесь через две недели. Слово джентльмена. А успех мятежа обеспечен. К Пешавару мы стянули свои войска... К вашему выступлению они подойдут в Афганистан, к советской границе. Вы поднимаете повстанцев и от имени туркменского народа обращаетесь к правительству Великобритании за помощью... Наши батальоны перейдут границу... — Лоуренс исподлобья взглянул на хана — тот беззвучно смеялся, от смеха сотрясалось его большое, грузное тело, на глазах выступили слезы.

— Старые сказки рассказываешь, Лоуренс. — Джунаид-хан вытащил из-за пазухи большой платок, вытер им глаза, промокнул пот на шее. — Я это уже однажды слышал, а что из этих заверений вышло, сам знаешь... Ты лучше скажи, на какие силы опираться там, в Туркменистане. Лучше синица в руках, чем журавль в небе.

— На севере Туркмении, в Хиве, Каракалпакии, — Лоуренс недоверчиво поглядывал на хана, рассказывая без прежнего энтузиазма, но, убедившись, что тот слушает его внимательно, приободрился, — существуют подпольные антисоветские повстанческие организации, которые связаны с басмаческими отрядами. Есть свои люди в милиции, колхозах, советских учреждениях, которые по первому вашему сигналу выступят против Советской власти. Во главе подполья Халта-ших, Балта Батыр, муллы, ишаны, но... Их надо возглавить. Там нужна сильная, волевая рука. Одним словом, им не хватает Джунаид-хана. Что вы скажете, хан-ага?

Джунаид-хан опустил голову и неожиданно спросил:

— Хочешь, я расскажу тебе легенду? Ее мне еще покойный дед рассказывал... Жил-был старый-престарый филин. Пока был молод — удача не изменяла, постарел — не везло, ослаб, часто болел. С виду казался сильным, а пищу себе уже раздобыть не мог, только ухал с досады, пугал...

Однажды старая птица увидела в поле молодого зайца и бесшумно кинулась за ним. Косой не растерялся, юркнул в колючие заросли, филин за ним, да застрял... Острый, длинный шип пронзил ему грудь, а заяц спасся, лишь оставил в когтях у хищника клочок серой шерстки.

— Мне ваша легенда больше чем понятна. Но вы не

так стары... У вас, хан-ага, опыт, талант... Умные вас уважают, глупые трепещут перед вами. Вернетесь — занимайтесь торговлей. Вас освободят от налогов, пошлин. Не только в Афганистане, но и в Иране. Вам только надо будет... — Лоуренс, услышав посапывание, запнулся, заскрипел зубами от ярости. Джунаид-хан, натянув на лицо дубленку, вытянувшись на ковре, спал, иногда даже всхрапывал.

Английский эмиссар, набросив на плечи халат, вышел. Когда под окном утихли быстрые шаги Лоуренса, хан поднялся, натянул поглубже шапку, на его лице блуждала хитрая усмешка.

Джунаид-хан, накинув на себя дубленку, не спеша прошел во двор, вскинул голову — небо чистое, звездное. В вышине, в оголенных кронах кряжистых гуджумов, гулял ветер, налетавший порывами. Где-то вдали истошно завопил ишак, лениво брехали собаки. А потом наступила тишь, безмолвие...

Герат спал глубоким сном, казалось, весь мир был погружен в дремоту, чуткую, настороженную. Хан замедлил шаги, прислушался, почудились вскрики, не то вздохи, огляделся по сторонам, зашарил глазами по небу и, забыв о звуках, насторруживших его, поразился необъятности мироздания, его бесконечности, его нетленной красоте. Вспомнилась мать, молодая, красивая: «Не смотри, сынок, пристально на луну, на звезды, — суеверно говорила она. — А пальцем покажешь — великий грех, ибо человек песчинка, он умирает, а звезды, луна — бессмертны... Они творение аллаха, и сам всевышний, оседлав их, летает по вселенной».

А ему, десятилетнему мальчишке, хотелось по высокой горе взобраться на небо, достать звезду, которая, казалось, была соткана из серебра, разбивать ее молотком, резать ножом, набивать этим драгоценным металлом большие хорджуны... Или поймать лучи солнца и смотать их в золотой клубок. Вот тогда, когда у него будет много золота и серебра, он наделает матери много-много украшений, таких, что видел на одной русской губернаторше, приезжавшей однажды в Бедиркент. Тогда все баи в округе, даже сам хан Хивы, будут валяться у него в ногах, выпрашивая драгоценности... У него будет много войск, рабов, он им прикажет построить минареты, такие высокие, по которым можно взобраться на небо и снимать звезды, ловить лучи солнца...

Джунаид-хан остановился, замер. Откуда-то доноси-

лось едва слышное стрекотанье, постепенно переходившее в курлыканье журавлей, теперь уже летевших на него и медленно проносившихся над ним, где-то в небесной выси. Они летели с севера, оттуда, где простиралась его родина. Может быть, эти журавли летом вили гнезда в плавнях Амударьи, пили ее воду, кружились над его родным Бедиркентом, а теперь держали путь на юг, в теплые страны, чтобы ранней весной вернуться обратно. И хану неотвратимо захотелось увидеть этих птиц вблизи, в ту минуту он дорого бы дал, чтобы они опустились где-нибудь в окрестностях Герата, и тогда он сломя голову понесся бы туда, чтобы хоть краешком глаз взглянуть на них. Ведь они еще вчера ходили по его родной земле, видели каракумские просторы...

Журавли уже давно пролетели, унося с собой весну и лето, а Джунаид-хан стоял не шелохнувшись — в ушах все еще раздавалось их грустное постаныванье. Он прошелся по двору — птичья перекличка, казалось, по-прежнему раздавалась над головой, и он будто прогуливался по своему родному аулу, что остался отсюда далеко-далеко. О, если бы продлить эти счастливые минуты, когда на душе наступали просветленье, блаженство, уводившие его от черной, гнетущей тоски. Тоска, тоска!.. Это была ностальгия, его самая тяжкая боль сердца. Она, как ржа, точила его нутро, душу. Как избавиться от нее? Где отыскать чудодейственное снадобье? Он знал, каким бальзамом излечиваются от этой болезни. Возвращением на родину. Но дорога домой, с мечом, ему заказана, ибо силой потерянного не вернешь и людей за собой не поведешь: большевики, Советы располагают нечто большим, более могучим, нежели грубая физическая сила. Значит, остается признать себя побежденным — это единственная плата за его возвращение на родину... Побежденный — это повинный, униженный, отдающий себя на милость победителя...

Джунаид-хан чуть не задохнулся от гнева и обиды, будто кто-то нанес ему удар под дых. Нет, этому не бывать! Ехать с миром? Это против его естества, против его характера, привыкшего стоять над другими, повелевать, властвовать, все еще не смирившегося ни со старостью, ни с убывающей силой.

В углу двора особняком стоял дом Эшши-бая и его жен; неясные очертания его проступали в ночной темени яркими «молниями» — большими тридцатилинейными керосиновыми лампами, горевшими в покоях ханского

сына и его самой молодой жены. Сыновья не ложились, пока не засыпал отец.

Эшши встретил хана у дверей и, войдя с ним в дом, впервые за последние годы заметил, как постарел, сдал отец, ссутулился, походка стала по-стариковски шаркающей, хотя иногда он спохватывался, старался приподнимать ноги, но ненадолго. Он взглянул на сына — в слегка помутневших ханских глазах мелькнула и грусть и растерянность, а Эшши-бая охватила какая-то пронзительная жалость к отцу. В ту минуту его мстительное сердце забыло, как помыкал им отец всю жизнь, как презирал его только за то, что он чем-то похож на мать, как мучил его подозрениями, недоверием.

— Сынок! — Голос Джунаид-хана звучал просительно. — Пойдешь в Туркмению сам... Я не смогу. Видать, скоро умру. Лоуренс отказа не простит. Зачем я им такой — старый, немощный, слишком много знающий да еще и строптивый... Благословляю тебя, сынок! Носи отныне звание хана, а я... — Он тяжко вздохнул, будто хотел сказать, что в одном доме двум ханам теперь делать нечего и один из них — скорее всего он, Джунаид, — лишний. Впрочем, кто знает, для пользы дела, наверное, и лучше, если Эшши в Туркмению ханом поедет: больше почета и послушания. Неплохо и для острастки — друзей и ворогов. Не бай какой-нибудь, а хан, сын самого Джунаид-хана, хивинского владыки, не беда, что бывшего... Но заговорил Джунаид-хан вовсе о другом, не о том, что только подумал, словно выторговывая за свою милость новую услугу сына. — Есть у меня к тебе, сынок, просьба... Это мое предсмертное завещание. Похороните меня на родной земле, под родным аулом, на кладбище, где погребен святой Исмамыт Ата. Это будет нелегко — знаю... Если даже это будет стоить столько золота, сколько будет весить мой труп, не скупитесь, отдайте... Пусть только красные позволят в родной земле захоронить. Не согласятся, бросьте мои останки в Амударью... Если даже воды, которые омоют мое тело, хотя бы коснутся родных берегов, я тоже буду доволен... на том свете.

Джунаид-хан тяжело опустился на ковер, облокотился на высокую атласную подушку и прикрыл веки — не поймешь, то ли дремлет, то ли молча прислушивается к тому, что происходит вокруг.

В ту ночь во дворе Джунаид-хана никто не сомкнул глаз, начиная от Эшши-хана и кончая слугами.

ВЕЩИЙ СОН

Банда Эшши-хана, сына Джунаид-хана, численностью тридцать пять — пятьдесят сабель, прорвалась из-за кордона и проникла в Хивинский район. Ее состав: баи, лишенцы — все с большим бандитским стажем. Вооружены английскими винтовками и пулеметом системы «люис»...

...Основным становищем и центром, двигающим всю басмаческую группировку, является колодец Чагыл, где находятся вожди всех племен. Руководство басмаческим станом принадлежит совету пятнадцати старейшин-аксакалов. Ханом является Аттуган Кермен-оглы, но все его приказы, а равно решения совета аксакалов без утверждения известнейшего туркменского ахуна всех племен Илли Ахуна недействительны, последний является фактическим басмаческим диктатором. Его группа состоит из 1010 хозяйств, имеющих 530 вооруженных... Совместно с ними — казахская банда, насчитывающая 925 хозяйств при 156 вооруженных, которую возглавляет Бекеш Дерментаев.

15 марта 1931 года Илли Ахун на колодце Коймат созвал тайный маслахат — совет с целью выработки конкретного плана борьбы с Советской властью. На маслахате, где участвовали крупнейшие баи, бывшие приспешники Джунаид-хана, было решено уничтожить красные части, расположенные на Коймате. Окруженный 400 бандитами отряд 85-го дивизиона после упорного, в течение трех суток сопротивления, в тягчайших условиях (без воды) был полностью уничтожен... По инициативе Илли Ахуна создан руководящий центр, который должен объединить действующие в Каракумах разрозненные шайки. В то же время среди главарей, входящих в группировку, были распределены участки для бандитских действий и поставлены конкретные задачи... 30 июля 1931 года банда произвела налет на станцию Казанджик, разрушила железнодорожное полотно, пустила под откос два поч-

товых поезда... Басмачи захватили западную часть Красноводского района, произвели массовые ограбления всех промыслов и факторий... на побережье Каспийского моря и неудачно пытались захватить станцию Джебел. Банды наряду с разбоем и грабежом зачастую насильно уводили с собой поголовно все население, намереваясь пополнить как материальную базу, так и людские резервы.

В итоге казахско-иомудская группировка к началу сентября 1931 года насчитывала до 1000 вооруженных человек...

Из докладной Управления пограничной охраны и войск полномочного представительства ОГПУ в Средней Азии

Сытые кони резво неслись по степи, омытой весенним дождем, втаптывая в грязь нежные маки, изящные тюльпаны, стройные колокольчики. Всадники спешили пересечь ровную, как гигантский палас, степь, чтобы поскорее добраться до спасительных песчаных гряд Каракумов.

Эшши-хан, скакавший впереди, часто оглядывался: нет ли погони? Под самым Мервом их нагнал конный отряд красных, завязался бой. Дело было под вечер, и Эшши-хану удалось под покровом сумерек скрыться. Он недосчитался двух нукеров, третьего тяжело ранило. Но самой большой утратой была потеря запасных коней, везших бурдюки с водой, боеприпасы, съестное.

Беспрестанно гонял Эшши-хан нукеров в разведку, чтобы узнать, нельзя ли прикупить в аулах коней, раздобыть продукты, не подстерегает ли басмачей снова опасность в пути. Но всякий раз те возвращались ни с чем — их всюду встречали враждебно, отказывали в помощи, а кое-где пытались даже арестовать и передать в руки властей. Спасала лишь случайность да резвые кони. После этого Эшши-хан никого и никуда не посылал — чего доброго, еще схватят нукеров, а они со страху выдадут остальных, приведут к стоянке. С братьями Какаджановыми стоило бы связаться, да не решился. Эшши-хан не очень доверял братьям. И отец наставлял: без острой надобности с ними не связываться. И Эшши-хан торопился поскорее добраться до Караку-

мов, наладить связи с агентурой, с крупными баями, муллами, верными людьми. Скорее, скорее бы поднять их против большевиков. О, Эшши-хану больше всего не терпелось покомандовать в новом качестве — хана, насладиться, когда будут перед ним трепетать юзбаши, батраки, бедняки.

Эшши-хан придержал коня, заметив, что Аннамет, везший на крупе своего коня раненого нукера Вольмамеда, заметно отстал. Так и до скончания веков к цели не доберешься. Басмаческий главарь затравленно огляделся по сторонам — вокруг голая степь, ни холмика, ни кустика, лишь огромный оранжевый диск солнца лениво, будто испытывая человеческое терпение, сползал к небосклону. Опять придется в степи ночевать. Тут и переловят, как кекликов.

— Что так тащитесь? — Эшши-хан неприязненно взглянул на Аннамета и на нукера, сидевшего позади него на конском крупе. — Так только за смертью ездить.

— Быстрее нельзя, — ответил ему Аннамет. — Он еле в седле держится. Надо привал сделать.

— Не сдохнет! О живых подумай.

— Не бросать же его! Он человек.

— Человек! — взорвался Эшши-хан. — А мы не люди? Что-то, Аннамет, развезло тебя. Близость своей красавицы Байрамгуль почуял или запах родных степей?

— Ты мою Байрамгуль не задевай! — Аннамет зло сверкнул глазами. — Лучше помоги раненого ссадить, хан!

Раненого, потерявшего сознание, уложили на халат. Эшши-хан распорядился, чтобы нукеры приглядели укромное место для ночевки, а сам присел к изголовью раненого. Аннамет тоже опустился рядом.

— А ты, Аннамет, скажи джигитам, чтобы топки прихватили, — распорядился Эшши-хан, и в светлых глазах его мелькнуло злорадство. — За Вольмамедом я сам пригляжу. Чайку бы засветло попить, ночью костра не разведешь.

Не успел Аннамет отойти, как позади раздался выстрел. Он бросился назад и увидел, как Эшши-хан опускал маузер в деревянную кобуру, а на земле бездыханным лежал только что стонавший Вольмамед. На его новом чекмене, подаренном с плеч Джунаид-хана, зияло у груди маленькое, опаленное по краям отверстие.

— Ты зачем это сделал, хан? — В больших, сузив-

шихся от негодования глазах Аннамета метались гневные искры. Эшши-хан невольно отступил. — Вольмамед мог выжить.

— Все равно подох бы. Пусть не мучается.

На выстрел уже сбежались нукеры и молча переминались с ноги на ногу.

— Я его убил, я! — Эшши-хан взмахнул камчой, рассекая воздух. — Убил ради вашего спасения. — Видя, как угрюмо потупились нукеры, Эшши-хан распалился: — Он связал нас по рукам и ногам. А если погоня? Да нас всех перещелкают. Тогда каюк всему делу, ради которого мы подались сюда.

Нукеры сумрачно молчали, а Аннамет волком глядел на Эшши-хана. Не проронили они ни слова и тогда, когда хоронили Вольмамеда, и после, когда долго и понуро ехали по степи.

Наконец устроили привал. Молодые басмачи долго не ложились спать, о чем-то шушукались. Это больше всего бесило Эшши-хана, который как неприкаянный кружил вокруг бивака, не зная, чем заняться.

Тих и задумчив был Аннамет, и сколько Эшши-хан ни пытался заговорить с ним, тот или отмалчивался или бурчал что-то невнятное. Если бы Эшши-хан знал, что думал в ту минуту его безносый оруженосец: «А был бы ранен я? Эшши-хан тогда б и меня прикончил. А тот несчастный в любимцах Джунаид-хана ходил. Что отец, что сын — из одного теста. Джунаид-хан послал Байрамгуль на верную гибель, чтобы она отвлекла на себя красных. Сам же с сыновьями целехонький проскочил. Где она сейчас? Если и жива, то, поди, замуж вышла. Да только кому она нужна — тоже безносая...»

Аннамет отгонял прочь мысли о Байрамгуль, убежденный, что встреча с ней просто несбыточна, ибо не был уверен, что она уцелела в том бою с пограничниками. А если и жива, то не представлял, как они будут жить дальше. Вспомнился разговор с Джунаид-ханом, происшедший накануне отъезда из Герата: «Поезжай, Аннамет, с богом. Береги Эшши, ему продолжать мой род. Сослужи службу, как всегда, и я щедро тебя вознагражу. Вернешься, женю тебя на первой красавице Герата...» — «Зачем же непременно на красавице? Я же урод...» — «А мы, если захочешь, сделаем, чтобы она тебя и такого полюбила, — хохотнул Джунаид-хан. — Собачонкой привяжется. А за калымом я не постою. Ты только береги Эшши, да голову с этого Ашира, зме-

еныша Тагана, сними. Вернешься, станешь моей правой рукой...» — «Вместо Непеса? А его куда же?» — «Куда, куда... — ядовито усмехнулся Джунаид-хан. — Стар он стал, руки уже дрожат. Ишь ты, сердобольный какой! Это у тебя от природы или с годами становишься такой? — Джунаид-хан впился глазами, будто шильцами. — Пусть сам Непес печалится...»

Ночь черным казаном опрокинулась над степью. Неумолчно звенели цикады. Если б рядом не ржали непоенные лошади и не перешептывались нукеры, то Аннамету показалось бы, что весь мир охвачен этой непроглядной теменью и тишью, нарушаемой лишь стрекотаньем ночных насекомых.

Вдали светлячками загорелись огоньки. «Люди там жгут костры, греются у огня. — Аннамет, почувствовав легкий озноб, накинул на плечи каракулевую дубленку. — А ты сидишь как сыч, света боишься. Что, если пойти туда? Говорят, ночью не держи путь на огонек, днем — на дымок. Не дойдешь — огонек потухнет, а дым рассеется... А куда я путь держу?»

— Не спишь? — раздался над ухом игривый голос Эшши-хана. — О чем думки-то?.. Нам бы до устья Мургаба добраться — там верблюды, вода, свои люди. Неспокойно мне отчего-то. Будто отец сон свой рассказывал. Хорошие рассказывать не принято: доброе само собой сбудется. О плохом отец не умолчит. Упреди плохое, учит он, если даже это сон.

— У каждого своя судьба, — вздохнул Аннамет. — У кого что на лбу начертано, того не миновать. На все воля аллаха. Кстати, сам хан-ага так говорит.

— Так это для черни, — Эшши-хан засмеялся тонким, завывающим смехом. — На аллаха полагайся, но ишачка своего стреножь покрепче. Иначе уведут. Аллах почему-то вместе с добром сотворил и зло, дьяволов, чертей, ангелов смерти. Зависть и ревность. Ненависть. А ненависть утешается местью, убийством. Сегодня я вот убил своего, но убил во имя мести к красным.

— Ты сон хотел рассказать, — перебил Аннамет.

Эшши-хан подробно пересказал сон, приснившийся Джунаид-хану по дороге в Кабул, тот самый, когда его словно на крыльях носило по ледяному безмолвию, безжизненному и пустынному, и он упал в какую-то болотную жижу, долго барахтался в ней, не в силах выбраться, затем с ним рядом оказался и Эшши, такой же жалкий и беспомощный...

— С чего бы такое могло присниться?

— Не умею я сны отгадывать! — Аннамет поплотнее запахнул полы дубленки и, подложив руку под голову, вытянулся на земле. В другой раз Аннамет счел бы за великую честь так доверительно беседовать с ханским отпрыском. Но сейчас Эшши-хан вызывал у него отвращение по-шакальи плачущим смехом, фальшивым заискиваньем, за которым скрывалось желание сгладить впечатление от убийства Вольмамеда. — Да и снам не очень-то верю. Они у меня никогда не сбывались. Интересно, какие сны снились перед смертью несчастному Вольмамеду? Ты, Эшши, хорошо запоминаешь сны, а запамятовал, что у Вольмамеда там, в Герате, остались восемь взрослых братьев. Четверо у твоего отца служат. Не подумал, что они спросят с тебя за кровь своего брата.

Эшши-хан в темноте от досады скрипнул зубами. Как можно было так бездарно убить? Взять да шлепнуть — большого ума не надо. Дойдет до отца — взовьется: «Век твержу — крови в тебе больше материнской, ни умом, ни мудростью в меня не пошел! А Эймир, если с тобой равнять, полный простофиля. Правду говорят — у доброго коня не бывает семени...» Отец, как на него ни обижайся, мудр, как тысяча Сулейманов. Он все обставляет умно. Даже убийство, свершенное его рукой, чернь воспринимает как благодеяние, вызывающее у нее трепет и послушание.

Эшши-хан, пытаясь подражать отцу, хотел с самого начала, как стал ханом, устрашить своих джигитов. Но этот его поступок, безжалостная расправа над Вольмамедом не запугали никого, а, наоборот, породили неприязнь и отчуждение. Эти семена запали даже в душу преданного и наивного Аннамета: «Что будет, когда и я состарюсь? Тогда Эшши поступит со мной так, как Джунаид-хан собирается обойтись с Непесом Джелатом, — возьмет да и выгонит. Может и убить...»

Тревожным сном засыпал Аннамет, таким же тревожным сном засыпали нукеры. Они слышали рассказы Эшши-хана. Суеверные и темные, они верили снам, приметам, и каждый из них вслух читал молитву, призывая на помощь аллаха и всех его пророков. Так было по ночам. Днем же басмачи забывали о своих ночных страхах и сомнениях, даже просили аллаха послать удачу Эшши-хану, с которым у них судьба была одна.

Наконец отряд вышел к Мургабу. Там они вдоволь

напоили коней, запаслись водой и, отъехав от реки на версты две-три, двинулись строго на север, вдоль русла, заросшего степным бурьяном. Вскоре низкорослые кустарники сменились высокими розоватыми и тонкоствольными гребенщиками с пышными пепельными метелками, буйно разросшимися в устье реки.

Эшши-хан часто приподнимался на стременах, ощупывая рысьими, как у отца, глазами каждый кустик, каждый бархан. До боли в ушах вслушивался в звенящую тишину пустыни, пока не услышал блеянье овец, позвякиванье колокольцев. Отряд вышел к отаре, охраняемой всадниками ташаузского бая Халта-шиха, обещавшего Джунаид-хану помощь и поддержку не только людьми, но и овцами. Сюда же, к колодцу Хайынгу, прислал сорок верблюдов с вьюками другой единомышленник бывшего хивинского владыки — Балта Батыр, главарь басмаческого отряда, орудовавшего на севере Каракумов.

Отдохнув здесь и пополнив свой отряд еще двадцатью всадниками, Эшши-хан направился в район Центральных Каракумов, к колодцу Ербент, на подступах к которому его дожидались почти три сотни нукеров, бывших байских сынков, торговцев и раскулаченных Советами. Всех их сюда прислал хромоногий конгурский Атда-бай.

Басмачи решили овладеть поселком Ербент. Здесь, в двухстах с лишним километрах от Ашхабада, пересекаются караванные дороги из Хивы и Ташауза, Мерва, Теджена, Ашхабада. Его двенадцать колодцев с пресной водой, такой редкостью в знойных песках, связывают не только северные и южные оазисы Каракумов, но и многочисленные туркменские кочевья. Отсюда прямая дорога на Серный завод, на многие колодцы, где затаились единомышленники с оружием, боеприпасами, с отарами. К тому же Эшши-хан знал, что большевики завезли в поселок много риса, пшеницы, хлопкового масла, соли, чая, мануфактуры. Если завладеть таким богатством, то львиную долю можно продать баям за чистое золото, остатками же замазать глаза жадных и алчных юзбашей и влиятельных всадников.

Но Эшши-хану — это самое главное — нужна была победа, пускай небольшая, но победа. Тщеславный, он грезил ею, так как думал и надеялся в отличие от отца, что от первой победы зависела судьба басмаческого движения, будущее самого Эшши-хана: быть или не быть

ему во главе воинов ислама, пойдут или не пойдут они за ним против большевиков, пришлют ли ему на помощь отряды заморских солдат. Эшши-хан уже видел себя во главе отряда врывающимся в Ербент на своем быстроногом иноходце, с развевающимся над головой зеленым знаменем пророка. Чернь, падая ниц, целует его сапоги, следы его коня, выказывая свою преданность и раболепие, как это было, когда Джунаид-хан овладел Хивой. Слава отца не давала покоя честолюбию сына.

И Эшши-хан убедил себя и своих нукеров, что овладеть Ербентом — дело плевое, ибо поселок из двадцати двух кибиток, водонапорной башни да нескольких бараков и мазанок раскинулся на ровном, как ладонь, такыре *, не защищенный ни барханами, ни даже кустиком саксаула. Что стоило его тремстам злющим, как цепные волкодавы, нукерам с лету ворваться в Ербент, охраняемый лишь небольшим гарнизоном из горстки красноармейцев, милиционеров и местных краснопалочников **.

Перед рассветом Эшши-хан выстроил на такыре одну сотню полумесяцем, а двумя другими замкнул кольцо окружения вокруг поселка. На тонконогом скакуне Эшши-хан носился от сотни к сотне, отдавая последние распоряжения. Временами в полутьме он отыскивал на гладкой шее коня крупный треугольчатый пестрый талисман, приносящий победу, — его перед отъездом повязал собственноручно Джунаид-хан, — взахлеб бормотал молитву, заклиная аллаха ниспослать ему победу.

— Джигиты! — Эшши-хан указал плетью на поселок, бледно проступавший своими очертаниями в предрассветной сини. — Там презренное воинство красных оборванцев. Они не устоят перед вашей храбростью. Возьмем их! — Эшши-хан картинно пыжился. Находившийся рядом Аннамет невольно усмехнулся, поражаясь преображению Эшши-хана: куда девался его прежний заискивающий и нерешительный вид! Он пребывал в каком-то сладостном опьянении, видя себя в той роли, в которой страстно хотелось быть: сердаром — вождем, главой туркменских племен и родов. — В пыль сотрем

* Такыр — гладь, глинистое пространство в Каракумах, порою простирающееся на многие километры.

* Краснопалочники — так называли дайхан, батраков, чабанов, объединенных в отряды, которые активно помогали Советской власти в разгроме басмаческих банд.

Ербент! — воскликнул Эшши-хан. — Всех женщин и девушек племен гагшал и багаджа, живущих под крылышком у большевиков, отдаю вам, джигиты. На потеху! Склады не жечь! Добычу будем делить по справедливости. Да сопутствует вам удача и победа! С нами аллах! Вперед, воины ислама! Алл-а-а-а!..

Эшши-хан ослабил поводья иноходца — горячий конь пустился с места в карьер, увлекая за собой цепь всадников. Ветер свистел в ушах. Вот он, Ербент! До него рукой подать. Сейчас, еще немного, и они накатятся на него волной и затопчут все живое конскими копытами, рассекут кривыми саблями... Но что такое?! Эшши-хан не верил своим глазам: поселок за ночь опоясался цепью траншей, ощерился стволами винтовок, хырлы — самодельных дедовских ружей, пулеметов. Он с силой рванул уздечку — на конских губах проступила кровавая пена, пропустил вперед ничего не подозревавших и еще необстрелянных джигитов. Они вовремя прикрыли его собою, так как тут же из окопов, обложенных мешками с песком, раздались пулеметные очереди и дружные винтовочные залпы. Одна пуля сбила с Эшши-хана белый барашковый тельпек, другая, «клюнув» в стремя, срикошетила, издав протяжный звук оборванной струны дутара *. Но всадники по инерции понеслись вперед. На такыре уже валялись трупы нескольких нукеров, бились в предсмертных судорогах раненые лошади. Басмаческий предводитель почему-то оказался совсем позади, вскоре и вовсе завернул коня, припустил к видневшимся вдали барханам.

Атака захлебнулась, и сотня, стоявшая на виду у поселка полумесяцем, даже не двинулась с места. Основная масса басмачей, кинувшаяся вперед, повернула обратно, но кое-кто сгоряча все же прорвался через окопы, но их тут же сбили с коней.

Эшши-хан от стыда и злости не находил себе места. Надо же так опростоволоситься в самом начале! Аннамет тоже хорош — смазал за ним вслед пятки и оправдался, урод несчастный: «Я дал слово тагсыру Джунаид-хану быть твоей тенью, Эшши...» Эшши-хан тяжко переживал свой постыдный побег с поля боя — ведь это произошло у всех на виду. Но в том, что наступление потерпело неудачу по его вине, он не хотел признаться даже самому себе.

---

* Дутар — двухструнный национальный инструмент.

Осаду басмачи не снимали и на вторые, и на третьи, и на четвертые сутки. Теперь они действовали изощреннее и хитрее, не ослабляя натиска и огня. Но маленький гарнизон не сдавался, нанося врагу заметный урон.

Эшши-хан рвал и метал, вымещая злость на нукерах: кого-то огрел плетью, кому-то пригрозил маузером, и все из-за того, что не находились охотники идти в первых рядах наступающих — никто не хотел умирать под пулями. А ему так хотелось вырвать победу... Любой ценой! Пока только одну! Но в Ербенте ею и не пахло — судя по всему, защитники гарнизона будут стоять до последнего. А тут еще и сроки поджимали: Эшши-хану пора быть на колодце Коймат — путь неблизкий, куда на тайный маслахат должны съехаться родовые вожди, крупные баи, духовные лица. Ведь маслахат не поймет задержку Эшши-хана на Ербенте, расценит опоздание как трусость или неуважение к аксакалам и, чего доброго, назначит сердаром кого-то другого. Стоило ли тогда подаваться в такую даль, рисковать жизнью?

Эшши-хан был уверен, что овладеет поселком — перевес сил на его стороне. Но время играло на руку большевикам, к ним могло подойти подкрепление. Решив окончательным штурмом разделаться с гарнизоном красных, он надумал послать к ним сперва «парламентеров»: пусть разведают, сколько еще осталось в живых большевиков.

Ербентцы разгадали вражью хитрость — арестовали «парламентеров», а на предложение сдаться на милость басмачей ответили еще одним красным флагом, взметнувшимся над поселком.

Отчаявшись, Эшши-хан бросился со своими всадниками в новую атаку, но защитники гарнизона ураганным огнем отбили и ее. Потеряв еще с десяток нукеров, басмачи откатились на свои позиции.

«Поистине аллах великий и сведущий! — Эшши-хан, слушая утешительную весть вернувшегося лазутчика, пыльного и потного, едва державшегося на ногах, воздел глаза к небу, шепча строки из Корана. — Поистине аллах — обладатель великой милости. Будьте стойки и поминайте аллаха много, — может быть, вы получите успех!..»

— Они на четырех автомашинах, мой хан, — продолжал лазутчик. — Пятьдесят милиционеров и крас-

нопалочников. На помощь ербентцам. По барханам машины ползут как черепахи, застревают.

— Охранение выставляют?

— Ночью только — двух часовых. Через день здесь будут, если не застрянут у Белых валов...

— У Белых валов, говоришь? — Эшши-хан задумчиво пощипывал бородку. — Да, там пески зыбучие, как пить дать, увязнут. Там мы и выставим засаду. Место удобное — барханы с саксаулом и гребенщиком.

Эшши-хан, не мешкая, отрядил к Белым валам полторы сотни нукеров и устроил там засаду. Милицейский отряд, измученный долгой дорогой, без опытного проводника, завяз на зыбучих песчаных грядах.

Ночью басмачи напали на спящий отряд. Эшши-хан торжествовал: какая ни есть, но победа! Теперь скорее на Коймат! Не то придешь к шапочному разбору...

Полторы сотни нукеров во главе с Аннаметом оставил Эшши-хан у осажденного Ербента. Юзбашом — командиром сотни — назначил Амир-балу, хивинского туркмена, ходившего у Джунаид-хана онбашом — вожаком десятки. И не только поэтому Эшши-хан доверил ему сотню: среди «парламентеров», арестованных красными, был Хемра, родной брат Амир-балы. «Этот не уйдет из Ербента, пока своего брата не вызволит, — рассудил Эшши-хан. — Надо ехать, пока свежа память о победе у Белых валов».

С сотней нукеров Эшши-хан двинулся к Коймату. В пути он был задумчив. Может, потому, что предал забвению отцовский совет: «Торопись, сынок! В этом мире кто смел — тот два съел. Пусть эти скоты считают за великую честь ходить под началом сына самого Джунаид-хана... Ты теперь хан и действуй по-хански!» Иль потому, что вспомнил сон, приснившийся как-то. Будто попал он в сель, понесший его так стремительно, что не смог из него выбраться. Измученного и жалкого, в ссадинах и ранах, его наконец выплеснуло на скользкий от тины берег, и он услышал над собой громовой голос: «Ты захотел стать сердаром? Вождем всех родов и племен? Да ты и в нукерах не ходил! Какой из тебя тогда сердар?» Эшши-хан очнулся, поднял голову и увидел над собой Аннамета — это, оказывается, гундосил безносый, а ханскому сыну его голос послышался громовым.

Эшши-хан пришпорил коня, будто хотел ускакать от ночных наваждений. А вдруг сон станет явью? Вспо-

мнил о ночном побоище у Белых валов... Нужна ли отвага, чтобы перерезать глотки спящим людям? Разве о такой победе мечтал Эшши-хан?.. Он лег на загривок коня, нащупал на его шее пестрый треугольный талисман и, остервенело сорвав его, швырнул на землю.

И это не принесло ему успокоения. Эшши-хан был в мыслях о Коймате, о резиденте, которого должен прислать Мадер. Может, его посланец поможет прибрать к рукам маслахат. Вдруг сердце обдало холодком: вспомнил о Вольмамеде, вернее, о его восьмерых братьях... Неужто придется ответ держать? Кровь прилила к голове, но тут же отлила — все нукеры, свидетели убийства Вольмамеда, погибли под Ербентом. Эшши облегченно вздохнул: мертвые, известное дело, молчат. Но Эшши то ли забыл об Аннамете, то ли слишком верил испытанному ханскому нукеру, никогда не предававшему своих хозяев.

Эшши-хан чуть повеселел, ослабил поводья горячего скакуна.

* * *

Темной ночью, когда мимо грохочущих на стыках вагонов проскочил зеленый огонек семафора и товарный поезд, скрежеща буксами на подходе к станции, медленно затормозил, на железнодорожное полотно соскользнула едва заметная тень. Человек ловко спрыгнул с тормозной площадки, не поскользнулся, не упал. Останови его в тот момент патруль — поезд следовал через пограничную зону, — он предъявил бы подлинные советские документы, даже студенческий билет, выписанный на имя студента Среднеазиатского государственного университета в Ташкенте.

Это был Нуры Курреев, месяца полтора назад перешедший советскую границу, а теперь направлявшийся в родное село Конгур. Ещё днем, переодетый ходил он по Мерву, там же услышал о появлении в песках Эшши-хана, о событиях под Ербентом. Тревожился за судьбу Эшши-хана — не угораздило бы в плен ханского сынка. Бедняга! Не доведется тогда ханским званием похваляться. А сколько ждал! Готов был отца в могилу загнать, чтобы самому быть ханом... Впрочем, у каждого своя корысть.

И только он, Нуры Курреев, стоял ногами на грешной земле; ему бы Мадеру угодить, исправно его зада-

ние выполнить и за кордон Айгуль с детьми вывезти... Любой ценой!

Курреева распирало от смеха, когда он вспоминал о вчерашней встрече с братьями Какаджановыми. Вот они сидели перед ним, маленькие, круглые как мячи, важно надутые, словно индюки, с пухлыми, мясистыми ладонями, схожие как две капли воды. Двойняшки. Одного зовут Беки, другого Берды, и удивительно, что у них не только одинаковые голоса, манера разговора, но и движения, привычки... Беки так же, как и Берды, разговаривал по-бабьи, визгливо, будто скандалил, так же потирал пальцами жирный лоб, ковырялся в зубах. Так хотелось схватить братьев за шеи и стукнуть друг о друга лоснящимися лбами. Какаджановы служили англичанам, но Каракурту предстояло перевербовать братьев. Каракурт исполнял такое задание впервые, но Мадер хорошо втолковал ему, как это делается.

Курреев начал вербовку без обиняков — Какаджановы не удивились, но и не согласились сразу.

— Мы служим националистическому делу, — спесиво возразил Берды, беседовавший с гостем, так как был старше Беки ровно на полчаса. — При чем тут Германия? Мы не немцы, а туркмены!

«Туркмены! Какие вы туркмены? — чуть не взорвался Курреев. — Каджары вы продажные! И почему вас только чекисты не замели... А может, вы и в ГПУ доносите?!»

Каракурт все же не утерпел, подпустил яду:

— При чем тогда Англия? Неужели эта заморская страна ближе, чем Германия? Ах, да, я запамятовал... Ну конечно, связаны вы с ней подпиской, той самой, что дали в восемнадцатом году самому Реджинальду Тиг Джонсу, главе британской контрразведки в Туркмении... Вах-вах-эй! А я-то, балбес, и забыл! Забыл, что шпионы-то вы английские...

— Это еще надо доказать!

— А у меня есть веские доказательства, — наступал Каракурт. — Чекисты и по сей день разыскивают и организаторов подпольной типографии, и авторов листовок... Ищут, чтобы в Сибирь сослать или к стеночке поставить... А в Германии вот знают вдохновителей подпольных изданий. Знают и помалкивают... До поры, до времени.

Курреев достал из кармана сложенный вчетверо листок бумаги, развернул его.

— «Люди, правоверные! — стал читать он. — Нам, туркменам, большевики навязывают индустриализацию. Наши отцы и деды прожили без нее...»

— Тише, вы!.. — заикаясь, взмолился Беки. — Что вы хотите? Говорите, не тяните жилы...

— Вот это другой разговор. Нам кое-какой документик составить надобно.

И братья Какаджановы согласились, дали подписку, что отныне будут служить германской разведке. Спеси как не бывало, и пыжиться перестали... Каджары! Коварные, трусливые твари...

Курреев очнулся от мыслей — из-под ног с шумом взметнулась спугнутая птица. Он осмотрелся по сторонам, где-то вдали мелькнул огонек. Там Конгур, его родное село, в двух-трех часах ходу. Долго ли это для молодого здорового человека, к тому же натренированного для дальних переходов, для человека, истомившегося по дому.

Конгур встретил Курреева одиноким собачьим лаем за высокими глинобитными дувалами Атда-бая. А что, если к нему заявиться? В Конгуре ли он? Приходу Нуры не обрадуется, гад хромоногий! Набросится рассвирепевшим джинном: «Откуда тебя шайтаны принесли?! Не мог через Мурди Чепе связаться?» Конспиратор колченогий! Мало с тебя красные три шкуры спустили, землю, воду отобрали, добра из твоих амбаров повывозили, что на десяти возах не уместилось. И поделом!

Но в Мерве те же братья Какаджановы поведали Куррееву, что Атда-бай богат как Карун. В Каракумах и в горах Копетдага у него надежно укрыты отары овец, стада верблюдов, табуны коней. Холуев у него, как и богатств, тьма-тьмущая... Тот же Мурди Чепе, его связной, бывший секретарь «байской» партячейки. К нему ли пойти? А если он большевикам продался? Нет, нет — это опасно! Что, воля надоела? Мурди Чепе продаст не поморщившись...

Курреев обошел аул со стороны гор и тут же замер — недалеко застава, та самая, через которую он прорывался вместе с Джунаид-ханом и его сыновьями. Прислушался — вроде спокойно. Слава аллаху, пока с самого перехода границы все обходится благополучно. Тьфу, тьфу, как бы не сглазить! Крадучись, прошел задворками, кое-где черными дворами, укрываясь за стогами верблюжьей колючки, за высокими загонами для скота, прошмыгнул по пустырю и, наконец, добрался к

кепбе — камышовой мазанке. Вот она, родимая! Вот и овечий загон, огороженный сухим красноталом. Сам ставил, своими руками... Скособочился — давно мужские руки не прикасались. Сколько он тут не был? Четыре с лишним года. Это же целая вечность!..

Курреев обессиленно опустился на корточки, посидел, а затем подполз к двери, осторожно потянул ее на себя — не поддалась, заперта изнутри. А вдруг Айгуль съехала или ее выселили куда-нибудь? Как-никак жена убийцы, и здесь могли поселиться чужие. Он постучится — и выйдет... Игам Бегматов, тот самый узбек, женатый на рыжеволосой русской учительнице и лекарше. Разве он простит ему, что стрелял в него тогда, в горах, когда Нуры уходил с Джунаид-ханом!

Страх охватил его. Что, так и уходить, не повидав свою Айгуль, детей? Зашарил рукой по двери, но вспомнил, что когда строил мазанку, то между дверью и полом оставил щель для сквозняка. Курреев распластался по земле и, нащупав рукой это довольно-таки просторное отверстие, приник к нему носом. Он, как зверь, жадно тянул воздух ноздрями, внюхиваясь в запахи, идущие из жилья. Нуры мог ослышаться, мог проглядеть что-то, но собачий нюх его никогда не подводил; среди множества запахов он всегда и безошибочно различал тот дух, который был ему знаком. До боли родной запах любимой он мог уловить, учуять среди тысяч других благоуханий и ароматов. Из мазанки веяло свежестью горного Алтыяба, стекавшего с Копетдага хрустальными родниками, пахнущими снегом и арчой. Как тогда, давным-давно, когда Айгуль, гибкая и такая желанная, плескалась в изумрудной купели, а он, Нуры, сидел с винчестером в камышах, сгорая от страсти, желания, готовый пристрелить каждого, кто осмелился бы даже взглянуть на нее. И Курреев, забыв об осторожности, нетерпеливо застучал по дощатым планкам. За дверью раздался заспанный голос Айгуль:

— Кто там?

— Я, я... Открой...

Загремел крючок — Нуры влетел в мазанку и, забыв о лежавших на кошме детях, задыхаясь, обнял Айгуль дрожавшими руками. В темноте он не видел ее глаз, чувствовал лишь прерывистое дыхание.

— Тише, Нуры... Детей разбудишь...

Айгуль быстро накинула крючок на дверь, оглядела детей — они даже не шелохнулись. Приникла к Нуры



всем телом: он гладил, нюхал ее рассыпанные по плечам жестковатые волосы, наматывал их жгутами на ладони, целовал глаза, шею... В каком-то тумане, нерешительно, как в ту далекую первую ночь, Нуры осторожно взял жену на руки и, боясь, что она оттолкнет его, лег с ней в постель, еще хранившую ее тепло и запах...

Они лежали молча, крепко прижавшись друг к другу, молчали, пока не унялась дрожь в теле, пока не прошла спазма в горле, мешавшая говорить, соображать... В их жизни не было таких долгих расставаний, они не ведали, что разлука так похожа на мучительную, непреходящую жажду усталого путника...

Айгуль первая, опомнившись, произнесла:

— Ты не видел еще своих детей. Знаешь, кто у тебя родился?..

Она вскочила с постели, зажгла маленькую керосиновую лампу, но Нуры тут же прикрутил фитиль, подбежал к окошку, занавесил шторку и лишь после вывернул фитиль на все пламя и не дыша присел на корточки у изголовья детей. Сынишка Курбан, так похожий на него, что-то лопотал во сне, дочь Гульшат, выпятив нижнюю, как у матери, пухлую, красиво очерченную губу, потерла ручонками розовые с ямочками щеки и, повернувшись на другой бок, сладко засопела. «О аллах, как похожа на мать», — подумал Нуры и поднял глаза на Айгуль. Она мало изменилась — тот же красивый излом густых смоляных бровей, тот же высокий чистый лоб, открытый взгляд, но где-то у губ залегла едва уловимая горькая складка.

Нуры задул лампу, увлек за собой Айгуль, и они, лежа рядом, без умолку говорили, будто хотели выговориться за все годы разлуки.

— Одумайся, Нуры, — голос Айгуль дрожал, — пойдем в аулсовет...

— Меня же в Сибирь упекут, расстреляют...

— Повинную голову не секут...

— Отсекут. У меня столько вины...

— Советская власть простила басмачам. Беднякам, как мы, дают воду, землю, семена, продукты, от налогов освободили...

— Мне, кроме наказания, ничего не дадут. Ты, Айгуль, ничегошеньки обо мне не знаешь... Уйдем лучше в Иран, детей заберем.

— Чего я там забыла?

— Забыла, говоришь, чего?.. Муж твой там...

— Муж забыл большее — детей и жену... Родину забыл!

— Родину! — передразнил ее Нуры. — Этой грамоте тебя случаем не Ашир научил?..

— Ашир! — В ее голосе прозвучала горечь и обида. — Не лучше тебя. Кишка оказалась тонка — в басмачи подался.

— Ты не шутишь?

— Какая ж тут шутка... Его мать, бедняжка Огульгерек-эдже, на люди показаться стыдится, а Бостан вся в слезах ко мне приходила...

— А ты мне говоришь — оставь ремесло басмача, — Курреев не скрывал радости. — Если Таганов подался в басмачи, значит, плохи дела у большевиков... Или ему у них житья не стало... — Мелькнуло подозрение: «Не хитрят ли чекисты?», но новость была такой ошеломляющей, что Каракурт тут же забыл о своих сомнениях, мысленно смакуя, как он преподнесет ее Мадеру, как расскажет о ней Эшши-хану, но, конечно, лучше, если б удалось завербовать Ашира, у которого сведений целые чувалы.

— У большевиков дела неплохи, — ответила Айгуль. — Дайхане Советскую власть любят. А то, что у Ашира в голове туману много оказалось, так в том его вина... Аул осуждает поступок Ашира. Только Атда-бай злорадствует... Он уже наведывался к Огульгерек-эдже, помощь ей предлагал...

Курреев чуть не задохнулся от радости — выходит, Атда-бай в ауле. И он, забыв обо всем — об упреках Айгуль, ее просьбе, слезах, — снова приник к ней всем телом, чувствуя, что ему хочется снова испытать то, что было между ним и Айгуль, снова припасть к роднику и пить его без устали...

Не дожидаясь рассвета, еще затемно, Нуры ушел, не сказав, куда, зачем и когда ждать его возвращения. «Может, образумится, — думала Айгуль, — мужская гордость не позволяет, чтобы его за руку водили... Должен же о детях подумать... Зачем тогда вернулся?»

Курреев добрался до оврага и по нему дошел до бурливого Алтыяба, разделся и, держа одежду в руке, побрел по воде, к одинокому островку, окруженному зарослями камыша. Целый день Курреев отсыпался здесь, а ночью отыскал Мурди Чепе, который привел его к Атда-баю, встретившему настороженно, хотя и знал, что

тот не чужой. Но после пароля Джунаид-хана хромец потеплел, пообещал, что даст двух коней, еды на дорогу, попросил передать Эшши-хану, что святому делу ислама дарует еще две отары овец, пасущихся в районе колодца Коймат, и табун скакунов, которых вот-вот должны пригнать с гор.

В Курреeве проснулось озорное желание сбить спесь с Атда-бая — достаточно было лишь шепнуть пароль Кейли, а чуть погодя огорошить предложением сотрудничать с германской разведкой. Делать этого Каракурт не стал: колченогого спесивца и его людей можно прибрать к рукам с помощью Эшши-хана. Но как еще на то Мадер посмотрит?..

В разговоре Курреев случайно узнал, что Байрамгуль, жена Аннамета, живет в Конгуре, батрачит у Атда-бая. В ту далекую ночь Джунаид-хан, отвлекая пограничников от своей группы, переходившей границу, послал Байрамгуль на верную смерть, но она не погибла: советские пограничники, разглядев в отчаянно отстреливавшемся всаднике женщину, пощадили ее, захватили в плен.

— Она только и бредит своим безносым красавцем, — хихикнул Атда-бай. — За нее тут сватался один — отказала... В наше время, когда рушится мир, — женская верность большая редкость...

Нуры не слышал, что говорил дальше Атда-бай: ревность леденящим ознобом охватила сердце. На кого он намекает? Может, на Айгуль? С кем она?.. С Аширом?!. Разве мало кобелей? Хотя бы этот Мурди Чепе, смотри, какой гладкий, рожу отъел, ухмыляется. Придурок придурком, а от такой, как Айгуль, не откажется. Да и Атда-бай хоть староват, но еще в силе. Вах, как он мог забыть!.. Бай сам сватался к Айгуль, хотел взять ее третьей женой... Потому и сбежал Нуры от Джунаид-хана, вернулся в Конгур, женился на Айгуль.

Поздней ночью Курреев, крадучись, пришел домой, Айгуль ждала его, принарядившись, надела те же наряды, украшения — серебряные серьги с подвесками из яшмы, апбасы — блестки, нашитые на платье из ярко-бордового домотканого кетени — как в тот далекий день свадьбы. Шторка на окошке задернута, огонек в лампе привернут так, что в кепбе полусумрачно, дети уже спали, в углу, на фанерном ящике из-под чая, алюминиевая миска с наваристой бараньей чорбой и ломтем белого пшеничного чурека. Айгуль разогрела мужу

ужин и молча наблюдала за ним, как он неохотно помешал суп ложкой и, едва отведав, отодвинул от себя еду; Курреев был сыт, поел у Атда-бая. Айгуль не докучала Нуры расспросами, догадываясь, у кого тот побывал в гостях. Днем, по пути на работу, ей так хотелось, чтобы хоть кто-нибудь поздравил ее с возвращением мужа, но все молчали: никто ничего не знал. Нуры, уходя на рассвете, предупредил ее: «Если ты мне не враг, ни одна душа не должна знать о моем появлении. Даже дети...»

И она молчала, как умеют молчать туркменки, если идет речь о судьбе семьи и чести мужа. Но в отличие от многих Айгуль не была безропотной и забитой, она закончила аульный ликбез, училась на курсах секретарей аулсовета, много читала и вообще от природы была любознательной. Дочь аульного мудреца Алов-ага иной быть и не могла. Все годы, которые Нуры провел в скитаниях по чужим весям, Айгуль была на виду всего аула, ее избирали в аулсовет, она первая, сбросив яшмак — платок молчания, агитировала своих аульчанок последовать ее примеру — учиться, вступить в кооператив, в колхоз. В ней неожиданно обнаружились задатки математика, и вот уже второй год Айгуль работала счетоводом колхоза, исполняя одновременно и обязанности секретаря аулсовета.

С нетерпением ожидая возвращения Нуры, она готовилась к серьезному разговору, твердо решила настоять, чтобы тот завтра же пошел в аулсовет с повинной, иначе она сама признается Агали Ханлару, и пусть муж не осуждает: жить двойной жизнью сверх ее сил.

— Ты хочешь меня предать? — Курреев даже не выслушал ее до конца.

— Предательство свершают молча или втайне. Не хочу больше терять тебя. Разве ты не предаешь, если снова хочешь оставить нас?..

— Как ты не можешь понять, Айгуль... За Мовляма меня...

— Я поеду в Ашхабад, меня знают в ЦК партии, в Совнаркоме, упрошу... Пойми, Нуры, Советская власть гуманна, она не таким заклятым врагам своим прощала.

— Не расстреляют, так в Сибирь сошлют...

— Сошлют, и я с детьми за тобой. Это же не Иран...

— Правду говорят, не ищи у ишака волос на копытах, а у женщины — ума...

— Чует мое сердце, будешь искренен, простят! Ты только покайся, милый!..

Нуры умолк. Разве он мог признаться Айгуль, что его руки обагрены кровью не только одного Мовляма; сколько красных аскеров, дайхан, чабанов погибло от рук бывшего телохранителя Джунаид-хана; а переход границы, бой у заставы, собственноручная подписка, что будет верой и правдой служить германской разведке, а то задание, которое должен исполнить на колодце Коймат, и, наконец, угроза Мадера, что он отыщет Курреева даже на дне морском... Страх тяжелым камнем оттянул низ живота и горячей липкой волной разлился по всему телу. Нуры прижался к Айгуль, спрятал голову на ее груди. Уйти бы из мира сего, сбросить его непосильное бремя... О, если б забыть все — и Джунаид-хана, и Мадера, и Эшши-хана, спрятаться от всего...

Курреев слушал, как ровно дышит Айгуль, как маленькими молоточками стучит ее сердце... Айгуль поймала себя на мысли, что они больше молчат. О чем им говорить? О прошлом? О нем все переговорено, оно кануло в Лету. А настоящее и будущее? Разные их ждали пути, иные дороги... Но что она сказала? Что?! Курреев встрепенулся, напрягся каждым мускулом, с ужасом осмысливая слова жены.

— Днем я отпросилась с работы. Не прошло и часу, прибежал Агали Ханлар. Бумажка ему одна понадобилась. А я тесто месила... Пока отмывала руки, собиралась, Агали Ханлар ждал меня во дворе. Выхожу, вижу: держит в руках какой-то черный комок: «Никак, Айгуль, на станцию ходила?» Отвечаю, нет. Тогда он нагнулся, оглядел вокруг, покачал головой, промолчал... Я и сама увидела — на песке твои следы. Не знаю, что подумал председатель, но, видать, заподозрил меня в бесчестье. К одинокой всякая грязь липнет, как этот вывалявшийся в песке комочек мазута...

— Перестань ты языком молоть, — вскипел Нуры, вспомнив, как ночью, спрыгивая с поезда, вляпался в мазутную жижу. — Хватит распинаться! Что еще сказал твой председатель?

— Он сказал, — Айгуль, подавив подступивший ком обиды, с усилием продолжила, — что надо глядеть в оба, мол, рядом граница, враг не дремлет... И еще сказал, что в Ербенте появился Эшши... А мазутный комочек Агали Ханлар завернул в бумажку, положил в карман...

— И зачем он ему? — осевшим голосом спросил Нуры.

— На заставу, должно быть, понес. Успокойся, Нуры, — она, забыв о своей обиде, нежно погладила его грудь горячей мягкой ладонью, — спи, милый...

— Подожди, я сейчас. — Курреев вытащил руку из-под ее головы, встал, еле сдерживая дрожь во всем теле, стал одеваться.

— Ты куда, Нуры? — встревожилась Айгуль.

— Погоди! — Курреев выскользнул за дверь. Той же ночью с помощью Мурди Чепе он раздобыл обещанных баем коней, продукты и засветло выбрался за Конгур, на дорогу, ведущую к Черным пескам.

Опять та же бесконечная дорога, припорошенная едкой солончаковой пылью, похожая на длинный саван из серой миткалевой бязи, те же песчаные смерчи, свивающиеся гигантскими жгутами перед мокрой конской мордой, те же стонущие кусты саксаула.

Мчался Курреев, не разбирая дороги, яростно хлестал коня, от колодца к колодцу, от урочища к урочищу, объезжая незнакомые кочевья, боясь, как огня, встреч с караванами, с чабанами, выпасающими неведомо чьи отары. Хорошо, если байские, — а вдруг кооперативные или как их там... колхозные... Не те теперь Каракумы, хозяин теперь тут новый. Не разгуляешься...

Курреев за всю дорогу ни разу не подумал ни о жене, ни о детях, будто вовсе не заезжал домой, будто вовсе не было двух ночей, проведенных с Айгуль. Все его мысли, заботы были лишь о себе: поскорее добраться до спасительных песков... И только тогда, когда Каракурт почувствовал себя в безопасности, он облегченно вздохнул и вспомнил об Айгуль, но как-то вяло, будто во сне.

На подступах к урочищу Курреев встретился с конной десяткой, словно выросшей из-под земли. Это была разношерстная группа басмачей, давно небритых и немытых.

— Эй, туркмен-текинец, куда несешься? — окликнул плотный, приземистый казах, ощупав Курреева раскосыми щелками глаз.

Курреев страшно обрадовался басмачам, но недоумевал, почему десяткой, где больше туркмен, командует казах. Все же на всякий случай приврал, что разыскивает Илли Ахуна, которому почитает за честь поклониться. Вожак десятки, услышав имя духовника, крякнул, однако обыскал Курреева и приказал ему следо-

вать за собой. По дороге Куррееву удалось узнать, что днями на Коймат прибыл Эшши-хан, который вот-вот собирался оттуда выехать.

Урочище встретило всадников неистовым лаем угрюмых волкодавов, блеяньем овец. От аула, выстроившегося в несколько рядов приземистыми округлыми юртами, тянуло дымом верблюжьей колючки, пылавшей ярким багрянцем в низких тамдырах, над которыми двигались туркменки, выпекавшие чуреки.

Близился вечер, женщины доили верблюдов, загоняли в кошары овец, несли с колодца воду в бурдюках и высоких кувшинах... «Привольно живут, псы лохматые, — позавидовал Каракурт. — Будто хозяева... Не понимаю, зачем надо было бежать Джунаид-хану за кордон? Тут не жизнь, а рай земной!»

Остановились у высокой шестикрылой юрты, покрытой белым войлоком. Вожак десятки бросил:

— Подожди. Я сейчас...

Курреев не без любопытства разглядывал шикарную юрту Илли Ахуна... Много перевидал на своем веку туркменских, казахских юрт с деревянным прокопченным остовом, покрытых черными войлочными кошмами; нижняя часть остова — складная деревянная решетка, состояла обычно из четырех частей — крыльев, именуемых кочевниками «ганат». Но подобную юрту, из белой овечьей шерсти, с шестью «крыльями», Курреев видел впервые. В таком жилье селятся очень богатые, именитые или много мнящие о себе. Даже Джунаид-хан не всегда мог позволить такую роскошь.

Вскоре из юрты вышел вожак десятки и, хитро блеснув раскосыми глазами, цокнул языком.

— Досточтимому Илли Ахуну нездоровится. Не может принять.

Тогда Курреев попросил провести его к юрте Эшшихана. Вожак довольно ощерился — глазенки его вовсе заплыли, он, видимо, этого хотел и, не скрывая радостного возбуждения, ткнул камчой в сторону соседнего ряда. Это была юрта четырехкрылая, покрытая серым войлоком, и Куррееву стало многое понятным: ханскому сыну не удалось встать во главе басмаческого движения, и его умело обскакал этот благообразный духовник, именуемый в миру Ильмамедом Нами-оглы.

Потому Илли Ахун и не принял Курреева: захотелось узнать, что за птица гость, с чем приехал, к кому благоволит. Не попасть бы Куррееву впросак... Вон по-

чему Эшши-хан решил съехать с Коймата. «Не повезло, выходит, ханскому сыночку, — не без злорадства думал Каракурт. — Ничего, умоется, сукин сын! Не век в повелителях ходить... Зато руки развязаны. Больше награбит... Вот взбеленится, когда и я ему подарочек поднесу... Пусть проглотит, шакал! Вон сколько мне горя пришлось помыкать. И все из-за них, из-за джунаидовского отродья...»

Курреев с силой пнул ногой тяжелую, окованную медью дверь — сейчас он был чем-то похож на Эшши, врывающегося в дом своих подданных, — решительно шагнул в юрту, полусумрачную, с закрытым тюйнуком — дымоходом, отверстием над головой. В центре ее, за потухшим очагом, где на таганке громоздился большой казан, на кошме на подушках лежал Эшши-хан. Узнав в вошедшем Курреева, он сел, скрестив под себя ноги.

— О аллах, откуда ты взялся? — В голосе его проскользнули удивленные нотки. — К вечеру ты не застал бы меня...

— Аллах увидел, что тебе не везет, и прислал меня на помощь, — ответил ему в тон Курреев. — Не чужие мы все-таки...

— Ты чего мелешь? — Эшши-хан выразительно ткнул пальцем на стенки юрты, дескать, потише. — Илли Ахун — почитаемый человек. Я рад ходить под его началом...

Кто-то завозился снаружи, откинул серпик — отрезок войлока, прикрывающий дымоход, и в юрте стало светлее. С охапкой саксаула вошел нукер. Убрав казан с таганком, разложил дрова, поставил два прокопченных кумгана — медные кувшины с водой и, запалив хворостинки, вышел.

Эшши-хан выглядел каким-то вялым, усталым, подозрительно оглядел Курреева: «Какая нелегкая его принесла? Мадер должен был прислать резидента... А этот никак поживиться приехал. Сынок, достойный своего усопшего родителя».

— А юрту-то тебе поставили не ханскую, — Курреев сам удивился своему язвительному тону. — Что, не по зубам твоим оказался Илли Ахун?.. Да он таких, как ты, троих за пояс заткнет, — Каракурт похвалил старца на всякий случай, если их разговор подслушивают снаружи. — А с отъездом придется повременить... Илли Ахуну в его богоугодном деле следует помочь! Не на словах, а на деле! Таков приказ!

— Чей приказ?! — задыхался Эшши-хан, возмущенный наглым тоном своего бывшего нукера. Ханский сын лишь в сей миг осознал, как непочтительно ворвался Курреев в юрту, открыв дверь ногами. — Раб ты грязный! Ты как разговариваешь?!

— Перестань, Эшши! — Каракурт зло блеснул глазами. — Ты лучше ответь мне. — И он, стрельнув глазами на стенки юрты, зашептал пароль, данный ему Мадером. Пароль, обладателю которого должен был повиноваться даже сам Джунаид-хан.

Ханский сын вмиг опешил, в его глазах мелькнул хищный огонек, тут же сменившийся недоумением и досадой: «О аллах, эта рвань, голь перекатная, сын Курре, отца которого прозвали в насмешку Ишачком, добрался до ранга, не доставшегося даже самому Курре, — вырос в изрядного осла... Выходит, он и есть резидент?! Послан самим Мадером?!. Нет, нет, я не ослышался... Значит, я должен беспрекословно исполнять все его приказы. О, времена! Знал бы об этом отец!..»

— Ты что, Эшши, язык проглотил? — Курреев буквально упивался произведенным эффектом. — Давай отвечай... Отзыв! Если бы не знал, кто ты такой, то по инструкции тебя положено пристукнуть на месте... Помнишь, как ты в Мешхеде мне не поверил? Все требовал отзыв... Давай. Ну!..

Эшши-хан с посеревшим лицом выдавил из себя отзыв.

— Теперь дело другое, — куражился Курреев, — теперь я знаю, что ты наш дорогой Эшши-бай, то есть виноват, Эшши-хан... — И, посерьезнев, полушепотом приказал: — С отъездом повремени, поговорить надо!..

Не один и не два дня прожил Курреев в басмаческом стане, выезжал с ханским сыном на соседние колодцы, то к знакомым баям, то к кочевникам-скотоводам, уговаривая их встать под зеленое знамя пророка. Многое разузнал Курреев в этих поездках — имена, приметы английских агентов, их явки, пароли, все, что рассказывали Эшши-хану Кейли, Лоуренс, все, что удалось тому узнать в Афганистане и в Каракумах... Эшши-хан, внешне смирившийся со своим новым положением, рассказывал о многом без утайки, он даже старался угодить Курреему, чтобы загладить свою вину перед Мадером — чего доброго, заподозрит еще в измене...

Предчувствие не обмануло Эшши-хана, на Коймат он прибыл с запозданием, когда высокий маслахат уже прошел и родовые вожди избрали главой басмаческих сил Илли Ахуна, но с условием: если в Каракумах появится сам Джунаид-хан, то духовник сложит с себя полномочия и всю полноту власти передаст бывшему хивинскому владыке. Приезд Эшши без отца вызвал у басмаческих главарей лишь раздражение, хотя Илли Ахун уже давно знал, что Джунаид-хан не приедет.

— Эшши — это не Джунаид-хан, — рассуждали даже бывшие джунаидовские юзбаши-сотники. — Мы чтим хана, но под началом его сосунка ходить не желаем. Человек, не сумевший с тремя сотнями всадников одолеть вшивый Ербент, не сможет повести нас на Ашхабад, захватить его...

— Как вы Казанджик захватили?! — съязвил Эшши-хан. — Там железная дорога проходит, большевики ее пуще глаз стерегут. Это вам не дальний колодец в пустыне...

— Зато вы на дальнем Ербенте маху дали, — парировал Илли Ахун. — Нет худа без добра, — опомнившись, примирительно продолжил он. — Страху хоть на большевиков нагнали... О нас сейчас весь мир говорит, наши друзья-англичане помогут... Под Казанджиком мы два красноармейских отряда разгромили...

— В открытом бою они вам не дались бы. Англичанам же вы нужны, как пятое колесо в арбе. Кто вы такие? Кто вас в Англии-то знает?! Кто?..

— Знают, — Илли Ахун, поглаживая холеными пальцами седую окладистую бороду, многозначительно взглянул на Эшши-хана, — земля слухом полнится. Мы уже послали ходоков за кордон.

Духовник явно хитрил, умолчав о своих связях с Мешхедом, откуда получил команду возглавить басмаческое движение. Так решили англичане в отместку Джунаид-хану. Заморских дирижеров не волновало, кто поведет басмачей на смерть, им было важно, чтобы в отрепетированном «восстании» против Советской власти появилось побольше новых имен, новых отрядов, территорий, охваченных «всенародным движением». Дескать, будут они распинаться перед мировым общественным мнением — смотрите, народ не хочет жить под властью большевиков, Советов, басмачество, мол, в Средней Азии — явление массовое, а не выступление одиночек.

Эшши-хан, которому предложили должность сотника,

глубоко оскорбленный, собрался покинуть Коймат, податься на север Туркменистана, где его ждали друзья отца, готовые сформировать отряды и пойти под его началом. Он сам пришел к такому решению, не подозревая, что то же самое входило в планы германской разведки, которой хотелось видеть руководителем басмаческих сил Эшши-хана. В военных верхах Германии не были пока заинтересованы в успехе басмаческого движения, возглавляемого британскими агентами, считая, что такая победа откроет дорогу в Туркестан англичанам. Германские монополии, претендовавшие на господство и в Туркестане, не думали делить с кем бы то ни было сферу влияния в азиатских странах. «Пока вся английская агентура не перейдет в наши руки или не будет нейтрализована, перевербована, басмаческий мятеж не в нашу пользу, — рассуждал Мадер. — Особенно, если он к тому же вдруг одержит победу... Наша задача — насадить по всей Средней Азии людей, симпатизирующих Германии, готовых служить ей. Вот тогда в Туркестане можно поднимать восстание».

И Джунаид-хан с некоторых пор, особенно после позорного бегства из Туркмении, не очень-то верил в успех басмаческого выступления. Старшему сыну он как-то говорил:

— Ханства своего мы не вернем — уж больно крепка Советская власть. Зато, пока нас англичане оружием балуют, добра наживем, с заклятыми врагами своими сквитаемся, да и немцам службу сослужим...

Эшши-хан, предвкушая сладость власти, где-то в душе питал надежду, что все образуется — Аннамет со своими всадниками все же овладеет наконец Ербентом и тогда его, Эшши-хана, вчерашние недоброжелатели, посрамленные и униженные, будут сами же слезно умолять: «Будь нашим предводителем!»

Проходили дни, и вот на Коймат примчался Аннамет, запыленный, с перевязанной головой. С ним жалкая горстка всадников, раненых, измученных дальней дорогой.

— Что случилось? — Эшши понял, что произошло под Ербентом. — Где остальные?

— Мы не оправдали надежд, — Аннамет виновато сопел. — Сорок девять нукеров убито... Многие в плену, одни по дороге... бежали... отстали... Десятку я послал на связь с Халта-шихом и Балта Батыром...

— И Амир-балу послал?

— Нет... Он в плену...

— У, нечестивец!.. — Эшши-хан грязно выругался. — К своему брату, к Хемре, захотел?.. Рабское отродье, жалкие трусы! — Эшши-хан, опустив голову, раздумчиво продолжал: — Амир-бала холост, а у Хемры есть щенята...

— Под Ербентом, — перебил Аннамет, — появился отряд Ашира Таганова...

— Радуйся, Аннамет! — оскалился Эшши-хан. — На ловца и зверь бежит... Вот и исполнишь волю Джунаид-хана, — Эшши-хан подмигнул Курреву, дескать, помолчи пока.

— Но я слышал, что он ушел от красных, — недоуменно пожал плечами Аннамет. — Считай, Ашир Таганов с нами?

— Вон у Нуры спроси, такую же новость привез. Однако не верю я Аширу... Его отец самому Джунаид-хану не повинился... Правда, расплатился за то дорогой ценой. Таган ослушался моего отца в те-то золотые времена, не пожелал встать под наше знамя. И с чего это Ашир, который покрасней своего отца, вдруг сбежал от большевиков?.. Не с начинкой ли тесто?..

— Тебе, Эшши, пора уже к Ташаузу двигаться, — Курреев проводил глазами Аннамета и нукеров, вышедших за дверь. — Прежде чем определишь место для лагеря, встретишься с одним человеком. Все его приказы — закон! Пароль: «Вам глубокий поклон от Черного ангела». Отзыв: «Да, мы живем в такой лживый век, когда пречистые ангелы давно превратились в черных». Он сам найдет тебя.

Эшши-хан, будто спросонья, скользнул глазами по лицу Курреева: «Ах, это ты, сын Ишачка... Ты еще не убрался?..» — и тут же живо проговорил:

— Передай Мадеру, я исполню все так, как он велел. Будет доволен. Он еще услышит обо мне!

Ханский сын лишь с виду бодрился, а в сердце сидела невеселая думка: «Как не повезло от самой афганской границы, так и по сей день. Как заклятие... Тут еще этот Курре, то бишь его сын на мою голову. О аллах, не взыщи с нас, если мы забыли или погрешили. Ты — наш владыка, помоги же нам против народа неверного!.. Этого осла вокруг пальца обвести — раз плюнуть. Дал я ему кое-какие завалящие имена, адреса, старые-престарые... Я и сам не решусь на них сейчас выйти. А надежные Мадеру сам передам... И пусть этот

осел убирается хоть к самому шайтану!.. Черный ангел... Где я слышал о нем?.. Как там, в Ташаузе? Неужто людей не соберу? Неужто никто не пойдет? Не вещ ли сон отцовский?»

Спустя некоторое время Эшши-хан, встретившись с Мадером, выльет ему всю обиду за унижение и позор, испытанные им на колодце Коймат: его, хана, сына самого хивинского владыки, сделать мальчиком на побегушках у какого-то безродного голодранца... Как в той известной притче, когда кочевник, лежавший на смертном одре, призвал к себе самого испытанного старого верблюда, спросил: не обижен ли чем? «Я всем доволен, мой господин, — ответил верблюд. — Ты меня кормил и поил, не бил, и я старался исправно исполнять свои нелегкие верблюжьи обязанности. Я всегда был вожаком в стаде, ни разу не терял поклажи и с караваном никогда не застревал в пути. Ты, господин, хороший человек... Но одного тебе простить не могу... Всякий раз, когда мы отправлялись караваном в дальний путь, ты, умный и мудрый человек, привязывал меня, своего самого сильного верблюда, к хвосту облезлого ишака. И я шел позади него, ведомым. Что может быть оскорбительнее этого?!»

Мадер от души смеялся, долго и заразительно, снял с переносицы пенсне — протереть платочком выступившие на глазах слезы.

— Полноте, мой эфенди, — протянул он. — Я сам барон и понимаю ваши уязвленные чувства аристократа... У меня, кроме Курреева, никого под рукой не оказалось, а он знает в Каракумах каждый колодец... Законы разведки таковы, что даже курьер из Центра порой может пользоваться неограниченными правами. Это не потому, что мы не доверяем агентам на местах. Нет, посланец из Центра хорошо знает, что в данный момент требуется, что хочет начальство. Но вы, мой эфенди, тоже... хороши. Встретились с Кейли, затем с Лоуренсом — и молчок. Не таким был наш уговор. Хуже того, на условленную встречу не явились, ускакали с коробом новостей за границу. Кому они там понадобятся? Разве только товарищам чекистам? Вот мы и послали вам вдогонку, чтобы напомнить о ваших обязанностях... Мы ведь могли подумать о вас дурное... Вас это не смущает, мой эфенди?

В словах эмиссара Эшши-хан почувствовал плохо скрытую угрозу — немцы не простят ему бесчестной

игры. Так что хану придется простому капитану послужить. Долго еще распинался Эшши-хан, пытаясь убедить Мадера в том, что он действительно очень торопился в Каракумы — поджимал срок выступления, установленный на кабульском маслахате — совете.

Германский эмиссар, вполуха слушая Эшши-хана, был больше занят собой... Что ж, неспроста он наделил Курреева полномочиями резидента: нового агента в деле испытал, узнал, чего тот стоит, да и ханского сынка за своевольничанье проучил. Мадер самодовольно улыбался своим мыслям.

ОТРЯД «СВОБОДНЫЕ ТУРКМЕНЫ»

В результате сочетания партийно-советской работы, чекистской и войсковой на Красноводском бое[вом] участке 23 июня [1931 года] имеем следующую обстановку. Восстановлена нормальная работа на предприятиях и промыслах района, в басмаческих бандах началось разложение, усилилась откочевка скотоводов из песков в культурную полосу, условия для работы районных и аульных организаций стали нормальные, предоставляются большие возможности для работы среди скотоводов в песках и для развертывания дальнейшего социалистического ведения скотоводческого хозяйства...

...Основная масса скотоводов остается в песках, терроризируемая басмачами и байством, возможная угроза срыва нормальной советской работы на колодцах, в песках басмаческим движением (остается). Борьба не окончена, не исключено применение оперативно-войсковых мероприятий...

Из приказа командования Красноводского боевого участка о результатах проведенных мероприятий по борьбе с басмачеством и повышении боевой готовности

Большевики Туркменистана под руководством республиканской партийной организации предпринимали деятельные шаги по разложению и распропагандированию басмачей, скрывавшихся в Каракумах. К примеру, одной из групп, возглавляемой А. Бегенчевым, уроженцем Геок-Тепинского района, удалось внедриться в басмаческий отряд Дурды-бая, одного из приспешников Джунаид-хана, успешно организовать там пропагандистскую работу и убедить всех обманутых людей сдаться Советской власти.

Отдельные басмаческие группы, а также мирные скотоводы и дайхане, обманутые своими родовыми вождями, скитаясь в Кара-

кумах, все глубже понимали бессмысленность своего образа жизни. Многие из них благодаря воздействию на них местных активистов осознавали свое заблуждение, бесперспективность борьбы с Советами, добровольно сдавались властям, возвращались к честному труду, в свои родные аулы и оазисы.

Архивная справка

С весны тридцать первого года по особому заданию советских контрразведывательных органов в Каракумах стал действовать отряд «Свободные туркмены», создание которого подсказала сама жизнь. Окончательное его формирование поручили Аширу Таганову.

В республиканском ГПУ не одобрили идею Стерлигова, предложившего назначить командиром отряда бывшего контрабандиста, человека, не внушавшего доверия, что усложнило бы выполнение задания. Таганов же подходил во всех отношениях: опытный чекист, смелый и инициативный, находчивый, в меру хладнокровный.

Кандидатуру Таганова поддержали все. Только один Стерлигов, к тому времени выдвинутый на должность заместителя начальника отдела вместо уехавшего в Москву Касьянова, встретил новое назначение Ашира с явным неудовольствием. «Так, чего доброго, и обскачет, — завистливо думал Стерлигов. — Выполнит задание — двинут его вместо Чары Назарова. Тогда житья от него не будет... И в командиры отряда, поди, сам напросился».

Таганов, которому предоставили полную возможность и право выбора любого человека, с жаром взялся за формирование полусотни. На место комиссара он попросил направить Игама Бегматова, работавшего инструктором ЦК партии Туркменистана, и просьбу удовлетворили. В полусотню пожелали вступить колхозный мельник Атали Довранов, муж сестры Ашира, Аташ Мередов, бывший чабан с Ясхана, лучший пулеметчик чоновского отряда, закончивший театральную студию. В свой отряд Ашир зачислил и Халлы Меле, бывшего басмача, того самого, которого Эшши и Хырслан расстреливали в песках, но он чудом остался жив. Жизнь многому научила Халлы Меле, не-

прикаянно носившегося по Каракумам в поисках легкой жизни. Выписавшись из госпиталя, где военные врачи вырвали его у смерти, он вернулся в родной Конгур, вступил в колхоз и пас общественный скот. В особый отряд Халлы Меле и другие, как брат убитого чекиста Аманлы Белета, пошли рядовыми бойцами, следопытами-проводниками — в Каракумах они знали каждый колодец, каждую тропинку. Бойцом отряда стал и Мурад Дурдыев, сын Дурды-бая, подло растерзанного по приказу Джунаид-хана, когда тот попробовал не повиноваться. Юноша, польщенный доверием, на радостях поделился с Тагановым:

— Я давно мечтал отомстить этим песчаным гадам за отца!

— Если вступаешь в отряд с этой мыслью, то ошибаешься, — Ашир Таганов нахмурил брови. — Советская власть ни с кем счетов не сводит. Кому ты мстить хочешь? Забитым людям, весь мир которых замкнулся песками и овцами...

— А Эшши-хану? — Мурад смущенно потирал веснушчатую щеку. — Ведь он...

— Эшши-хан — другое дело. Он убил не только твоего отца, твоих родных. Его руки обагрены кровью многих безвинных. Но если удастся поймать, то его будет судить народный суд по советским законам. Кочевник, к которому мы пока еще не нашли подход, к сожалению, все верит нашим врагам. А надо, чтобы он нам, большевикам, поверил, ибо правда, справедливость на нашей стороне. Нас, всех честных сынов народа, Советская власть призвала спасти всех одурманенных людей, в их же интересах, во имя будущего туркменского народа. Вот почему мы любой ценой должны внести раскол в ряды басмачества, оторвать от его главарей простых дайхан, кочевников, которым по пути только с Советами. Нам предстоит сделать все, чтобы разъяснить им гуманную политику народной власти. Для этого мы и создали так называемый отряд «Свободные туркмены». Да, это наша хитрость, но хитрость во имя великой цели, чтобы малой кровью, — а если возможно, бескровно, — покончить с басмачеством, вернуть женам мужей, детям — отцов, матерям — сыновей...

Отряд прошел специальное обучение. С джигитами встречались руководители республиканского ГПУ, представители республиканских партийных и советских организаций.

Перед отъездом в пески Чары Назаров давал командиру и комиссару отряда последние указания.

— Ваш отряд как бы нейтрален, вы как бы приглядываетесь, прицениваетесь, к кому выгодно примкнуть. Это свойственно психологии дайханина, кочевника. Вы вроде боитесь прогадать, но категорически против кровопролития. Основная цель отряда — разведать местонахождение басмаческих отрядов, их численность, вооружение, связи с закордонными бандами, иностранными агентами. Входя в контакты с басмаческими отрядами, группами, с местным населением, прощупав их настроение, вы действуете исходя из конкретной обстановки. Но главное — это переубедить обманутых бедняков и кочевников; вы обязаны раскрыть им глаза на своих родовых вождей, духовников, которые служат империалистическим разведкам. В бой вступать в самых исключительных случаях — с непримиримыми классовыми врагами, с отъявленными головорезами, наймитами, которым нет и не может быть пощады. — Чары Назаров кивнул на карту, расстеленную на столе, и вместе с Тагановым и Бегматовым они еще раз «прошлись» по предстоящему маршруту отряда. — Задача нелегкая, друзья мои. Придется вести двойную жизнь. Но вы — бойцы партии, чекисты! Надеюсь, найдете в себе силы справиться с самими собою, не давать волю своим чувствам и учить тому же своих бойцов.

...Под урочищем Ербент, в двух-трех километрах от аула, стояла полусотня джигитов. Она не ввязывалась в бой, происходивший между басмачами и красноармейцами, лишь наблюдала, будто выжидая, чья возьмет. Когда стало ясно, что победят красные, к которым на пятнадцати автомашинах подошло подкрепление из Ашхабада, вожак полусотни скомандовал, и его джигиты с гиканьем понеслись в глубь пустыни, подальше от того места, где пулеметные очереди косили наступавшие басмаческие цепи.

Вскоре кони замедлили свой бег. С наступлением сумерек полусотня расположилась на ночлег, а пятеро всадников повернули обратно к Ербенту. В темноте они отыскали помещение аулсовета, где в небольшой комнатушке за старым скрипучим столом при свете больших керосиновых ламп их дожидались Чары Назаров и Василий Стерлигов. Назаров, радушно приветствуя вошедших, похлопал по спине Таганова, обнялся с Бегматовым, поздоровался за руки с Атали Доврановым,

Мурадом Дурдыевым, Халлы Меле. Внимательно вглядываясь в лицо каждому, пытался определить их душевный настрой. Стерлигов тоже осклабился своей неизменной улыбкой.

Час был поздний. В комнатушке стоял густой запах чорбы — наваристого бульона из баранины. Еще в коридоре Ашир Таганов заметил зажженную керосинку, на которой в небольшом походном казанке готовилась еда.

Чары Назаров деловито и коротко изложил основные детали завтрашней операции, от которой зависел успех всего задания. Когда он кончил, заговорили все сразу. Назаров улыбнулся, поднял руку:

— Давайте, товарищи, по одному.

И каждый высказался, как лучше провести операцию, дополнив свой рассказ новыми подробностями и замечаниями. Словом, равнодушных к предстоящему делу не оказалось. Только один Стерлигов часто выходил в коридор, гремел там посудой, крышкой казанка и, обдавая всех сидящих запахом баранины, важно проходил на место, безучастно слушая говоривших.

Расходились поздно. Только Таганов и Бегматов задержались, чтобы обговорить кое-какие детали.

Утром Халлы Меле в нарядном белом тельпеке, в коричневом чекмене, обвешанный с ног до головы оружием — новеньким винчестером, маузером и наганом без кобуры, заткнутым прямо за пояс, перепоясанный крест-накрест пулеметными лентами, гордо вышагивал по поселку Ербент, оправлявшемуся после басмаческого нападения.

Скотоводы латали свои юрты, продырявленные басмаческими пулями, вывозили в пески убитых верблюдов и ишаков, возились у колодцев, ремонтировали разбитые басмачами большие водоналивные бочки. Всюду царило возбуждение, женщины выбивали кошмы, носили воду из колодцев, помогали мужьям. Словом, аул залечивал раны, а из песков уже возвращались скотоводы, сбежавшие туда от басмачей. Шли с семьями, детишками, усаженными на верблюдах, лошадях и ишаках, с отарами овец и коз. Красноармейцы охотно помогали аульчанам ставить юрты, поили коней у колодцев, строили тамдыры...

Среди всей этой суеты Халлы Меле еще издали увидел трех красноармейцев с винтовками наперевес, которые вели под конвоем двух басмачей.

Завидев эту процессию, он хотел было свернуть с дороги, но почему-то в нерешительности затоптался на месте: лица арестованных показались ему знакомыми. В одном из них, полном, одутловатом, он узнал Амир-балу, с которым когда-то служил в джунаидовском отряде; рядом шагал такой же широкоплечий парень, но стройнее, с крупными чертами лица — Хемра, один из «парламентеров» Эшши-хана, брат Амир-балы. Бледный, задумчивый, он шел, глядя себе под ноги, Амир-бала, напротив, надулся, словно индюк, шагал бодрее, всем своим видом показывая, что его не страшит плен.

— Эй, Амир-бала! — Халлы Меле подошел к пленным. — Ты что, не узнаешь? Я — Халлы Меле!

— О аллах! Откуда ты?! — Амир-бала отпрянул в суеверном страхе. — Эшши-хан говорил, что сам тебя похоронил...

— Так ему хотелось... А я вот жив!

— К красным переметнулся? Вижу...

— Я служу в отряде «Свободные туркмены».

— Сказал бы проще — у красных.

— Прекратите разговоры! — вмешался один из конвоиров. — С арестованным разговаривать не положено. А ты, «свободный туркмен», — эти слова красноармеец, сам туркмен по национальности, произнес с издевкой, — шагай... Вон, дуй к себе в отряд! — И строго приказал арестованным: — Не останавливаться!

— Амир-бала! — крикнул вдогонку Халлы Меле. — Я скажу о тебе своему сердару...

Вскоре в конторе аулсовета, где шел допрос братьев, появился Ашир Таганов. Чары Назаров и Василий Стерлигов, увидев его, прекратили допрос.

— Командир, — обратился Таганов к Назарову, — у тебя в плену два моих родича — Амир-бала и Хемра. Освободи их — выкуп дам!

— Мы людьми не торгуем, — Назаров недовольно поморщился, но в душе восхищался Тагановым, как тот, умело изображая сердара — главаря полусотни, повел задуманный чекистами разговор. — И потом они воевали с оружием в руках против трудового народа. Их по закону судить будем.

— Слушай-ка, командир! — распалялся Ашир. — На прошлой неделе, когда я привез тебе твоих трех раненых аскеров, которых я подобрал в песках, ты сказал мне: «Спасибо, Ашир-сердар. Ты спас жизнь трем

большевикам, которые мужественно сражались с басмачами. Проси что хочешь!» Тогда я у тебя ничего не попросил, а теперь вот прошу — отпусти моих родичей. Разве ты не джигит, командир?

— Да, я говорил так. Но мы должны выяснить степень их вины — раз. Во-вторых, кто они — баи, ханские сыновья, может?

— Да какие же мы баи? — робко подал голос Хемра, раскрасневшийся от волнения. — Нашего отца, бедного носильщика, знает весь Ильялы...

— Вот что, Ашир-сердар, — решительно сказал Назаров. — Советская власть добра не забывает. Мы тут посоветуемся и сообщим ответ.

Через несколько дней полусотня Ашира Таганова держала путь на северо-запад Туркменистана. В конном строю вместе с джигитами отряда скакали Амир-бала и Хемра. Назаров, вернув братьям коней, отпустил их с условием, что они возвратятся домой, к родным очагам, займутся мирным трудом. Таганов тоже поручился за братьев, сказал, что сопроводит их до родного аула, а Амир-балу и Хемру строго-настрого предупредил: «Помните, мы народ свой не грабим».

Полусотня не торопясь, от колодца к колодцу, продвигалась к сердцу Каракумов — Дарвазе, чтобы оттуда, по большой хивинской дороге, через колодцы Коймат и Дахлы добраться до Ташаузского оазиса.

По пути встречались разоренные басмачами кочевья, хранившие еще следы человеческого жилья, — клочки изодранных кошм, разбитые остовы юрт, побуревшее от крови тряпье. Курилась на ветру белесая зола очагов, заброшенные колодцы были завалены дохлыми ишаками и верблюдами. По ночам джигиты слышали душераздирающий вой шакалов и одичавших собак. Картина разорения производила на людей такое впечатление, что иные молодые чекисты не выдерживали и, подъехав к Таганову или к комиссару Бегматову, говорили, но так, чтобы не слышали Амир-бала и Хемра:

— Сколько можно терпеть, товарищ командир?! Дайте команду — мы отомстим! Сердце кровью обливается...

— Не товарищ командир, а Ашир-сердар, — одергивал Таганов не в меру горячих парней. — Эмоции — плохой советчик в большом деле.

А вечерами на привале Таганов обходил молодых чекистов и подолгу беседовал с ними о том, что долг,

приказ Родины предписывает им побеждать врага, заставить его сложить оружие мирным путем.

— Вы думаете, у нас с Бегматовым сердце не болит? — с жаром говорил Таганов. — Но партия требует от нас — добром, миром склонить членов басмаческих шаек к добровольной сдаче...

Следы басмаческого насилия постепенно пробуждали гнев и у Амир-балы и Хемры. Братья, одинаковые с виду, на самом деле нисколько не походили друг на друга — ни внешне, ни внутренне. Амир-бала был высокий и плотный, с заметным брюшком, круглыми сверкающими белками глаз на крупном мясистом лице, имел солидный басмаческий стаж и был нагловат. С джигитами отряда он держался высокомерно и судил о полусотне в меру своей испорченности: «Не верю, чтобы они басмаческим промыслом не занимались. Чего ради здоровенные парни в песках слоняются?»—говорил он брату. Хемра помоложе, лет двадцати пяти — двадцати восьми, тоже высокий, но подтянутый, с большими выразительными глазами на красивом, с утонченными чертами лице, застенчивый и добродушный, он смущался даже при крепком словце.

В отряде, где братья находились вот уже вторую неделю, они чувствовали себя равноправными членами, замечали, как все джигиты уважительно относились к своим командирам. А Таганов, строгий и справедливый, и Бегматов, мягкий и приветливый, отвечали своим подчиненным тем же. И все они были очень доступные, доброжелательные. Вскоре братья, не таясь, поведали им о своей жизни, о путях-дорогах, приведших их в басмаческий стан.

...В Ильялы трудно было, пожалуй, сыскать человека, не знавшего старого носильщика Максуда и двух его сыновей, живших возле городского базара. Амир-бала и Хемра помогали отцу, но больше всего пропадали в имении известного в округе крупного рыночного торговца и арендатора Халта-шиха. То земли его пахали, то за садом ухаживали, то товары упаковывали и, погрузив на верблюдов, отправляли в Хиву, Бухару, Хорезм, Ургенч... Иногда и сами вместе с караваном отправлялись в дальний путь.

Амир-бала, с детства проворный и смекалистый, пришелся по душе Халта-шиху, и тот сделал его своим приказчиком. Да недолго прослужил он у хозяина: Амир-бала, сильный и рослый, приглянулся и Джунаид-хану.

«Отдай мне этого парня, — сказал Джунаид-хан, — а я из него хорошего нукера сделаю». — «Возьми, если пожелает, — усмехнулся в усы Халта-ших. — Он, как пес, привязан к своему плешивому отцу. Вряд ли пойдет...» — «Это уж не твоя печаль, Халта-ших!»

Вскоре после боя под Ильялы джунаидовских сотен с красным эскадроном исчез старый Максуд. Был человек — и нет его. Сыновья с ног сбились в поисках отца, но Максуд-ага словно в воду канул. И кто-то шепнул тогда удрученным братьям: «Да его большевики арестовали, будто шпионил за красными и обо всем доносил Джунаид-хану... А держат они его в урочище «Зеленый холм», в лагере кавалерийского эскадрона».

И Амир-бала кинулся к «Зеленому холму», но на пути его перехватил басмаческий разъезд, доставил к Джунаид-хану: «Доброе дело задумал, сынок! Да не под силу будет тебе одному высвободить отца...»

И Амир-бала с сотнями Джунаид-хана ходил на «Зеленый холм», на Ильялы, жег аулы, грабил кочевья. Мстил за отца, которого сын не только не освободил, но даже и в глаза не увидел.

А старого Максуда, не поддававшегося на уговоры джунаидовцев, предложивших послать сыновей в басмачи, давно не было в живых: ханские нукеры во главе с Эшши сбросили его в Амударью. Но зато Джунаид-хан своего добился: Амир-бала, не узнав тайны гибели отца, остался в басмаческом стане. Вся эта история Амир-бале станет известна позже, в Ербенте. О ней ему расскажет один басмач, с которым он попал в плен к красным. «Аннамет, — сболтнул ненароком басмач, — он мой дальний родич. И я бы не сказал, если б Аннамет не бросил нас с тобой, раненых. Сам ускакал, а мы в плену остались. Шкура!»

После Амир-балы приказчиком у Халта-шиха стал Хемра, но ненадолго: не ко двору пришелся торговцу этот добродушный, не умевший обманывать дайхан парень. «С таким приказчиком по миру с сумой пойдешь!» — жаловался друзьям Халта-ших. Вскоре он избавился от своего незадачливого приказчика, которого, впрочем, тоже тяготила столь несвойственная его характеру обязанность. Случилось это после налета басмачей на аул Геоклен, где они убили или сожгли заживо двести дайхан, осмелившихся вступить в кооператив, в колхозы.

Хемра, на чьих глазах произошла эта трагедия, вер-

нулся из Геоклена потрясенным и поведал обо всем увиденном Халта-шиху.

— Так им и надо! — Халта-ших зло сверкнул глазами. — Пусть не якшаются с неверными! От их же рук и погибли... Это ж были не басмачи, а переодетые чекисты.

— Я сам видел среди басмачей ханского палача Непеса Джелата, — возразил Хемра. — Он вывел дайхан на майдан, где обычно собираются аксакалы, и роздал им Коран, приказал читать вслух. Они и туркменской грамоты не знали. А тут по-арабски. Тем, кто исполнил его волю, сумел прочесть, — даровал жизнь, тех же, кто отказался или не мог читать, — расстрелял, а у мертвых отрезал уши... Это был Непес Джелат, разве я мог ошибиться?

...А джигиты отряда, со свойственной юности непосредственностью, продолжали дотошно расспрашивать братьев об их злоключениях.

— И что Халта-ших? — В лукавых глазах Атали блеснула смешинка. — Небось погладил тебя по головке...

— Куда уж! — горько усмехнулся Хемра. — Халта-ших дал мне в руки письмо для Балта Батыра, сказал: «Забирай мать, жену, щенят своих и отправляйся к своему Балта Батыру. Он твой вождь, он и твой хозяин!» И я уехал из Ильялы. По дороге в одной чайхане нашел грамотного человека. Дай, думаю, пусть прочтет, что пишет Халта-ших. Сам-то я неграмотный. Прочел тот грамотей письмо и говорит: его писал злой человек. Халта-ших просил Балта Батыра вернуть деньги, полученные им когда-то за мать, отца, Амир-балу, словом, за всю нашу семью. Выходит, нас всех Балта Батыр продал Халта-шиху... Из того же письма я узнал, что отца моего нет в живых, а Амир-бала служит у Джунаид-хана. Халта-ших почему-то врал мне, что Амир-балу еще под «Зеленым холмом» пленили кизыл аскеры, но его, мол, вызволили басмачи... Теперь-то я знаю правду, но тогда я поверил своим хозяевам и был благодарен, что они не дали брату погибнуть...

— Ну и что ты думаешь о своих хозяевах? — не унимался Атали. — Подобрели они, может, человечнее стали?..

— Куда уж! — воскликнул Хемра и тут же осекся: как отнесутся эти «свободные туркмены» к его суждениям о таких известных, влиятельных людях. Но, за-

метив одобрительные взгляды джигитов и даже поощряющий кивок Таганова, Хемра осмелел: — Тогда я не знал, куда и голову преклонить. Балта Батыр, которого мы боготворили как родового вождя, говорил одно, а большевики — другое. Я все же вступил в колхоз. Худо-бедно, но на жизнь хватало. Но однажды приходит как-то председатель аулсовета и говорит: «Хемра, сдай коня и курей в колхоз. Не сдашь — раскулачим!» А у меня одна была надежда — конь, один-единственный, да куры — детишкам яички. Пошел к Балта Батыру за советом, никак вождь наш. А он будто ждал меня, говорит: «Большевики мстят тебе, Хемра, за брата твоего, что ходит в басмачах у Джунаид-хана. Дорога у тебя одна — или в басмачи, к родному брату, или в Сибирь». Ну, я и подался к басмачам... Что мне оставалось делать? У Балта Батыра я в немилости был, а Советская власть задумала меня раскулачить.

— Один председатель аулсовета не Советская власть, — возразил Атали. — Наверное, джунаидовский холуй. Такие только честных с пути сбивают.

— Джунаид-хан и его сын Эшши — тоже не боги, а действуют от имени аллаха, — ответил Хемра. — Пойди спроси, что там говорят, на небе?! До аллаха — высоко, до властей — далеко, а басмачи — рядом... Вот я и пошел, брата там встретил, а семью, детишек вот уже второй год не вижу. — И большие глаза Хемры погрустнели.

— Не тужи, брат! — весело подмигнул Атали. — Все твои мучения позади. Увидишь скоро и жену и детишек.

...Ночью Атали, дежуривший по лагерю, разбудил Таганова и Бегматова.

— Беда! — выдохнул он. — Амир-бала бежал! Ускакал и коня запасного прихватил.

По тревоге подняли на ноги всю полусотню, но где впотьмах беглеца отыщешь. Кто-то высказался вслух:

— Как бы этот Амир-бала не навел на нас басмачей.

— Без паники! — приказал Таганов. — Всем отдыхать. Дежурный, усилить наряды! — Сам Таганов больше не ложился — сна ни в одном глазу; не спал и Хемра, ошеломленный и подавленный поступком брата.

С рассветом Таганов снарядил в погоню за беглецом десять всадников во главе с Бегматовым, а сам с оставшимися джигитами собрался продолжить путь по намеченному маршруту. Но не прошло и часа, как посланные вдогонку вернулись, ведя за собой караван верблю-

дов, груженных объемистыми кожаными саначами — мешками. На одном из верблюдов, на широком войлочном седле восседал Амир-бала, державший на коленях человека в красноармейской форме, не подававшего признаков жизни, с развевавшимися на ветру русыми волосами. Джигиты бережно сняли с верблюда красноармейца, а Амир-бала, смущенный, сбивчиво объяснял Таганову:

— Ночью я его нашел... и верблюдов. Отпоил, рану ему перевязал... Хотел оставить, да передумал: как бы вы поступили? Взял я его и обратно...

— А куда сам сбежал?.. — Таганов строго взглянул на Амир-балу, но, увидев, как тот виновато опустил голову, перевел взгляд на отрядного лекаря и двух джигитов, переносивших раненого в палатку. — Если уж собрался уходить, то иди открыто, никто тебя здесь силой не держит!

— На Коймат, к Эшши-хану, — тихо выдавил Амир-бала. — Я... я хотел отомстить за отца. Око за око!

— Эшши-хан не так глуп, Амир-бала, чтобы голову тебе подставлять. Смотри, как бы он сам тебе шею не свернул...

— Ты прав, Ашир-сердар, но мне там помогут.

— Кто тебе поможет?

— Аннамет... Он смертельно ненавидит Эшши-хана и Джунаид-хана, не может простить им своего уродства, что из-за их жадности стал уродом. А сдаться красным не решается. А за голову Эшши-хана большевики ему наверняка простили бы.

Таганов молчал, крепко задумавшись над словами Амир-балы. Чекист знал — в басмаческом стане разлад, родовая вражда. Это мешало им объединиться, но то, что Амир-бала рассказал об Аннамете, было новостью, над которой стоило подумать. Уж очень заманчиво заполучить Аннамета, главу контрразведки Эшши-хана. «Это он убил моего отца! — Кровь прилила к вискам, и Таганов потер лицо, голову. — Не ты ли, Ашир, клялся на могиле отца, что отомстишь за него, за сестру Джемал?...»

— Сердар! — Атали теребил Таганова за плечо. — Лекарь зовет. Раненый очнулся.

Таганов направился к палатке. Раненым красноармейцем оказался Колодин, который дней десять назад вместе со своим взводом вышел из Ашхабада, сопровож-

дая в Ташауз большой караван из тысячи с лишним верблюдов. Правительство молодой республики направило хлеб в голодавшие аулы Ташауза, разоренные басмаческими бандами. Но при этом не была усилена охрана, не продумана система прохождения пути. Караван, растянувшийся на три с лишним километра в голой пустыне, вышел фактически из-под контроля. Что могла сделать малочисленная охрана, когда басмачи, воспользовавшись этим, напали на караван? Охрана, несмотря на превосходство сил грабителей, приняла бой и сражалась до последнего. Басмачам удалось перебить сопровождающих и захватить почти весь караван. Красноармеец Колодин, отстреливавшийся до последнего патрона и чудом уцелевший, под покровом наступившей темноты увел с собой шестнадцать верблюдов, но потерял в дороге сознание, истекая кровью от полученных ран. На него и наткнулся Амир-бала. Ранение Колодина оказалось неопасным, хотя боец потерял много крови и обессилел. Старания отрядного лекаря, хорошее питание быстро вернули в строй молодого красноармейца.

...Ашир Таганов, походив ночью по спящему лагерю и убедившись, что часовые бдительно несут службу, подсел на кошму, на которой спал Бегматов, подбросил в тлеющий костер пару саксаулин. Душистый дымок стелился по земле, язычки пламени осторожно лизали древесину. За спиной Ашира, на кошме, завозился под тулупом комиссар.

— Ты что, полуношник, сам не спишь и другим не даешь? — Бегматов присел рядом с Тагановым. — О чем задумался?

— Не дает мне покоя одна мысль, Игам... Если я пошлю Амир-балу к Эшши-хану... А не может рядом с Эшши-ханом уже действовать наш разведчик? Я-то не знаю — есть там кто или нет. Действовал же подле Джунаид-хана наш разведчик Аманлы Белет. А ну как пошлю Амир-балу, а он парень горячий, может нашему разведчику помешать, чего доброго... А?

— Ашир, дружище! — Игам Бегматов положил Таганову руку на плечо. — Пойми меня правильно. Я — партийный работник, и все тонкости оперативной работы мне неведомы. Ты знаешь, я не специалист, но скажу одно — рассуждаешь ты логично. Захватить этого бандюгу Эшши-хана заманчиво. С облегчением вздохнули бы все. Но как бы нам с тобой дров не наломать. Может, у Центра какие-то свои планы, а мы помеша-

ем. А за действия отряда мы с тобой оба в ответе перед партией.

Долго еще не ложились спать друзья, перебрали десятки вариантов пленения Эшши-хана и наконец порешили снарядить в Ашхабад гонцов, чтобы заручиться согласием Центра на засылку Амир-балы в стан Эшши-хана.

Таганов, отправляя в дальнюю дорогу десятку джигитов во главе с Атали Доврановым, вручил ему зашитый нитками пакет.

— Передашь лично в руки Чары Назарова, — наставлял Ашир командира десятки. — По дороге ни с кем в бой не вступать, уклоняться от всяких стычек с басмачами. Ваша задача — в целости и сохранности доставить пакет по адресу. Я буду ждать вас у колодца Тачмамед. Отправится с вами и Колодин, а также отрядный лекарь.

Когда Атали уже подошел к коню, чтобы вскочить в седло, Ашир снова отозвал его в сторонку.

— Будешь в Ашхабаде, — тихо произнес Таганов, — увидишь Герту... поклонись ей. Написать не могу, она поймет. Скажи, что я часто вспоминаю наш последний разговор. И вообще, я всегда помню... — Он оборвал фразу на полуслове, будто проверял себя.

Вспомнилась и последняя встреча с Айгуль, ее растерянный, скорее отчужденный взгляд. Она как-то посерела, поблекла, а в глазах выражение надломленности, страдания, в ней появилось что-то сестринское, материнское. И это воздвигло между ними какой-то невидимый барьер. По эту его сторону теперь была Герта, и только она. Вдруг ли все это произошло? Разве он мог забыть, когда Герте исполнилось семнадцать лет... В тот день Ашира пригласили в дом Розенфельда на семейный ужин. Танец под граммофон, прохлада ее тонких пальцев, белые локоны, нечаянно или нарочно захлестнувшие глаза Ашира, когда девушка озорно тряхнула головой, танцуя с ним, платье, в котором она казалась воздушной... И песня, незамысловатая, но запавшая в душу: «Тот чудный вечер и обрыв к реке, и чью-то песню, песню вдалеке...» Герта уже не прежний угловатый подросток и, как ни странно, похожа на Айгуль. И чем старше, тем больше. Упругая, пружинистая походка, задумчивые глаза, — только у Герты они светлые, лучистые, взглянешь в них и, кажется, увидишь свое сердце. Но больше между ними сходства внутреннего. Та же сдержан-

ность, беззащитность, романтичная целомудренность. Но в мягкости голоса Герты, в бледности ее одухотворенного лица, в самом ее облике таилось что-то загадочное, притягивающее... Ашир не мог объяснить даже самому себе, почему он полюбил Герту. Может, из-за того, что очень походила на Айгуль, и он, однолюб, боясь изменить своему первому чувству, привязался к Герте...

— Словом, передай Герте огромный привет, — Ашир заметил смеющиеся глаза Атали. — До встречи.

...До колодца Сапалы отряд добрался ночью, но остановился вблизи, а рано утром всадники въехали на розоватый глинистый такыр, спрессованный временем, ровный и гладкий, как гигантская плешина.

Взору джигитов предстало обычное кочевье, какие в Каракумах можно встретить почти у каждого колодца. Несколько войлочных юрт, вокруг разбросаны чатма — шалаши из камыша и гребенщика, кепбе — мазанки и землянки, в которых, как правило, живут чабаны, батраки, весь простой люд. А за жильем, образовавшим как бы замкнутый круг, выстроились в ряд загоны для скота. Высокие, из рослого гребенщика и кряжистого саксаула — для верблюдов и коней, низкие, из ершистых приземистых кустов кандыма и черкеза—для овец и коз.

Над кочевым аулом послышался гомон, заплакали дети, заголосили женщины; в дверях жилищ в нерешительных позах застыли фигуры мужчин. Видя, что конники настроены миролюбиво и каждый из них был занят своим делом — кто поил коня, кто ставил палатку, кто приводил в порядок амуницию, — кочевники осмелели, высыпали из своих жилищ, бросились помогать джигитам. Скотоводы, не мешкая, зарезали в честь гостей несколько баранов, развели огни под большими десятиведерными казанами, в которых вскоре забулькала баранья чорба, задымился душистым парком рассыпчатый плов, из крупного, как зрелые виноградины, хивинского риса.

Аульчане, признав в Таганове и Бегматове руководителей, пригласили их в юрту аксакала рода, но те вежливо отказались, попросив расстелить дестерханы во дворе, в тени юрт, чтобы можно было видеть и слышать всех скотоводов и джигитов, приглашенных на трапезу. Пока еда томилась в казанах, под которыми дотлевали головешки саксаула, перед чорбой и пловом по обычаю туркмен разносили крепко заваренный зеленый чай.

Хемра, сидевший неподалеку от Таганова, заметил

молодого дайханина в сером чекмене. Тот тоже внимательно разглядывал Хемру, и оба, одновременно поднявшись, бросились навстречу друг другу.

— Хемра! Земляк! Да неужто ты?!

— Тойли? А ты как сюда попал?

— Запутался я, брат, окончательно. — Дайханин горестно покачал головой. — Я тоже, как ты, вступил в колхоз. Балта Батыр метал молнии. Приходит как-то ко мне председатель аулсовета и говорит — отдай колхозу своих двух ишаков...

— Кто председатель-то был?

— Тот же... Который тебя прижимал. Но я отказался, тогда он лишил меня воды, пригрозил, что арестует. Тут еще Балта Батыр зудел: смотри, мол, власти лишат урожая, что вырастил на своем наделе...

— Старая песенка Балты, — горько усмехнулся Хемра. — И ты все бросил и бежал сюда?

— Хорошо бы только бросил... — В горле Тойли будто застрял ком. — Я сжег на корню весь урожай, зарезал овец своих — и сюда. После в песках видел Балта Батыра, спрашиваю: «Кто мне вернет урожай, овец?» Он окрысился: «Я тебя не просил этого делать. Может быть, и возместил бы твои потери, если бы ты к басмачам подался». Сам же, негодяй, подослал своего приказчика, и тот посоветовал уничтожить скот и посевы.

— Как зовут председателя вашего аулсовета? — вмешался в разговор Таганов.

— Да это Курбанов Мами! Сколько из-за него людей безвинных пострадало. Не пойму только, за кого он?.. На словах будто за Советы, а на деле шайтан его знает.

— А ты сам за кого, Тойли? — спросил Таганов.

— Я всегда говорил Советской власти спасибо, хоть и не кричал об этом на базарной площади. В душе. Меня, батрака, она наделила землей, водой, дала плуг, деньги взаймы. Когда я обжился, стал середняком, стали прижимать. Зачем же тогда меня обогатили? Зачем у меня ишаков отбирать? На них да на моем горбу все хозяйство держалось...

— Но Мами Курбанов еще не Советская власть.

— Пускай власть ставит над нами честных людей! Не проходимцев! Вы поговорите с людьми. — Тойли обвел пальцем вокруг, показывая на дайхан и скотоводов. — Все они покинули дома по пустякам. А теперь вот не решаются возвратиться — одним гордость не позволяет, другие чего-то боятся.

Таганов не успел ответить Тойли — их пригласили за дестерхан, уставленный большими деревянными мисками с разлитой в них янтарной чорбой. Рядом были раскиданы деревянные ложки, разложены испеченные в золе чабанские ячменные лепешки. Чуть позже подали плов, и, когда снова после еды принялись за чай, узкоплечий тщедушный аксакал рода, по имени Ушак-ага, приглаживая реденькую бороденку, заговорил:

— Свят, дорогие гости, у туркмен закон гостеприимства. По обычаям нашим не вправе расспрашивать, кто вы да откуда, пока гость сам не изволит о себе поведать. Но в смутное время, когда лихие люди навели порчу в наших добрых дедовских традициях, не грешно, думаю, преступить малость обычаи и задать вам вопрос: кто вы, джигиты, куда путь держите?

— Простите, почтенный, что мы сами не представились, — учтиво, в тон аксакалу произнес Таганов. — Мы никого не притесняем, ездим по пескам, а забота у нас одна — людям помочь! Говорят, много знает не тот, кто долго прожил, а кто много видел.

— Пробыли вы у нас полдня, — старик отхлебнул из пиалы глоток чая, — видим, непохожи вы на людей, которых мы до сего встречали в Каракумах.

— Загадками говорите, аксакал, — улыбнулся Таганов, разглядывая узловатые пальцы старика, не вязавшиеся с его хилым видом.

— Может быть, сынок, может быть, — неопределенно ответил старейшина, у которого, казалось, под языком были камешки, и оттого он неясно выговаривал все слова. Придержав одной рукой папаху с затылка, аксакал посмотрел на ясное осеннее небо и светло-серую дымку, тянувшуюся над барханами, откуда в такой же безоблачный день с гиканьем и воем налетела на аул конная банда.

Случилось это недели две назад, в послеобеденный час молитвы, когда все мужчины ушли с отарами в пески. Басмачи напали на кочевье и, наставив на аульного аксакала Ушак-ага оружие, измывались:

— Эй, бородач, кто ты такой?

— Зовут Ушак, и родом я из ушаков — есть племя такое.

— Но мы что-то не знаем такого вождя, — потешался главарь, — Ушак?! Это означает маленький. Может, потому ты такой и мелковатый, а?

— Называйте меня кем угодно, — ответил Ушак-

ага. — Я не родовой вождь, вы это прекрасно знаете. Я простой кузнец и охотник. А в этом кочевье не оказалось человека старше меня, вот и величают все аксакалом. У истинных туркмен старость почитаема и свята...

— Эй, эй, старик! — взъярился главарь. — А мы что, не истинные туркмены?!

— Я все сказал, — ответил Ушак-ага и замолчал.

Долго еще потешались басмачи над старцем. Затем главарь повернул старика спиной, защелкали затворы, раздался нестройный залп, но тот стоял не шелохнувшись: басмачи куражились, все выстрелили поверх головы Ушак-ага. И, как по команде, они рассыпались по аулу, стали врываться в жилища, выносить ковры, одежду, торопливо сворачивая, запихивать все в объемистые шерстяные чувалы. Группа бандитов вывела из загонов овец, верблюдов, коз и погнала в пустыню. Четверо рослых басмачей метались от жилья к жилью и, найдя четырех тринадцати-четырнадцатилетних девочек, силой взвалили их на седла и поскакали в пески.

Не успела эта банда скрыться, как в аул ворвалась другая группа вооруженных всадников и, узнав о приключившемся, бросилась в погоню за насильниками. Спустя некоторое время со стороны барханов раздались выстрелы, а к вечеру всадники вернулись, пригнав с собой захваченный басмачами скот. «Вот только девушек не смогли отбить, — сокрушались спасители, — не догнали...»

Весь аул благодарил спасителей — на радостях в их честь зарезали баранов, устроили угощение. Но чувствовало сердце старика, что их благодетели чем-то уж больно смахивали на недавних грабителей: и улыбки наигранные, и приветливость какая-то холодная, не от сердца.

Тойли, только что вернувшийся с отарой из песков и прибежавший в юрту аксакала, где собрались усатый сердар всадников, онбаши — вожаки десяток, недоверчиво оглядывал гостей, все порывался вызвать Ушак-ага во двор и что-то сказать ему наедине. Когда трапеза окончилась и сердар, недовольный и злой тем, что не удалось разговорить, расположить к себе старика, хлестнув остервенело по лицу камчой своего коновода, замешкавшегося вовремя подать сапоги, поднялся с кошмы, вымученно улыбаясь хозяину дома, Ушак-ага понял все: «Да это те же басмачи!»

Ушак-ага вышел с гостями во двор. Пока они усаживались на коней, сердар, сдерживая горячего аргамака, подъехал к старику:

— Благодари, аксакал, Эшши-хана и его нукеров! Это они спасли ваш скот, ваше добро. Все мы его люди, и ты видишь — мы не обижаем туркмен. Те грабители были наверняка красными. Прикажи своим людям, пусть пополняют ряды воинов ислама...

Старейшина промолчал, сердар в сердцах хлестнул коня — и всадники умчались в ночь. Сбивчивый рассказ Тойли развеял все сомнения Ушак-ага, так потрясенного услышанным, что диву давался, как низко могли пасть басмаческие предводители.

В тот день Тойли, выпасавший овец в песках, увидел в лощине, окруженной с трех сторон высокими песчаными грядами, всадников, которые, не сходя с лошадей, зло бранились между собой. Казалось, они куда-то торопились, чтобы поскорее разъехаться, но, видно, еще не договорившись, что-то выясняли. Особенно возбужденно разговаривали двое — усатый, в темной каракулевой ушанке, и молодой безусый, в рыжей барашковой папахе. Оба горячили коней, чуть ли не наезжая друг на друга, но снова расходились, чтобы вновь сойтись.

— Чтобы я по доброй воле добычу возвратил? — Всадник в рыжей папахе жестикулировал свободной рукой. — Ну, вернем скотину, барахло, будь оно проклято! Зачем девочек возвращать?

— Приказ Эшши-хана. — Усатый конник был невозмутим. — Он великое дело задумал, а вам бы лишь свою похоть...

— Эшши-хану легко рассуждать, — не сдавался парень в рыжей папахе. — Да ему на каждом колодце бабу подкладывают. И ты не святой... А мы? Хоть душу отведем с этими девчонками...

Всадники зашумели, загоготали, одобряя слова безусого товарища, а усатый досадливо махнул плетью:

— Смотри, ослушников Эшши-хан не жалует. Ответ тебе держать!

Усатый — это был Джапар Хороз, не добившись своего, поскакал с всадниками к кочевью, а безусый парень, которого звали Силап, соскочил с коня, привязал его к саксаулу и, похохатывая, нагнулся. Тойли увидел на песке четырех связанных аульных девочек. К Силапу подошли еще трое дюжих парней, и они, взвалив на плечи

истошно кричавших пленниц, потащили их за соседний бархан.

Тойли с холодеющим сердцем отполз назад, добрался до кочевья и, увидев в юрте старейшины усача в каракулевой ушанке, обомлел. Он все порывался рассказать об увиденном, но басмачи ни на шаг не отпускали от себя Ушак-ага.

Старейшина умолк, стиснув зубы, будто придавил языком мешавшие во рту камешки. Кочевники и дайхане, молчаливые и угрюмые, сидели потупя глаза, у Хемры на скулах заходили желваки, а Амир-бала, бледный, сверкая глазами, выдохнул:

— Бешеная собака не перестанет кусаться, пока ее не убьют!

И ни Таганову, ни Бегматову не понадобилось раскрывать людям глаза на басмаческие козни: обитатели аула сами поняли — Эшши-хан не оставит их в покое, пока не пополнит мирными скотоводами ряды бандитствующих нукеров. Иначе ханский сын разорит аул, испепелит жилища, прольет кровь этих безвинных людей, у которых и взять-то было почти нечего. Среди этих кочевников прижилось немало пришлых людей, отличавшихся от скотоводов и характерной диалектной речью, и одеянием. Но почему их здесь так много? Особенно сейчас, когда там, в оазисах, создаются колхозы, строятся каналы и на счету каждая пара человеческих рук... Интуитивно Ашир Таганов чувствовал, что люди сейчас разговорятся, выскажут без утайки все, что думают. Скажут, если с ними быть до конца откровенными, искренними.

— Люди! — Таганов внимательно оглядел собравшихся. — Люди, не хочу таить от вас, мы — кизыл аскеры, да-да, и я их командир. Так что можете говорить мне все, что думаете.

— А мы знали! — озорно улыбнулся широкоскулый дайханин в выцветшем хивинском халате. — Я хотел сказать, догадывались...

— Вот ты, вижу, из племени човдур, — обратился к нему Таганов. — Почему ты здесь? Разве у тебя нет своего угла, дома?!

— Есть, — вздохнул тот. — Раздавали в ауле калоши, всем дали, а меня обошли. Я к председателю, к этому самому Мами Курбанову. Говорю ему, почему меня обделили? А он меня начал обзывать: «Деллял проклятый,

порода сутяжная!..» При чем тут мое происхождение? Правда, давно, когда Хивой правил Джунаид-хан, я был деллялом — так у нас в Ташаузе называют базарных посредников между продавцом и покупателем. Чтобы прокормиться, промышлял я деллялством. С тех пор люди забыли мое имя и все зовут Деллялом... Так я у своих же собратьев брал на себя спор при торге и помогал кому-нибудь из спорящих сторон выгодно его выиграть... За это меня вознаграждали. Не воровал же, не разбойничал! На базаре встречаются два глупца — продавец и покупатель. Кто кого обманет, того и взяла!— хитровато улыбнулся бывший деллял. — Так вот, слово за слово, схватились мы с председателем за грудки. Он арестовал меня. Когда повели в Ташауз под конвоем, я бежал — вместе со мной и Пирджан, — дайханин кивнул на стоявшего рядом товарища в лисьей шапке. — Втроем мы отправились в пески.

— Втроем? — спросил Таганов. — Кто третий?..

— Моя жена, — Пирджан сделал шаг вперед. — Председатель все требовал, — пускай, мол, жена в колхозе работает! Где ей работать-то, еле ходила... Тогда она ходила на сносях, а председатель с ножом к горлу: пусти жену на работу! Грозился арестовать. Ну, мы и подались сюда. Теперь у меня есть сын. — Пирджан зарделся счастливой улыбкой. — Кто знает, живи я в ауле, родился бы у меня сын?..

— Люди, — Таганов усилием воли потушил на лице улыбку, видя, как все посерьезнели... — Пирджан, может быть, по-своему, и прав. Но спросите тех отцов и матерей, у которых басмачи похитили дочерей: что они скажут?

— Что тут говорить?! — Из толпы выступил дайханин с густой проседью в окладистой бороде. — Из тех четырех несчастных — две мои... Жена за одну ночь поседела. Мы готовы вернуться в свои аулы. Сегодня они обесчестили наших дочерей, завтра жен... Страшнее позора быть не может!

Лицо Таганова потемнело — бородатый дайханин, недоуменно выпятив губы, отступил назад, смешавшись с толпой.

— Вы, товарищ, задели больное место нашего командира, — сказал Бегматов. — Десять лет назад Хырслан, сотник Джунаид-хана, силком увез его сестру за кордон. Мать командира ослепла тогда от слез.

По толпе прошел гул, люди сочувственно поглядывали на Ашира.

Таганов и Бегматов еще долго беседовали с аксакалом Ушак-ага, с людьми кочевья, где было немало дайхан из других родов и племен, не понявших или обиженных — вольно или невольно, на Советскую власть, но всем сердцем почувствовавших, что им не по пути с басмачами и их хозяевами. Однако они с присущей дайханам, мелким собственникам, расчетливостью прикидывали, как отнесутся власти, если люди вернутся, осядут в оазисах, сперва хорошенько приглядятся к колхозу — халат, сшитый по совету, коротким не будет! Не станут ли их притеснять за то, что до сих пор жили в песках, ничем особенно не помогли Советам...

Все эти серьезные вопросы требовали вдумчивого ответа, глубоких раздумий. Таганов, годившийся Ушак-ага в сыновья, должен был убедить мудрого старца в том, что Советская власть — это не халта-шихи и балта батыры, пытавшиеся подспудно расшатать, разрушить союз рабочего класса и трудового дайханства, породить к Советам недоверие у середняков, натравить их на большевиков.

Ведь Советская власть — это и не те ретивые администраторы, которые, отметая в сторону недоверчивость дайхан, их укоренившуюся сдержанность, пытались силой заставить вступить в колхоз, а тех, кто отказывался или колебался, третировали и именем Советской власти отбирали у них землю, воду, лишали семян, промтоваров и других благ, которыми рабоче-крестьянское правительство наделяло простых тружеников. И Ушак-ага, то ли чувствуя недоговоренность — в многолюдье о многом не скажешь — или стараясь доставить Таганову и Бегматову приятное, пригласил их на следующий день поохотиться.

Бегматов не мог — он остался с отрядом, а Таганов, взяв с собой Шаммы-ага и Халлы Меле, отправился с Ушак-ага в пустыню.

Стояло безоблачное осеннее утро. Ранняя белесоватая дымка тянулась над желтыми причудливыми валами песка, курилась над седыми вязкими солончаками-шорами, стелилась над красноватыми и словно отполированными такырами, звеневшими стеклом под конскими копытами. Вдали, у самого горизонта, подпирали небо остроконечные конусы-бугры, выдутые ветрами глыбы песчаника, своим видом напоминавшие лунный пей-

заж с его фантастическими кратерами... И Таганов ощутил себя ничтожно маленькой песчинкой в этом навечно застывшем океане песка, — показалось, что он затерялся в нем. «Как там Атали? Скоро будет в Ашхабаде, Герту увидит...»

И Аширу даже не верилось, что где-то далеко-далеко, за песчаными грядами, есть утопающий в зелени Ашхабад, с тихой окраиной, с улицами, вымощенными булыжником... Вот он толкнул калитку с железной стучалкой, вошел во двор, где посередине возвышался старый тутовник, прошел по аллее к высокому старинному дому из розового кирпича, поднялся по дубовым ступеням на веранду и увидел Герту, тонкую, светловолосую, укладывающую в портфель тетради, конспекты, сверток с бутербродом. Напевая какой-то веселый мотив, Герта вышла из своей комнаты, простучала каблучками. Вот она маленькими улочками, сокращая путь, добралась до улицы Свободы, где возвышалась башня с часами текстильной фабрики, и слилась со стайкой своих сверстниц — студенток рабфака...

Ушак-ага на сером в яблоках коне чуть вырвался вперед. На нем была стеганка, прикрывавшая колени, на ногах — желтые, потертые в голенищах сапоги, в левой руке — наборная уздечка, а на правой, одетой в большую сыромятную рукавицу, восседал нервный беркут с хищно загнутым клювом, с черным кожаным колпачком на глазах. Старейшина сейчас вовсе не походил на того тщедушного старца, охота преобразила его, он, казалось, слился с седлом, держась стройно, даже молодцевато.

Вдали, у невысокой песчаной гряды, поросшей черным саксаулом, мелькнула белесая тень. Еще глазастый Халлы Меле даже не успел шепнуть Таганову: «Вон — джейран!», как Ушак-ага приподнял беркута на руке, сдернул с его головы колпачок, и птица, тяжело взмахивая крыльями, поднялась ввысь и закружилась над своей жертвой, заметавшейся среди голых барханов.

Охотник слегка дернул узду — умный конь всхрапнул и понесся к барханам.

Таганов, Шаммы-ага и Халлы Меле, не спуская глаз с уже заскользившего у самой земли беркута, тоже пришпорили коней. На бархане, за которым простирался голый такыр, они нагнали Ушак-ага и оттуда вместе наблюдали, как беркут, спускаясь все ниже и ниже, выгнал мечущегося джейрана на глинистую гладь и, вы-

бросив вперед лапы, схватил его. Бедное животное под тяжестью присело на задние ноги, пытаясь стряхнуть с себя врага, вцепившегося мертвой хваткой в беззащитный хребет. Но беркут сильными крыльями бил и ослеплял джейрана, нанося ему клювом смертельные удары между рогов.

По знаку Ушак-ага все поскакали к беркуту, гордо взгромоздившемуся на бездыханном теле джейрана. Хищная птица, победно оглядев людей немигающими желтыми глазами, вновь принялась за свое — клевать голову животного.

—Эй, басмач! — шутливо вскрикнул Ушак-ага, и, достав из кармана колпачок, накинул его на глаза беркута. Хищник тут же угомонился, но по-прежнему не выпускал из своих цепких когтей жертву, пока охотник не протянул ему кусочек заранее припасенного мяса и не подставил руку в сыромятной перчатке. Ведь не отберешь вовремя, исколошматит джейрана в месиво. Старейшина перенес беркута к коню, усадил его на луку седла. Затем, достав из-за пояса нож, надрезал джейрану горло, спустил уже успевшую загустеть кровь — так принято у туркмен, иначе дичь считается нечистой, поганой, и стал свежевать. Пока Ушак-ага разделывал тушу, Таганов, Шаммы-ага и Халлы Меле наломали саксаула, развели костер, отыскали рогатины и стали молча наблюдать за священнодействием старика над мясом.

— Я вас таким шашлыком угощу! Каракумским!.. Ухо вам будут за едой резать — не почуете. — Старик наломал гребенщиковых прутьев и, ловко орудуя ножом, нанизал на них грудинку, вбил в землю, по краям костра, заостренные рогатины и укрепил на них деревянные шампуры с мясом. Поблескивая глазами, довольно потирал руками. — Забыл уж, когда и охотился... Все в заботах да в хлопотах. Воду пускает один человек, землю засевает тысяча... Аксакалом величает меня народ, а это ноша нелегкая. Всех надо рассудить, примирить, добрый совет дать. А жители кочевья из многих родов, бедных, разоренных басмачами. Но они никогда не давали нукеров врагам народа. Потому и впали в немилость у басмаческих главарей, а к Советской власти пристать не успели. Так и болтаются меж двух берегов, словно хворост на бурливой стремнине Амударьи — куда вынесет...

В воздухе вкусно запахло жареным мясом. Шаммы-ага, увидев, как Халлы Меле задвигал кадыком, глотая

голодную слюну, улыбнулся, Ушак-ага засуетился, подошел к своей лошади, снял с крупа свернутую кошму и расстелил ее на песке.

— Мы хотели спрятаться от жизни. — Ушак-ага ловко перевернул шампур, прожаренное мясо покрылось аппетитной розоватой корочкой. — Хотели скрыться от басмачей и от Советов уйти. Да оказалось, третьего-то пути нет. Вот если бы Советская власть не стригла бы нас под одну гребенку с кулаками-мироедами, мы бы за нее пошли. А против нее не ходили и не пойдем... Ты, сынок, малость рассеял туман в моей голове. Одно мы теперь уразумели: если нас Советская власть не защитит, то Эшши-хан вырежет всех до единого.

— Советская власть защитит вас. — Таганов сел на кошму, придвинулся поближе к костру. — Она даст вам воду, землю, только возвращайтесь в свои аулы... И насчет гребенки вы правы. Перегнули кое-где палку. Но, разозлившись на блох, не спали весь халат... Советская власть — это мы с вами. Это вы, Ушак-ага, это и Шаммы-ага, это и Халлы Меле, и Тойли, и Пирджан — все трудовые люди, которые своими руками зарабатывают хлеб, кормят свою семью. Такие, как Эшши-хан, не только стряпней угощают, но и страной, краем своим потчуют.

— Да! — шумно вздохнул Ушак-ага. — Хозяйство у людей только стало налаживаться... А тут — все смешалось: один день в ауле красные, другой день — басмачи, голова кругом пошла. А куда бедному дайханину податься? Колодцы — у кого? У баев. Пастбища — у кого? Опять у баев. Кто большими отарами владеет? И тут баи.

— Верно говорите, аксакал, — почтительно произнес Таганов. — Вы тут в песках многого не знаете, о многом не слышали. Почему баи вновь подняли голову? Да потому, что нынешним летом правительство Туркменской республики приняло решение национализировать байские колодцы, то есть отобрать их и передать государству, народу. А у самых ярых врагов — баев, феодалов, поднявших руку на свой народ, Советская власть отбирает скот, имущество, награбленное у простого люда... Где вы видели, чтобы баи богатства по доброй воле отдавали?

Халлы Меле, видя, что Ушак-ага заслушался Таганова, подошел к костру и с видом знатока произнес:

— Никак, аксакал, шашлык наш подгорает...

— Для кого как. — Ушак-ага ловко снял с жару один шампур с зарумянившимся шашлыком, придирчиво оглядел его и протянул Таганову. — Одни любят прожаренный, с корочкой, другие — с кровинкой...

Таганов взял из рук старика шампур и подал его Халлы Меле. Тот, не скрывая своего нетерпения, тут же принялся за еду.

— А по мне все равно, — с набитым ртом, довольно улыбаясь, произнес Халлы Меле. — Лишь бы свежинка. Век не ел такого шашлыка!

— На здоровье, сынок! — Ушак-ага довольно улыбнулся, снимая с рогатин остальные шампуры. — Свежинку и беркут мой любит... Знаете, о чем я сегодня подумал? На охоте в своей хищной птице я увидел Эшши-хана, басмачей, а в джейране — себя, своих аульчан. Ведь растерзает, не пощадит, если мы ему в лапы дадимся...

Таганов уже вытирал руки, когда заметил, что Халлы Меле зачем-то скинул с себя халат и рубашку. Раздевшись до пояса, тот сказал:

— Смотри, Ушак-ага! Это сделал Эшши-хан... — Вся грудь Халлы Меле была в шрамах и рубцах, на спине — рваный след сквозной пулевой раны. — А я ведь когда-то ходил в его приближенных...

И Халлы Меле рассказал старику страшную историю шестилетней давности, приключившуюся с ним, джунаидовским нукером, которого Эшши-хан и Хырслан, растерзав, думая, что убили, оставили в пустыне на съедение зверям. Чекисты поведали старику и о том, с каким изощренным коварством Джунаид-хан расправился с родным братом Шаммы-ага — Аманли Белетом, его женой и одним сыном — второго сына, Черкеза, он похитил и переправил за кордон. Ушак-ага был настолько потрясен всем услышанным, что даже не прикоснулся к еде.

С охоты возвращались к вечеру. Завидев аул, Ушак-ага натянул уздечку — серый, вздрагивая боками, остановился как вкопанный.

— Если нам сниматься, то надо... немедля. — Старейшина глухо прокашлялся. — Я не уверен, что в кочевье нет шпиона Эшши-хана... Откуда же они тогда разнюхали о нашем ауле?

— Снимайтесь, аксакал! — Таганов полез во внутренний карман, достал оттуда сложенный вчетверо листок, протянул его старику. — И как можно раньше.

А эту бумажку отдадите в Ташаузе, в окружкоме, лично в руки... — И Таганов назвал фамилию ответственного работника. — Он все устроит, во всем поможет.

Ночью над пустыней замел афганец. Таганов долго ворочался, не мог уснуть: то ли мешала непогода, то ли слова о басмаческом шпионе вселили в него тревогу... Но смутное, неясное предчувствие чего-то недоброго не давало ему покоя до самой зари.

Утром Таганова разбудил Бегматов. Полусонный, с тяжелой от бессонницы головой, он едва взглянул на сумрачное лицо друга — и екнуло сердце.

— Что случилось?

— Опять Амир-бала бежал.

— Когда? Погоню послали?

— Ночью, перед афганцем. Бессмысленно искать его, ветер следы замел...

— Да-а-а... Что Хемра?

— Ничего не знает. А вот Тойли сказал, что Амир-бала за головой Эшши-хана поехал...

В тот же вечер такыр у Сапалы опустел. Его обитатели, погрузив свои кибитки на верблюдов, отправились на Ташауз. Вместе с ними ушел и Хемра.

Отряд Таганова, распрощавшись со скотоводами, попрежнему держал путь на северо-запад, в глубь песков, где укрывались банды, сформированные Эшши-ханом и его приспешниками. Часом раньше Таганов снарядил в Ербент двух джигитов, которые повезли сообщение о побеге Амир-балы, об оперативной обстановке в районе действия чекистского отряда, о встрече с кочевым аулом. В Ербенте стоял красноармейский гарнизон, который был связан с Ашхабадом по рации, туда нередко прилетали краснозвездные аэропланы.

ЧТО РОЖДАЕТ ДОБРО

У Адама и Евы было два сына: старший — Каин и младший — Авель. Авель пас овец, Каин обрабатывал землю. Однажды Каин принес в дар богу плоды земли, Авель от стада своего посвятил ему первородных ягнят. Бог Яхве благосклонно принял дары Авеля, а на подношения Каина даже не посмотрел.

Каин сильно разгневался, и лицо его помрачнело. Тогда Яхве спросил Каина: «Отчего поникло лицо твое? Если будешь творить добро, — жертва твоя будет принята, если же будешь творить зло, у порога твоего станет грех, а ты в своей алчности не сумеешь совладать с собой и впадешь в него».

Каин, однако, не внял предостережению. Снедаемый завистью, он заманил Авеля в поле и коварно убил его. Когда свершилось преступление, бог обратился к Каину: «Где Авель, брат твой?» А Каин ответил: «Не знаю, разве я сторож брату моему?» Тогда бог сказал в великом гневе: «Что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли».

И бог проклял Каина на вечное изгнание. И Каин, прячась от Яхве, отправился в скитание и поселился на земле Нод, к востоку от Эдема...

Библейское сказание

Зеленокрылый аэроплан с красной звездой на фюзеляже, вспугивая коней и верблюдов, низко закружил над отрядом и приземлился на такыре. Из кабины выбрались двое, в черных кожанках, летных шлемах и больших автомобильных очках. Один из них, что постарше, с короткими усиками, средних лет, представился: «Пилот Чернов!» — и вручил Таганову пакет. Второй, помоложе, поприветствовав издали, — это был бортмеханик, — взобрался на крыло самолета и стал копаться в моторе.

Таганов вскрыл пакет, внимательно прочел, потом передал Бегматову. Из ГПУ республики сообщали, что Аннамет по приказу Эшши-хана отправился к колодцу

Сапалы, чтобы сформировать там из племени ушак басмаческую сотню и пойти с ней под Ташауз, чтобы передать ее под начало одного из бывших джунаидовских юзбашей. Кому именно — неизвестно. Каковы конкретные планы этой сотни? Тоже неясно. Но из племени ушак Аннамету сотню не сколотить: старейшина уже далеко увел аульчан. А если Аннамет перехватит их по дороге?

Кому же все-таки надумал Эшши-хан передать сотню? Таганов перебрал в памяти бывших джунаидовских сотников. Ахмедбек рыскал в песках, Халта-ших поклялся, что не поднимет больше оружия против Советской власти, а Балта Батыр, вернувшись из Ирана, вроде бы угомонился, занялся торговлей...

— Если Аннамет держит путь на Сапалы, — рассуждал Ашир, — значит, Амир-Бала не сказал Эшши-хану, что Ушак-ага увел своих...

— Выходит, так, — подтвердил Бегматов. — Но какой дорогой Аннамет пойдет на Сапалы?

— Дорога здесь одна. Впрочем, есть и другая, но она в обход — вряд ли Аннамет по ней пойдет.

Таганов и Бегматов развернули карту и долго водили по ней карандашом, уточняя маршрут разведывательного полета аэроплана. Вскоре зеленая птица поднялась в воздух, взяла курс на северо-запад, а отряд продолжил свой путь.

На следующий день аэроплан снова закружил над отрядом. Убедившись, что внизу свои, пилот посадил машину на ближайший такыр.

— Какая-то группа движется по направлению к Сапалы, — доложил пилот Чернов. — Они, каты, даже обстреляли меня. — И пилот показал на пробоины в фюзеляже. — Я схитрил, завалил машину на левое крыло, протащился так малость... Они сразу стрельбу прекратили, засуетились, — решили, что подбили.

— Сколько их? — спросил Таганов.

— Чертова дюжина. И, кажись, двенадцать-четырнадцать верблюдов, кони запасные.

— Да, — вслух подумал Бегматов, — снарядились далеко.

— С охранением идут? — Таганов шагнул к фюзеляжу самолета, осмотрел пробоины. — А это не опасно?

— Головное охранение есть, метрах в трехстах. Двое. А по бокам и с тыла охраны никакой. — Чернов осмотрел пробоины, улыбнулся, похлопал промасленны-

ми ладонями по фюзеляжу. — Долетим. Была бы у летчика голова цела.

Вскоре самолет улетел, покачав на прощанье крыльями. Таганов и Бегматов вновь сели за карту, рассчитали, что басмаческая группа доберется до места стоянки чекистской полусотни через шесть-семь дней, а если они будут двигаться навстречу друг другу, то этот срок сократится вдвое. А вдруг это не группа Аннамета? Чекистов интересовала именно она, и Таганов решил послать в разведку Мурада Дурдыева, чья биография без всяких выдумок могла вызвать у басмачей доверие.

— Ты должен вернуться ровно через пять суток, — наставлял Таганов разведчика. — Ни часом позже, иначе мы не выполним того, что задумали. Возьмешь трех запасных лошадей, самых лучших.

День и ночь скакал Мурад, загнал сначала одну лошадь, потом вторую, сам измотался так, что не был похож на себя. На вторую ночь поспал часа три-четыре, и снова в путь, не слезал с седла почти до самого вечера, пока впереди не показались вытянувшиеся цепочкой всадники. Завидев Мурада, они сорвали со спины винчестеры, выхватили маузеры.

— Эй, кто ты? — окликнул издали один всадник, с лицом, перехваченным темной лентой. Мурад узнал в нем Аннамета.

— А вы кто такие? — Мурад одной рукой натянул поводья своего коня, второй выдернул из-за пояса маузер.

— Эй, безмозглый! — Вперед вырвался коренастый всадник. — Не видишь — нас больше?

— Поэтому вы должны представиться первыми. — Мурад засунул за пояс маузер; его конь, замотав головой, зашагал к топтавшимся на месте басмачам.

— Уймись, Мурди Чепе, — скривился Аннамет. — Вижу, этот парень не простак. По обычаю мы должны первыми представиться. Да это никак Мурад, сын Дурды-бая! Так похож на отца.

— Откуда? — произнес Мурди Чепе. — Он же в Ашхабаде учился...

— Если он такой же, как ты... ему, конечно, никакая наука в пользу не пошла, — съязвил высокий всадник, весь обвешанный оружием.

— Заткнитесь! — прикрикнул Аннамет и, обращаясь к высокому всаднику, добавил чуть помягче: — А ты, Силап, не задирайся...

— Вернемся, обо всем расскажу Эшши-хану, — Мурди Чепе даже побагровел от злости.

— Хоть сейчас скачи, доноси, блюдолиз презренный, — неприязненно бросил Аннамет и, поздоровавшись с уже подъехавшим Мурадом, строго спросил:

— Куда путь держишь, парень?

— На колодец Тачмамед.

— Что ты там забыл?

Мурад измученно улыбнулся. Аннамет заметил под глазами юноши глубокие синие круги.

— Вы будто и не туркмены. — Мурад еле сошел с коня. — А меня словно никто из вас не знает. Лучше бы спросили, сколько будет дважды два. Я бы вам ответил, как тот голодный: «Один большой, целый чурек».

Басмачи засмеялись: да, сын Дурды-бая до того голоден и обессилен, что его ветром качает. И Аннамет дал команду расседлывать коней, собирать саксаул, готовить ужин и располагаться на ночь.

Вскоре в медных прокопченных кумганах закипел чай. Доставая из хорджунов зачерствелые лепешки, каурму—зажаренную с салом баранину, хранимую в выпотрошенных овечьих желудках, принялись за еду. Аннамет усадил рядом с собой Мурада, угостил его из своих запасов.

— И чего это ты так торопился, что вышел в пустыню без еды? — спросил Аннамет. Вглядываясь в лицо Мурада, отметил про себя, как тот похож на своего покойного отца, с которым безносый когда-то были добрыми друзьями. — С пустыней, брат, шутки плохи.

— Вышел я с запасом, но путь долгий. — Мурад ворошил хворостинкой горячие уголья костра. — Я бежал из Ербента... Двух лошадей загнал по дороге, оставил все съестное. Красные меня мобилизовали, чтобы я с басмачами воевал. А я решил, что мое место рядом с теми, с кем был мой отец. Говорят, что в Каракумах Эшши-бай появился. Мне его непременно надо увидеть... Отец поведал мне тайну четырех сундуков с золотом и драгоценностями, спрятанных в Каракумах. Я знаю, где. Но один не справлюсь, а вот Эшши-бай мог бы помочь...

Лицо у Мурди Чепе вытянулось и теперь вместе с головой и ушами, навострившимися, как у шакала, напоминало колотушку. А Силап, как гепард, застывший

при виде дичи, даже перестал жевать, в глазах остальных нукеров мелькнули алчные огоньки.

— Досточтимого Эшши теперь ханом величают, — угодливо пролепетал Мурди Чепе. — Смотри, не назови его при встрече баем!

— Мы и без Эшши-хана можем тебе помочь, — Силап пропустил мимо ушей раболепную реплику ханского соглядатая — уж слишком взволновали его слова Мурада.

— Ты говори, да не заговаривайся! — Мурди Чепе соскочил с места. — Как это без Эшши-хана? Он наш господин...

— Мой господин тот, кто больше платит, — отрезал Силап. — А Эшши-хан прискакал и снова ускачет в свой Афганистан.

— Не разводи свару! — Аннамет поднял глаза на Силапа. — Не купил еще лошади, а об уздечке споришь.

— Я не прячусь за чужие спины, как некоторые. — Силап бросил выразительный взгляд на Мурди Чепе. — В бою я не зарываюсь в песок, как скользкая ящерица...

— Ты сам ящерица! — взвизгнул Мурди Чепе, его гладкое, лоснящееся лицо покраснело. — В прошлый раз я не сказал Эшши-хану про девочек из Сапалы. Мало, что ты их утаил от Эшши-хана, так еще и сплавил их Абдулле Тогалаку.

— А что тут худого? — смачно сплюнул Силап. — Девочек я сам добыл... Мой товар! Уйду в Иран, и будут меня там ждать готовые жены.

— Сказочки рассказываешь... Сам же трепался, что Абдулла Тогалак перепродал их в какой-то иранский бордель. Обратно будешь их выкупать? Тебе под стать такие жены...

— Уймитесь! — рявкнул Аннамет. — Чего раскудахтались, как байские жены?! Дайте человека послушать.

— Я все уже сказал. — Мурад внутренне усмехнулся над басмаческой жадностью: одно лишь упоминание о сундуках с золотом затмило рассудок этих людей, усыпило их бдительность. Тагановский расчет оказался верным. — У меня одна забота — разыскать Эшши-хана.

— Айда с нами! Рано или поздно мы с Эшши-ханом свидимся, — сказал Аннамет. — Мы все под ним ходим...

— Мне поскорее надо, — возразил Мурад. — Как бы потом поздно не было.

— А это недолго, — вкрадчиво заговорил Силап. Лицо его заострилось, и весь он походил на хищника, изготовившегося к прыжку. — Доедем до Сапалы и обратно... Посчитай, две недели уйдет...

— А кто пойдет с Балта Батыром на Куня-Ургенч? — ехидно вставил Мурди Чепе. — Что-то быстро ты приказ Эшши-хана забыл!

— Заткнись! — Глаза Силапа блеснули ненавистью. — Не суйся не в свое дело! У нас есть сердар...

— Вы как псы голодные, — спокойно произнес Аннамет. — Сына Дурды-бая неволить не будем. Пускай идет к Эшши-хану! А ты, Мурди, в чужие дела не встревай. Я не посмотрю, что ты кое у кого в любимчиках ходишь...

— И в шпионах, — бросил Силап. — И в лизунах.

— Хватит! — Аннамет поднялся с места. Мураду показалось, что безносый прикрикнул на Силапа без особого усердия, скорее для порядка — на губах Аннамета скользнула едва заметная поощряющая усмешка.

Солнце клонилось к закату. Стреножив коней и выставив караулы, басмачи готовились к ночлегу. Мурад тоже укладывался спать — снял папаху, повязал платком наголо обритую голову, как услышал позади себя вкрадчивый голос Мурди Чепе.

— Так ты говоришь, что неделю с лишним, как из Ербента выехал? — Мурди Чепе чуть ли не дышал в затылок Мураду. — А голова-то твоя еще не обросла... Сдается мне, обрили ее дня два-три назад.

Басмачи заржали. Мурад тоже весело смеялся со всеми, но в душе досадовал на свою оплошность: дернуло же его в день отъезда упросить Халлы Меле побрить ему голову.

— Ты прав, Мурди Чепе, — спокойно ответил Мурад. — Я обрил голову три дня тому назад. Сам. На Кизыл Такыре, у старой сардобы с дождевой водой...

Вскоре басмаческий лагерь погрузился в сон; раздавался лишь всхрап коней, осторожный хруст песка под ногами караульных, круживших вокруг стоянки. Ветер доносил тревожный вскрик ночной птицы, неясное бормотанье засыпающей пустыни...

Прикрыв глаза, Мурад припоминал, как вел себя с момента встречи с басмачами, что говорил... Не пере-

играл ли?.. Аннамет будто поверил, с сочувствием отнесся к Мураду. Безносого вообще не поймешь — то ли ему все безразлично, то ли шел на Сапалы против своей воли... Силап тоже занят собой и своими пошлыми выходками — ему б только над кем покуражиться. А вот Мурди Чепе, ханский холуй, опасен — прилип как репейник.

Утром Мурад обратил внимание, что кто-то рылся в его хорджуне, а Мурди Чепе, отведя в сторонку Аннамета, что-то ему нашептывал. Заметив, что Мурад проснулся, Мурди Чепе ехидно улыбнулся:

— Как спалось сыну Дурды-бая? Не приснилась ли ему бритва? А ведь в хорджуне-то ее не оказалось! Хи-хи-хи...

— Наверно, осталась во втором хорджуне. — Мурад сладко зевнул со сна, поднялся с кошмы. — На второй лошади, что загнал...

— И на все-то у сына Дурды-бая ответ заготовлен, — не унимался Мурди Чепе. — Дурды-бай поди...

Мурад неожиданно сильным ударом, как учил его Таганов, снизу вверх в подбородок, сбил Мурди Чепе с ног. Тот брякнулся оземь, как вьюк, сброшенный с верблюда. Опешили все, даже зубоскал Силап. Аннамет же, пряча довольную улыбку, опустил голову.

— Берекелла! Молодец! — Силап, опомнившись, охнул от восхищения. — Так его! Как можно говорить о покойнике и добрым словом не помянуть! Хоть бы для приличия обмолвился: «Земля ему пухом», как у туркмен принято.

— Презренный! Кто ты такой, чтобы отца моего склонять? — Мурад, бледный и решительный, стоял над плаксиво стонавшим Мурди Чепе. — Скотина! Забыл, как надо с достойными людьми разговаривать... Я сын Дурды-бая! Да я куплю тебя с твоими погаными потрохами и отдам тому же Абдулле Тогалаку, чтобы персам тебя сплавил. — Мурад стоял подбоченясь, с презрительной миной на лице: в те минуты он действительно походил на чванливого байского сынка. — Я из уважения к сердару Аннамету молчал: какой с пустомели спрос? А Эшши-хану скажу, каких глупцов он держит подле себя...

— Ну что, схлопотал? — куражился Силап. — Когда у паршивой козы зад чешется, она трется о палку чабана. Теперь узнаю я сына Дурды-бая! — Силап хлопнул по плечу Мурада.

Аннамет строго взглянул на Мурада — юноша нехотя отошел от лежавшего на земле Мурди Чепе, который, охая и кряхтя, поднялся с земли — по уголкам рта текла окровавленная слюна. Безносый пристально взглянул в ясные глаза Мурада, подумал: «Нет, такие басмачами не становятся... Он чем-то похож на Тагана. Зачем идешь к Эшши-хану? А знаешь ли ты, что твой отец погиб от его же рук?..» И Аннамет, интуитивно чувствуя, что Мурад знает всю правду о гибели Дурдыбая, и еще неясно осознавая, что делает, решил отпустить юношу на все четыре стороны. Он смутно надеялся, что тот поедет в басмаческий стан и убьет Эшши-хана, которого Аннамет теперь стал в последнее время винить во всех своих бедах — и в потере Байрамгуль, и в собственной неприкаянности... Ему уже за сорок, а что хорошего видел он в своей жизни? Смерть да кровь, слезы и страдания, несправедливость. Ни детей, ни кола, ни двора... А тут еще вечные подозрения, попреки Эшши... Какой же он, Аннамет, глава контрразведки, если к нему Эшши-хан приставил этого недоноска Мурди Чепе. Как поступают с верблюдом, которому перестают доверять груз? Под нож пускают...

Через сутки с лишним Мурад, сделав небольшой крюк по пустыне, встретился со своим отрядом. Ашир Таганов, зная, с каким трудом и мучением дадутся юноше последние километры, спешил ему навстречу, на всякий случай рассылая окрест парные дозоры.

— Это басмачи, — еле держась на ногах, докладывал Мурад командиру. — Аннамет получил приказ Эшши-хана сформировать сотню на колодце Сапалы и, передав ее под начало Балта Батыра, вместе с ним идти к Куня-Ургенчу.

— С какой целью? — спросил Таганов.

— Этого не узнал... Уж очень подозрительны они. А под Куня-Ургенчем, думается мне, очередной разбой задумали.

— Боюсь, что не только разбой. — И страшное подозрение ожгло душу Ашира: «Неужели осмелятся?.. В селе, где много собак, ходят с палкой».

Засаду решили устроить на колодце Аджы, лежавшем на пути банды Аннамета. Воды в том колодце вдоволь. А у басмачей ее в самый обрез, и им этого колодца не миновать.

Объяснив джигитам свой замысел, Ашир Таганов приказал:

— Огонь открывать в крайнем случае, только по моему сигналу. Важно взять их живыми...

К колодцу басмачи подъехали ночью, разгрузили вьюки с верблюдов, расседлали коней и, когда собрались поить животных, ночную тишину огласил громкий голос Ашира Таганова:

— Аннамет! Прикажи своим людям не двигаться. Вы окружены! Бросайте оружие!..

Басмачи от неожиданности опешили. Кто-то вскрикнул: «О, аллах, спаси нас!..» Первым опомнился Силап — выстрелил в темноту, на голос Ашира. Но чекисты не отвечали. Потом снова воцарилась тишина. Раздался конский топот — по такыру вихрем промчались двое всадников и скрылись в ночи. Поднялся шум, гвалт, заглушавший команду. С двух сторон коротко застучали чекистские пулеметы и тут же смолкли. В безмолвии снова раздался голос Ашира:

— Бросайте оружие! Мы гарантируем вам жизнь.

На миг барханы озарились ярким светом: двое чекистов со всего размаху швырнули в сторону противника связку факелов. Теперь ослепленные басмачи были видны как на ладони. Но кто-то из них проворно вскочил на коня и тоже пустился наутек.

— Это Аннамет! — вскрикнул Мурад, приложился к винтовке — раздался выстрел, конь под седоком припал на передние ноги, и басмач кубарем покатился по земле. Тут же поднявшись, он подошел к пылавшим факелам и бросил рядом с ними маузер. Его примеру последовали остальные басмачи. — А где Мурди Чепе и Силап? — возбужденно кричал Мурад, не видя их среди разоруженных бандитов.

— Ускакали, — буркнул Аннамет. — Они не дураки, как мы...

— Брось прибедняться, Аннамет, — перебил его подошедший Таганов. — Если б не подстрелили под тобой коня, и ты бы удрал.

— Ашир? Сын Тагана? — изумился Аннамет, но, переведя взгляд на Мурада, произнес: — Чуяло мое сердце, что ты с начинкой...

* * *

По утрам Таганов поил своего коня, после завтрака проводил занятия с джигитами — по огневой подготовке, по материальной части оружия. Когда его сменял

Бегматов, преподававший чекистам уроки политической грамоты, Ашир в свободные часы ощущал какое-то странное чувство: его неотвратимо тянуло к Аннамету, к этому дремучему басмачу, чьи руки были обагрены кровью отца. Аннамет был живым свидетелем последних минут его жизни, видел, как умирал комэска Таган...

И Ашир приходил в землянку, где Аннамет содержался под охраной. Басмач отупело глядел на Ашира, не понимая, почему сын Тагана зачастил к нему, подолгу сидит молча, почти не расспрашивая его ни о чем. А ведь Аннамет знал такие джунаидовские тайны, что, рассказав их, можно было купить себе жизнь. Так думал Аннамет, слепо веривший в то, что в этом мире все продается и все покупается. «Вряд ли сын Тагана будет торговаться со мной. — Аннамет пытливо разглядывал непроницаемое лицо Ашира. — Убьет, и должен, если истинный туркмен...»

Однажды, разглядывая Аннамета глазами, полными тоски, Таганов уставился в одну точку и холодно спросил:

— Как погиб мой отец?..

— Зачем это?.. Чтобы потом пристрелить меня?..

— Я могу это сделать и так.

«И правда... Кто ему помешает? А тогда из красных никто не ушел. Сын не знает, как умирал его отец... Пусть хоть утешится...» — злорадно усмехнулся чему-то Аннамет и стал нехотя, но до мелочей вспоминать давнее.

...В августовский жаркий день отделение кавалеристов во главе с командиром эскадрона Таганом бросилось в погоню за Хырсланом, джунаидовским сотником, учинившим погром и насилие в дальнем кочевье. Командир, зная, что басмачи могли укрыться в развалинах древнего городища, возле аула, нещадно гнал коней, чтобы еще до наступления темноты навязать бой бандитам. Не доезжая развалин, возвышавшихся на подступах к аулу, красноармейцы заметили развевающийся на ветру алый флаг, а рядом с земляной насыпью — дайхан с кетменями в руках. Они рыли арык. Всадники обрадовались — кони сами понеслись вскачь, чувствуя близость воды, а у Тагана от радости заколотилось сердце: красный флаг, значит, там свои, трудовые дайхане, которые и коней напоят, накормят и покажут, где спрятались басмачи. Так было уже не раз. И красные конники со спокойной душой неслись к сво-

им друзьям. Но что-то странно вели себя дайхане: заученно, будто заведенные, взмахивали кетменями, пригнулись, не разгибая спины, никто головы даже не поднял. Ни приветливых жестов, ни взмахов рук, как обычно. Но вот один дайханин все же выпрямил спину и, отчаянно размахивая рукой, бросился к подъезжавшим кавалеристам, закричал на бегу: «Басмачи! Опасно! Засада!..»

Щелкнул выстрел — дайханин по инерции пробежал еще чуть вперед и бездыханный упал лицом вниз. Кетмень, выпавший из безжизненных пальцев, заскользил по земле и замер в двух шагах от головы хозяина.

Спохватился Таган, да поздно: позади дайхан, в арыке, он увидел мохнатые шапки басмачей, их перекошенные от злобы лица. Не успел комэска скомандовать: «Шашки к бою!», как грянул залп, бросились врассыпную дайхане, которых басмачи насильно вывели в поле как приманку. Вздыбились кони, понеслись по степи ошалело, волоча за собой убитых и раненых кавалеристов, застрявших ногами в стременах.

Таган и еще трое красноармейцев, чудом уцелевших, пронеслись над арыком, срубив несколько басмаческих голов, и, отстреливаясь, поскакали к видневшемуся вдали одинокому домику. Силы были слишком неравны: четверо против тридцати. И командир эскадрона принял решение: добраться до домика, больше негде укрыться — кругом голая степь, и там принять бой.

Домик оказался добротным, с фундамента до окон белокаменным, из местного известняка «гюша», а выше срублен не то из арчи, не то из невесть откуда завезенного сюда дуба. Долго держали оборону в этой маленькой крепости отважные кизыл аскеры. Трижды басмачи атаковали домик и трижды откатывались назад, оставляя каждый раз на солнце тела сообщников. Но все реже и реже раздавались выстрелы из домика — видно, иссякли патроны. Басмачи знали, что там в живых остался только один человек. Это был комэска Таган.

— Эй, Таган! — крикнул ему Хырслан. — Сдавайся, если не хочешь, чтобы мы тебя зажарили как кабана.

— Идите, я сдаюсь, — ответил из-за укрытия Таган.

— Ты выходи! Бросай оружие!

— Как выйду? Я ранен...

Хырслан приказал своему помощнику Аннамету и еще двум нукерам принять капитуляцию красного коман-

дира. Басмачи осторожно и по одному продвигались к домику, последним был Аннамет. Но когда до них донесся протяжный стон, они осмелели разом, бросились к домику. Едва басмачи приблизились к двери, как из окна вылетела граната и разорвалась под их ногами: оба нукера были сражены наповал, а Аннамета отбросило в сторону. Контуженный, он пополз назад.

Хырслан взбеленился, но кому он только ни приказывал подойти к домику и выкурить оттуда Тагана, все отказывались наотрез: «Нам жить пока не надоело. Оставь ты в покое этого Тагана... Сам сдохнет! Пока не поздно, надо бежать...» Но Хырслану хотелось сдержать слово, данное Джунаид-хану, — привезти в подарок голову Тагана. Басмаческий главарь достал откуда-то лук со смазанными жиром стрелами и, злорадно торжествуя, поджег одну стрелу и с силой выпустил ее из лука: «Сейчас мы зажарим этого красного!»

Первая стрела, погаснув еще в воздухе, упала на крышу домика. Вторая, третья... Все гасли на лету или не достигали цели.

— Давай ты! — Хырслан сунул в руки Аннамету лук и, перебросив ему через плечо ремешок колчана, ткнул оголенным маузером в бок: — Видишь, пока стрела долетит, огонь ветром забивает. Подберись ближе!

Таган, видя по-кошачьи ползущего басмача, собрал последние остатки сил, выстрелил и промахнулся. Аннамет подкрадывался все ближе и ближе и наконец, когда до цели оставалось несколько десятков метров, натянул тетиву лука — стрела красным угольком упала на широкий карниз над дверью, и вскоре крыша, прокаленная каракумским суховеем, задымила, заполыхала жарким пламенем.

Аннамет отполз в сторону, но вдруг в проеме окна увидел рослую фигуру Тагана, который стоя приложился к винтовке — раздался выстрел, другой...

Басмачи ответили ожесточенной пальбой, не отдавая себе здравого отчета, что их жертве, не пожелавшей сдаться, все равно не выбраться из огня. В накаленном воздухе витала смерть, она трещала и шипела всполохами огромного костра, мстительно взвизгивала и вздыхала пулями, поднимавшими вокруг дома фонтанчики песка и отбивавшими от пылающих стропил маленькие горящие щепы...

Ашир Таганов скрипнул зубами, сделал ртом короткий вздох, чувствуя, как кровь прилила к вискам. «Этот двуногий зверь заживо сжег моего отца, — Ашир не сводил с Аннамета невидящих глаз. — А я сижу тут с ним и слушаю, как умирал мой старик...» Ашир решительно шагнул к выходу из землянки, сухо сказал Аннамету:

— Пошли со мной!

Аннамет поднялся, пригнувшись вышел из землянки. Ашир пропустил Аннамета вперед, и они медленно зашагали, утопая по щиколотку в песке, мимо колодезного сруба, стреноженных коней и верблюдов, мимо джигитов, окруживших Бегматова. Завидев их, комиссар подошел к Таганову и, уловив в его глазах какой-то странный блеск, спросил:

— Ты куда, Ашир?

— Я сейчас...

Бегматов умерил свой шаг, отстал от Таганова, чтобы не привлекать внимания джигитов, но в его душе поселилась какая-то неясная тревога: никогда раньше не видел он таким своего друга. Лишь однажды, в тот далекий день, когда из Каракумов пришла черная весть о смерти Тагана, глаза Ашира были точно такими же, как сейчас.

Тем временем Ашир и Аннамет ушли далеко от колодца и, дойдя до лощины, окруженной барханами, Таганов приказал басмачу остановиться.

— Если веруешь, то помолись, — Ашир достал маузер, отобранный у Аннамета. — Знаешь, зачем я привел тебя сюда?

— Знаю. Я помолился еще там, в землянке... — И Аннамет, повернувшись лицом к Аширу, расставил ноги. — Я готов, сын Тагана.

Таганов, пораженный кажущимся самообладанием Аннамета, не торопился стрелять и, не сводя с него глаз, приказал:

— Повернись спиной!

— Нет, стреляй сюда! — Аннамет дрожащей рукой отвернул ворот вышитой рубашки и, ткнув пальцем в грудь, выдавил: — Стреляй. Тут, говорят, сердце... На мне кровь твоего отца. Я бы тоже пристрелил убийцу своего отца.

Таганов взвел курок маузера, прицелился — в прорезь мушки увидел лицо, искаженное предсмертным страхом. Лоб басмача покрылся испариной, он прикрыл

глаза, ожидая выстрела, но нашел в себе силы разомкнуть веки... Он улыбался — криво, вымученно. Таганов опустил руку, с шумом впихнул маузер в деревянную кобуру.

Вскоре Бегматов и джигиты отряда увидели странную картину: из-за барханов показался Ашир, а чуть поодаль — Аннамет; оба бледные, они, не глядя ни на кого, медленно прошли по лагерю. Ашир, пригнувшись, вошел к себе, в командирскую палатку, Аннамет — в землянку, вокруг которой прохаживался часовой.

Перед отправкой басмачей в Ербент Аннамет, не поднимая глаз на Таганова, спросил:

— Скажи, Ашир, почему ты не убил меня? Ведь ты хотел это сделать...

— У меня и сейчас рука не дрогнет, — резко ответил Таганов. — Я вывел тебя на расстрел, ослепленный местью. Но подумал: а почему ты оказался в басмаческом стане? Ты стал нашим врагом не по своей воле... Закоренелый басмач не встретил бы смерть так мужественно. И еще по одной причине я сохранил тебе жизнь. И эта причина главная, в ней суть... Какая? Придет время — поймешь.

— Ты меня уже убил... Там, у бархана, я похоронил одного Аннамета. Но не очень-то уверен, сможет ли начать новую жизнь другой Аннамет... Даст аллах, свидимся, я бы хотел услышать о той сути, о которой сейчас не время говорить. Но чует мое сердце — в ней правда, что ты сохранил мне жизнь, которой я не достоин, — Аннамет, опустив голову, переминался с ноги на ногу. — А сотня из племени ушак по замыслу Эшшихана должна с другими отрядами пойти на Куня-Ургенч. Эшши-хан задумал захватить его, вырезать всех большевиков — русских и туркмен... Однажды мы сожгли там новую больницу, почту, мельницу, где беднякам бесплатно зерно мололи. Теперь вот второй раз задумали Куня-Ургенч захватить...

ИСТИНА СТАРОГО КОЧЕВНИКА

Говорят, некогда Человек и Змея жили в мире и дружбе. Человек не раз выручал свою соседку из беды, а она охраняла его жилье, отыскивала ему клады.

С годами у Змеи появились новые повадки. По ночам она норовила заползти в жилье Человека, стала покушаться на домашний скот и, наконец, отравила родник, из которого пили люди.

И они крепко поссорились, наговорив друг другу кучу обидных слов. На том бы разойтись, но Змея, раскрыв пасть, бросилась на Человека, пытаясь ужалить его. Человек выхватил саблю и отрубил ей хвост. Змея, оставляя за собой кровавый след, уползла в кусты. Но она не погибла. Затаившись, обдумывала, как бы отомстить Человеку. В один из дней, подкараулив малолетнего сына Человека, ужалила его, и тот вскоре умер.

Прошло много лет. Все эти годы Человек и Змея не ведали друг о друге. Как-то Змея приползла к Человеку и, извиваясь, пала перед ним ниц:

— Забудем старое! Давай будем дружить как прежде.

— Дружбе нашей не бывать, — ответил Человек. — У тебя хвост не отрастет, а у меня в сердце боль не уймется.

— Мы квиты, — Змея поблескивала новой чешуей. — Я поняла — на земле добрее Человека никого нет. Смотри, я теперь иная, красивее и наряднее.

— Но сердце-то у тебя старое. Ты сменила чешую, но не нрав.

Туркменская сказка

Старый Мерген-ага, прозванный так за верный глаз и сильные руки, сызмальства жил в глухом урочище Ярмамед, к которому с одной стороны подступали песчаные гряды Каракумов, с другой — ровное, как гигантский палас, плато Устюрт. Здесь женился и овдовел.

Жена, рожая вторую дочь, умерла, а маленькая Акча выжила — выходила ее старшая дочь Набат. Теперь та, некогда беспомощная, пискливая малышка, как две капли воды похожая на покойную мать, выросла в первую красавицу кочевого аула. А годы идут, катятся, как арба под уклон, и Акча уже девушка на выданье...

Мерген-ага, стыдясь самого себя, мысленно перебирал парней урочища и, не остановившись ни на одном, кто стал бы достойной парой дочери, неизменно приходил к выводу: пора подаваться в Конгур, в родной аул, откуда родом все его предки. Может быть, Мерген-ага, волей случая ставший кумли *, и съехал бы в оазис, не будь у него своей маленькой отары. Но здесь раздолье пастбищ и хрустальной чистоты вода. Вкуснее воды, чем в колодцах Ярмамеда, пожалуй, не было во всех Каракумах.

Правда, колодцами владел Атда-бай, а Мерген-ага поил из них свою отару только благодаря байской милости. Поил задарма, а со всех скотоводов округи хромец драл три шкуры. Как-никак Мерген-ага все же доводится Атда-баю дальним родичем по матери. К тому же недавно они еще больше породнились. Набат, старшая дочь старого охотника, стала четвертой женой бая. Это, пожалуй, крепче всего привязывало старого Мергена к Ярмамеду. Да и куда ему, на седьмом десятке, от родной дочери уезжать? У Мерген-ага не было ни сыновей, ни братьев, а родителей он вовсе не помнит. Вот и пестовал старик своих дочерей, заменивших ему и наследников, и братьев. А хромому шайтану век бы, как своих лопаток, не видать Набат! Разве ей, пригожей и молодой, такой муж нужен? Да забили старому Мергену голову всякими байками: умыкнет девку любой лихой проезжий, натешится вдоволь и продаст проходящим в Иран караванам. Такого позора он не вынес бы. Лучше уж в жены Атда-баю. Может, стерпится-слюбится... Не беда, что она у него четвертая. У пророка Мухаммеда, говорят, было столько жен, что не счесть, а четвертая — самая любимая... Атда-бай отнюдь не пророк, а какой ни есть зять, прижимистый, привередливый, но все же не чужой... Утешался Мерген-ага, сам зная, что обманывал себя, но на что-то надеялся, чего-то ждал.

---

* Кумли — человек песков.

Старый Мерген тяжко вздохнул своим мыслям, погоняя к урочищу отару, которую сам выпасал, сам поил, стриг по весне, когда и дочери помогали — никогда в жизни не нанимал батраков.

Вот и Ярмамед... Мерген-ага по привычке насчитал издали три десятка юрт и восемнадцать землянок. Все на месте — никто не приехал, никто и не съехал.

Кочевье жило трудовой, размеренной жизнью. Ранней весной кочевники стригли на пастбищах овец, свозили сюда шерсть. К лету, когда на дальних выпасах выгорала трава, а в колодцах вода становилась горше или вовсе исчезала, к урочищу съезжались скотоводы, ставили юрты, ремонтировали колодцы и старые кепбе — камышовые мазанки, рыли землянки, сооружали из саксаула и гребенщика загоны, лепили из глины, замешенной на соломе, тамдыры.

К концу лета в урочище, как всегда, громоздились стога верблюжьей колючки. И если зима выдавалась мягкая, дождливая, то колючку палили в тамдырах, выпекая хлеб. Если же зима оборачивалась морозами, сухой и суровой, то вчерашнюю топку берегли пуще глаз — она шла на корм неприхотливым каракульским овцам и всеядным верблюдам. Летом же чабаны перегоняли отары на просторы Устюрта, где трава держалась подольше и кустарников было погуще, — было чем скотину до зимы продержать. А когда наступала осень, выпадали теплые дожди и на желтых барханах проступала зелень, кочевники снова подавались в Каракумы, чтобы выпасать овец на подножном корму. Такая благодатная погода выдавалась изредка и зимой.

Солнце огромным медным тазом скатилось к горизонту и пока еще краешком лизало дальние барханы. Скоро оно скроется за краем земли, но еще будет светло и скотоводы успеют до темноты управиться со своими сегодняшними делами.

Над полукружьем юрт взвивались серые струйки дыма — это женщины готовили ужин. Иные садились за ручную мельницу-дегирмен — круглые, грубо отесанные каменные жернова, мололи муку, чтобы замесить, поставить тесто на ночь, а на зорьке развести в тамдырах огонь для чуреков. Мужчины тем временем поили овец — большая бадья из бычьей сыромятины, шурша по стенкам колодца, выложенным прочным созеном — пустынной березкой, опускалась вниз и затем вытягивалась на поверхность специально приученным для этого

верблюдом. Только поспевай хватать за волосяные веревки и выливать воду из бадьи в большие деревянные корыта, у которых грудились овцы, жадно втягивавшие в себя холодную колодезную воду.

Мерген-ага, присвистывая овцам, не заметил, как рядом, у другого конца наполненного до краев водой корыта, появилась колченогая фигура Атда-бая, опиравшегося о свою неизменную самшитовую трость. Вот уже второй год как Атда-бай, сбежавший из Конгура, обосновался в урочище, и мало кто знал о его новом местонахождении. Хитрый хромец, чтобы сбить розыски со следа, распустил слух, будто со своими шестью взрослыми сыновьями, родившимися от разных жен, бежал за кордон.

Сюда, на север Каракумов, в глухое кочевье, которого еще не коснулась советизация, потянулись и другие баи, крупные феодалы, так же, как и Атда-бай, скрывавшиеся от раскулачивания, сумевшие утаить в песках крупные стада каракульских овец, верблюдов, табуны коней. Сюда же пролегли и дороги басмаческих банд — здесь их привечали, щедро снабжали провиантом, фуражом, оружием.

— Что, тесть, не заходишь? — заговорил первым Атда-бай. — Аль калымом недоволен? Иль дочку, думаешь, чем обижаю?

— Ничего худого о тебе, Атда-бай, не думаю, — Мерген-ага вылил из бадьи воду. — У туркмен отцу не принято к замужней дочери в дом ходить. Вот и блюду дедовский обычай...

Атда-бай смущенно крякнул, посмотрел по сторонам: чабаны занимались своим делом и вряд ли что слышали из-за блеянья овец. Мерген-ага понял: бай что-то хочет сказать, но не знает пока, с чего приступить.

К колодцу подошел старший сын Атда-бая и что-то зашептал отцу на ухо. Мерген-ага, увидев повязку на голове байского сына, простодушно спросил:

— Ты чего это голову повязал?

— А-а... Это самое, — не сразу нашелся тот, — верблюд вчера лягнул... Упал головой на кол.

Следом за старшим байским сыном появился другой, тоже с перевязанной головой. Явно чем-то озабоченный, он отозвал отца в сторону и что-то горячо заговорил.

— Ты тоже головой о кол угодил? — заметил Мерген-ага.

Атда-бай, поморщившись, словно хлебнул прокисшего чала — верблюжьего сквашенного молока, озираясь по сторонам, прошептал:

— Приходи поздно вечером... Не забудь! Я буду ждать, — и заковылял вслед за сыновьями.

Подходя к байской юрте, Мерген-ага припоминал подробности встречи у колодца — заговорщицкое шептанье Атда-бая и его сыновей, потемневшие от крови повязки на их головах и, наконец, это приглашение в столь поздний час.

Хозяин дома ждал Мергена — щедро накрыл дестерхан, выставив плов из отменного хивинского риса, большие пиалы с катыком — кислым молоком, агараном — сливками из верблюжьего молока. Тут же горка пышных чуреков, испеченных из белой пшеничной муки, в деревянных блюдах плавали в бараньем жиру аппетитно прожаренные кусочки мяса.

Бай никогда так хлебосольно не встречал своего тестя. Значит, неспроста, решил Мерген-ага, слушая чуть заискивающую речь Атда-бая:

— Лучше тебя, Мерген, дорогу на колодец святого Абдурахмана никто не знает. Прошу тебя, проводи караван и возвращайся. Сделай это во имя нашего родства, во имя святого дела ислама! Я бы мог послать своих оболтусов, да не знают они дороги. Боюсь, на кизыл аскеров напорются. А за хозяйством твоим мы приглядим.

Старому Мергену в тот вечер так хотелось повидать хоть краешком глаз свою дочь Набат, но она так и не показалась. То ли Атда-бай запретил, то ли вовсе не подозревала, что столь поздний визитер — ее родной отец. Кроме самого Атда-бая и его ученого кота, в байском доме, казалось, не было ни души. А котище — одно загляденье! Громадный, гладкий, с блестящей шерстью, черной-пречерной, как старый закоптевший казан кочевника. На спине его красовалось пятно каштанового цвета, которое Атда-бай называл «отпечатком большого пальца аллаха». Хромец холил кота, подаренного самим Джунаид-ханом. «Заморских кровей, — говорил тот. — Такого кота не сыщешь ни в Иране, ни в Туране... Мне его из Турции один человек привез еще котеночком...»

Когда Атда-баю неожиданно пришлось бежать из родного аула, по дороге, в песках, он вспомнил о своем любимце, хотел вернуться за ним, но ему пытались рассоветовать: только собака предана хозяину, а коты да

кошки привязываются к дому — все равно сбежит. А раз так случилось, значит, тому и бывать — пускай кот живет в Конгуре... Но Атда-бай никого не хотел слушать, за любимого кота он мог отдать любую жену. И отрядил в Конгур людей, которые вместе с котом доставили заодно и юрту, в которой жил Атда-бай.

И зажил кот на Ярмамеде, в привычном жилье. Всякий раз, когда Атда-бай выходил из юрты, кот увязывался за ним, как пес, сопровождая его по аулу, на удивленье и потеху простодушным скотоводам. А в ненастье кот сам выбегал из юрты и с удовольствием гулял под дождем, мурлыча от блаженства.

Однажды кто-то из кочевников, — кажется, даже Мерген-ага,—рассказал баю притчу, которую тот никогда не слышал. Собака—верный друг человека, она, говорят, молит аллаха ниспослать ее хозяину долгую жизнь, чтобы быть всегда в одних руках, служить только ему одному. А кот, наоборот, мол, взывает к всевышнему укоротить век его хозяину, дабы после его смерти самому стать владельцем хозяйских богатств.

Тогда Атда-бай посмеялся над притчей, дескать, глупости, но в память она все же запала. И теперь каждый раз, когда кот, ласково выгибая теплую спину, терся о его руки, колени, он почему-то тревожно вздрагивал от мысли. «Неужто он меня переживет?»

...С рассветом Мерген-ага на резвом байском иноходце отправился в путь. На перекрестке двух дорог, вдали от Ярмамеда, встретил уже дожидавшийся его караван из трех десятков верблюдов, четырех погонщиков и караван-баши — предводителя каравана.

Погонщики все были на одно лицо — носатые, волосатые, с большими жилистыми руками, проворные. По тому, как они умело обращались с верблюдами, уверенно держались в пустыне, Мерген-ага понял, что эти угрюмые парни, видать, не впервые пускаются в такое нелегкое путешествие. Они изредка перебрасывались между собой словами на непонятном языке, то ли на фарси, то ли на курдском. С ними иногда заговаривал караван-баши, рослый крепкий мужчина с усами, судя по внешности — не старый, лет сорока. Это был Джапар Хороз.

Мерген-ага, пытаясь как-то скрасить долгую и утомительную дорогу по сыпучим барханам, спросил у предводителя каравана.

— Ты, сынок, вроде туркмен... Откуда ты знаешь их язык? — Старик кивнул в сторону погонщиков.

— Вот что, старый, — караван-баши ожег старого Мергена огоньками серо-желтых глаз, — тебя прислали дорогу показывать. Вот и показывай. Меньше знаешь — легче жизнь.

Мерген-ага опешил, но резкость караван-баши, скрытность погонщиков лишь распалила любопытство. Теперь он еще больше задумался, отчего так тяжела поклажа на верблюдах, что они, бедолаги, несмотря на свою неукротимую силу, едва поднимаются с места, а к вечеру еле ноги волочат. И почему на иных животных не чувалы, а квадратные, угловатые ящики. Что в них?

Мерген-ага еще издали увидел знакомые очертания глинобитного мавзолея святого Абдурахмана. А поодаль, на такыре, завиднелись колодец и аул, названные в честь некогда похороненного здесь старца. Мерген-ага, проезжая мимо мавзолея, набожно забормотал молитву, а Джапар Хороз и погонщики равнодушно отвернулись. Старик по привычке сосчитал издали юрты и удивился: за сорок перевалило! Раньше их тут было не более одного десятка. Откуда столько народу привалило? И Мерген-ага начал в уме прикидывать, сколько же людей могут разместиться в стольких вновь появившихся юртах. Привычка считать все — давняя слабость старого Мергена. Хотя он и не торгашеского роду и никаких там школ и духовных медресе не кончал, да и грамоты у него никакой, а счет знал отменно. Если надо торг совершить с проезжим караваном, выменять овец и коз на халаты или домашнюю утварь, то тут не могли обойтись без Мерген-ага, который враз посчитает, сколько и кому причитается.

А летом, после пыльных афганцев, сбивающих целые отары в один гурт, где и сам шайтан не разберет, сколько овец и чьи они, Мерген-ага просто-таки нарасхват. Ему только скажи, сколько было овец у каждого хозяина в отаре, и он, подойдя к сбившимся животным, определит на глаз: здесь тысяча! Затем поделит их на пять равных частей и скажет: «Здесь в каждой по двести овец... Хотите считайте, хотите нет». Аульчане никогда не пересчитывали, знали — счет точный.

Мерген-ага, тревожно вглядываясь вперед, — уж больно непривычно тихо в ауле, — подсчитал: если кочевники, то сюда прибыло человек сто двадцать — сто

тридцать, с малышней и женами, а если нукеры — все двести.

Аул встретил караван безмолвием. Мерген-ага, подъехав к крайним, вновь поставленным юртам, увидел на земле связанных мужчин в нижнем белье, почерневшем от грязи, избитых, со страшными кровоподтеками на лицах, с босыми растрескавшимися ногами. Было их семеро: кто-то, завидев подъехавших, поднял голову, другие в беспамятстве просили пить.

Спешившись, Мерген-ага отвязал притороченный к седлу бурдюк, нагнулся, чтобы напоить крайнего парня, по виду похожего на туркмена, но, вспомнив, что сначала надо развязать, взялся за нож, висевший на поясе.

Вдруг из-за барханов, обступивших аул, раздались выстрелы, и сотни две всадников, рассыпавшись цепью, с воем и гиканьем вынеслись на такыр. Впереди на горячем буланом коне скакал Эшши-хан, по его правую руку — Непес Джелат. Их старик узнал сразу. Слева был тоже богато одетый всадник, судя по коню — юзбаши. Мерген-ага пригляделся и признал в нем Мурди Чепе.

Мерген-ага, узнав Эшши-хана и его нукеров, спокойно продолжал свое дело: разрезал путы всем семерым, напоил сначала двух самых слабых, а когда поднес сосок бурдюка к губам третьего, вдруг раздался выстрел — тугая струя воды, вырвавшись из бурдюка, ударила тому в лицо...

— Эй, Мерген-ага! — Эшши-хан, довольный своим метким выстрелом, сунул оголенный маузер за широкий зеленый кушак. — Ты что балуешь наших пленных? Этих красных выродков надо мочой поить, а не водой... — Повернувшись к караван-баши, произнес: — Приняли вас за красных. Уж больно долго чесались вы в пути. — Снисходительно оглядев Мерген-ага, захохотал, вытер кулаком выступившие на глазах слезы. Эшши-хан потешался над озадаченным старым Мергеном, который все еще не мог понять, почему вдруг опустел в его руках бурдюк, вода из которого залила его халат.

Эшши-хан что-то сказал приближенным, спешился и вместе с Джапаром Хорозом прошел в юрту, а Непес Джелат и Мурди Чепе стали вновь попарно за руки связывать пленных. Мерген-ага разглядел, почти все пленные были русоволосыми парнями, а самый юный еще совсем мальчишка, он вызвал у старика такую жалость,

что тот попросил Непеса Джелата не связывать парнишку.

— Ты, старик, не суйся! — Непес Джелат сплюнул тягучую зеленую жижу от наса — нюхательного табака. — У каждого что на роду написано, то он и несет... Все мы под аллахом ходим...

Ханский палач пинками поднял с земли лежавших пленных, погнал на глинистый, спекшийся под солнцем и твердый, как камень, такыр. Выстроив их там в ряд, приблизился сначала к чернявому парню, которого успел напоить Мерген-ага, расчетливо наступил тому кованым сапогом на израненные пальцы босых ног и резко повернулся на месте. Отдавливая каждому в кровь пальцы, Непес Джелат цинично приговаривал:

— Ягненочек ты мой, не ропщи, не гневи аллаха! У каждого своя судьба. Аллах терпел и нам велел!

— Не истязай людей! — не вытерпел Мерген-ага. — Все они, хотя и не нашей веры, рабы божьи...

— Кто рабы божьи? — Двери ханской юрты со скрипом растворились. Эшши-хан, сопровождаемый Джапаром Хорозом, шагнул за порог. — Да они рабы шайтана! Все! И туркмены и русские — все большевики, поправшие нашу веру! Спроси у Атда-бая, что творится в Конгуре. У людей отбирают нажитое, сгоняют в колхозы, девушек остригают наголо и отправляют в город, в публичные дома. На потеху красным аскерам. Хотел бы ты видеть своих дочерей...

Красноречие Эшши-хана внезапно прервал истошный рев верблюда. Погонщики, разгружавшие ящики, не заметили натертую в кровь холку и, видимо, причинили животному нестерпимую боль. Вскочив и взбрыкивая длинными ногами, верблюд ошалело заметался по такыру, волоча за собой на веревках большой ящик, из которого посыпались патроны, густо смазанные револьверы, винчестеры...

Эшши-хан поманил к себе пальцем старшего погонщика и, когда тот приблизился, остервенело стеганул его по лицу камчой.

— Эй, Непес! — Эшши-хан ткнул за голенище камчу. — Этих паршивцев тоже в ряд с красными. Они сделали свое дело...

— Хан-ага, что я там... скажу! — чуть ли не взвыл Джапар Хороз, мотнув головой в сторону границы. — Их мне в комитете дали. Сам Чокаев рекомендовал...

— А ты уверен, что сам целым вернешься? — злове-

ще процедил сквозь зубы Эшши-хан. — Хватит и того, что о грузе теперь узнают и на Ярмамеде. — Эшши-хан выразительно взглянул на старого Мергена. — Хорошо, если не на всех колодцах.

Джапар Хороз сник, а Мерген-ага заторопился в обратную дорогу.

— Ты что так спешишь, Мерген-ага? — Эшши-хан говорил мягко и вкрадчиво, словно ничего не случилось, словно не стояли на солнцепеке пленные красноармейцы, обреченные на верную гибель, словно не он походя перечеркнул жизни несчастных погонщиков. Старый охотник знал, что ханский сын, не дрогнув, может и его передать в руки Непеса Джелата. Что ему стоит? В гневе, необузданном и диком, в спокойствии, ледяном и равнодушном, сменявшемся притворной медоточивостью, во всех своих повадках Эшши-хан был как две капли воды похож на отца.

— Погостил бы, Мерген-ага, денек-другой... — продолжал Эшши-хан. — Не чужой же ты нам человек. Тесть самого Атда-бая, близкого друга моего отца... — В ту минуту он говорил искренно. Джунаид-хан действительно с почтением относился к хромцу, единственному в Конгуре надежному человеку. — А тебе, аксакал, мой сыновний совет, не сочти за дерзость... Не жалей ты красных, этих нечестивых сынов шайтана. Тебя они не пощадят. Потому что ты — середняк, скотовод, хозяин, а у большевиков сойдешь и за бая. Ты и есть бай, только маленький! Отара есть? Есть! Пусть небольшая, но отара! Так что тебе, старик, лучше на глаза красным не попадаться. И умей язык держать за зубами...

Долго еще поучал басмаческий главарь. Говорил он со старым Мергеном не как с равным — назидательно, повелительно, забываясь, что на туркменской земле настала уже другая жизнь, коснувшаяся даже глухих уголков Каракумов. Люди теперь были вовсе не те, что прежде, и даже темный кочевник Мерген-ага, уже наслышанный о Советской власти, о большевиках, всем сердцем чувствовал: хан лишь молотит языком, говорит одно, а думает иначе. Да и как можно верить людям, к которым благоволит Атда-бай, этот хромой лгун.

Старый охотник промолчал, только красноречиво вздохнул — послушал, дескать, словно меду напился.

Ошеломлённым покинул Мерген-ага колодец Абдурахмана. В ушах стояли дикое гоготанье нукеров, слаща-

вый голос Эшши-хана, притворное приговариванье Непеса Джелата, жалобные всхлипывания погонщиков...

Со стороны колодца задул ветер, его порывы будто доносили до старого Мергена стоны пленных красноармейцев. Он прислушался, приложив руки к ушам, — оттуда донеслись глухие винтовочные выстрелы, затем залп и еще залп... Это, наверное, расправлялись с кизыл аскерами и погонщиками. Их расстреливали из того самого оружия, которое доставил басмачам он, старый дурень Мерген, которого все почему-то почтительно величают Мерген-ага... И где убийство свершается? У святой могилы старца Абдурахмана. Не святотатство ли это? Перед глазами встал русоволосый, похожий на девушку, юный кизыл аскер. Совсем ведь ребенок... А ведь там были и туркмены... А погонщики верблюдов? Они тоже мусульмане. В чем их вина? Неужели эти жертвы нужны «во имя святого дела ислама»? Против кого же воюет Эшши-хан? Вот кому так усердно помогает Атда-бай!

И Мерген-ага вспомнил Аннамурата, старейшину конгурцев, верой и правдой служившего Джунаид-хану, когда тот воевал против русского падишаха и кровожадного хивинского хана. Джунаид-хан твердил, что защищает туркмен, святое дело ислама, и под его знамя встали многие. Но стоило ему свергнуть Исфендиар-хана и самому стать хивинским владыкой, как пошел с мечом против своих же братьев — туркмен. Аннамурат раскусил двуличие Джунаид-хана и не стал давать тому нукеров для бандитского воинства.

Джунаид-хан приказал убить Аннамурата. Убили, но правду убить не смогли... А что Эшши-хану надобно? Разве он лучше своего отца? Разве волчица родит ягненка?!

Старому Мергену не все еще было ясно до конца. Но думая об увиденном, пережитом на колодце святого Абдурахмана, он припомнил одну взбесившуюся в ауле собаку, без разбору кусавшую всех — и людей и животных... Ее тогда уничтожили.

Наверное, так уж устроен мир, что его непременно должны населять люди и волки, ангелы и шайтаны... Вообще-то Мерген-ага думал о мире, о людях лучше, чем они есть на самом деле, лучше думал и об Эшшихане, и об Атда-бае, обо всех, кто встречался на его жизненном пути.

Человеку, никогда не жившему в песках, старый кочевник мог бы показаться немного странным. Такими

обычно кажутся кумли — люди песков, ибо свой жизненный опыт они измеряют сердцем — не разумом, а именно сердцем, и потому они, эти бедняки, духовно гораздо богаче иных: тот, кто общается с самим собою больше, чем с окружающими людьми, — одинаково и мудр, как Сулейман, и наивен, как трехлетний ребенок. А представление о мире у простого кумли, человека, всю жизнь окруженного безбрежными Каракумами, их безмолвием, таково, что, помимо действительного, в основном понятного и прекрасного, в его сознании существует еще иной мир, менее реальный и менее понятный. Для старого Мергена и Эшши-хан, и Атда-бай были выходцами из этого мира, запутанного и непонятного для кочевника.

ДЕБЮТ «ЧЕРНОГО АНГЕЛА»

В последнее время активизировались контакты главарей бухарской и туркменской эмиграций, между ними часто курсируют специальные курьеры... Они не оставляют надежды о походе на Бухару и Туркмению... У Ибрагим-бека много оружия, припрятано до 1500 винтовок... Джунаид-хан скоро выедет из Герата...

С осени 1929 г. большой интерес стали проявлять англичане к предстоящим выступлениям (басмаческих отрядов) и попыткам... объединить ряд басмаческих главарей для одновременного и совместного похода на советскую территорию. Главным образом англичане прилагают все усилия для активизации банды Джунаид-хана и выступления ее вместе с Ибрагим-беком. С этой целью английским военным атташе майором Стевени был командирован в январе 1930 г. английский агент...

Из докладной записки полномочного представительства ОГПУ в Средней Азии

В тот день урочище с утра напоминало большой караван-сарай: седоки на конях, верблюдах, ишаках съезжались к продолговатому глинобитному дому, построенному вблизи юрт Атда-бая, разгружали пузатые чувалы, набитые каракулем и верблюжьей шерстью, бурдюки с топленым маслом, свежей брынзой весеннего посола... Здесь же, на такыре, лежали связанные горки шкур — лисьих, волчьих, джейраньих... Все это добро свозилось скотоводами и охотниками округи во вновь организованный «байский колхоз» во главе с Атдабаем.

До поры до времени скрытый, а теперь уже явный враг Советской власти был Мами Курбанов, долго работавший председателем аулсовета, имевший в окружкоме покровителей из числа националистов. Под чужой фамилией сумел протолкнуть кандидатуру Атда-бая в председатели «колхоза».

Скотоводы сносили грузы в глинобитный дом, уже и без того забитый до потолка чувалами, большими фа-

нерными ящиками. У входа, за столиком, сидел мужчина в серой каракулевой папахе, с острыми, выпиравшими из-под серого френча плечами. Внимательно поглядывая на входивших, он щелкал костяшками конторских счетов, делал какие-то пометки в блеклых листках, а когда на складе появился Атда-бай, почтительно поднялся с места, вполголоса доложил:

— На один караван, бай-ага, уже набралось. Даже побольше...

— Слава аллаху скажи, Михаил! — Атда-бай довольно крякнул. — Гяуром был, гяуром остался... Вроде и язык ты наш хорошо знаешь, а к обычаям нашим никак не привыкнешь.

— Это все от того, бай-ага, что рос я сызмала среди крещеных татар. — Михаил поднял на Атда-бая водянисто-светлые смеющиеся глаза. — Язык их с вашим больно схожий, потому и калякаю по-туркменски...

— Татары — и крещеные?! — удивился Атда-бай. — Я всегда их знал как неистовых служителей ислама...

— Да, татары, как и туркмены, магометане... Говорят, когда Иван Грозный, был такой царь у русских, завоевывал Казань, то часть татар обратил в свою веру. Эти татары потом поселились и на Урале, по соседству с нашей деревней.

— Все смешалось на этом свете, — злобно забубнил Атда-бай. — Белое и черное, чистое и поганое...

— Вы напрасно так говорите, бай-ага, — глаза Михаила чуть потемнели. — Не кажется ли вам, что своими суждениями вы оскорбляете меня, своего бухгалтера и — главное — единомышленника. И у вас, бай-ага, не совсем по-восточному получается. Что думаете, то и говорите...

— Не всякий знает свои недостатки, — примирительно произнес Атда-бай. — Но хорошо, если верблюд знает, что у него шея кривая.

Они оба разом засмеялись. Атда-бай мелким старческим смешком, как-то нехотя, а Михаил — громко, раскатисто, по-молодому, беззаботно.

Ярмамед снова стал похож на караван-сарай в базарный день. На нескольких десятках верблюдов сюда доставили зерно, сахар, чай, рис, кишмиш и терьяк, которого хватило бы на целый год тысяче заядлых опиоманов. Часть товаров прибыла из Ирана, многие — из

Хивы, а прислал их все тот же торговец и узбекский бай Абдулла Тогалак, пронырливым людям которого были хорошо ведомы и разбойные дороги, и тайные контрабандные тропы. Хотя Советы и прикрыли частную лавочку, но он держал нос по ветру, знал, что кое-где недруги новых властей позаботились упразднить базары, сделали так, что из рук вон плохо торговали государственные предприятия, а закупка у населения сельскохозяйственного сырья была вовсе сорвана. Потому в отдаленных скотоводческих районах скупку сырья перехватили дельцы. Потому и кочевники округи Ярмамеда шли на поклон к Атда-баю. Тут еще по кочевьям слух прошел, что Атда-бай у Советской власти в фаворе и назначен башлыком— главой, председателем над кочевниками, а в помощь ему, чтобы повиновались, прислан из Ташауза русский комиссар Михаил Грязнов. И теперь все налоги со скотоводов собирали десять сборщиков, назначенных самим Атда-баем.

Люди Абдуллы Тогалака не рядились, не торговались — таков был наказ хозяина. Они разгрузили верблюдов, дали им роздых, а затем погрузили все, что было припасено на складе Атда-бая, который, вручая им небольшой пакет с понятными только ему и Грязнову расчетами, сказал:

— Передайте вашему благодетелю — пусть пришлет следующий караван через месяц.

Едва караван скрылся из виду, Атда-бай позвал к себе всех десятерых сборщиков налогов. Они уже знали, что к баю надо идти при оружии, на конях, готовыми отправиться в дорогу.

И ушли на дальние колодцы тяжело груженные верблюды, чтобы доставить басмаческим сотням все, что выменял Атда-бай у Абдуллы Тогалака. Тут уже хромец не скупился — не свое отдавал, а взамен юзбаши щедро присылали ковры, парчу, золото, украшения. Долг, как говорится, платежом красен.

Едва уехали сборщики, как в урочище влетел на коне Мами Курбанов, резко осадил у юрты Атда-бая взмыленного ахалтекинца и, забыв даже поздороваться, бросил с порога:

— Пропали мы, бай-ага! Плохи наши дела!.. — Мами, рослый и грузный мужчина, плюхнувшись на ковер, схватился за голову. — Что делать? Не убежишь — не спасешься, а в Иран с собой не захватишь...

— Да говори толком! — спросил Атда-бай. — Что стряслось? В эти черные дни я ничему не удивлюсь. Говори!

— Колодцы байские национализируют!

— Что-то премудро говоришь...

— Отбирать колодцы будут, раскулачивать! Советам передают, а они шантрапе всякой...

— Сначала отобрали мельницу, потом дома, добро. — Морщинистое лицо Атда-бая исказилось в плаксивой гримасе, стало похожим на печеное яблоко. — А теперь до колодцев добрались?! Двенадцать колодцев вырыл мой дед, четыре сработаны при отце... Десять кяризных мастеров — иранцев, плененных в бою, отрыли эти колодцы. Двум самым покладистым отец даровал свободу, а остальных продал на хивинском базаре. Он их поил-кормил... Вот откуда эти колодцы! В могиле перевернутся мои предки!..

— Может, еще обойдется, бай-ага? — В голосе Мами Курбанова затеплилась надежда. — Среди большевиков есть еще преданные нашему делу люди. В аулах муллы и ишаны стараются, дайхан, их жен на бунты подбивают... Сумели же мы создать ваш колхоз по родовому принципу, всех ваших родичей в правление воткнули, а вас башлыком посадили... Не так уж плохо, если мы сами со всей округи налоги выколачиваем. Поди, пока разберутся... А Каракумы, слава аллаху, необъятны, когда еще до каждого колодца доберутся... Большевикам свою бы кашу расхлебать, которую сами заварили. Нашлись у них дуралеи — мечети кое-где позакрывали, базары поразгоняли. Тут, конечно, без подсказки наших не обошлось. Но большевики сами себя подсекают по ногам. А хромой человек... — Мами осекся, вспомнив, что Атда-бай тоже хромец, но тут же нашелся: — Пока Советская власть расчухает, что они сами, своими руками натворили, колхозы развалятся. А там, смотришь, и наши друзья из-за кордона поспеют. Так что навряд ли у них руки до колодцев дойдут.

— Что ж ты тогда, не видя воды, задницу свою оголяешь? — Атда-бай, уловив слова о «хромом человеке», мстительно поджал губы. — Надо делать все, чтобы развалить Советы изнутри. Мой друг Абдулла Тогалак пишет, что половину своих доходов тратит на подкупы советских работников, спаивает их, терьячным дымом обкуривает. Есть даже баи, что своих дочерей ответ-

ственным работникам в постели подкладывают. А то выдают за них замуж — с зятем легче договориться, чем с чужим дядей... — Атда-бай достал из кармана смятый листок, протянул его Курбанову. — Вот что потребовали от Советов баи Аимского района. Они такую бучу подняли, середняков подбили... Прочти!

Курбанов развернул листок, прочел вслух:

— «Распустить колхозы, договора на посев хлопка заключать по желанию каждого, прекратить работу по раскрепощению женщин, браки заключать по шариату, распустить сельсоветы, открыть мечети, освободить всех мулл от налога, разрешить свободную торговлю, отменить классовый принцип при обложении налогом, уничтожить списки кулацких хозяйств...» Это здорово! — захлебывался от восторга Курбанов, потрясая письмом. — Это действительно целая программа! Только они пишут, а мы действуем. Видать, однако, умные головы писали...

— Поживем — увидим. — Лицо Атда-бая чуть разгладилось, в голосе задребезжала угроза. — Если Советы наложат лапу на колодцы, тогда я знаю, что мне делать!..

Весть о национализации колодцев все же изрядно обеспокоила Атда-бая. Не мешкая, он отрядил трех своих сыновей на ближний колодец, где жили четыре брата-конгурца, задолжавшие ему за воду: чего доброго, отдадут байский долг большевикам.

— Не давайте спуска этим конгурцам, — наставлял сыновей Атда-бай. — Это проклятое племя жилдунов * и скандалистов...

— Но, отец, ты же сам из Конгура! — изумленно перебил его младший сын. — Разве все мы не конгурцы?!

— Это мать твоя из Конгура! — озлился Атда-бай, — потому она, как и ты, такая строптивая. Не перебивай старших! Запомните, вы не конгурцы! В Конгуре наши предки поселились. Пращуры же наши из великого племени каджаров. Запомните — в ваших жилах течет кровь великих и непобедимых каджаров!

— Отец! — снова перебил его озорной голос младшего сына. — Каджары не те ли, что, перепившись, орут: «Да здравствуют мертвецы!» Говорят, что в Мер-

---

* Жилдун — спорщик.

ве самое почетное ремесло — это ремесло мойщика трупов. Чем больше мертвых, тем больше прибыли. Мойщики признают только мертвых, ибо они безропотны, покорны воле живого...

— Не святотатствуй, сопляк! — Атда-бай сжал кулаки, нахмурил брови. — Каджары — это великое племя полководцев, шахов. Отец ваш каджар, значит, и вы каджары! Мать тут не в счет... Племя конгурцев только и славилось своей бесстыдной наглостью.

— Ну, посмотрим, какие они ушлые, — бахвалился старший байский сын, подъезжая к колодцу, где жили должники.

— Лишь бы не слишком смелые, — острил младший сын. — Все ж никак по матери они мне родичи...

Байские сыновья приехали в час, когда все четверо братьев были дома. Те сразу смекнули, чем обязаны такому необычному визиту, но по законам туркменского гостеприимства пригласили приехавших в юрту, поставили перед ними чай, еду. Закончив трапезу, старший сын Атда-бая завел разговор:

— Мы приехали сюда по воле отца. Он говорит, что братья-конгурцы всегда исправно платили, но нынче с ними что-то произошло...

— О каких долгах речь, если колодцы теперь не принадлежат вам? — перебил старший конгурец.

— О прошлогодних, — ответил байский сын. — Ведь в прошлом году колодцы еще были во владении отца.

— Советская власть отменила эти долги!

— Кто сказал вам такую глупость?

— Раз вам невыгодно, то глупость? Добрая весть всегда с крыльями.

— А должок все-таки придется отдать. — Старший байский сын нарочитым жестом поправил на боку кобуру маузера. — Отец ни перед чем не остановится...

Сын бая не успел договорить, как конгурец, выхватив из-за пояса большой чабанский нож, с силой вонзил его в большой керсен — деревянную чашку, наполненную до краев кислым молоком. Широкое лезвие из дамасской стали, пробив крепкое тутовое дерево, дестерхан, затем толстую кошму, ушло в песок — только желтоватая костяная ручка выделялась на белоснежном фоне молока, чуть расплеснувшегося через края посудины.

Этот выразительный жест хозяина дома означал, что он принимает вызов байского сына, но этикет не позволяет ему быть неучтивым с гостями, хотя они и незваные.

— Нам все понятно. — Младший байский сын, насмешливо взглянув на своего старшего брата, у которого на миг отнялся язык, воскликнул: — Ай да конгурцы!

Прослышав о новом законе Советской власти, не захотели возвращать Атда-баю долги и на других колодцах. Не очень удачно съездили и сборщики налогов. А срок прибытия каравана Абдуллы Тогалака на исходе. Не в правилах Атда-бая своего компаньона за нос водить, тем более такого, как Абдулла Тогалак, вхожего к влиятельным турецким сановникам, и в Иране его знают... Да и Эшши-хан скоро начнет теребить: «Давай товары!» И Ахмед-бек не замедлит прислать гонца: «Пришли терьяку! Он вселяет в сердца моих нукеров храбрость». Покоя не будет. И Атда-бай решил схитрить — выколотить налоги за будущий год с дальних кочевий, где наверняка не прослышали еще о декрете Советов. Он наметил имена покладистых кочевников, а вызов братьев-конгурцев решил принять и проучить их, чтобы другим неповадно было. Кому бы поручить? На сыновей Атда-бай не полагался: вздорные, вечно недовольные, грызутся меж собой, как псы цепные, словно не братья, а вороги какие... Может, от того, что матери у них разные? Но ведь кровь-то в них отцовская одна, каджарская... И впрямь он бы всех шестерых своих лоботрясов променял на одного смышленого дайханского сына. К конгурцам поехали, вооружившись до зубов, а вернулись посрамленными. Грязнова надо послать, вот кого! Опыта ему не занимать, руку еще в монгольских степях да в сибирских лесах набил, сам проговорился, когда Атда-бай своих незадачливых сыновей распекал. Разговорчивым делался Грязнов после каждого каравана, привозившего фляги с чистым спиртом.

Атда-бай о Грязнове почти ничего не знал, но чтобы доверять ему, было достаточно того, что он прислан самим Кейли. Уж английский эмиссар-то размазню в Каракумы с особыми полномочиями не пришлет...

Карьеру сына сельского священника, едва дослужившегося до чина подпоручика царской армии, прервала революция. По отцу — Сиськин, долгое время носивший свою собственную фамилию, извечный объект насмешек

со стороны сверстников и однополчан, — он выгодно женился на генеральской дочери и взял ее фамилию — Грязнов.

После женитьбы забылись шутки: не каждый здравомыслящий офицер мог позволить себе такую дерзость, зная, что тесть подпоручика — сам командир дивизии генерал Грязнов, от которого зависела судьба каждого, кто ходил в его подчинении. Поначалу все шло хорошо. Новоиспеченному Грязнову неожиданно привалило счастье — в Америке умер родной дядя, оставив огромное состояние, которое он завещал Михаилу. Недолго думая, новоявленный миллионер перевел все наследные доллары в государственный банк Российской империи, на царские рубли. Не успел подпоручик даже почувствовать себя миллионером, как в России разразилась революция. Плакали его денежки... Тесть — генерал, ярый монархист, скоропостижно скончался.

Подпоручик Грязнов рвал и метал — не от горя по случаю кончины дражайшего тестя, а от досады на себя, что сдуру перевел все наследство на русские рубли, от злобы на революцию, лишившую его будущего, сказочного богатства. Отчаявшийся было подпоручик Грязнов неожиданно получил приказ самого Керенского выехать в Забайкалье, в помощь казачьему атаману Семенову, чтобы помочь тому в формировании бурятских полков. В гражданскую войну Грязнов не колебался, оказавшись в одном лагере с монархистами-черносотенцами, патологически ненавидевшими Советскую власть. Он водил свою сотню по сибирским и забайкальским селам, предавая их огню и мечу, вымещал злобу на безвинных крестьянах, рабочих, красногвардейцах, видя в них причину всех зол и бед, обрушившихся на голову вчерашних хозяев России. И атаман Семенов, заметив рвение молодого подпоручика, за «особые заслуги» присвоил Грязнову сразу чин полковника.

А в двадцатом году, на всякий случай тепло распрощавшись с Семеновым, он сменил своего хозяина, встал под знамя такого же черносотенца, как сам, — барона Унгерна фон Штернберга, мечтавшего о «Срединной Азиатской империи».

Рьяно помогал Грязнов своему новому шефу в организации разбойных отрядов из числа казаков-монархистов, богатых монголов, бурят, китайцев, японцев, всех тех, кто возненавидел Советскую власть. Унгерн по достоинству оценил усердие молодого полковника — на-

значил своим начальником контрразведки. Грязнов помогал барону сноситься с теми богатеями-туркестанцами, что затаенно мечтали об «Азии для азиатов», простиравшейся от моря до моря.

Грязнов же не любил строить воздушные замки, стоял ногами на земле: вот если бы перехватить красный эшелон, хорошо с зерном или с оружием, чтобы потом все захваченное выгодно сбыть разбойным хунхузам, — тороватым китайцам, или ворваться в деревню, пограбить всласть, изнасиловать приглянувшуюся девку, а ночью поджечь село... Неописуемое зрелище! У, племя иродово! Всю святую Русь лаптями истоптали, испоганили. Красная звезда им милее лика святой богоматери... Раз уж на то пошло, то извольте: звездочку на лбу, звезду на спине! Грязнов так и делал в застенках унгерновской контрразведки, даже счет потерял, сколько красных отправил на тот свет после того, как, натешившись вдоволь над очередной жертвой, ставил ее к стенке.

Грязнов сразу понял, чего от него хочет Атда-бай, но призадумался: как отнесется к тому Кейли? Ведь он прислал его, Грязнова, в качестве английского советника при главарях басмаческого движения, будь то Эшши-хан и Халта-ших или Ахмед-бек и Илли Ахун... Важно поднять шум в Каракумах — пусть знает весь мир, как народы здесь стонут под большевиками. Тут еще Эшши-хан куда-то запропастился — говорят, подался в Афганистан отца проведать. Кретин! Будто Герат ближний свет. Мешхед куда ближе, но Грязнов и не подумал поехать туда, к жене, где обосновался после разгрома унгерновской орды, когда сам барон, плененный чекистами, был осужден и казнен.

— На, держи! — Атда-бай протянул Грязнову полотняный мешочек, туго набитый драгоценностями. — После дела получишь еще.

Задаток бая рассеял все сомнения Грязнова. Эх, была не была! Отчего бы не тряхнуть стариной, не взбодрить себя?

...Грязнов оглянулся назад — след в след за ним скакала десятка нукеров из отряда Эшши-хана. А позади шагал караван, груженный всяким добром. Атда-баю задуманный план частично удался — доверчивые скотоводы, завидев во главе вооруженных всадников «русского комиссара», внесли налог за будущий год, уплатили и за колодцы.

Грязнов, привстав на стременах, вглядывался в пустыню, местами переходившую в степь; ему на миг привиделись Гоби, забайкальские степи... Вот оно — русское село, неказистое, крестьянское... Полковник Грязнов ожидал увидеть процессию жителей с хлебом-солью на вышитом полотенце, с угодливыми речами и поклонами. Ведь тогда, кроме священника, не отыскалось даже грамотного человека, сумевшего бы зачитать смертный приговор, вынесенный им всему селу. Но они, обреченные, не дрогнув, смело и гордо смотрели в лицо своим палачам... Еще шла гражданская, одному богу было ведомо, чья возьмет верх, а эти люди, вчерашние верноподданные государя всероссийского, словно переродились, нет — будто возникли из небытия, из иного загадочного мира. Это была загадка, которую он, Грязнов, был не в состоянии отгадать.

И Грязнов, руководивший карательной экспедицией, отдал команду...

Заплечных дел мастера, унгерновские солдаты, чтобы сломить крестьян, приступили к своему кровавому делу. Особенно изощренно терзали семьи советских работников — женщин, детей, стариков.

...Цокот копыт вернул Грязнова к действительности. Кони въезжали на такыр, где у колодца выстроилось несколько юрт братьев-конгурцев. Всадники оцепили кочевье, кто-то громко позвал:

— Эй, конгурцы! Принимайте гостей!..

Не ожидавшие такого коварства, братья вышли из юрт безоружными, среди них не было только старшего, того, что проткнул ножом тутовый керсен.

— А где четвертый? — Грязнов разглядывал братьев сквозь прорезь прицела маузера. — Куда девался еще один?

— С отарой.

— Где?

— В пустыне...

— Знаю, что не в горах. Где точно?

— Откуда нам знать? Пустыня велика.

— Мы приехали убить вас, — Грязнов поигрывал маузером.

В глазах кочевников Грязнов не заметил и тени страха. Вот оно — та же непокорность, те же непонятные, какие-то невидящие глаза. Как и те русские крестьяне из забайкальской деревни — неустрашимые, дер-

зостные, такие же уверенные в своей правоте. Гордый народ эти туркмены!..

Грязнов вне себя зло скомандовал: «Огонь!» Раздался залп. Убийцы, оставив на такыре три бездыханных трупа, пустились вскачь...

Урочище Ярмамед напоминало встревоженный муравейник. Над такыром стоял шум и гомон — блеяли овцы, ревели верблюды. Аул снимался с насиженного места, чтобы откочевать. Хотя и не время для переездов да и воды слаще и вкуснее, чем на Ярмамеде, не сыщешь во всех Каракумах, но люди больше не хотели оставаться здесь ни одного часа.

Только юрты Атда-бая по-прежнему стояли на месте, а на дверях землянок и вновь построенного сарая, как всегда, висели амбарные замки, поблескивавшие смазкой. Между кочевниками, занятыми сборами, суетился Мурди Чепе, с вытянутым лицом и слегка подрагивающими ушами — так внешне проявлялось в облике байского холуя его неодолимое желание подслушать, что же говорят люди о его хозяине. Кочевники тоже догадывались, почему среди них крутился Мурди Чепе, и потому без обиняков судили об Атда-бае — пусть знает, что народ думает о нем. Иногда Мурди Чепе исчезал в байской юрте и угодливо лепетал:

— Мерзкий у нас народ, бай-ага... Такой неблагодарный! Даже язык не поворачивается повторить, что о вас болтают...

— Говори! Чего же понапрасну взад-вперед бегать? Хотя наперед знаю, что судачат эти жалкие черви. Рассказывай!

— Говорят, — Мурди Чепе набрал в себя с шумом воздуха, словно задыхался, — будто вы кровожадный... По вашей воле убили конгурцев. Не хотят, мол, больше жить с вами по соседству после такого... Сегодня конгурцев убил, завтра нас не пощадит...

— А куда они собрались переехать? — У Атда-бая горели щеки.

— Не знаю, не говорят, — пожал плечами Мурди Чепе.

— Поди узнай! Да не мельтеши ты! Придешь вечером... — Атда-бай брезгливо взглянул в спину своему прислужнику, машинально потянулся к коту, хищно выгибавшемуся у его коленей, и долго гладил его, пока не

успокоился. Усмехнулся, с презрением подумав о Мурди Чепе: «У этого ублюдка тоже своя выгода. Спит и во сне видит мою дочь своей женой. Куда уж черной кости до белой?! Не видать тебе ее, как своего зада...»

Дверь снова отворилась, в юрту вошел, скорее ввалился Михаил Грязнов. Покачиваясь, он сел на ковер подле Атда-бая, пьяно шмыгнул носом, достав из-за пазухи флягу, поставил перед собою.

Атда-бай, не поднимаясь с места, повернулся назад и, взяв лежавший за спиной дестерхан с чуреками, расстелил. Кто-то из сыновей принес холодное отварное мясо, кислое молоко в деревянном керсене.

— Не надо, — пьяно икнул Грязнов.

— Не пей больше! — Атда-бай брезгливо отодвинул от Грязнова флягу. — Это к добру не приведет.

— Как вас понимать, бай-ага? Наоборот?.. Сами говорили, надо проучить конгурцев. Я и проучил. А вы на меня чуть ли не с кулаками...

— Убивать не надо было! Ну, постращал бы, ранил бы... На худой конец, коль руки чесались, старшего конгурца прикончил бы. Тех троих порешил, а зачинщик живой.

— Что, бай-ага, и старшего, того... кокнуть?!

— Э-э-э, теперь все равно. Где три, там и четыре... Караван не пришел. Наверное, кизыл аскеры перехватили. От Эшши-хана ни слуху ни духу... От других тоже! И аул решил уйти. Может, и тебе, Михаил, на время скрыться? Худы наши дела — просвета не вижу никакого.

Грязнов и без Атда-бая знал, что дела неладны. Все началось с Джунаид-хана — не захотел старый дурень приехать в Каракумы. Поджал хвост, струсил барс пустыни! А Эшши-хан совсем не тот... Проваландался в Афганистане, прискакал к шапочному разбору. Под Ербентом оплошал... А ведь учили дурака! Сорвалась затея и с племенем ушаков. Куня-Ургенчем не смогли овладеть, а под Казанджиком только раздразнили красных на свою голову. Одна надежда на Халта-шиха и Балта Батыра. Это орлы. Но они далеко. Сборщики разведали, что в Ташаузе стоит эскадрон Щербакова, его могут куда угодно бросить, даже сюда. Говорят, три кавалерийских полка прислали большевики в Каракумы. Да и этой рвани краснопалочной из дайхан тоже развелось как собак нерезаных. Обкладывают, как сибиряки

медведя. Да и в этой дыре, на Ярмамеде, тоже стало муторно... Атда-бай со дня на день ждет, когда приедут из Ташауза его колодцы отбирать. Конфискуют как пить дать, не поможет, что договорился с иными батраками, которые будут твердить, будто колодцы им принадлежат, а не Атда-баю. И Эшши-хан как в воду канул. Ахмед-бек, Язан Окуз, Дурды Мурт... Где они? Где их искать?

Все они когда-то были связаны с бароном Унгерном... И тот же Джунаид-хан, который теперь в бегах, и тот же узбекский торговец Абдулла Тогалак, потерявший голову из-за коммерции и контрабанды, и тот же спесивый Илли Ахун, возомнивший себя чуть ли не падишахом всего Туркестана... Грязнов хорошо знал цену этим людям, они проходили и в переписке барона, присылали к нему своих ходоков с подарками. А сколько еще имен ему было неведомо! Многие имена барон унес с собой в могилу, но и те, кого знал Грязнов, могли очень пригодиться и англичанам, и французам, и тем же немцам. Имена очень интересовали Кейли, но Грязнов пока еще о многих не рассказал англичанину. Кукиш с маслом! Пока этот Кейли не раскошелится и не отвалит кругленькую сумму, Грязнов будет помалкивать. Протяни этому Кейли пальцы, всю руку отхватит... Отправляя Грязнова в Каракумы, английский эмиссар пекся не столько о его роли английского советника при главарях басмаческого движения, сколько заботился — удастся ли ему отыскать, напасть на след унгерновской агентуры. Кейли располагал сведениями, что связи почившего в бозе барона не давали покоя и немецкому эмиссару Мадеру. А Грязнов на чем свет проклинал всех и вся — того же Кейли, задавшего ему непосильную задачу. Поди сыщи в этой дикой стране нужного человека, который теряется, как иголка в бархане. Проклинал он и того же хлюста и фигляра Эшши-хана, чего-то значившего только при отце, и красных, наводнивших Каракумы, и свою жадность — так хотелось услужить Кейли и отхватить куш посолиднее.

А куда ему, Грязнову, податься? В мелкие басмаческие отряды? Боже упаси! В первой же стычке с красными в плен угодишь. В маленьких отрядах и предводители мелковаты, пакостливы и вздорны. И Грязнов неожиданно решил, что ему надо скорее выбираться в Мешхед. Дай бог ноги унести! А пока доедет, он придумает для Кейли тысячу и одну причину, почему оставил дове-

ренный ему пост. Не с пустыми руками предстанет перед Кейли, уж как-нибудь знает, какой ему товарец нравится... Ублажит двумя-тремя, ну, четырьмя именами из унгерновского списка — и заткнется Кейли, отпишет в Лондон такие страсти-мордасти — дескать, чуть жизни не лишился, пока проник в тайну расстрелянного барона. Кейли-то умеет набивать себе цену. Итак, решено — ехать!

Грязнов, пьяно икая, оглядел Атда-бая затуманенным взором и поманил дрожавшим пальцем. Тот наклонился, и Грязнов, обдавая его перегаром, зашептал баю в ухо:

— Вы, бай-ага, помалкивайте только... И ни-никому ни гугу... Эшши-хану передайте, что он осел! Вот. Осел — и баста!.. — Грязнов говорил долго, по-пьяному бестолково, заплетающимся языком. Атда-бай чуть отодвинулся от своего гостя, не в силах больше вынести дух, исходивший изо рта Грязнова. — Скажи Эшши-хану, что прилетал черный ангел... Скажи — ждал, не дождался. Пускай лучше с ангелами, особенно с черными, он видится на этом свете. На том свете ему туго придется, белокрылые ангелы не совладают с черными... — И Грязнов откинулся назад, на подушку, и тут же захрапел. Он уже не слышал, как в юрту вошел Мерген-ага и, не решаясь ступать на ковер, опустился на корточки у порога.

— Чем обрадуешь, Мерген? — Атда-бай не пригласил тестя за дестерхан, зная, что тот все равно не сядет за скатерть, на которой стоит спиртное. Да и вид старика не предвещал ничего доброго.

— Ты привык, чтобы тебя только радовали. А сам-то чем людей радовал? — Узковатые глаза Мерген-ага строго смотрели из-под мохнатой папахи. Атда-баю стало не по себе. — Хоть колодцы отец и дед твои отрыли, но вода-то в них — дар божий.

— Ох-хо, как ты заговорил, Мерген! Откуда таким речам выучился?

— У тебя, Атда-бай. У тебя! У кого же еще? Твоя жестокость и кровожадность открыли мне глаза. На тебе кровь безвинных братьев-конгурцев, которые, кстати, мне доводятся дальними родственниками. Я слишком стар, чтобы быть твоим кровником. Но жив их старший брат, он сквитается... Такое и на том свете не прощают. Ты выйди, не прячь, как верблюд, голову в песок, когда буря поднимается, — горб кривой отовсюду ви-

ден. Аул от тебя уходит! Люди от тебя отворачиваются, они проклинают тебя... Это твой крах, твоя погибель!..

— Откуда ты взял, что я повинен в гибели братьев? Аллаху было угодно...

— Не святотатствуй, Атда-бай. Аллаху не было бы угодно, если бы ты не нанял убийц! Я пришел за дочерью, Атда-бай. Дочь Мергена не может быть женой убийцы! Она не может сидеть с тобой за одним очагом, жить под одним кровом! Позор великий, когда от туркмена жена уходит, но нет худшего срама, когда народ отворачивается от него...

Мерген-ага, хлопнув дверью, вышел наружу и, подойдя к соседней юрте, где жили байские жены, крикнул.

— Набат! Выходи, дочка! Садись на коня.

Из юрты вынырнула стройная молодая женщина в богатом пуренджеке — расшитом халате и смущенно подошла к старому Мергену. Старик первым взобрался на коня, подал дочери руку, помог ей усесться на круп, позади себя. Конь легко понес их по такыру. Впереди виднелся удаляющийся хвост каравана — скотоводы с урочища Ярмамед держали путь на север.

В ту ночь урочище озарилось ярким заревом — неожиданно загорелась юрта Атда-бая. Старый набожный Мерген увидел бы в том карающую длань аллаха. Но Атда-бай во всем винил пьяного Грязнова, который ночью вздумал закурить — от огня цигарки факелом вспыхнула прокаленная летним солнцем байская юрта. Грязнов, опалив себе волосы и брови, живым и невредимым выбрался из огня. За ним целехоньким успел выскочить и породистый байский кот, привезенный из Турции.

Атда-бай со своей челядью тоже недолго задержался на Ярмамеде. После отъезда Грязнова он забросал колодцы трупами собак, овец и верблюдов и, забрав своих жен, сыновей и дочерей, батраков и уцелевшие юрты, переехал в соседнее урочище. Вот только кот не пожелал жить на новом месте, сбежал. Атда-бай сам поехал за ним на Ярмамед, нашел своего черного красавца на пепелище. С трудом поймав его, посадил в шерстяной чувал и привез домой.

Не сходя с коня, Атда-бай развязал чувал, просунул туда руку, но кот не давался, царапаясь и истошно мяукая. Атда-бай, озлившись, тряхнул чувалом — кот полетел вниз. Но едва его лапы коснулись земли, он мячом

подпрыгнул вверх и вцепился когтями в конский круп. Конь, обезумев от испуга, шарахнулся в сторону и понесся по такыру, волоча за собой Атда-бая, застрявшего ногой в стремени.

Сыновья пустились вскачь, но не сразу догнали коня. Через час на дороге они подобрали тело отца. Атдабай был мертв. А конь взмыленным примчался потом на Ярмамед, на его широком гладком крупе, выгнув спину, застыл необычный седок — черный байский кот. Завидев пепелище, кот спрыгнул, а загнанный конь рухнул замертво.

ВОЗМЕЗДИЕ

Перекочевка байских элементов из Казахстана, орудующих в песках, активизация внешнего бандитизма стимулировали активизацию внутреннего кулацкого бандитизма. Вместе со сбежавшими кулаками из района массовой коллективизации кулачество скотоводческих районов организовало банд[итские] шайки...

Байско-кулаческие банды имеют целью, уничтожая мелкие наши отряды, прорваться через железную дорогу, культурную полосу за кордон. Центральным Комитетом партии Туркменистана даны категорические указания местным парторганизациям: мобилизация на борьбу с бандитизмом парторганизаций, комсомола, аульного актива; направить в пески для организации батрачества и бедноты все лучшие силы и наиболее авторитетных работников...

Из информационной сводки
Южного пограничного
отряда от 29 апреля 1931 года

Рейд на Узбой пришлось отложить: Ашир Таганов получил приказ — следовать в район Ташауза, где всходила новая зловещая «звезда» — Халта-ших.

До революции Халта-ших торговал. В двух его лавках можно было найти все — от сушеного самаркандского урюка до граммофона с разлапистой трубой. Не брезговал он и краденым — конями, воровски угнанными с Устюрта, бриллиантами, похищенными у перепившихся заезжих купцов из Петербурга, потертыми, со следами забуревшей крови сюртучками и халатами, снятыми с чужих плеч... Арендовал базары — то в Ильялы, то в Хиве или в Куня-Ургенче. В Каракумах паслись его тучные стада верблюдов, отары овец, каракульских и сараджинских, шерсть которых идет на пряжу, — из нее ткут отменные туркменские ковры. Ковры — первейшая статья дохода Халта-шиха, открывавшая ему путь всюду: и к сердцу черствого царского чиновника, и в недоступные кабинеты визирей хивинского хана, в покои бухарского эмира.

Дайхане, заходя в лавки Халта-шиха, кланялись до земли: многие были должны на десять урожаев вперед. Год на год не приходился, а Халта-ших жалости не знал.

— Жалость, она в убыток, — говаривал он, сложив на большом животе свои толстые пальцы, унизанные дорогими перстнями. — Первейший враг торговли.

С каждым годом прибавлялось золотых монет в заветном сундуке у Халта-шиха, не фальшивых, а настоящих, ласкающих своей тяжестью холеные руки. Золота стало так много, что он снарядил своего сына в Стамбул, в офицерское училище, и перевел на его счет столько денег, сколько хватило бы и на роскошную жизнь турецкому паше. И не страшили торговца непогода, сушь, безводье, суховеи, сжигавшие поля бедняков, косившие их овец.

Доволен был жизнью Халта-ших, благодарил аллаха за то, что разделил он мир на богатых и бедных, указал каждому свое место. Но однажды рухнул, как подгнивший столб, извечный порядок. Ташаузский уездный начальник, наскоро упаковав вещи, исчез. Не стало видно и пристава с полицейскими — всех будто ветром сдуло.

Как-то наведался к нему мулла Ханоу, которого вскоре Джунаид-хан и его приспешники возведут в более высокий духовный сан — в ишаны, а пока ходил он в старых друзьях и советчиках Халта-шиха. Долго молчал служитель аллаха, отказался от чая, даже от своих любимых сочных мант.

— Захватили голодранцы власть. — Клинообразная борода муллы тряслась от бессильного гнева. — Почтенные люди на божий свет выйти не могут... Законы аллаха попраны! Боюсь, что это конец света. — Мулла запричитал молитву и, не закончив ее, умолк, воззрился на Халта-шиха. Духовник был жалок и страшен одновременно. — Что будем делать, а?

С тех пор этот вопрос не давал покоя и Халта-шиху. Мулле хорошо — пошел служить под знамена Джунаид-хана: встал, отряхнулся, сел на коня и поскакал на все четыре стороны. А Халта-шиху час от часу не легче... Золото можно зарыть, да так, что никто, кроме него самого, и во веки веков не сыщет. Отары пускай пасутся в Каракумах, пока до них доберутся — годы пройдут, а там, смотришь, образуется. Есть аллах на белом свете! Вот куда только добро, лавки девать... Куда? Торговать же надо — каждый день, каждый час. Если колодец не рыть, то до воды вряд ли доберешься.

И как ни бесновался в душе Халта-ших, лавки все же пришлось закрыть. Бывшие должники уже не кланялись, как прежде, не гнулись в три погибели. Новая власть дала беднякам землю, воду, наделила семенами, сельскохозяйственным инвентарем, установила твердые закупочные цены. Дайхане стали организовываться в кооперативы...

Это был тяжелый удар, но Халта-ших не сдавался, хоть и смирился, но ждал и на что-то надеялся. Жадно ловил он слухи, внимательно вчитывался в газеты, пытаясь между строк отыскать милые сердцу вести. Но надежды не сбывались. Юденич, Деникин, англичане, Колчак, Врангель, белополяки... Один за другим сгинули все, на кого уповали такие, как Халта-ших. Слепая ярость все чаще охватывала торговца, он не мог больше видеть этих людей в заношенных кожанках, спокойных и уверенных. Глядя на них, и дайхане, еще вчера заискивающе заглядывавшие ему в глаза, теперь разговаривали с ним, с Халта-шихом, независимо, с достоинством. В бессильной злобе он был готов — будь его воля — потопить в крови этот ненавистный строй, казнить всех, кто сегодня чувствовал себя хозяином новой жизни. Трусливый и осторожный, он в то же время не решался на что-либо активное и только в тесном кругу своих единомышленников, тоже пострадавших от новой власти, отводил душу, говорил, что нельзя так жить дальше, надо выступать против Советов: «Если не мы их, так они нас вздернут на суку», — рассуждал Халта-ших.

В уездной ЧК кое-что стали подозревать, арестовали некоторых друзей Халта-шиха, но его самого пока не трогали: может, еще образумится.

Однажды глухой ночью к нему в окно постучался человек — тихо, украдкой. Испугался Халта-ших, душа ушла в пятки, думал — из ЧК, за ним. Хотел забаррикадировать дверь и задать стрекача. Но с чего чекистам стучать по-воровски? Нет, это свой! Щуплый юркий человек с угодливой улыбкой, не сходившей с его лица даже и тогда, когда, сильно заикаясь, представился:

— Я — Са-а-апар З-з-заика. Вам привет и п-о-оклон от до-ос-точтимого ишана Ханоу.

Халта-ших знал, что Ханоу теперь ходит в приближенных советниках самого Джунаид-хана, который после неудачного налета на Хиву затаился в Каракумах и теперь нуждался в помощи таких, как Халта-ших. И торговец вызвался помочь Джунаид-хану, послал ему

гурт овец, верблюдов, пороха, дроби, овчинных тулупов. Послал не от щедрости, а скрепя сердце, надеясь, что, когда Джунаид-хан изгонит большевиков, старания Халта-шиха вознаградятся сторицей.

Не успел еще в доме торговца выветриться дух Сапары Заики — человека неприятного, нечистоплотного, как к Халта-шиху завалился узкоплечий щеголь в новой поскрипывающей кожанке. Его Халта-ших и впрямь испугался, лишился даже дара речи: ну все, крышка, пришел за ним чекист!..

Незваный гость был при оружии, он четко и внятно произнес пароль, который оставил Сапар Заика, и, судя по его разговорам, знал о Халта-шихе все: о связях с Джунаид-ханом, о щедрой помощи торговца воинству ислама.

— Но этого мало! — Узкоплечий щеголь, бесцеремонно расхаживая в пыльных сапогах прямо по коврам, поучал Халта-шиха, пораженного чистой туркменской речью этого человека, больше схожего с русским. — Надо работать в две руки. Помогать Джунаид-хану и сотрудничать с Советской властью, чтобы войти к ней в доверие и подрывать ее изнутри. Посадить всюду своих людей: в милиции, в окружкоме, в Советах... Стравливать всех, кто идет против нас, порождать недоверие к Советской власти, к большевикам, срывать их планы, мутить воду.

Услышав эти речи, Халта-ших успокоился, понял, что перед ним свой, сумевший заручиться доверием большевиков и, видно, занимавший у них немаленький пост. Этим человеком был Платон Андреевич Новокшонов, английский агент по кличке Хачли.

Вскоре Халта-ших при всем народе «отрекся» от своего прежнего образа жизни, своих старых взглядов, поклялся, что вконец разорился, давно не торгует, долгов не собирает. Пустил и слезу: отары его, что паслись в Каракумах, дескать, отобраны и перерезаны басмачами, и сам он, Халта-ших, теперь «пролетарий», не богаче любого середняка.

У Халта-шиха и его хозяев были свои расчеты: в Ильялы формировался отряд добровольной милиции, и в исполкоме подыскивали, кого назначить командиром. Новокшонову, находившемуся в Ташаузе на руководящей работе, удалось порекомендовать на этот пост Халта-шиха и помочь так сформировать отряд, что в его рядах оказались преимущественно кулацкие и байские

сынки, словом, все, кто был недоволен Советской властью или затаил на нее злобу.

И долгое время Халта-шиху удавалось рядиться в овечью шкуру и исподтишка пакостить честным людям. Под благовидным предлогом Халта-ших чинил беззаконие, арестовывал бедняков, притеснял середняков — и все от имени Советской власти. А по ночам он трясся от страха, боясь, что узнают, как выдавал басмачам планы добровольной милиции, как прятал и передавал украденное или доставленное из-за кордона оружие. И здесь торгаш был верен себе: за оружие удавалось выколачивать золотишко, ковры, а припрятанное держал про запас.

Петля стягивалась все туже, Халта-ших чувствовал приближение конца. А когда свой человек принес безутешную весть, что Новокшонов арестован чекистами, Джунаид-хан разгромлен и бежал за кордон, Халта-шиха охватила бессильная ярость, страх. Заметавшись загнанным зверем, он не выдержал этого постоянного адского напряжения, ушел с группой сообщников в пески.

Это все, что знал Ашир Таганов о банде Халта-шиха. И еще к приказу из ГПУ было приложено коротенькое письмо от Чары Назарова: «Помни о Халта-шихе. Хитер и коварен, почти всегда действует наверняка, дважды уже уходил за кордон и дважды возвращался. Всякий раз он устилал свой путь трупами честных советских людей. Уничтожим Халта-шиха — другие недолго протянут».

Третью неделю чекистский отряд Таганова, почти не расседлывая коней, прочесывал огромный район, где свирепствовала шайка Халта-шиха. Кровавый след банды вел его от аула к аулу. Здесь убит колхозный активист, там ограблен сельский кооператив, угнана общественная отара... Таганов видел слезы безутешных вдов и осиротевших детей, черные пятна пожарищ, обугленные остовы юрт, пустые кошары, загаженные или заваленные колодцы.

То был почерк Халта-шиха, действовавшего маленькими группами, которые то появлялись вблизи крупных населенных пунктов, то уходили глубоко в пустыню и, затаившись, ждали, чтобы напасть трусливо и коварно, нанести удар в спину. Свежие верблюды, откормленные и отдохнувшие лошади ждали банду в тайных местах. Халта-ших в любой момент мог появиться в самом неожиданном пункте, оторвавшись от преследователей на десятки километров. Это был хищник с обостренным к

опасностям чутьем, бандит, выжидавший удобного момента уйти с награбленным добром за границу, уйти, чтобы не пришлось расплачиваться за насилия, грабежи и убийства.

Таганов не знал ни сна, ни покоя. Нет, он не кипел от гнева и ожесточения — внутри жила холодная, накопившаяся за годы ненависть к врагу. И все же Таганов закалил только тело и волю, но не сердце. Каждый раз при виде бесчинств бандитов оно захлебывалось кровью, гнало в бой, требовало расплаты за слезы.

Высокого, осунувшегося всадника на поджаром жеребце уже знали во многих аулах. Таганов заходил в курганчи и кибитки дайхан, вел долгие беседы с ними, организовывал отряды самоохраны, своим бесстрашием вселял в людей уверенность. И уже десятки, сотни глаз следили за передвижениями Халта-шиха и его банды. Все чаще натыкался он на дружные залпы добровольцев, когда приближался к селениям; труднее стало добывать продовольствие, транспорт, боеприпасы. Он стал ловить на себе косые взгляды своих людей, которых шантажом и обманом вовлек в банду...

Халта-ших знал, конечно, о приезде в Туркмению Эшши-хана, которому он и так помог овцами, верблюдами, послал в его личную охрану своих верных людей. Они-то и доносили Халта-шиху, что Эшши-хану не удалось прибрать к рукам сотни, сформированные Илли Ахуном на колодце Тачмамед. Все они сейчас перешли в подчинение Ахмед-бека, который, боясь кизыл аскеров, изрядно потрепавших его отряды под Казанджиком, не решался войти даже в отдаленный Ташаузский оазис, где население тоже не очень-то жаловало насильников, а предпочитал хозяйничать в глубине Каракумов.

Глубоко оскорбленный ханский сын, непризнанный даже бывшими джунаидовскими юзбашами, рассорился и с Ахмед-беком. «Этот самозванец Ахмед-бек, — писал Эшши-хан Халта-шиху, — объединился с адаями — проклятым казахским племенем. Как будто смелые туркмены на белом свете перевелись!..» Сумев все же сколотить банду, правда немногочисленную, он рвался в район Ташауза, где остались единомышленники Джунаид-хана и — главное — можно было объединить свои силы с Халта-шихом и пойти на Куня-Ургенч.

И Халта-ших ждал Эшши-хана, ждал с нетерпением, ибо от этого зависела судьба самого Халта-шиха и

его банды, которую теперь выслеживали не только полусотня Ашира Таганова и чекистский эскадрон под командованием Сергея Щербакова, но и небольшой отряд самоохраны, возглавляемый Хемрой.

Пытаясь выиграть время, Халта-ших вступил в переговоры с представителями ГПУ, прислал парламентеров. Встреча состоялась в Ильялы, в бывших конюшнях хивинского хана.

Парламентерам ответ был один: банда непременно складывает оружие, безоговорочно сдается, будет следствие, суд. По кислым физиономиям шестерки басмачей, присланных Халта-шихом, Ашир Таганов понял, что это их не устраивало. Как только зыбкие предвечерние тени размыли силуэты шестерых всадников, уходивших наметом в сторону пустыни, Сергей Щербаков, представлявший на переговорах окружной ГПУ, загадочно спросил у Таганова:

— А ты знаешь, кто правая рука Халта-шиха? Век отгадывай, не отгадаешь... Нуры Курреев. Сведения у нас проверенные. Не мешало бы заманить его. Вообще-то представляется неплохой случай покончить со всей бандой. Давай подумаем, как это нам сделать. Мой эскадрон, твоя полусотня и отряд Хемры — это уже сила.

— Думаю, что у Халта-шиха предусмотрено и на этот случай, — Таганов извлек из полевой сумки карту. — Конечно, такую возможность упускать не следует... Но он хитер, хитер, бестия. Хотя против каждого яда есть противоядие...

Допоздна засиделись в командирской мазанке Щербаков и Таганов, обсуждая предстоящую операцию. Перебрав множество вариантов боя и не остановившись ни на одном, решили действовать завтра, сообразуясь с конкретной обстановкой.

Ночью, укладываясь спать, Ашир возвращался мыслями к предстоящему бою, к Нуры Курреезу и... к Айгуль. Таганов теперь смирился, что Айгуль недосягаема, как вон та далекая звезда, что заглядывала в маленькое подслеповатое окошко мазанки. А смогла бы вот так самозабвенно ждать Герта? Она знала об Айгуль всю правду... Перед отъездом Ашира в пески Герта, прощаясь, сказала:

— Моя сестра Берта, провожая Ивана Гербертовича в дорогу, говорит: «Спокойного сердца тебе, Ваня, благополучного возвращения. Береги себя! Мы еще

многого не успели сказать друг другу», — Герта как-то по-женски вздохнула, сверкнула повлажневшими глазами. — Лучше не скажешь. Вот и я тебе желаю того же, Ашир...

И он порывисто взял руки Герты в свои ладони, ласково поцеловал ее маленькие пальцы, чувствуя, как теплая волна нежности захлестнула сердце, мешала думать, говорить. Задыхаясь, произнес:

— Да, Герта, я многого еще тебе не сказал... Я скажу, непременно скажу...

Он никогда в жизни не целовал ничьих рук, даже материнских. А сейчас сидел на узкой солдатской койке, оглядывал неказистую мазанку, и ему почудился голос Герты, запах бархатистой кожи ее пальцев.

На рассвете трубач сыграл тревогу, и сводный отряд походной колонной потянулся из Ильялы. Полусотня Таганова теперь слилась с чекистским эскадроном Сергея Щербакова.

Часа через два из головного дозора прискакал боец и, резко осаживая коня, выдохнул:

— Товарищ командир, банда на горизонте!

Таганов поднялся в стременах, вгляделся в даль, затем оглянулся назад, на походную колонну. Его охватило знакомое знобящее чувство: кого-то сегодня, вот-вот, ранит басмаческая пуля, затопчут кони, кого-то на поверке после боя недосчитаются товарищи... Это понимал всякий — многие были не новичками, но каждый почему-то верил, надеялся, что его, именно его минует смерть. Так уж устроен человек. По сосредоточенным лицам, по мгновенно потухшим шуткам, по тому, как торопливо докуривали козьи ножки бойцы, Таганов понял, что их тоже охватил трепет. Не страх, а волнение, знакомое охотнику, идущему на хищного, лютого зверя.

Командир сводного отряда Сергей Щербаков, поглощенный замыслом предстоящего боя, скользнул каким-то отрешенно-озабоченным взглядом по колонне, махнул рукой. Над степью поплыла переливчатая трель трубы. Колонна, легким аллюром рассыпавшись в боевой порядок, быстро перешла в галоп: важно ошеломить врага, смести его, не дав ему возможности приготовиться к отражению атаки. Щербаков частенько прибегал к такой тактике, которую басмачи, как правило, не выдержива-

ли и, захваченные врасплох, бежали или сдавались в плен.

— Загибай фланги! — перекрывая грохочущий топот копыт, зычно скомандовал Щербаков.

Огромным полукольцом растянулась цепь красных конников. Впереди, в центре, остервенело нахлестывая лошадей, скопом уходили басмачи, торопились поскорее добраться до видневшихся вдали песчаных барханов. Хлопали редкие выстрелы, степь клубилась густой пылью, поднятой сотнями конских копыт.

Вдруг большая часть банды во главе с Халта-шихом повернула назад и с диким криком «Алла-а-а-а!» навалилась на левый фланг отряда, будто басмачи знали, что там необстрелянные бойцы. Левый фланг дрогнул, и по тому, как Щербаков взглянул на Таганова, тот понял, что его место там.

Пришпорив коня, Ашир схватился за эфес — клинок с мягким свистом вырвался из ножен. По команде Таганова за ним устремилось отделение кавалеристов, которые, ощетинившись шашками, пошли в атаку, чтобы выровнять боевой порядок на левом фланге. Двести, сто метров...

Издали Ашир заметил на вороном коне грузную фигуру Халта-шиха, а рядом — высокого поджарого седока. Неужели это Нуры Курреев?.. Да-да, это он: та же знакомая посадка, тот же хищный поворот шеи, все такой же верткий, живой — гляди, не утерпит, спрыгнет с седла и побежит навстречу, чтобы ввязаться с красноармейцами врукопашную. Он не смотрел в сторону Таганова, не замечал своего давнего недруга. «Интересно, был ли Нуры в Конгуре, виделся ли с Айгуль?» — нежданно мелькнула в голове Таганова мысль. Он уже видел под лохматыми шапками перекошенные злобой лица, бисеринки пота на них. Вот-вот лязгнут скрещенные клинки, но Курреев вдруг осадил коня и, развернувшись, помчался в сторону, в пустыню, а Халта-ших, потрясая над головой камчой, посылал ему вдогонку проклятия. Скакавшие за Курреевым басмачи в последний миг, вздыбив лошадей, тоже отвернули, рассыпались веером, оставив несколько трупов и бесновавшегося от бессильной ярости предводителя. Убедившись в бесплодности отчаянных попыток остановить бегущих нукеров, он тут же сам повернул коня и бросился догонять своих незадачливых воинов.

«Заметил ли меня Нуры? — думал Ашир, пускаясь

вслед за Халта-шихом. — Навряд ли... Если б заметил, постыдился бежать, бросился бы на меня». Таганов уже потерял из виду басмаческого предводителя, скрывшегося вместе с бандой за барханами. Преследовать басмачей, рассыпавшихся по пустыне, было бессмысленно, ибо это равносильно тому, что хватать воздух руками. После недолгого преследования Таганов остановился, дал команду повернуть назад.

Возвращаясь туда, где оставил Сергея Щербакова, еще издали Таганов увидел кучку спешившихся кавалеристов. Хотел было удивиться, почему не видно и не слышно командира эскадрона, как заметил двух бойцов, возившихся возле кого-то, лежавшего на песке. Не доехав до них, Таганов с упавшим сердцем спрыгнул с коня и, бросив кому-то поводья, побежал. Заметив знакомые брезентовые сапоги с медными шпорами, обомлел, не веря своим глазам.

— Что случилось с комэска? — Таганов не узнавал своего голоса. Ему казалось, что не он, а кто-то другой задавал этот глупый вопрос, хотя видел уже мертвенно-бледное лицо Щербакова и неестественно закатившиеся глаза.

Один из бойцов как-то виновато взглянул на Таганова, молча пожал плечами, поглядывая на барханы, где скрылись басмачи. Другой, растерянный, с обнаженной русой головой, поднял заплаканные глаза и, давясь слезами, произнес:

— Рядом с ним никого пуля и не царапнула...

Двое кавалеристов привезли носилки, и они же, спешившись, понесли тело Щербакова. Бойцы сменяли друг друга, осторожно неся своего бездыханного командира, а Таганов, опустив поводья коня, медленно ехал за ними. Позади шла колонна, убитая горем и нелепостью потери.

Ашира захлестнуло запоздалое чувство признательности этому русскому человеку, с которым он, Таганов, был знаком давно, но очень многое о нем узнал лишь в последнее время. Да такое, что диву дался... Сроду не подумал бы! А с виду скромный, молчаливый, чуть угрюмоватый.

Незадолго до выступления эскадрона Щербакова в Каракумы созвали собрание. Это была первая в жизни Таганова партийная чистка. В те годы нужда в таких собраниях была превеликая — мало ли в ряды большевиков пробиралось классовых врагов, и периодические

чистки помогали вовремя разоблачать чуждые элементы, избавляться от них. Сергею Щербакову, как командиру, первому стали задавать вопросы.

— Чем вы занимались в восемнадцатом-девятнадцатом годах? — спросил полный лысоватый мужчина в очках, работавший в отделе кадров республиканского ГПУ. — В анкете у вас эти годы почему-то опущены.

— Выполнял задание асхабадского подпольного комитета партии большевиков... В горных аулах Копетдага, в тылу английских и деникинских войск.

— А конкретнее?

— Долгая это история... Если вкратце, то переправлял из Асхабада, так раньше Ашхабад называли, в районы Западной Туркмении нелегальную большевистскую литературу. Тогда почти весь Туркменистан находился под властью англичан, белогвардейцев и буржуазно-националистического правительства. Так вот, я, как и мои товарищи, большевики-подпольщики, вел среди местного населения агитационную работу, распространял листовки и литературу.

— Позвольте, — снова поднялся с места кадровик, — на каком же языке вы вели среди туркмен агитацию?.. На русском, что ли?

— Нет, на языке местного населения, — безукоризненно, по-туркменски ответил Сергей Щербаков и на том же языке продолжил:—Вы, наверное, не обратили внимания на мою автобиографию. Там написано, что отец мой военный фельдшер, из русских поселенцев, которых еще царь сослал в горы Копетдага. Я же сызмальства был среди бедной туркменской детворы! С семнадцатого года — член партии большевиков.

— Разрешите мне! — к столу президиума прошел Касьянов. — Я очень хорошо знаю товарища Щербакова и могу поручиться в его преданности нашему революционному делу. В восемнадцатом году его могла схватить белая контрразведка и расстрелять. Ведь деникинцы арестовали его отца, охотились и за Сергеем, но их спасли, укрыли туркмены. В девятнадцатом, когда в горах Копетдага свирепствовали деникинские каратели, Щербаков и Аллаяр Курбанов, вождь племени геркез, создали из туркмен и местных русских поселенцев партизанский отряд. Аллаяр-ага стал командиром, а товарищ Щербаков — комиссаром отряда. Мы знаем, что красные партизаны не давали врагам житья, срывали заготовку провианта и фуража, не раз вступали в от-

крытый бой с деникинцами и одерживали победы. Это мне хорошо, достоверно известно, ибо я тогда командовал разведотрядом штаба красных войск Закаспийского фронта. Это в ту пору, когда к нам, лично по заданию Ленина, приезжал Валериан Куйбышев. Партизаны были нашими проводниками в тылу белых, освобождали с нами Сумбарскую долину и с частями красных войск осаждали Красноводск, дошли с боями до самого Каспия. И после гражданской товарищ Щербаков не сошел с боевого коня, не оставил строя — добивал остатки банд, сколоченных английскими интервентами и белогвардейцами... На наших глазах он стал чекистом, и дай бог каждому быть таким отличным работником, замечательным товарищем, неподкупным и честным. Это — настоящий большевик, подлинный интернационалист. Словом, правильный он человек, товарищи!

Неизменную душевную теплоту Сергея Щербакова, его любовь к людям Ашир Таганов испытал не единожды. У Щербакова всегда находилось теплое, сердечное слово, чтобы поговорить с человеком, приободрить его. Стоило только Аширу встретиться с ним в Ташаузе, как Щербаков первым делом расспросил его о матери, о сестренке Бостан, о нем самом, о Конгуре, не забыл и о Джемал... А он, Ашир, озабоченный делами, не нашел ни времени, ни нужного слова, чтобы расспросить своего учителя о его здоровье, о семье, братьях... Отчего так? Почему, когда близкий и дорогой нам человек жив, мы можем подолгу не общаться с ним, даже не видеть его неделями, порою месяцами, хотя это так нетрудно? А вдруг теряя его, терзаемся, что не отдали ему и толику своей душевной теплоты, даже не сумели найти и вовремя сказать простые, нужные слова, которые могли бы доставить ему радость, хоть на миг обогреть его сердце. Почему?.. И почему надо было посылать в этот бой именно Сергея Щербакова? Разве мало других, кто меньше его заглядывал в лицо смерти?

В голове Ашира Таганова эта мысль мелькнула и исчезла, а Иван Касьянов, как-то приезжавший из Москвы, думал об этом давно. Может, хватит Сереже воевать, может, не стоит посылать его в новые бои с басмачами... Ведь навоевался за десятерых — и в империалистическую, и в гражданскую. А сколько раз он уходил от рук карателей-деникинцев, выслеживавших в горах Копетдага партизанский отряд. И в этом решении Касьянова, большевика и чекиста, была своя, выстраданная

годами войны, смертей, лишений и страданий правда, честная, человеческая. Такие, как Сергей Щербаков, прошли свой тернистый путь, пронеся на плечах нелегкие кресты. Так неужели надо снова искушать судьбу и вновь идти под пули?..

Когда Касьянов вызвал к себе Сергея Щербакова и будто ненароком, издалека, завел задуманный разговор, то сразу понял, что ошибся, — Щербаков упрямо мотнул обритой головой:

— Нет, Иван, не уговоришь меня! Мое место в Каракумах. И не потому, что крови хочу, что есть жажда покомандовать, повоевать еще. Будь проклята эта война и все те, кто ее выдумал... Понимаешь, мне до слез жалко молоденьких красноармейцев. И этих розовощеких российских парней из Саратова, и юных малаев — парней из Башкирии, из Татарии, едва научившихся шашкой вертеть. Необстрелянные они, как воробышки, пороху не нюхали. Ведь сгинут в песках, пачками лягут под басмаческими пулями... Сколько слез по ним будет! А им только жить да жить! А буду я рядом с ними — многих уберегу...

Касьянов не стал дальше продолжать беседу, даже устыдился своих мыслей: иного ответа от Сергея Щербакова он, собственно, и не ожидал. Но Ашир Таганов об этом разговоре своих наставников и не подозревал...

На другой день из Ашхабада на похороны Сергея Щербакова прилетели Чары Назаров, ответственные сотрудники ГПУ республики, друзья и старые товарищи погибшего.

Таганов мучительно раздумывал, как быть дальше, как без потерь, на худой конец малой кровью, заманить Халта-шиха и уничтожить его банду. Куда двинет теперь Халта-ших, обозленный неудачей? Но он вдруг снова дал знать, что хочет переговорить с властями, однако никого не присылал: юлил головорез, явно ждал подмогу от Эшши-хана, затея которого с племенем ушак провалилась.

Оттесненный в пустыню, отрезанный от постоянных источников информации, продовольствия и фуража, окруженный недовольными, даже обозленными сообщниками, — что предпримет Халта-ших? Затаится или пойдет на очередную авантюру, попытается прорваться? Нагло, средь бела дня, сжигая аул за аулом, убивая

всех, кого встречает на пути... Так часто поступали басмачи.

И вдруг само созрело решение. Таганов вызвал к себе Хемру, который со своей семьей жил в ауле Карали. Как это он, Ашир, не подумал о Хемре раньше?..

Они встретились. Хемра по-прежнему не мог простить басмачам гибели отца, тревожился о судьбе брата Амир-балы, задумавшего отомстить Эшши-хану... Хемра сразу понял, чего хочет от него и его небольшого отряда краснопалочников Ашир Таганов. В ауле Карали, родном селе Хемры, живут друзья и близкие родичи Халта-шиха, от которых бандит тоже получает помощь. Хемра подтвердил предположение Таганова, который, решив, что басмаческий главарь рано или поздно наведается в Карали, усилил наблюдение за всем районом. Эту работу выполняли местные краснопалочники, активисты. Вместе с работниками окружного ГПУ Ашир разработал также систему оповещения и срочной связи, а сам со своей полусотней остановился в пяти километрах от аула Карали, у старого заброшенного кладбища, в развалинах полуразрушенной мечети и древней крепости.

Таганов каждый день встречался с Хемрой, и тот подробно докладывал как о своих, так и о наблюдениях многих добровольных помощников чекистов.

Через несколько дней, когда Таганов обдумывал новый вариант поимки Халта-шиха, у развалин крепости джигиты задержали молодую туркменку, сразу потребовавшую, чтобы ее отвели к командиру. Едва завидев Таганова, она еще издали воскликнула:

— Приехали «гости»! Хемра с ними, тянет время... Но они могут скоро уехать и Хемру с собой прихватить. Что делать, товарищ Таганов?

Это была Бибихал, жена Хемры. Значит, Халта-ших в Карали и нельзя терять ни минуты. Вот когда был нужен эскадрон, который остался в Ташаузе. Далековато... Пока доскачет, время уйдет.

— Слушай, Бибихал, сестренка милая, — Таганов закашлялся от волнения. — Слушай внимательно. Скачи во весь дух в Карали! Скажи Хемре, пусть любой ценой задержит «гостей». Понимаешь — любой ценой! Пока мы не подоспеем... Мы за тобой следом.—И Ашир крикнул своему коноводу: — Дай ей моего запасного дончака.

Бибихал тут же вскочила в седло и ускакала. Тага-

нов собрал джигитов по тревоге, двух сразу же послал в поселок Ильялы, чтобы поставили в известность районного уполномоченного ГПУ, связались по телефону с Ташаузом, попросили прислать на помощь эскадрон.

Вскоре полусотня, в которой теперь было чуть меньше взвода, неслась по прибитой дождями твердой проселочной дороге. Кони Таганова и Бегматова были рядом.

— Заявился-таки наконец? — спросил Бегматов. — Всей бандой?

— Еще не знаю точно. Вряд ли всей шайкой в аул осмелится...

Порыв ветра донес далекий, едва различимый винтовочный треск. Таганов оглянулся назад, взмахнул рукой.

— Гони! За мной!

Таганов огрел камчой своего порывистого жеребца, распластавшегося в стремительном галопе. Полусотня, смешав строй, летела за командиром.

В полукилометре от аула тагановский жеребец угодил копытом в сусличью нору, сломал ногу. Перевернувшись через голову, Таганов вскочил на ноги, выдернул из седельной сумки карабин и побежал.

Холодный ветер сек лицо, в уши били близкие ружейные залпы. Петляя между низкими глинобитными домиками, Таганов выскочил к приземистой курганче, окруженной горсткой отряда самоохраны. Запыхавшись, рядом упал Хемра.

— Ну как, Хемра?

— Держим. Я его и так и сяк, тянул время... Но смекнул, гад! Мне ничего больше не оставалось делать, как бросить сюда ребят из аульной самоохраны. Халташих пытался выскочить из аула, но мы его обложили, загнали. А больше что сделаешь? Смотри! — Хемра щелкнул затвором, выстрелил, пуля врезалась в толстую глинобитную стену, выбив облачко пыли. — Сюда пушку нужно... Такую, что в Ташаузе...

Курганча огрызалась редким прицельным огнем, прижимая бойцов и краснопалочников к земле.

Мурад Дурдыев возился напротив ворот, устанавливая пулемет. Таганов приказал усилить огонь. Пули, чмокая, грызли стены, роем влетали в окна курганчи. Но старое добротное строение выдерживало натиск. Стоило приподнять голову, как в том или ином окне вспыхивали огоньки ответных выстрелов.

Таганов посоветовался с Бегматовым, как поскорее выкурить бандитов из курганчи. Можно взять ее штур-

мом, да людей жалко, еще не унялась в сердце боль утраты Сергея Щербакова. И Ашир приказал не ослаблять стрельбу, установить еще один пулемет.

В полутемной курганче остро пахло пороховым дымом, кизячной золой. Хозяин, забившись в дальний угол, вздрагивал при каждом выстреле, моля аллаха, чтобы поскорее все кончилось. Из соседней комнаты доносился слабый плач детей, приглушенные всхлипывания женщин.

Прижав лицо к косяку, скупо и экономно стрелял Силап, известный всей округе головорез и развратник. У его ног, стиснув зубы, тихо стонал молодой парень. Другой осторожно перевязывал ему простреленную руку. Скосив сверкающие белками глаза, Силап оторвался на мгновение от приклада, крикнул зло, мстительно.

— Думай, Халта-ших, как выбираться будем. Ты нас сюда завел!..

— Трусишь, шакал?! А кто гнал меня в аул? Сам говорил — побывать надо, отощал...

Халта-ших, выпустив всю обойму, в отчаянии дернул затвор английского карабина, стал лихорадочно рыться в хорджуне, перетряхивать карманы. Все! Ни одного патрона.

Заметив, как Халта-ших обескураженно развел руками, Силап зло добавил:

— Не ты ль твердил: «В Карали у меня родичи, надежные люди...». Как не поверить вождю? Я думал — ты проницательный. Вождь никак... А ты не почуял, когда Хемра твой изворачивался? Мы у него чаи распивали, а он на нас кизыл аскеров спустил, стукач красный! Думай, Халта-ших, думай! За этот веселенький денечек ты в ответе не только перед аллахом, но и перед нами. Аллаха ты легко проведешь, а нас... — И Силап издал губами непристойный звук.

Хищные глаза Силапа вспыхивали зловещим огнем, его тяжелый взгляд уперся в широкую спину Халта-шиха, который стоял у противоположного окна и не заметил, как Силап медленно поднял карабин и тут же бессильно опустил. Одна надежда на него, на Халта-шиха, хотя он в минуту опасности, не задумываясь, бросит в огонь кого угодно, лишь бы свою шкуру спасти.

Халта-ших, будто чувствуя, повернулся, перехватил

взгляд Силапа. Широкое скуластое лицо его расплылось в насмешливой улыбке:

— Умирать собрался? Или убивать? Погоди, что-нибудь придумаем... Сам же хвастался, что с Мурди Чепе из когтей смерти вырвались. Уйдем и сегодня. Есть аллах!

Он знаком подозвал к себе трясущегося хозяина, что-то долго шептал ему на ухо, тот наконец согласно закивал, достал из-за пазухи помятый белый платок, стряхнул, расправил.

...Белый платок осторожно высунулся между створками задней двери.

Таганов скомандовал прекратить огонь. Вокруг наступила непривычная, напряженная тишина. С десяток стволов держали под прицелом дверь, из узкой щели ужом выскользнул хозяин с платком в руке и осторожно, будто слепой, спотыкаясь, побрел по двору, пока не наткнулся прямо на Таганова. Заикаясь, проговорил:

— Халта-ших сказал, что сдастся только Чары Назарову, начальнику из Ашхабада.

Таганов, изучающе разглядывая хозяина, подумал, откуда Халта-ших узнал о приезде Чары Назарова, и, не успев удивиться, спросил:

— Сколько человек с Халта-шихом? Только правду!

— Всего шесть, начальник, правда... Лучшие мергены, отменные стрелки. Силап — его правая рука.

— Нуры Курреев тоже там?.. Ну, такой носатый, черный... Он недавно появился в отряде Халта-шиха. Он не здешний, из Ахала.

— Нет. Текинцев с ним нет... Все иомуды, один только узбек.

— Патронов много?

— Еще есть, — уклончиво ответил хозяин, знавший, что Халта-ших слов на ветер не бросает. До сих пор стоял в ушах зловещий шепот: «Смотри, не укороти себе жизнь длинным языком. Проболтаешься — не я, так другие достанут тебя из-под земли. Из-под земли! Слышишь? А с этим выродком Хемрой рано или поздно посчитаемся. Из могилы достану!..»

— Много или нет?

— Не знаю я, — в отчаянии отбивался хозяин, у которого тряслись руки, зуб на зуб не попадал. — Я мирный человек, в жизни ружья в руках не держал. Они всю семью порешат... Не люди — звери!

— Пойдешь обратно, узнаешь...

— Нет, нет, ни за что. Ради аллаха! Живой хоть выбрался...

«Идти на штурм — людей погубить. Ради шестерых бандитов? Слишком дорогая цена. И так сирот, вдов хватает. А Халта-ших, что ни говори, в капкане. На этот раз ему уже не выбраться. Часом раньше, часом позже... — размышлял Таганов. — Вот только зачем ему Чары Назаров понадобился? Время выиграть хочет, ночи дождаться, связаться с остальными? Эшши-хана ждет? Ну, хорошо!»

Таганов решился. Вырвал из записной книжки листок, набросал карандашом: «Наш общий приятель в капкане. Сдаться хочет только вам. Ждем вашего приезда в Карали. Навстречу вышлем охрану с проводником». Сказал стоявшему рядом Бегматову:

— Вот что, комиссар. Возьми с собой кого хочешь и скачи во весь опор в Ильялы... Коней не жалеть. Позвонишь в Ташауз Чары Назарову. Если он в гостинице или в ГПУ, поговоришь, введешь в обстановку... Если не застанешь, передашь телефонограмму. Прихвати в казарме десяток шашек тола, смени коней и обратно. Засветло чтобы управиться.

— Есть! — И Бегматов в сопровождении трех бойцов поскакал по направлению к Ильялы.

Таганов нетерпеливо расхаживал у ворот. Молчала курганча, отдыхали бойцы. И уже то тут, то там всплескивался смех, сыпались ядреные шутки.

Солнце медленно, словно нехотя, скатывалось с прозрачно-голубого неба на горизонте. Аул словно вымер, напуганные стрельбой жители отсиживались за закрытыми дверями. Наконец вернулся Бегматов, привез тол.

— Огонь! — командует Таганов. Хлестнули по окнам пулеметные очереди, под прикрытием которых бойцы подползли к фасадным столбам, заложили тол.

Таганов внимательно наблюдал за курганчей, как вдруг сзади на его плечо опустилась тяжелая рука.

— Воюешь, брат? — улыбнулся в черные буденновские усы Чары Назаров. — А я тебе подмогу привез.

На узкой улочке спешился взвод кавбригады, кавалеристы заводили коней в укрытие. Таганов четко и коротко доложил обстановку.

— Так, так, — раздумчиво ронял Чары Назаров. — Верно, людей гробить нам ни к чему. Хватит им гибнуть, — жесткая складка залегла у губ.

Чары Назаров вышел из-за укрытия и, сложив руки рупором, крикнул:

— Халта, я Назаров, выходи! Что тебе от меня надо?

В ответ раздались одиночные выстрелы, пули звонко просвистели над головой чекиста. Таганов махнул рукой — в тот же миг раздался слитный взрыв. Обрушился первый фасадный столб курганчи, рядом со вторым зияла большущая дыра. Стрельба мгновенно прекратилась.

В курганчу входили по одному, пригнувшись. Чары Назаров, Таганов, Бегматов, представитель окружного ГПУ, Мурад Дурдыев... Отсчитав еще одного, Халта-ших резко захлопнул дверь, набросил крючок.

— Эссалам алейкум! — расплылся он в улыбке, а узкие с прищуром глаза холодно и настороженно шарили по ладным фигурам чекистов, по застегнутым кобурам наганов.

Подали чорбу, разлитую по большим глиняным пиалам, разварившееся мясо в большом медном тазу. Завязался разговор. Басмачи не сводили глаз с двери, держа под рукой оружие, вяло, вымученно жевали.

Халта-ших, пряча глаза, рассыпался угодливыми словами:

— Ни Щербакову, ни Таганову мы сдаваться не думали. Когда узнали, что в Ташаузе появился сам Чары Назаров, мы решили сдаться тебе, сын Назара Гедая... Кому же еще? Приехал бы раньше, сдались бы раньше. Много слышали о твоей справедливости. Если бы прежде довелось встретиться, разве ушел бы я в пески. Обидели меня... — Мысль басмача работала лихорадочно: «Захватить заложниками Чары Назарова и Таганова, остальных перестрелять. За таких заложников отпустят. Дальше видно будет». Вперился узковатыми глазами в улыбающееся лицо Чары Назарова, продолжил:

— Дайте мне коней — пойду в пустыню. Я уговорю остальных сдаться... Не то много беды могут еще натворить мои нукеры... Силап, Бабаджан Батыр — они останутся у вас заложниками. Раскаялся я, видит аллах, раскаялся. В Карали я сам приехал, переговорить, расспросить, как с тобой, дорогой Чары, увидеться. А ваши сразу за винтовки схватились и слушать не захотели. Разве я неправду говорю? Спросите их.

Бандиты согласно закивали.

Таганов, слушая тонкий голос Халта-шиха, не сво-

дил взгляда с его толстых, чуть подрагивавших пальцев. Пытаясь унять дрожь, бандит вцепился руками в утолщенный край большого засаленного дестерхана, уставленного едой. Заметив настороженные глаза Таганова, попытался улыбнуться, притворно ощерив зубы.

— Куда Нуры Курреев подевался? — Таганов не спускал глаз с рук Халта-шиха — они выдавали внутреннее состояние бандита.

— Не знаю такого, — встрепенулся Халта-ших. — Впервые слышу это имя.

— А как зовут того, что был с тобой в прошлом бою, рядом?

— Ах, этот горбоносый!.. Курд он, что ли? Так он смазал пятки еще тогда... Трус! — Халта-ших грязно выругался. — Он спутал наши карты. За ним кинулись все. Жаль, не встретился мне после.

— А как его все-таки звали? — повторил свой вопрос Таганов.

— Он и не назывался никак. Приблудился вроде. Мало ли люду нынче в Каракумах! Он пробыл у меня всего два дня.

— Он привез тебе привет от Эшши-хана. И еще от кого?

— Не знаю, не знаю. — Толстые пальцы Халта-шиха забились мелкой дрожью, глаза сверкнули недобрым блеском.

Таганов видел, что теперь нельзя медлить ни минуты. Судя по состоянию Халта-шиха, бандиты замыслили что-то недоброе, и если их не упредить, то чекистам придется туго. Ашир, будто удобнее располагаясь за дестерханом, откинулся на подушку, незаметно расстегнул кобуру; он видел, как напряглись желваки на щеках Чары Назарова, сузились глаза. Халта-ших, неестественно громко заговорив — это был условный знак, потянулся рукой под подушку, где лежал маузер.

— Взять! — коротко, как выстрел, прозвучала команда Назарова.

Таганов бросился на Халта-шиха, но тот увернулся, поймал его за левую руку: от боли в глазах у Ашира потемнело. Коротко ахнул выстрел, и грузное тело Халта-шиха осело. Запрокинулась голова, широко раскрытый рот со свистом втягивал воздух... Силап выхватил из-за пазухи нож, замахнулся на сидевшего рядом Бегматова, целя ему в грудь. Раздался второй выстрел, глухой, будто из-под кошмы, и басмач, обессиленно

опустив руку, как-то удивленно глянул на Назарова, потом на нож, упавший к ногам, и завалился на бок.

Через минуту все было кончено...

Вскоре Чары Назаров, вернувшийся в Ашхабад, привез с собой два рапорта: один — в ЦК Коммунистической партии (большевиков) Туркменистана, другой — в ГПУ Туркменской ССР. В них сообщалось о конце басмаческого отряда Халта-шиха, о заслуженном возмездии, понесенном его главарями. Банда рассеялась, многие добровольно явились в ГПУ. Одни из них поселились в родном ауле, вступили в колхоз, другие с общественными отарами ушли в Каракумы, чтобы честным трудом искупить свою вину. Ведь многие из них попали к бандитам из-за недомыслия и страха, запуганные своими родовыми вождями, басмаческими главарями.

Правда, родовые вожди и священнослужители продолжали будоражить наиболее отсталую часть дайханства. Они распустили ложный слух о захвате басмачами Куня-Ургенча, но благодаря умелым действиям чекистские отряды и особенно полусотня Таганова, заранее разведавшие о преступном замысле, локализовали и обескровили басмаческие шайки. От разбоя и зверств были спасены тысячи дайхан, кочевников, которых Эшши-хан и ему подобные хотели подвергнуть новым мучениям и страданиям.

КОГДА УКУС КАРАКУРТА СМЕРТЕЛЕН

...Мы увидели льва, который лежал у реки... и остановились, не решаясь спуститься из страха. Вдруг мы заметили, что приближается какой-то человек; мы закричали ему, предостерегая от льва. Но он натянул свой лук, заложил стрелу и направился ко льву. Лев увидел человека и прыгнул на него, но тот выстрелил, попал хищнику в сердце, а затем подошел к нему и прикончил его. Человек вытащил стрелу из тела льва и пошел к реке. Там он снял сапоги, разделся и стал мыться. Потом вышел из воды, оделся, выжал волосы... надел один сапог, прилег на бок и долго пробыл в таком положении. «Клянемся аллахом, — сказали мы, — он молодец, но перед кем хвастается?» Мы спустились к нему, а он все оставался в том же положении, и нашли его мертвым. Мы не понимали, что с ним случилось, но, сняв с его ноги сапог, мы нашли в нем маленького каракурта: он ужалил этого человека в большой палец... Мы удивились: силач, который убил льва, сам был убит каракуртом величиной в палец.

Из назиданий арабского
мудреца и путешественника
XII века Усама ибн Мункыза

Краснозвездный самолет с земли казался маленькой, застывшей на месте точкой. Таганову, впервые поднявшемуся в воздух, все виделось с высоты игрушечным: и дома, и люди с лошадьми. Он летел в Ербент, где его ждал Чары Назаров. Ашир не знал, зачем он так срочно понадобился начальству, но смутно догадывался.

Начальник отдела ГПУ республики встретил Таганова на аэродроме и, приведя его к себе, в наспех построенную времянку, сразу же приступил к делу.

— Время не терпит, — неторопливо, в своей обычной манере, заговорил Назаров. — Завтра ты должен вернуться. Сначала хочу тебя обрадовать. За ликвидацию банды Халта-шиха представили тебя и твоих товарищей к правительственным наградам. Тебе еще досрочное по-

бышение в звании. А за группу Аннамета — благодарность приказом по ОГПУ страны. От души поздравляю! Крупную птицу ты поймал. Много знает... Он пока еще не разговорился, боится, видно, что после, как выговорится, мы его тут же расстреляем. Думает, мы, как басмачи, хотя и заслуживает строгой кары.

— Аннамет не из трусливого десятка.

— Он не трус, ты прав. Когда узнал, что жива Байрамгуль, размяк как-то. Поначалу не верил. Устроили им свидание, доставили ее сюда самолетом. У него и язык развязался. Но чего-то не договаривает.

Утром, пока пилот Чернов и бортмеханик готовили к вылету аэроплан, Ашир прошел к водокачке, в подвале которой в одиночке держали Аннамета. Арестованный сразу узнал Таганова, засопел ноздрями, поднялся с койки и, подойдя к маленькому решетчатому окну, поднял голову, разглядывал того сквозь железные прутья:

— Что, сын Тагана, за моей головой пожаловал?

— Не городи чепуху, Аннамет. Если хотел, то убил бы тогда, ночью, когда тебя в плен взяли. Мог сделать это и чуть позже, когда ты разбередил мое сердце рассказом об отце. Советская власть не воюет с бедняками и середняками. Она даже раскаявшихся баев милует.

— А вы уверены, что я раскаялся?

— Бравада тут не к месту. Ты не бай и даже не середняк. Лучше подумай, как дальше жить будешь.

— Жить! — усмехнулся бывший басмач. — Отсеки мне голову, но не поверю, чтобы ты, туркмен, мог простить кровную обиду. Вы просто сначала хотите из меня все выжать, а потом шлепнуть.

— Чуть раньше, будь это в бою, я бы тебя и сам не пощадил. Время тогда было иное, решалась судьба революции, ее завоеваний. Кто кого! Из этой битвы мы вышли победителями. Говорят, добродетель, мол, живет только в сказках, легендах... Представь себе, что мы живем в сказочное время. Да-да, в сказочное! Время-то какое наступает, жизнь какая для туркмен настает! Не хочет смертоубийства Советская власть, и это идет от ее человеколюбия... Вспомни свою жизнь, припомни всех, кто поверил Джунаид-хану... Где они? Стали ханами? Или шахами? Может, баями? И живут себе припеваючи, в раю? Или святыми заделались?.. Чего молчишь, Аннамет?

Аннамет не проронил ни звука, а сам невольно перебрал в памяти всех, кто поверил в красивые слова Джунаид-хана, вступил в его сотни, подался в пески. Где Сапар Заика? Убит при переходе границы. Дурдыбай? Его сам Эшши-хан прикончил. А Вольмамед? Его Эшши пристрелил... Скольких он еще знал в лицо — юзбашей, онбашей, простых нукеров, чьи и имена-то выветрились из памяти... И все они или гниют в земле, или их оставили в песках ранеными, истекающими кровью, на погибель. Если живы, то нищенствуют, бродят по чужим весям, вдали от родины. Аннамет тяжко вздохнул:

— Но и моя жизнь не мед. Что я вижу, кроме этой решетки?

— А ты хотел, чтобы тебе шестикрылую юрту отвели? Тебя кормят, поят и, надеюсь, не обижают... А решетка — дело временное. Ты сам должен определить, как жить дальше будешь.

— Мне нужна ясность: или меня на всю жизнь заточат в зиндан, или освободят... Если освободят, то помоги с Байрамгуль соединиться, и я уеду хоть на край света.

— Зачем так далеко? А если в родной Ташауз?..

— Только не туда. Там не повезло... И джунаидовских людей там много. Байрамгуль в Конгуре, туда поеду.

У Ашира чуть не вырвалось: «И прекрасно! Это мой родной аул», — но сдержался, промолчал, чего доброго, тогда Аннамет еще раздумает.

— Мой отец, — задумчиво продолжал Аннамет, — умер в тридцать пять лет. Его ужалила змея. Мой старший брат тоже оставил этот мир в таком же возрасте. И его змея ужалила... Мой родной дядя по матери погиб в столько же лет. Не своей смертью. Над всей нашей семьей витает какой-то рок. В этом году мне стукнуло тридцать пять... Когда ты пришел сюда, то я сказал себе: «Ну, Аннамет, молись аллаху, твоя смерть пришла». Может, хоть в Конгуре мне удастся обмануть судьбу — чему быть, того не миновать.

Вскоре Аннамета доставили в Ашхабад, а оттуда в Конгур. Агали Ханлар о чете был предупрежден заранее, супругам отвели добротную мазанку, конфискованную у Атда-бая, самого Аннамета устроили на колхозную мельницу, а Байрамгуль пожелала ткать в артели ковры.

Бывший басмач, глава эшшиханской контрразведки заслуживал, конечно, самой суровой кары, и Аннамет сам прекрасно понимал это. Разумом, но не сердцем. Правда, после долгих бесед с Аширом Тагановым, после того, как наконец встретился с Байрамгуль, в душе его затеплилась надежда: может, помилуют, или, на худой конец, в Сибирь сошлют... И он старался найти себе оправдание, отыскивая его в том, что сам бедняк, родом из бедной семьи, а за годы службы у Джунаид-хана и его сыновей не накопил ни золота, ни серебра. Не вина его, а беда, что стал слепым исполнителем чужой воли. А незрячий, зная, куда идет, разве видит перед собой дорогу? Так и он. Джунаид-хан, тот знал не только, куда шел, зачем, но и ясно видел свою цель. С руками, обагренными кровью, он шагал по трупам безвинных жертв. Конечно, сейчас легче всего валить на Джунаид-хана, хотя Аннамет вовсе не снимал вины и с себя. Да, он — преступник!

Истина обнажается в сравнении. Но его, Аннамета, преступление по сравнению со злодеяниями Джунаид-хана — песчинка в бархане. А ведь Советская власть простила, объявила амнистию самому Джунаид-хану, его сыновьям, приближенным. На первый Всетуркменский съезд Советов, проходивший в двадцать пятом году в Ашхабаде, заявился своей собственной персоной ишан Ханоу, зловещий духовный наставник Джунаид-хана, и пустил слезу — дескать, он лоялен к Советской власти, молодому туркменскому правительству. И его простили. Наверное, новая власть так поступила не от слабости, а от силы и человеколюбия.

Потому она милостиво обошлась и с Аннаметом, дала ему возможность своим честным трудом искупить вину.

Аульчане старались не проявлять к супругам излишнего интереса. Конечно, им хотелось бы кое о чем расспросить, да остерегались председателя аулсовета, который настрого предупредил не лезть к ним с расспросами. Пусть пообвыкнутся сначала с аулом, его людьми. Конгурцы даже всем миром отремонтировали им мазанку, поставили новый загон для овец. Никто о новой семье толком ничего не знал, но пересуды ходили всякие. Да и супруги пока избегали соседей: то ли стыдились своей внешности, то ли прошлого...

Так они и жили, видясь с аульчанами лишь на работе или случайно. Никто в гости к ним не хаживал и

к себе не приглашал. И эта отчужденность, вольная или невольная, затянулась надолго. Вроде и не жили они в ауле, вроде не было их вовсе. Такое отношение односельчан становилось в тягость Аннамету, человеку от природы общительному. И он, болезненно переживавший людскую холодность, знал, что земля слухом полнится: «А этот Аннамет не такой уж безобидный, каким с виду кажется, говорят, это он нашего Тагана убил. И нос-то ему красноармейская сабля в бою отхватила...» Невмоготу стало дальше Аннамету, и однажды, встретив Агали Ханлара, пожаловался:

— Не жизнь, а пытка, прямо тебе скажу... На почести не рассчитываю. На свадьбу, на той не приглашают — дело хозяйское. Насильно мил не будешь. Обидно, что о поминках нам ничего не говорят. Будто нас нет. Вроде мы и не люди...

— Народ у нас добрый, отзывчивый, — Агали Ханлар пожал плечами. — Да вот только басмачи больно измывались над конгурцами. Свежо все в памяти...

Как-то поздним осенним вечером притащился к супругам дряхлый старик. Отдышавшись, прошамкал беззубым ртом:

— Лет семь назад моя сестра потеряла своего единственного сына... Сестра все не могла по-человечески справить сыну поминки. У бедняка, если мешок найдется, зерна нет, зерно появится — мешок не найдется. А тут колхоз помог. Завтра решили поминки справить. Приходите, помяните нашего родича.

Утром следующего дня Аннамет собрался пораньше, чтобы помочь в приготовлениях к поминкам, но Байрамгуль вдруг раздумала.

— Ты уж сходи один, — сказала она мужу. — Одного безносого и на десять аулов много, а тут два безносых в один дом придут.

В душе он согласился с женой, пошел один. Старики обрадовались Аннамету — его ранний приход оказался кстати. Кто-то из родичей, обещавших помочь, заболел, и Аннамет с охотой взялся за дело — носил воду из речки, мыл казаны, соорудил под ними очаг, развел огонь, и в полдень, после прихода аульчан, поминальную баранью чорбу уже разливали по большим деревянным чашкам, разносили гостям. Аннамета сменил какой-то разбитной парень с черпаком и, налив ему доверху чорбы в большую пиалу, выдолбленную из тальниковой коряги, сказал:

— Иди, брат, отдохни, — парень кивнул на сидевших вблизи двух мужчин. — Садись вон с ними, поешь.

Аннамет, поставив пиалу на домотканый дестерхан, посередине которого лежали куски разломанного чурека, присел на кошму. Произнеся традиционный зачин «биссмила», протянул руку за хлебом и молча принялся за еду. Он не заметил, как один из сидевших рядом мужчин поднялся, перешел вглубь двора и подсел к другой группе, разместившейся под развесистым тутовником. Аннамет осознал это попозже, когда подали чай и он попытался заговорить с оставшимся — парнем лет двадцати. Тот не ел, а больше буравил глазами Аннамета, который, сразу же почувствовав на себе взгляды парня, подумал: «Потешно... Поди, никогда с таким уродом не сидел. Вот и разглядывает».

— Да озарится светом загробный мир усопшего, — благочестиво произнес Аннамет слова из Корана. — На каком году жизни пред ним отворились врата аллаха?

— Мовлям был чуть старше меня, — задумчиво ответил парень. — Обидно, что не своей смертью умер бедняга. Погиб. И убил его такой же... — Глаза юноши вспыхнули гневом, на скулах взбугрились желваки.

Тугой ком обиды подступил к горлу Аннамета, мешая дыхнуть, но он тут же подосадовал на себя. Как мог запамятовать об этой нашумевшей в Каракумах истории? Как мог забыть?!

Аннамет поднялся и, словно побитый, вышел со двора. Вслед он слышал, как озорной мальчишеский голос бросил:

— У-у-у, калтаман * безносый!

Взрослые прикрикнули на мальчишку, но ничего этого не слышал Аннамет, терзавшийся лишь одной мыслью: «Когда это кончится, когда?» Он не винил никого, кроме себя одного. На другой день Аннамет отыскал Агали Ханлара, отозвав его в сторонку, сказал:

— Спасибо тебе, уважаемый Агали, что приютил, хлебом-солью поделился...

— Ты не меня, Советскую власть благодари...

— Говорят, заику выслушай до конца, — криво

---

* Калтаман — разбойник, грабитель.

усмехнулся Аннамет. — Видать, не жить мне в вашем ауле. Не съехать ли мне отсюда? Я сам виною всему и никого в том не виню...

— Погоди, — добродушно забубнил Агали Ханлар. — Не горячись! Я знаю, что случилось на поминках... Пойми и ты... Басмачи так осточертели дайханам, что иные ненависть к ним вымещают на тебе. Одни потеряли отца или брата, другие сына или дочь... Такое не скоро забывается.

— Поэтому будет лучше, если я уеду из Конгура.

— А куда? Да ты во всей Туркмении не найдешь аула, уголка, где бы люди не проклинали басмачей. Да и разве от себя спрячешься?

Шли дни... К Аннамету иногда из Ашхабада наведывался Чары Назаров, и они, оседлав коней, то выезжали в горы, то скакали в степь, простиравшуюся на подступах к Каракумам. Конечно, туркменские чекисты и без Аннамета знали многое о затаившихся буржуазных националистах, крупных баях и родовых вождях, подогревавших басмаческое движение. Но после каждой встречи с ним Назаров мог уточнить кое-какие недостающие факты, детали, которые помогали прояснить общую картину, нащупать сеть вражеских агентов, от которых шли нити к Эшши-хану, Джунаид-хану и дальше — к Мадеру и Кейли.

Однажды во время такой прогулки Аннамет был необычно сумрачен и хмур. Нервный серый конь под ним, словно чувствуя состояние седока, часто сбивался с шага.

— Что такой невеселый, Аннамет? — спросил Чары Назаров.

— Что, улыбаться прикажешь перед смертью? — Аннамет резко вскинул брови. — Я умираю всякий раз, когда ты приезжаешь. Я больше ничего не знаю — все рассказал. Теперь меня осталось в расход пустить...

Чары Назаров чуть опешил и, не совладав с собой, крикнул:

— Не мели глупостей, Аннамет! Тебе же объявили про амнистию.

Аннамет не проронил в ответ ни слова, но когда молчание стало невыносимым, Аннамет заговорил первым:

— Всякий раз я терзаюсь сомнениями. Стоит тебе, Чары, заговорить — сомнения враз рассеиваются. Я ве-

рю тебе... Только ты уж не обессудь, мнительный я стал... Одолевают меня мысли разные. Ты вот часто своего русского друга в разговоре вспоминаешь... Так? Сколько ты платишь этому Касьянову за... дружбу? Ты ж вот русским служишь.

— Так... так! — рассмеялся Назаров. — Касьянов ходил в моем подчинении, он ниже меня по званию, по должности и потом...

— Ну и что? — невозмутимо продолжал Аннамет. — Вон Кейли — полковник, а эмир бухарский — генерал, хозяин Афганистана — король. И все они слушаются Кейли как своего господина, подарки ему царские несут, задобрить хотят. Я уж не говорю про нашего Джунаид-хана или Ибрагим-бека. Они хоть и пыжатся, но тоже английскому полковнику в глазки заглядывают. А перед Лоуренсом на задних лапках стоят...

— Я снова повторяю тебе слова Касьянова, что не надо путать божий дар с яичницей, — Чары Назаров вытирал кулаком повлажневшие от смеха глаза. — А служу я своему народу, Родине, большевистской партии. Русские же наши друзья, братья, освободившие нас от оков царизма, от баев... Ты глубоко ошибаешься, если думаешь, что русские берут с нас плату за эту дружбу, дружбу, скрепленную кровью. Ты знаешь, кто я? Я — сын тедженского бедняка Назара Гедая, прозванного Нищим. Его убили в шестнадцатом году солдаты белого царя. Тоже русские, кстати. А Советская власть, покончившая с царем, доверила мне высокий пост, сделала красным командиром. А сколько таких, как я, в республике! Таких, что управляют ее делами... Вот и посуди, пораскинь мозгами...

И Аннамет невольно вспомнил Кабул, английский особняк в тихом переулке, караван с награбленным добром, который он с Эшши-ханом привез в дар Кейли. Как сейчас, видел волосатые, трясущиеся от жадности руки эмиссара, принимавшего от ханского сына хорджун с золотом и драгоценными украшениями. Это была и плата Кейли за благосклонность, его «дружбу», и плата за оружие, из которого басмачи убивали своих же, туркмен.

А Чары Назаров в те минуты думал о темном, забитом Аннамете, еще смотревшем на жизнь глазами джунаидовского слуги, привыкшего жить по волчьим законам — право за сильным, право за власть имущим.

И сколько еще таких, как Аннамет, которым предстоит раскрыть глаза на Советскую власть. А для этого их надо учить грамоте, ибо неграмотный человек, как говорил Ленин, стоит вне политики.

Вскоре Аннамет и Байрамгуль стали ходить на курсы ликбеза, и конгурцы со временем привыкли к ним; больше уже никто и никогда не обижал супругов, не напоминал им об их басмаческом прошлом.

...Перед утренней зарей Аннамета разбудил какой-то толчок. Он приподнял голову — было еще рано, Байрамгуль посапывала под одеялом. Где-то заскребло, и тут же раздался стук, легкое покашливание — Аннамет бросился к окну, откуда можно было разглядеть того, кто подошел к мазанке.

Восток уже прорезался узкой бледной полосой зари, а над горами, окутанными голубоватым холодным воздухом, дотлевали последние предутренние звезды. За окном тишина, но Аннамет чувствовал, что там кто-то застыл настороже — и видать, недобрый, иначе зачем ему прижиматься к двери, чтобы в окно не разглядели?

— Кто там? — Голос у Аннамета от волнения сорвался, и он пожалел, что в прошлый раз отказался от револьвера, предложенного Чары Назаровым. Обшарил глазами стены, углы, словно ища оружие.

— Открой, — раздался за дверью хриплый шепот человека, произнесшего знакомый по прошлому пароль. — Открой, Аннамет, я ранен. Мне помощь нужна.

«О аллах, эшшиханский пароль, — подумал Аннамет. — И голос вроде знакомый...» Проснулась жена. И пока она приводила себя в порядок, он быстро свернул одеяла, лежавшие на кошме, прицепил к поясу большой нож в чехле, отворил дверь и увидел Нуры Курреева. От острого взгляда Аннамета не ускользнуло, что у нежданного гостя пузырился на груди халат — оружие за пазухой.

— Давно ли неустрашимый Аннамет таким трусливым стал? — ехидно заговорил Курреев. — Иль совесть нечиста?

— Если бы знал, что здоров, не открыл бы, — неприветливо ответил Аннамет. — Да разжалобил, что ранен...

— А пароль Эшши-хана для тебя уже ничто? Вижу, прав Эшши-хан, что жалостливость тебя погубила... Да-

вай поговорим, и я уйду с миром, — опомнился Курреев, понимая, что таким тоном ничего у Аннамета не добьется. Нуры знал, что тот посвящен во многие тайны Эшши-хана, всей джунаидовской семьи. Поэтому Каракурт, чувствуя запах поживы, на свой страх и риск отважился прийти в Конгур, чтобы потрясти бывшего главу контрразведки, выведать у него то, что не удалось узнать у самого ханского сынка. А ведь и Кейли мог потом о чем-то проболтаться... Такая информация у Мадера в особой цене. Конечно, Каракурт не сомневался, что ГПУ успело потрясти Аннамета, и его сведения, естественно, вызовут у Мадера немало подозрительных вопросов. Но пока Курреев мало задумывался над этим: главное — разговорить безносого, а немцу что-нибудь придумать можно.

Каракурту от откровенности Аннамета выгода двойная: Мадер заплатит, а с Эшши-хана уже успел получить. Ханскому сыну хотелось поскорее отправить на тот свет своего бывшего контрразведчика. И за измену, и за то, что был последним живым свидетелем расправы над нукером Вольмамедом. Эшши-хан щедро уплатил за голову Аннамета — пятьдесят золотых червонцев. «Если еще и его безносую красавицу прикончишь, — посулил Эшши-хан, — заплачу еще столько же». Каракурт за такие деньги мог вырезать и половину своего родного аула.

— Нам не о чем говорить! — отрезал Аннамет. — И если кто еще вздумает прийти ко мне, передай — дороги таким, как ты, сюда заказаны...

— А ты заговорил как комиссарчик! Забыл отцовские обычаи, даже сесть не предложишь...

— Ты не с миром пришел.

— Ты ответишь на мои вопросы?

— Что тебе надо?

— Помнишь Кабул — там был ты, Эшши-хан. О чем вы проговорили с Кейли до утра?

— Я тебе ничего не скажу. Уйдешь с миром, слово джигита, буду молчать. Молчать ради того хлеба-соли, что мы с тобой делили. К прошлому возврата нет. Я ненавижу это прошлое! Все! Уходи!

— Так бы и сказал, шакал, что закомиссарился, — Каракурт выхватил из-за пазухи маузер, отскочил к двери, искоса бросая взгляд на Байрамгуль, попятившуюся ко второму окну. — А ты, красотка, не дури!

У твоего красавца пока есть время подумать... Ну! — поигрывал он маузером. — Имена, пароли, и я тут же исчезну...

— Сказал — не скажу, значит, ничего не услышишь...

— Сколько тебе большевики заплатили? Ну, жду! — С этими словами Курреев левой рукой достал из кармана платок, прикрыл им ствол маузера. Аннамет знал зачем — платок приглушал звук выстрела. — Поторапливайся, безносый. Будешь говорить?

— Иди ты, знаешь куда?.. — бледнея, выдохнул Аннамет. Он уже не слышал сухого щелчка выстрела, лишь горячий зной опалил ему грудь и растекся по всему телу, не видел, как Байрамгуль тигрицей бросилась на убийцу. Даже Каракурту, натренированному на расправах с людьми, стоило огромных усилий сбить с ног эту сильную разъяренную женщину, нанести ей ножом смертельный удар.

Каракурт торопился поскорее завершить кровавое дело... Убедившись, что супруги мертвы, Курреев вытер о край кошмы окровавленный нож, сунул в ножны. Затем снял с Аннамета чехол с его ножом, сдернул с груди Байрамгуль серебряные украшения и, перешагнув через трупы, стал шарить по комнате. Разворошил чувалы в углу, раскидал кошмы и, найдя лишь пару червонцев советскими ассигнациями, чертыхаясь, сунул их поспешно в карман. Собираясь уходить, он заметил в ушах Байрамгуль золотые сережки, нагнулся, чтобы отстегнуть их уже негнувшимися дрожащими пальцами. Одна из них словно приросла к мочке уха. — Каракурт, досадуя на свою недогадливость, резко рванул, выдрав сережку с мясом, и крадучись вышел за дверь.

Каракурт огляделся по сторонам, вслушиваясь в шумы просыпавшегося аула, и чуть ли не бегом зашагал по знакомым задворкам, добравшись до оврага, сбежал вниз...

Через несколько дней Каракурт сидел перед Мадером, обстоятельно рассказывал ему обо всем, что видел в Туркмении. С кем установил связи, кого удалось завербовать, кто разуверился в своих силах, считая бесцельной и бесплодной дальнейшую разведывательную работу в Советском Союзе. О многом же, если иметь в виду неудачи, Каракурт умолчал, боясь прогневить шефа... И впредь, какие бы ни исполнял Курреев задания, как бы ни справлялся с ними, у него станет непре-

ложным правилом приукрашивать все, что им сделано, и утаивать ошибки, промахи, если их нельзя взвалить на кого-либо другого. В этот раз Каракурт поплакался: мог бы сделать еще больше, был бы Эшши-хан чуть расторопнее и не мешал ему, опасаясь навлечь на себя гнев своих вторых хозяев — англичан.

— Эшши-хан хочет усидеть на двух конях сразу, — наушничал Каракурт. — Не признают его в Каракумах... Не та фигура.

Каракурт вспомнил об Ашире Таганове, но скорее всего для того, чтобы умаслить Мадера, смягчить предстоящий неприятный разговор об Аннамете. Чаще всего Курреев врал по наитию. Ложь и обман становились его второй натурой. К ним он прибегал и тогда, когда надеялся, что перепадет какой-то куш, и тогда, когда знал, что это усладит слух его шефов; он даже не задумывался над тем, чем чревато лганье даже для него самого.

— Ашир Таганов — вот кого завербовать бы! — Каракурт немигающими глазами вперился в Мадера. — Сын басмача. Правда, потом отец и он сам подались к красным. Да, говорят, несладко было там Аширу, ушел в Каракумы. Я его хорошо знаю, росли вместе...

— Если он служил у красных, — Мадер снял пенсне, протер стекла и снова водрузил их на нос, — занимал у них неплохой пост, то зачем ему к басмачам уходить? От добра добра не ищут.

— Мурди Чепе мне рассказывал, что Джунаид-хан тут постарался. Он посеял подозрение к Таганову... Чекисты попались на удочку, обвинили Ашира в связях с басмачами, отстранили от работы. После он долго слонялся без дела в Конгуре... А мне думается, кровь в нем заговорила. Сын басмача, конечно же, должен стать басмачом. Не забывайте, господин Мадер, что наши предки аламаны, весь Конгур — потомки разбойного племени. От зова крови не уйдешь.

— Это мне знакомо, — понимающе улыбнулся Мадер. Вспомнил историю, услышанную из уст Шырдыкули, он же Хачли. — Хорошо, если Таганова англичане не приберут.

— Не приберут, мой господин. К скупердяям он не пойдет. Англичане же мало платят — сами говорили. Я с Аширом договорюсь. Тут уж я постараюсь.

Утаить убийство Аннамета и его жены Каракурт не решился, боялся, что Мадер о том сам пронюхает, и тогда Куррееву несдобровать, глядишь, еще заподозрит в двойной игре. Промолчал он только о пятидесяти золотых червонцах, уплаченных Каракурту ханским сыном. Но когда Мадер узнал, что Курреев убил Аннамета, не выведав у него буквально ничего, немец взбеленился: стучал кулаками по столу, носился по комнате, охал и вздыхал, возмущаясь тупостью своего агента.

— Ну зачем вы его прикончили? — Мадер уже в который раз задавал один и тот же вопрос. — Убрать никогда было б не поздно. Тем более он не представлял никакой опасности.

— А чего он меня по матушке?.. — брякнул Курреев, молчавший до сего времени. — Вот и прихлопнул... Пусть не лается.

— О, майн гот! — Мадер драматично схватился за голову, неловким движением сбил с носа пенсне, которое вдребезги разбилось о пол. — Нет, ты, то есть вы — дикарь, вы — идиот! Даже папуас так бы не поступил. Подумаешь, матерился! Никто от этого пока не разваливался. — И германский эмиссар, досадливо покачиваясь всем корпусом, невесело думал: «Меня самого казнить надо — с такими кретинами задумал Срединную империю создать... Не за миражами ли я гонюсь?» — А чекисты знали, что безносый ведал у Эшши-хана контрразведкой?

— Нет, нет! — торопливо соврал Каракурт. — Откуда? Чекисты тогда с него глаз не спускали бы, охрану приставили...

— Откуда вам известно? А может, охрана была да прошляпила ваш визит?..

— Нет, нет! Мурди Чепе, тот знает. У него в Конгуре родичи. Аннамет ни с кем не общался. Люди его сторонились, как заклятого... И Айгуль подтвердила мне потом...

Мадер чуть успокоился, но все же сожалел, что безносый эшшихановский контрразведчик унес с собой в могилу тайну об английской агентуре. У Эшши-хана ведь семь пятниц на неделе, и Мадер не ошибался в одном: ханский сынок в отличие от отца своего отдавал пока предпочтение англичанам. Немецкий эмиссар и после еще долго будет попрекать Курреева за его непростительную глупость.

Однако поездка Каракурта, его обстоятельный рассказ о Туркмении родили в голове Мадера дерзкий замысел, не лишенный авантюризма. А что, если одним выстрелом двух зайцев убить?.. Берлинскому начальству потрафить — нажить капитал и удовлетворить свое честолюбие, да еще и проклятым томми насолить. Если удача не изменит Мадеру, то в Берлине наверняка похвалят, смотришь, крестом наградят. А если не выгорит? Тогда можно начальству и не докладывать. Кто его за язык тянет?!

— Готовьтесь, мой эфенди, в дорогу. — Немец откуда-то достал новые очки и, водрузив их на нос, оглядел Каракурта невидящим взором. — Снова в Мерв пойдете, к братьям Какаджановым. Одна идея созрела... Нам с вами и еще кое для кого выгодная, — и неожиданно спросил: — Кейли вас, случаем, не знает?

— Нет, мой господин, — соврал Каракурт. — Но я его видел раза два, запомнил. Такой другой морды на всем свете не сыщешь... Однажды стоял у него за спиной, на часах в юрте Джунаид-хана. Тогда он надрался как свинья.

И Мадер, довольно осклабившись, в общих чертах поведал Каракурту свою новую авантюру — план игры с английской разведкой.

— Если и знает, беда невелика, — спокойно заключил Мадер. — Может быть, даже и лучше. Больше доверия будет. Напомните ему о себе. Пусть знает вас как слугу Джунаид-хана, как его верного человека. Так надо...

О трагической гибели Аннамета и Байрамгуль стало известно тут же. Назаров немедленно проинформировал руководство ГПУ, организовал поиски убийцы, но безрезультатно. На экстренно созванном заседании коллегии управления дело приняло не совсем приятный оборот для начальника отдела по борьбе с басмачеством. На него наложили строгое административное взыскание за то, что не позаботился обеспечить охрану, не сумел оградить супругов от рук убийцы.

Чары Назаров искренне переживал трагедию и винил себя за проявленную беспечность, отдавая себе ясный отчет, что гибель Аннамета и Байрамгуль — серьезный просчет, ошибка в работе туркменских чекистов, и прежде всего его самого.

Чрезвычайное происшествие в Конгуре встревожило всех сотрудников аппарата республиканского ГПУ. Только один Стерлигов ухмылялся: «Это вам не клинком махать... Не тянет Назаров отдел».

Его острый хищный кадык, обтянутый сухой и желтой, как пергамент, кожей, перекатывался шаром. Дышал он шумно и учащенно, будто после бега, и Стерлигов сам не мог понять, отчего вдруг поперхнулся собственной слюной и закашлялся с надрывом, долго и мучительно, словно кто-то сдавил ему горло цепкой сильной рукой.

МЕСТЬ

На 1 января 1930 г. в Узбекистане, Туркменистане и Киргизии имелось всего 11 банд... Басмачеством были в основном поражены Ферганская долина и Ташаузский округ...

В период февраля — июня активизация басмачества сопровождается появлением 14 новых банд, производящих ограбления государственных и кооперативных магазинов, колхозов и террористические акты против совпартработников и кишлачного актива. Во главе становятся бывшие курбаши, активизировавшиеся в связи с общим обострением классовой борьбы...

Близость к закордонным басмаческим центрам (Ибрагим-бек, Фузаил Максум, Утан-бек, Хурман-бек и т. д.) и широкие связи, которые сохранили эти закордонные басмаческие главари с контрреволюционным байством нашей территории, объясняют широкое развитие басмаческо-повстанческого движения, особенно в пограничных с Афганистаном и Персией районах.

Эта группа закордонных главарей составляет группировку бухарского эмира и поддерживает интенсивную связь с англичанами, имея в Лондоне своего постоянного представителя «генерала» Шукимваева. Последние годы значительно активизировалась и другая группа туркестанской эмиграции, бывшие «деятели» Кокандской автономии (Мустафа Чокаев) и ряд других представителей националистической интеллигенции...

Из доклада полномочного представительства ОГПУ в Средней Азии

Серый вечер... Свинцовое небо набухло осенней влагой — вот-вот сорвутся первые капли. Упругие столбы-смерчи, свиваясь в гигантскую чалму, вставали перед грудью коня, сбивали с хода, но нетерпеливый седок безжалостно хлестал плетью — на вздрагивающем крупе оставались кровавые следы.

Одинокий всадник мчался по бездорожью, к темной, будто пропитанной дождем полоске горизонта, за которым должен быть родной аул, где жили мать, брат Хемра, его жена Бибихал, детишки. Шестые сутки скакал Амир-бала по пустыне, загнал двух породистых скакунов, и если не выдержит под ним третий, последний конь, он никогда не доберется до людей, не узнает, как погиб Хемра, не сумеет отомстить за него.

«Не может быть, не может быть... — шептал он почерневшими, растрескавшимися губами. — Кому он мешал? Кому?..» Перед ним всплывало доброе лицо брата, решившегося прийти в басмаческий стан, чтобы вернуть Амир-балу домой. «Кривой дорогой идешь, Амир-бала. Мы с тобой — бедняки. Советская власть для таких, как мы... Рано или поздно поймешь. Хорошо бы не слишком поздно».

Когда это было — год, два назад?.. Из-за него, Амир-балы, Хемра хватил лиха, оставил семью, слонялся по Каракумам, рискуя жизнью. Потом подался в Ербент, угодил в плен. Хорошо, большевики пощадили их... А он, Амир-бала, — нет, чтобы вернуться вместе с Хемрой, так снова в пески кинулся. Зачем? Чтобы с Эшши-ханом за отца сквитаться. Да не вышло. Пока выбирал удобный момент, пришла страшная весть: Хемру убили — забыл о мести, об Эшши-хане... Тут еще гонец прискакал из Афганистана — Джунаид-хан тяжко болен. Эшши-хан тут же уехал к больному отцу, а Амир-бала бросился в родной аул.

Спокойно и честно жил Хемра — пахал, сеял. Никого ни словом, ни делом не обидел. Кому его жизнь понадобилась? Что стало с тремя малыми ребятишками? Что стало с женой, с матерью?

К вечеру на спотыкающемся коне Амир-бала добрался до своего аула. Где же люди? Дворы встретили его пугающей, непривычной тишиной. Амир-бала остановил коня у знакомой кибитки, едва сполз с седла, измученный дальней дорогой, и, забросив поводья за выпиравший из плетеного забора столб, шагнул в разгромленный двор. Никого. Распахнута настежь дверь кибитки, внутри — разбитый пустой сундук, тот самый, что сделал отец и подарил Хемре перед свадьбой, рядом — старый медный кумган, все порванное и в крови платье Бибихал. Все замелькало перед глазами Амир-балы. Неужели больше никогда не будет у него брата?



Неужели никогда не встретит его глубокий укоризненный взгляд?

«Но я же не убиваю беззащитных — честно дерусь в бою!» — звучит собственный голос.

«Среди волков овцы не живут. Не прав ты, Амир-бала. Не прав, хоть ты и мой старший брат, которому я, по обычаям нашим, не вправе перечить», — укоризненно качал головой Хемра.

Как давно это было... Тогда он служил под началом Эшши-хана под Ербентом. Сколько воды с тех пор утекло в Амударье!

Амир-бала не заметил, как из груди его вырвался отчаянный вопль — не в силах вынести одиночества и обступивших его воспоминаний, выбежал из кибитки на улицу. Конь понуро стоял у забора, вокруг не было ни души.

В соседней кибитке, привалившись к подушке, лежал старик. Он узнал Амир-балу — кому не знать известного всей округе басмача! — но не испугался его, хотя сын далеко, на другом конце аула. Хриплый старческий голос был полон ненависти:

— Уходи отсюда!

— Где моя мать?

— Она жива. В соседнем ауле. Если бы не кизыл аскеры, лежать ей в сырой земле.

— Где Хемра, Бибихал? Дети их где?

— Нету. Всех убил Балта Батыр. Уходи отсюда, разбойник.

Амир-бала, чертыхаясь, опрометью бросился из кибитки в дверь и столкнулся у входа с сыном старика. Настороженный взгляд, в руках на изготовку карабин. Амир-бала силился вспомнить имя парня, дружившего с Хемрой, но так и не вспомнил.

— Хоть ты скажи, что случилось? Куда люди подевались? — взмолился Амир-бала. — Поверь мне... Я больше не басмач! Я хочу одного—отомстить за Хемру. Клянусь памятью отца! Клянусь могилами предков.

Парень опустил карабин — видно, поверил. Он провел Амир-балу за собой снова в кибитку, развел огонь в очаге, поставил подогреть прокопченный кумган с водой. Под шум закипавшей воды Амир-бала слушал страшный рассказ.

...После полудня в Карали на полном скаку влетел гонец. Отыскал Таганова, сообщил ему леденящую душу весть. Банда Балта Батыра, двоюродного брата Халта-

шиха, сбила над колодцем Маныш самолет и взяла в плен пилота и бортмеханика, недавно прилетавших в Карали.

Полусотня поднялась по тревоге и через полтора часа бешеного галопа была у колодца Маныш. Еще издали на такыре Таганов заметил обугленный металлический остов самолета. Подъехали ближе — в дотлевавшем аэроплане виднелись полуобгоревшие шлем, кожаная полевая сумка, поблескивали на солнце стеклышки очков. Сумка была пуста. Где же Чернов и бортмеханик? Неужели... Таганов заметил на такыре множество конских следов, обгоревшие пучки травы, кровавые пятна. Страшное подозрение закралось в душу Таганова.

...Балта Батыр давно носился с мыслью сбить аэроплан. Басмачи недоумевали, как собьешь эту дьявольскую птицу, с которой летчики при надобности и гранатами забрасывают, и свинцом поливают. Но Балта Батыр был дошлый, все знал... Сын крупного бая, он еще в начале двадцатых годов сумел отыскать среди руководителей Хорезмской Народной Советской Республики верных друзей отца и с их помощью поехал учиться в Ташкент, на курсы красных командиров. Вернувшись домой, терпеливо выжидал, когда падет Советская власть. А сам тем временем ходил в командирах, даже участвовал во многих операциях против басмачей, но «воевал» он с ними по-своему. И все ждал... Умело выжидал — никто в нем даже не подозревал заклятого врага. Так и не дождавшись, бежал в Иран, но вскоре вернулся, сколотил банду из своих единомышленников и зарыскал по глухим районам и далеким кочевьям. Теперь, делясь с басмачами знаниями, полученными им на курсах краскомов, Балта Батыр говорил:

— Аэроплан фанерный. Один хороший, дружный залп — и дьявольская птица в наших руках! Пули убьют летчика или ранят...

Когда самолет подлетел к Манышу, Чернов заметил внизу людей, чуть сбросил скорость, снизился, чтобы разглядеть всадников. В это время и раздался залп, следом второй. Самолет, зачихав, завалился на левое крыло, потом выровнялся и, снова накренившись налево, упал на землю.

Басмачи с торжествующим кличем бросились к машине и заметили, как летчик, держа в одной руке маузер, другой подносил что-то белое ко рту и жевал. Бортмеханик, сидевший в кабине позади Чернова, не подавал

никаких признаков жизни — его сразили пули еще в воздухе. Балта Батыр опомнился первым:

— Берите его!.. Он пакет жрет... Живьем берите!

Басмачи бросились к летчику, но тот, отстреливаясь и не подпуская к себе никого, проглотил весь пакет с секретным донесением. Чернова, обессиленного, истекавшего кровью, вытащили из самолета, бросили на такыр. Заметив, что летчик открыл глаза, Балта Батыр ухмыльнулся:

— Ну что, летун, долетался? Думаешь, утаил от нас пакет? Бдительность проявил?

— Гад недобитый! По-русски говоришь... Ничего, придет и твой черед.

Кто-то сунул Балта Батыру пучок сухой травы, он поджег его и ткнул в лицо летчику:

— На, жри! Невкусно? А бумага с сургучом? Теперь вот наш каракумский явшан * попробуй!

Огонь опалил усы, брови, ресницы летчика, затрещал на голове и, чуть полизав вихрастые космы, потух. Балта Батыр сразу признал в летчике Чернова, с которым учился в Ташкенте, в одной группе краскомов. Они даже чуточку дружили, но потом их пути-дороги разошлись. Чернов уехал в Москву, кончил курсы летчиков, после вернулся в Среднюю Азию, воевал с бандами Джунаид-хана. Балта Батыр сначала возглавлял в Восточной Бухаре отряд по борьбе с басмачеством, а кончил тем, что «объявил войну» Советам. Сейчас басмаческому главарю хотелось, чтобы Чернов узнал его, попросил пощадить по старой дружбе, но летчик не подавал виду. Балта Батыр не утерпел:

— Что, Чернов, не узнал меня? Я Балта Батыр. Помнишь, нас еще вместе награждали... Я орденок получил первым, а ты вторым. Ты мне все руку жал, поздравлял...

— Я тебя, гада, и на том свете узнаю... Не орден тебе надо было давать, веревка по тебе, басмач, плачет. — Чернов приподнялся и сел, опершись на ладони. Опаленное, почерневшее лицо было страшно, глаза — без ресниц и бровей, — казалось, ввалились еще глубже и сверкали в бессильной ярости.

— Слушай, Чернов, перестань корчить из себя героя. Я сохраню тебе жизнь, попроси только. Иначе я прикажу вспороть тебе живот и достать пакет.

---

* Явшан — полынь.

— Ты, Балта, контрой был — контрой и остался. Жаль, не раскусили тебя вовремя, гада. Ну, ничего, сколько веревочке ни виться, конец будет...

Балта Батыр что-то нетерпеливо сказал здоровенным нукерам, те понимающе кивнули головами и, засучив рукава, достали из чехлов длинные ножи, которыми режут верблюдов, потом решительно шагнули к Чернову...

Даже отъявленные головорезы не могли вынести этого страшного зрелища, кое-кто отвернулся или убежал за барханы. Только Балта Батыр и горстка его самых близких приспешников молча наблюдали за кровавым занятием нукеров. Балта Батыр, заметив их дрожащие руки, сказал:

— Я думал, что со мной воины, подобные львам... Оказывается, это лишь толпа баб, которых воротит наизнанку при виде крови. Вам жалко эту русскую свинью, которая навела порчу на ваших жен, на ваших детей?! На нашу землю, на нашу религию! — Балта Батыр, распаляясь, выхватил у одного из нукеров окровавленный нож, бросился к самолету и сильным ударом пробил бензобак, откуда тугой струей забило горючее, растекаясь по земле, обшивке машины.

— Огня мне! — заорал Балта Батыр. Ему подали зажженный факел. Размахнувшись, он кинул его на мотор — белое пламя, окаймленное черным зловещим дымом, взметнулось в высокое безоблачное небо. — Вы что замерли истуканами? Берите его! В огонь!

Рослые нукеры приподняли тело Чернова и, оставляя на такыре кровавые полосы, потащили к самолету, бросили его в огонь.

Тем временем другая часть банды Балта Батыра свирепствовала в ауле Куртли, куда Таганов, находившийся в Карали, бросил на выручку соседям аульную группу самоохраны. Ее возглавили Бегматов и еще двое чекистов отряда. Но когда гонец привез весть о сбитом самолете, Таганов с оставшимися людьми своего отряда помчался на колодец Маныш, надеясь выручить из беды летчиков, в крайнем случае отбить у басмачей секретный пакет.

Балта Батыр этого и ждал. Окольными путями, дважды сменив в дороге коней, он ворвался в незащищенный аул, с которым у него были свои счеты. Кое-кто из аульчан задолжал еще его двоюродному брату Халта-шиху. «Если успею, — рассуждал Балта Батыр, — соберу должок, запасы карманов не проходят.

Не успею, прикончу этого недоноска Хемру. Недаром с ним даже его родной брат не поладил, раскусил змеиную натуру. Амир-бала — наш, истинный воин ислама, а Хемра — большевистский шпион».

На окраине села банду Балта Батыра встретил дружный оружейный огонь. Но что могла поделать горстка оставшихся аульчан, вооруженных лишь винтовками и берданками, против гранат, винчестеров и маузеров? Басмачи уничтожили почти всех, лишь двум-трем парням удалось спастись.

Кавалькада всадников во главе с Балта Батыром остановилась у кибитки Хемры, который, заслышав конский топот, едва смог выйти за порог. Лицо его было восковым — Хемру донимала тропическая лихорадка. И сейчас, совсем обессиленный, жмурясь от яркого солнца, он не сразу узнал Балта Батыра, хотя догадывался, кто перед ним.

— Что, Хемра-джан, душа моя, — куражился Балта Батыр, — приглашай к себе в дом, угости нас чайком... Как ты потчевал моего брата Халта-шиха. Смотришь, чекисты к тому времени подоспеют, спасут тебя... Молчишь? А оставлю тебя в живых, так будешь у большевиков соловьем заливаться: Балта Батыр так сказал, Балта Батыр этак посмотрел... Будешь тужиться, вспоминать... Но я облегчу твою ношу. Ничего тебе не придется вспоминать. — Балта Батыр сошел с коня, его примеру последовали и нукеры.

Во дворе Балта Батыр увидел игравших на песке трех ребятишек. Завидев басмачей, они хотели было юркнуть в кибитку, но Балта Батыр подал знак, и один из нукеров грубо оттеснил их от двери.

— Это твои щенята? — Балта Батыр ткнул камчой в сторону детишек. — Забавные, забавные... Небось любишь их?

В это время из кибитки показалась Бибихал и бросилась к детям, но нукер оттолкнул ее — она ткнулась лицом в решетчатый остов кибитки. Хемра бросился на нукера, но кто-то сзади ударом свалил его на землю.

— Хемра-джан, да ты, оказывается, и жену любишь! — глумился Балта Батыр, так похожий своей грузной фигурой и крупными, как кувалды, кулаками на своего двоюродного брата Халта-шиха. — Да она у тебя красавица... Такую и я бы полюбил. Но я не хочу сыпать тебе в карман соли. А что скажут мои нукеры? Эй, Мурди Чепе! Ты бы от такой красавицы отказался?

— Что вы, мой господин. — Мурди Чепе похотливо ощупал глазами Бибихал. — Говорят же, чужая курица — гусыня, чужая жена — красавица. А тут не гусыня, а лебедушка... Э-хе-хе!

Басмачи загоготали, отпуская похабные шуточки. Хемра в отчаянии снова бросился с кулаками, теперь уже на Мурди Чепе, но сильный удар снова сбил его с ног. Хемра хотел подняться, но на него навалились сразу двое, скрутили за спину руки и привязали к остову кибитки, спеленав толстыми волосяными веревками.

— Мурди Чепе, тебе право первой брачной ночи, — смеялся Балта Батыр.

— Прямо здесь, мой господин? — спросил Мурди Чепе.

— Да, здесь! На глазах ее мужа, детей! — зло выкрикнул Балта Батыр. — Пусть знают, что с нами шутки плохи.

Мурди Чепе бросился на Бибихал, но она отчаянно сопротивлялась, царапалась, кусалась, а басмач, подбадриваемый улюлюканьем нукеров, рвал на женщине одежду, постепенно оголяя ее всю, с головы до ног. Дети, прижавшись к привязанному отцу, исходили душераздирающим плачем. Хемра, дергаясь, как дичь, попавшаяся в капкан, с пеной у рта кричал, бранился, понося последними словами насильников. Когда Мурди Чепе повалил женщину на землю, обезумевшая Бибихал вырвалась и побежала. Все опешили, и только Балта Батыр, с необычным для его грузной фигуры проворством, догнал ее и обрушил свой огромный кулак на голову — женщина упала как подрубленная.

— Даже с бабой не можете сладить, — Балта Батыр почему-то разглядывал свои кулаки-кувалды, будто любуясь ими; затем укоризненно произнес: — Вам орехи собери да еще разгрызи, зерна в рот положи. А ну, Мурди Чепе, давай! Посмотрим, чего ты стоишь...

Все это жуткое время Хемра, закрыв глаза, тихо стонал. Губы его, искусанные и посиневшие, запеклись кровью, чуть отросшие за время болезни иссиня-черные волосы стали белыми.

Нукеры пришли в движение, завидев подскакавшего всадника. Это был коротышка, который, прежде чем сойти с коня, сбросил у ног Балта Батыра туго набитый шерстяной чувал-мешок.

— Это все, что я собрал с должников... Разбежались, шакалы. Надо ночью взять их, вместе с долгами потряс-

ти и их души. — Коротышка скатился с седла, семеня кривыми ножками, подошел к басмаческому предводителю и, встав на цыпочки, что-то зашептал ему на ухо.

Все заволновались, загалдели, но, увидев, что Балта Батыр зыркнул на них презрительно-злыми глазами, смолкли. Басмачи не ошиблись — коротышка привез не очень добрую весть. Судя по тому, как беспокойно бегали его глаза, Балта Батыр приказал быть наготове — пора уходить, вот-вот кизыл аскеры нагрянут.

Бандиты суматошно забегали по кибиткам, таща за собой ковры, кошмы, хорджуны, набитые украшениями, домашней утварью. Мелкой дрожью вздрагивал вороной жеребец под Балта Батыром, дожидавшимся, пока со всех концов аула подскачут его люди, которым он отдал на разграбление Карали. Убедившись, что все в сборе, Балта Батыр выхватил из-за пазухи маузер и, не целясь, навскидку, выстрелил поверх плетеного забора — Хемра, дернувшись всем телом, замер, будто распятый. Раздался второй, третий, четвертый выстрел — и трое детишек, прижавшихся друг к другу, застыли на месте...

Где-то вдали хлопнул выстрел — басмачи, стараясь обогнать друг друга, бросились из аула, их будто ветром сдуло.

Один Балта Батыр волчком кружил на месте, ища глазами Бибихал, но ее не было на месте — услышав выстрелы, она инстинктивно поползла поближе к забору, и теперь, хотя была совсем рядом с курбаши, он ее не видел. Не зная, в кого разрядить оружие, тот с досады пальнул в большого желтого волкодава, привязанного за кибиткой. Пуля, видно, ранила пса, так как он остервенело залаял, взъерошил густую лохматую шерсть и, звеня цепью, зло кидался в сторону обидчика. А Балта Батыр, злясь, что не смог с первого выстрела поразить цель, стрелял еще и еще. Собака словно завороженная злобно рычала и, наконец сорвавшись с привязи, бросилась под ноги коню, который испуганно взметнулся на дыбы и понес седока, едва удержавшегося в седле. Облизывая раненую лапу, пес заковылял к своему бездыханному хозяину и, встав рядом, долго не сводил с него преданных глаз. Виляя обрубленным хвостом и поняв, что случилось, жалобно заскулил.

К вечеру Бибихал пришла в себя и смутно, как в страшном сне, вспоминая, что с ней произошло, позвала детей. Хемру окликнуть она не решалась, думая, что тот от стыда и позора ушел из дому...

«О, аллах! Как жить-то дальше?—думала Бибихал.— Как мужу, детям в глаза смотреть?..» Но к ней почему-то никто не подходил, детей не было даже слышно.

Бибихал еле поднялась с земли и побрела к кибитке, где уже сгрудились аульчане, которые, заметив ее, расступились. Почему они так отчужденно глядят на нее, прячут глаза?.. Лучше головой в омут... Кто-то, скинув с себя халат, накинул его ей на плечи, а она, не замечая своей наготы, впилась глазами в трупы в белых саванах. Она машинально сосчитала: один взрослый, длинный, трое детских. Но почему они именно тут, возле ее кибитки? Страшная догадка резанула ее сердце — Бибихал без чувств рухнула на землю.

...Уже давно закипел кумган, вода, булькая, переливалась через края закопченного медного сосуда. Парень ловко достал его из огня, бросил в него щепотки три заварки и, разлив чай по пиалам, одну из них протянул Амир-бале... Они долго молчали — чай остыл в пиалах, как остыл он и в кумгане: угасал жар угольев в очаге.

— А где Бибихал? — разжал зубы Амир-бала. — Жива?

— Жива... — неуверенно ответил парень, и Амир-бала наконец вспомнил, как зовут того. Это Тойли, друг Хемры. — Да только... — И, не договорив, поднялся. — Пойдем, покажу...

Они торопливо зашагали на окраину аула, где по соседству со старой облупившейся мечетью было кладбище, огороженное невысоким забором. Там, у четырех свежих могил, они увидели копошившуюся на земле женщину, с непокрытой взлохмаченной головой, со свалявшимися волосами, босую. Амир-бала с трудом узнал в ней жену брата, некогда первую аульную красавицу.

— Бибихал! — окликнул ее Амир-бала. — Это я, Амир-бала...

— Вы пришли посмотреть, как я казнила Балта Батыра? — Она не узнавала своего деверя. — Смотрите, я его повесила! — Бибихал ткнула пальцем на могилу Хемры и залилась смехом, от которого у мужчин пошел мороз по коже.

Амир-бала только сейчас заметил, что на могилах водружены деревянные столбики и на каждом из них болталась матерчатая кукла, привязанная за шею.

— А это мулла Балта Батыра, — говорила Бибихал, показывая на куклу поменьше. — Это Мурди Чепе... Его я тоже повесила. Аминь! — И она провела ладонями по лицу, размазывая грязь по щеке. В ее больших, расширенных глазах Амир-бала увидел жгучую, неукротимую ненависть, которую не могло потушить даже безумие. И он дал себе клятву отомстить Балта Батыру, отомстить за брата, за его жену и детей, отомстить за попранную человеческую честь.

Таганов писал очередное донесение в Ашхабад. После ликвидации банды Халты-шиха обстановка в Ташаузском оазисе несколько улучшилась. Чекистская бригада, действовавшая в Каракумах, разгромила ряд басмаческих отрядов. Сдались еще четыре шайки, промышлявшие грабежом на больших дорогах. Эшши-хан активных действий не проявлял. По непроверенным пока что данным, ханский сын, обескураженный холодным отношением к нему родовых вождей и крупных феодалов, скрывавшихся в Каракумах, ушел в Афганистан... Ашир этому не особенно верил — Эшши-хан, пронырливый и хитрый, мог появиться когда и где угодно, как это уже бывало. Но в Ильялинском районе, в его оазисах, пользуясь тем, что чекистская бригада ушла в рейд, в пески, активизировала свою деятельность банда Балта Батыра. К нему прибавились недобитые джунаидовские юзбаши, самые отчаянные, имевшие опыт бандитской борьбы с Советской властью. Банда росла, получая неведомыми путями оружие, боеприпасы, на ее счету уже было несколько дерзких налетов на аулы.

Напасть на след Балта Батыра никак не удавалось — слишком хитрым и матерым был зверь. Важно было обезглавить банду, которую Балта Батыр держал под страхом, в железных руках. После гибели курбаши такие банды обычно распадаются, перестают существовать. Но как изловить неуловимого Балта Батыра?

Таганов отложил ручку, задумался, зябко кутаясь в шинель, накинутую поверх халата из верблюжьей шерсти. За окном моросил зимний дождь, продолжительный в северных краях Туркмении; стекла жалобно дребезжали под напором упругого стылого ветра. Во дворе сердито заливался Аждар, приученный чекистами дежурить у коновязи. Пес Хемры пристал к джигитам тагановского отряда. Сильный и умный, как многие турк-

менские овчарки, он привязался к Аширу, которому волкодав чем-то напоминал Гаплана, собаку из далекого детства, ту самую, которую он босоногим мальчишкой стравливал в родном ауле на потеху джунаидовским нукерам.

«Чужой, однако, — так лает зло», — не успел подумать Таганов, как в дверь осторожно постучали.

Не вставая, крикнул:

— Войдите! Не заперто.

Дверь распахнулась, и на пороге показалась рослая крупная фигура мужчины. Рука Ашира невольно потянулась к кобуре, но узнав в пришедшем Амир-балу, он поднялся ему навстречу.

— Ты, гляжу, отчаянный... Сидишь у окна, с незапертой дверью. — Дождинки-слезинки катились по глубоким продольным прорезям морщин, которых раньше Ашир у Амир-балы не замечал, высокие сапоги были заляпаны жирной глиной. Он потоптался на половике, решительно двинулся в угол, сдернул с плеча одиннадцатизарядный карабин, прислонил его к стене. Только теперь Таганов заметил, что за спиной Амир-балы стояла сухонькая старушка в платке, со следами глубокой скорби на лице.

— Это моя мать, — просто сказал Амир-бала. — Мы пришли поблагодарить — за мать. И просить прощения за мое самовольство. Если б я тогда не ушел, может, Хемра остался бы жив...

Амир-бала, потрясенный гибелью брата и его семьи, благодарный за спасение матери, не таил от Таганова ничего, словно стараясь одним махом избавиться от груза пережитого, передуманного. И Таганов понимал его, ибо, темные и забитые, жили эти люди во времени сложном и не каждый сразу, как он сам, безошибочно отыскивал свое место. «Ищи суть в человеке» — было его правилом, заповедью чекиста. И она обнажилась в рассказе Амир-балы — классовая суть бедняка, честного в помыслах, смелого, но обманутого врагами человека.

— Я искуплю свою вину! — Амир-бала чистыми ясными глазами смотрел на Ашира. — Я тогда, в Каракумах, такой клятвы не давал... Не очень я верил себе. Вот увидишь, Ашир, я искуплю свою вину!

— Перед кем, Амир-бала?

— Перед... — Амир-бала запнулся, потому что отве-

тить на этот вопрос сразу он просто не мог. — Перед, перед... — И он закрыл лицо руками.

В каком-то бешеном калейдоскопе проносились перед ним лица и события: сузившиеся от недоверия глаза Тойли, морщинистый лоб его отца и дрожащий от ненависти голос: «Уходи отсюда», разгромленная кибитка Хемры, глаза обезумевшей Бибихал, свежие могилы на аульном кладбище, слезы матери, зарево пожарищ над кочевьями, свист братоубийственных пуль в пустыне.

— Перед людьми! — ясно выговорил Амир-бала. — Не жить нам на одной земле с Балта Батыром, не дышать нам одним воздухом, не глядеть нам на одно солнце. Поверь моему слову, Ашир!..

Амир-бала вместе с матерью поселился в кибитке Хемры. Несчастная Бибихал так и не вернулась домой. Спустя много дней ее обугленный труп обнаружили на кладбище, рядом с могилами мужа и детей; бедняжка, не вынеся позора, обрушившихся на нее бед, наложила на себя руки, покончила жизнь самосожжением. Амир-бала, похоронив Бибихал рядом с Хемрой и детьми, вернулся к нелегкому дайханскому труду, вступил в аульный отряд самоохраны.

В короткие зимние дни не раз вступали дайхане в стычки с басмачами, и всегда впереди на своем иноходце скакал Амир-бала. Он искал встречи с Балта Батыром. Не на одном караван-сарае, не одному сарайману, не одному чайханщику Амир-бала говорил, что жаждет встречи с курбаши, жаждет отмщения, надеясь, что кто-нибудь да передаст о том Балта Батыру.

...Вечерело. Амир-бала возился во дворе, поправляя покосившийся забор, латая прохудившиеся бока кибитки. Заглянул сосед, отец Тойли, спросил:

— В соседнем ауле род гокленов той устраивает. Поедешь? Будет нам любимый бахши, из Куня-Ургенча.

— На свадьбу ехать — не воевать, — улыбнулся Амир-бала.

Наскоро вымыть руки, оседлать вороного, надеть новый халат — дело скорое. С ним поехали юный Тойли и еще трое из отряда самоохраны.

Степь дышала легким морозцем, сытые кони, помахивая головами, шли легкой размашистой иноходью. Приятно было ехать вот так открыто, ни от кого не пря-

чась, быть в окружении друзей, чувствовать, что тебя уважают, дорожат твоим словом, вниманием.

Длинная зимняя ночь, показавшаяся короткой, как летом, быстро перевалила на вторую половину, а гости все не расходились. Тесным кольцом окружили они бахши и слушали, слушали... Песня лилась за песней, широко и свободно, заставляя грустить и улыбаться...

Давно остыли плов и чай в отодвинутых в сторону пиалах, а звучная трель дутара, переливавшегося на все лады, не умолкала.

—Еще, дорогой наш соловей! — просили гости. — Спой нашу любимую... Да вознаградит тебя аллах здоровьем и счастьем! Живи, как наш легендарный Гер Оглы — сто двадцать пять лет!

Бахши благодарно улыбался слушателям, кивал головой; откладывая на минутку дутар, брал пиалу, отхлебывал маленький глоток, чтобы смочить горло. И прежде чем запеть, мысленно вспомнил, как год назад по заданию окружкома партии он приезжал в этот аул, чтобы сагитировать дайхан вступить в колхоз. Аульчане согласились, но с одним условием: бахши будет петь до утра все песни на слова любимого туркменского классика Махтумкули. И бахши пропел всю ночь, а наутро дайхане всем аулом вступили в колхоз.

Вон Амир-бала — тоже улыбнулся, закрыл глаза, вытянулся на кошме и мечтает. О любимой, о детях, которых еще нет, но будут, о будущем. Оно светлое, огромное, как мир. Он будет учиться, обязательно — так Таганов сказал. В ауле открываются курсы ликбеза, а потом Амир-бала поедет на учебу в Ашхабад или Ташкент...

И вдруг совсем близко раздался винтовочный выстрел, затем второй, третий... Амир-бала вскочил, мгновение прислушивался.

— Это басмачи! За мной!

Во дворе курганчи темно — хоть глаз коли. За высокими глинобитными дувалами метались серыми тенями всадники, озаряемые вспышками и стрелами огня, вспарывавшими ночную темь.

Амир-бала услышал гортанные возгласы, узнал коекакие голоса, и среди них могучий бас Балта Батыра:

— Окружай! Чтобы и волосок не прошел... Эй, Амирбала! Ты хотел меня видеть? Встретились. Выходи, поговорим! Душа в душу! Ха-ха-ха! — прокатилось над притихшим аулом.

Амир-бала пригнул голову друга, юного Тойли, прошептал на ухо:

— Бери вороного. Скачи в Ильялы, найдешь Таганова или Бегматова. Расскажи. Будем держаться! Живее, пока они не очухались.

Застоявшийся вороной легко взял глинобитный дувал, растворился во тьме. Прячась в тени дувала, Амир-бала пробирался к воротам. Тонкие доски уже трещали под ударами тяжелых прикладов. Трое краснопалочников вели редкий прицельный огонь.

Рухнули ворота, дробно простучали по доскам копыта. Мощный грудастый жеребец встал на дыбы, оскалив разодранную удилами пасть. Всадник, пригнувшись, осматривал двор.

— Где же ты, Амир! Прячешься, трус, выходи! — вновь прокричал курбаши.

— Здесь, Балта, здесь я...

От дувала отделилась фигура со вскинутым карабином. И не успели передние копыта коня коснуться земли, грохнул выстрел.

Балта Батыр удивленно вскрикнул, схватился рукой за сердце, медленно валясь на бок.

Таганов осторожно вынул карабин из холодной руки. В магазине не было ни одного патрона. Пустой патронташ валялся рядом среди гильз. Амир-бала лежал, уткнувшись лицом в землю, широко раскинув руки, словно обнимая ее, родную, щедро политую его молодой горячей кровью.

Постепенно собирались люди — из Ильялы, близких и дальних аулов. Аульный мейдан — площадь для сельских сходов — был забит до отказа. Таганов глотнул сухой комок, застрявший в горле, поднялся на импровизированную трибуну, прокашлялся:

— Товарищи! Открываем митинг, посвященный светлой памяти погибших героев. Амир-бала был сыном народа и отдал жизнь за наше счастье. Будем помнить о них...

Банда Балта Батыра практически перестала существовать.

ИСПЫТАНИЕ

В начале тридцать второго года, по оперативным данным ГПУ республики, в песках Каракумов действовали сорок две шайки, мелких и крупных, почти все закордонные выкормыши. Они терроризировали скотоводов, обкладывали их налогами, все чаще и чаще совершали бандитские вылазки в оазисы, нападали на аулы, грабили колхозы, кооперативы, убивали партийных и советских работников, сельских активистов.

Центральный Комитет Коммунистической партии (большевиков) Туркменистана бросил свои лучшие силы на борьбу с басмачеством. На дальние кочевья и колодцы выехали многие работники республиканских и окружных организаций, повсюду создавались отряды краснопалочников и добровольческие отряды из коммунистов, комсомольцев, активистов, были арестованы, обезврежены наиболее рьяные пособники басмачей. В аулах и на кочевьях была развернута широкая агитационная работа, во вновь созданных кочевых подрайонах в ряды партии, комсомола потянулись скотоводческая беднота, чабаны-кочевники, вчерашние байские батраки. На дальних колодцах, теперь уже национализированных, скотоводы создавали животноводческие колхозы. Все это выбивало почву из-под ног наших классовых врагов, отчаянно пытавшихся повернуть колесо истории вспять — остановить шествие социализма в Средней Азии.

Историческая справка

Стерлигов, назначенный командиром вместо погибшего Сергея Щербакова, вышел с эскадроном из Куня-Ургенча, держа путь к урочищу Ярмамед, где намечалось встретиться с полусотней Таганова.

Ашир получил приказ двигаться по суходолу Узбоя, где на огромных просторах, от Сарыкамышской впадины до Балханского залива Каспия, разбросаны соленые и пресные озера, колодцы, к которым прибивались бай-

ские отары. Еще до своей гибели Аннамет сказал, что урочище Ярмамед должно стать базой басмаческих отрядов. Здесь же, прикрываясь Советской властью, орудовали Атда-бай и бывший председатель аулсовета Мами Курбанов.

Перед чекистскими отрядами была поставлена задача — ликвидировать басмаческую базу, навязать бой действовавшим в районе Ярмамеда бандам и принудить их к сдаче, в случае сопротивления — уничтожить.

На Ярмамеде отряд Таганова дожидалось пополнение — двадцать краснопалочников во главе с Атали Доврановым, который, выполнив задание по доставке из Ербента в Ашхабад секретного донесения, вновь пожелал поехать в пески, чтобы принять участие в боях с остатками басмаческих банд. Вместе с ним приехал и Григорий Колодин, которому командование за умелые действия в боях с басмачами присвоило звание младшего командира. Атали также привел с собой двенадцать студийцев, будущих артистов туркменского драматического театра, среди которых были и танцоры, и певцы, и агитаторы. Одним словом — «красную арбу», которая должна была доходчиво рассказать кочевникам о революции, о Советской власти, о земельно-водной реформе и национализации колодцев, показать спектакль «Феодал и батрак». Ведь среди кочевников были еще и такие, которые очень немного знали о Советской власти. А бывшим феодалам, духовенству, басмаческим предводителям это на руку: темных и забитых скотоводов обманывать легче.

Ашир Таганов и Игам Бегматов не подозревали, какой их ожидает сюрприз. Атали, как всегда веселый и жизнерадостный, доложил Таганову о новом пополнении, о «красной арбе», вручил пакет из ГПУ республики, привез много газет и книг, письма. Таганов, расспросив о матери, о сестренке Бостан, перебрал все письма и недоуменно спросил:

— И это все, что привез?

И Бегматов был явно обескуражен: и ему ни одного письма. Таганов, заподозрив, что Атали, охочий до всяческих шуток, разыгрывает их, спросил:

— Где еще письма? Тут не все...

Атали вел себя как-то странно, промолчал. Загадочно улыбнувшись, направился к ближней юрте, принадлежавшей Мерген-ага, и вышел оттуда сияющим. Таганов собрался было одернуть не в меру разыгравшегося зятя,



но, увидев, как из юрты Мерген-ага вышли две женщины в туркменских платьях из бордовой домотканой кетени, буквально опешил: навстречу шла Марина, следом — Герта.

Марина, радостная и счастливая, бросилась к мужу, а Герта, стройная, ладная, зарделась густой краской, подошла к Аширу, поздоровалась с ним за руку. Она что-то говорила, дважды повторив: «Товарищ командир, лекпом отряда Герта Шмидт явилась в ваше распоряжение». А он, явно смущенный, ничего не слыша и не соображая, думал лишь об одном: зачем прислали в отряд женщин, почему приехала именно Герта... Что из того, что она свояченица Ивана Розенфельда, занимавшего ответственный пост в ГПУ республики... Приезд Марины понять еще можно: тут Игам, ее муж. И все же... Вокруг басмаческие банды. Мало ли что может случиться. Почему все же Герта здесь? Угрюмые барханы и веселая, милая Герта... Скособочившаяся юрта в песках и чистенький кирпичный дом в городе, где она жила в семье своей сестры и ее мужа. Все это как-то не вязалось вместе.

Сжимая ее пальцы в своих загрубелых ладонях, Таганов видел перед собой смеющиеся глаза, ровный ряд влажных зубов, еще по-детски припухлые губы. Он не слышал, что она говорила, скорее догадывался, что Герта после окончания рабфака направлена в отряд фельдшером, а Марина будет учить грамоте кочевников, их детей, жен, принимать роды... Ашир в те минуты был настолько переполнен счастьем, что ему хотелось прыгать, плясать, кричать, ходить на голове или сесть на коня и ускакать в степь... Как всегда сдержанный, редко дающий волю своим чувствам, он огляделся по сторонам — вокруг десятки пар человеческих глаз: его подчиненные, чекисты, краснопалочники, актеры... Что подумают? Командир же он, не мальчишка. Таганов только так сильно хлопнул по плечу Игама, что тот от неожиданности присел.

Прибыл на Ярмамед и эскадрон Стерлигова. До его приезда Таганов разобрался с историей создания в урочище «байского колхоза». После смерти Атда-бая его сменили Мами Курбанов и байские сыновья, которые поддерживали тесную связь с Эшши-ханом, вновь появившимся в этих местах. Кулаки и баи, живущие в урочище, умело скрывали свои отары в песках, тайно поддерживали связи с басмачами и бежавшими к ним потом Мами Курбановым и байскими сыновьями. Пока

в урочище было мирно и спокойно, и местные батраки и середняки приглядывались к кизыл аскерам.

Командование сводного отряда, которое возглавил Стерлигов, конфисковало атдабаевский сарай и решило открыть там школу — днем обучать детей, а вечерами взрослых.

Эта весть мгновенно облетела урочище и соседние колодцы. «А какой мулла будет учить детей?» — спрашивали кочевники, привыкшие к тому, что детей обычно обучают духовники. И когда им сказали: учителем будет не мулла, а женщина, сбежались люди со всей округи, чтобы посмотреть на Марину. Ее разглядывали с любопытством, цокали языками: «А Атда-бай говорил — русские женщины нагими ходят...» Аульный мулла хихикал в бороду: «Какой из бабы учитель?! Не ищи у ишака бороды, у женщины — ум».

Рядом с рослыми и загорелыми Бегматовым и Тагановым она казалась маленькой, пышненькой, как белый пшеничный чурек, испеченный в тамдыре. На спину ее ниспадали тугие золотистые косы. Кизыл аскеры называли ее Мариной, а кочевники потом прозовут Мавыгозель — голубоглазая красавица — за ее небесного цвета глаза.

Два дня прождала Марина учеников. Но в школу никто не шел — ни дети, ни взрослые. Волновались все — и Таганов, и Бегматов, и Герта... Только один Стерлигов невозмутимо рассуждал:

— Пустая это затея. Не пойдут они учиться. На кой ляд им это?

Марина с Гертой сами пошли по юртам. Одни молча выслушивали Марину, восхищались ее чистым туркменским говором, другие отмалчивались или обещали подумать, третьи и на порог не пускали. Люди боялись басмачей, грозивших испепелить аул, если его люди вздумают жить по законам Советской власти.

Но вот в школе появился Мерген-ага. Из-за его спины украдкой выглядывала девушка.

— Это моя младшенькая, Акча, научи ее грамоте.

И Марина, сама не намного старше своей ученицы, стала обучать юную кочевницу азбуке, давать ей первые уроки политграмоты. За плечами молодой учительницы, дочери старого большевика, краскома, освобождавшего Туркмению от английских интервентов и белогвардейцев, была трудная жизнь: связная большевистского подполья в деникинском тылу, разведчица на За-

каспийском фронте, курсы красных учителей и акушеро-фельдшерская школа. Она, прожившая последние десять лет в Туркмении, хорошо знавшая туркменский язык, местные нравы и обычаи, теперь по путевке партийной ячейки приехала в это далекое кочевье, чем-то напоминавшее Марине Полтавщину, родину матери.

Весенние Каракумы, степь, пламеневшая маками и тюльпанами, белесые шлейфы кизячного дыма, висевшие над аулом, до чего ж все было похоже на степи Украины — тот же воздух, напоенный ароматом цветов, те же горьковатые запахи полыни, налетавшие теплыми волнами и до сладкой одури кружившие голову.

— А какие бывают украинцы? — спросила Акча, узнав, что мать у Марины украинка, а отец русский.

— Все равно что русские, — ответила Марина. — Например, как туркмены с узбеками, казахами — братья. Язык, обычаи, история и даже страдания общие... Так и русские с украинцами... Я вот считаю себя русской, а мой младший брат Степан — украинцем...

Акчу поразил отрешенный вид учительницы — в ее глазах стояли слезы.

— Ты плачешь? — Девушка погладила Марину по плечу.

— Да... Должно быть, он погиб. Говорят, брат попал в руки Эшши-хана... А тот, ты знаешь, никого не щадит...

Впечатлительная Акча как-то рассказала отцу о горе своей учительницы. Мерген-ага будто пропустил мимо ушей этот разговор дочери, с появлением в урочище кизыл аскеров Акча вся преобразилась; стала надевать в будничный день свои лучшие наряды, праздничные украшения, а вопросы, которые она задавала, порою ставили его, умудренного жизнью, в тупик. Круг интересов дочери, мир ее увлечений так расширился, что старый кочевник, от природы молчаливый и замкнутый, временами настороженно приглядывался к ней — в себе ли? Но злосчастье учительницы, к которой Мерген-ага тоже успел привязаться, тронуло его сердце, и одна мысль не давала ему покоя: «Где я мог раньше видеть эту русскую учительницу?» Это настолько взбудоражило его, что поделился с Акчой — та только плечами пожала, но когда Мерген-ага пришел к Марине, повел он себя очень странно.

— Ты, дочка, встань лицом ко мне... Теперь посмотри вправо... — Мерген-ага, будто, скульптор, готовив-

шийся лепить бюст Марины, внимательно разглядывал ее со всех сторон. — Скажи, дочка, твой братишка был такой же, русоволосый? Совсем мальчишка?

— Да, Мерген-ага... Ему было только семнадцать, — Марину душили слезы.

— Он был похож на тебя... Да? Как девушка... Ростом повыше тебя, так?.. Вот почему мне казалось, что я тебя где-то уже видел... Я поил твоего брата водой, — Мерген-ага прокашлялся от волнения, видно вновь переживая все виденное. — Но я не мог ему помочь...

На другой день Мерген-ага повез Марину вместе с частью отряда в урочище святого Абдурахмана, показал место, где похоронены красноармейцы, расстрелянные басмачами Эшши-хана. Девушки собрали букеты полевых цветов, положили их на братскую могилу, отделение кавалеристов отсалютовало троекратным залпом.

Вечером Акча спросила отца:

— Почему русских гибнет больше, отец?

— Кого больше на поле брани, тех больше и гибнет.

— Аул басмачей боится, а красноармейцев нет, почему?

— Красноармейцы, будь они русские или туркмены, — дети Советской власти, бедняцкие сыны. С чего ж нам, беднякам, своих бояться?

И Мерген-ага удивился своей разговорчивости. Раньше — это было давно, когда в этих местах властвовали нукеры Джунаид-хана, — старый кочевник восхищался мужеством и дерзостью басмаческого предводителя. Но разве есть доблесть в том, когда сильный угнетает слабого, а вооруженный расстреливает безоружного...

И перед глазами старого кочевника встали кизыл аскеры, которых на такыре истязал садист с шутовскими кошачьими усами... Ни стона, ни мольбы, только наполненные гневом глаза... Ради чего эти люди принимали мученическую смерть? Ради богатства? Ради славы?.. Видно, слишком глубока у них вера в свою правоту, в свое дело, что могли, не раздумывая, пожертвовать самым дорогим — своими жизнями. А ведь им жить и жить...

Вскоре Мерген-ага сам пришел в школу, подсел к дочери. Взяв в руки карандаш, послюнявил его, и, глядя на черную доску, стал выводить негнущимися пальцами: «Мы не рабы. Рабы не мы». То ли ему хотелось делать все наперекор всадникам Эшши-хана, то ли захватывали рассказы учительницы, кизыл аскеров об

Украине, Москве, о далеких заснеженных краях, откуда был родом самый главный большевик — Ленин. Владимир Ильич, то есть Илья оглы — сын Ильи. А может, потому, что Мавыгозель, так похожая на своего погибшего брата, очень тяжело переживала и ему, старому Мергену, своим появлением в школе хотелось по-отечески успокоить учительницу.

Люди кочевья последовали примеру Мерген-ага, потянулись в школу, чтобы учиться, — старики, дети, женщины. Все с нетерпением ожидали также, когда же по селу пройдет студийный джарчи-глашатай, чтобы поскорее собраться на просторном мейдане, где артисты уже расставили бесхитростные декорации, и увидеть на сцене и себя, свою нелегкую жизнь, и алчных жестоких скаредных баев.

Уже почти месяц находился на Ярмамеде чекистский отряд с «красной арбой». За это время кочевники узнали то, о чем не ведали всю свою жизнь: одолели азбуку, научились читать по слогам, даже расписываться. Они избрали аулсовет — его председательство доверили старому Мергену, организовали кооператив, построили новую школу. Двое студийцев пожелали насовсем остаться здесь, чтобы учить грамоте детей.

А жизнь шла своим чередом... Сводный чекистский отряд совершал ближние и дальние рейды по пустыне — то неожиданно нападал на банды, навязывая им быстротечный бой, то выполнял роль заслона, сковывая закордонные бандитские группы, не давая им возможности прорваться в глубь Каракумов, в оазисы Ташаузского округа.

Иногда из Ербента или Джебела прилетал самолет, доставлял почту, оперативные сводки, вводившие командование отряда в курс боевых операций, проводившихся в различных районах республики. Судя по всему, басмачи, получив щедрую помощь из-за границы деньгами, оружием, обмундированием, вновь активизировали свою разбойничью деятельность в оазисах. Это чувствовалось в районе Ярмамеда, так как участились стычки с басмаческими группами.

В отряде появились первые тяжелораненые, для которых соорудили просторную мазанку по соседству с юртой Мерген-ага. Теперь за ранеными ухаживали не только Герта и Марина, но Акча и Набат, ходившая на сносях.

Таганов распорядился отрыть траншеи, чтобы со-

единить ближайший колодец с лазаретом и командирской землянкой, в которой он жил вместе со Стерлиговым. «И зачем вам это нужно, Таганов?» — посмеивался Стерлигов. «Не помешает», — в тон ему отвечал Таганов и повторял любимую стерлиговскую поговорку: «Береженого бог бережет».

Временами Таганова охватывало смутное чувство тревоги: почему Эшши-хан, всегда дерзкий и агрессивный, теперь избегал встреч с его отрядом? Правда, по кочевьям прошел слух, будто Эшши-хан со своими людьми ушел в район Кизыл-Арвата и собирается активно действовать в округе этой узловой железнодорожной станции. Таганов не верил тому: как хищник сторонится человеческого жилья, так и Эшши-хан должен избегать Кизыл-Арвата, где железнодорожные рабочие уже не раз давали отпор басмаческим бандитам. Неспроста вел себя так курбаши, видать, замыслил какую-то пакость.

Однажды в полночь лагерь проснулся от выстрелов. Таганов прислушался — стреляли из охотничьего хырли, старинного туркменского ружья. Выстрелы раздавались не за постами, выставленными для охраны лагеря на подступах к урочищу, а где-то совсем рядом.

Аждар, умный и чуткий волкодав, так и увязавшийся за Тагановым еще с самого Ильялы, вел себя спокойно, обычно он злобно облаивал басмачей, чуя их издалека. На этот раз он мирно подремывал неподалеку от коновязи, охраняя командирских коней. Только Стерлигов, вскочив с постели, в нижнем белье, сунув сапоги на босу ногу, выбежал из землянки, абсолютно не реагируя на оклики Таганова, и не своим голосом завопил:

— Дежурный! Ко мне!.. Тревога! Отряд — в ружье!

Таганов, видя строившийся отряд, почему-то бросился к землянке Бегматовых и, чуть не столкнувшись с Мариной в дверях, заторопил ее, привел к юрте Мерген-ага. Вскоре появилась с чемоданчиком и Герта.

Из-за войлочных стен раздавались вздохи, стенания, прерываемые изредка душераздирающим криком. Это мучилась Набат, которая не могла разрешиться ребенком. И выстрелы из дедовского ружья были связаны с ней. При родах, чтобы облегчить страдания роженицы и уберечь новорожденного от чар злого духа, носящего страшное имя Ал, туркмены стреляют из ружья.

Марина с Гертой решительно шагнули в юрту и в полутусклом мерцании лампады увидели Набат, подвешенную к верхней части решетчатой стенки юрты; на полу сидела древняя бабка-знахарка, страшная, с непокрытой седой головой, брызгая слюной, она шептала заговор от злого духа. Измученная роженица, уже обессилев, перестала стонать, лишь судорожно вздрагивала от нечеловеческих болей.

— Вы что, ее казнить собрались? — Марина подошла к Набат, развязала на ней веревки. — Ей покой нужен, помочь ей надо.

— Так легче плод выйдет, — знахарка зло сверкнула глазами. — Я сама так рожала. Все туркменки так рожают...

— Потому так много и гибнет. — Марина обшарила юрту глазами — где бы положить роженицу, потерявшую сознание. Вокруг ни кошмы, ни постели, на полу рассыпан барханный песок — на нем обычно туркменки рожают детей.

Герта сбегала в лазарет, принесла несколько простыней, положила полотенце и стала помогать Марине. Знахарка тут же засобиралась, что-то сердито бормоча себе под нос о тяжелых временах, о скором конце мира, о том, дескать, что если мать не умрет, то ребенок непременно пойдет характером в одну из этих рыжеволосых русских. Во дворе она пожаловалась топтавшемуся у дверей Мерген-ага, но тот пожал плечами, мол, все, что связано с родами, — епархия чисто бабья и ему, мужчине, тем более отцу роженицы, непристойно ввязываться в эту историю. Видать, старик кочевник был не против, чтобы роды приняли русские докторши. Кто знает, как обернутся они для дочери... Не погибнет ли она, как ее мать, когда рожала Акчу... А ведь повивальная бабка-знахарка все та же, только тогда годами она была помоложе. Да и как без нее обойдешься — одна на всю округу.

Таганов и Бегматов тоже подошли к юрте Мерген-ага. Дожидаясь исхода родов, беседовали со стариком, стараясь отвлечь его от того, что происходило внутри жилья кочевника. Вскоре появился и Стерлигов, молчаливый, сумрачный, видимо, понял, что с перепугу напрасно объявил тревогу и поставил себя перед личным составом в неловкое положение. Но Таганов и Бегматов, чтобы не компрометировать командира отряда, объявили тревогу учебной и тут же дали отбой.

Вскоре за стеной раздался плач ребенка. В дверь юрты выглянула Герта, судя по голосу, она улыбалась. Ашир не видел в темноте ее лица, но зримо представлял смеющиеся лучиками иссиня-голубые глаза, чуть влажные зубы и светлую челку, выбившуюся прядкой из-под белой косынки.

— Поздравляю вас, Мерген-ага, с внуком, — Герта засмеялась счастливым смехом. — И Набат пришла в себя, — обращаясь уже к Аширу, попросила: — Нам сейчас теплой воды надо...

Когда ребенок был обмыт, а мать, ухоженная, одетая в чистое белье Марины, уложена в постель, к юрте подошли три туркменки.

— Позвольте нам зайти в юрту, — обратились они к Таганову, — роженице помочь и наши национальные обычаи соблюсти.

Таганов согласно кивнул им, а Марине и Герте посоветовал:

— Идите отдыхать. Теперь ни матери, ни ребенку никто ничего худого не сделает... Так надо. Спасибо вам! Спокойной ночи!

Туркменки торопливо прошли в юрту и, оглядев ребенка, поплевали в сторону, чтобы никто не сглазил, тут же дали ему временное имя — не приведи аллах, еще может стать идиотом, если не соблюсти эту традицию! Затем женщины принялись давать советы молодой матери:

— Скорее дай грудь малышу... Злой дух Ал не дремлет... Смотри, он уже витает над дымоходом и строит рожи безвинному младенцу...

По туркменскому поверью Ал — вездесущий оборотень, который может принять образ женщины с сорока грудями и непременно норовящий сунуть одну из них в рот ребенка. Непоправимое горе ждет мать, если ее опередит Ал и губы ребенка коснутся груди злого духа, а не материнской. В грудях Ала заключены все пороки мира — ребенок, вкусивший его порочного молока, может вырасти либо трусом, либо дурачком, либо предателем... Не приведи аллах! Убереги, всемилостивый, младенца от злого оборотня!..

Но и этим не кончаются обряды, связанные с рождением ребенка в туркменской семье. В первый же день его обряжают в одежду почитаемого в округе человека: если хотят, чтобы ребенок стал богатым, то просят рубаху у бая, если умным — у аульного мудреца, если

способным к продолжению рода, то у многосемейного аульчанина. В течение первых семи дней ребенок должен получить свое настоящее имя. В честь этого в дом приходят все — соседи, знакомые, друзья, родственники, словом — весь аул. Едут даже из соседних селений, у каждого с собой угощение, гостинцы — кто несет свежеиспеченные чуреки или сладости, а кто ведет на поводу и козленка...

Наречение имени — поистине волшебство, целый мир условностей. Женщина, к примеру, долгое время не имела детей. К кому только она не обращалась с мольбой, что только не делала: совершала паломничество к могиле «святого», приносила в жертву барана или козленка... Но аллах не внимал ей, не посылал ребенка. Наконец она сходила к ишану — главе мусульманской общины и через него попросила аллаха о совершении чуда. И если, случаем, ребенок появился на свет после посещения высокого духовного лица, то благодарная женщина к имени Нияз — «свершение желаний» прибавляет и слово «ишан», и ребенка отныне зовут Ишаннияз. Бывает, что рождение ребенка совпадает с приездом в аул какого-либо знатного человека — этого достаточно, чтобы его именем наречь ребенка. Или же родители обращаются к гостю и в знак особого к нему уважения просят его дать имя новорожденному. Поэтому зачастую дети бедняков носят не свойственные им пышные имена, принятые давать в богатых семьях. Ребенок, родившийся, например, в семье охотника, может получить полное имя от слов «клыч», что значит «клинок» и «мерген» — «меткий стрелок», то есть Клычмерген, что означает «клинок меткого стрелка». На теле иных детей бывает много родинок. Это тоже причина, чтобы назвать мальчика или девочку Халлы — «с родинкой». Чаще всего такими именами нарекают девочек.

Удивительно поэтичны женские имена, которым может позавидовать любая европейская красавица. Имена Гульджемал — «цветок красоты», Гульнабат — «цветок сахарного кристалла», Кизылгуль — «красный цветок», Аннагуль — «цветок, распустившийся в пятницу», Багтыгуль — «цветок счастья» и многие другие говорят о том, что у туркмен женщину испокон веку почитают как мать, жену, сестру, хранительницу семейного очага, человека, украшающего землю, доставляющего всем счастье и радость.

Поводом при наречении ребенка часто служит и какое-то событие — будь то праздник, явление природы или один из дней недели. К примеру, пятница, особо почитаемая у туркмен, тогда ребенка непременно назовут Аннагельды или Джумагельды, то есть «родившийся в пятницу». Если малыш появился на свет в праздники, то к его имени непременно приставляется слово «байрам» — отсюда Байрамгельды. Или же вдруг пошел снег, и пустыня, белая и безмолвная, засияла необычным светом — «нурягды», то есть «излучающий свет» или «родившийся в лучах света». Значит, и ребенка назовут Нурягды.

Старый Мерген так и решил назвать своего внука — Нурягды. Иным это было в диковинку — ведь родился малыш в летнюю пору, и тогда не то чтобы снег или хоть дождь шел, но и серого облачка на небе не было. Но Мерген-ага придавал этому особый, глубокий смысл. Рождение его внука совпало с великим событием в Каракумах — приходом в далекий аул новых, необычных людей, представителей Страны Советов, молодой Туркменской республики. Они принесли в глухое кочевье свет новой, справедливой жизни, в лучезарном сиянии которой и родился маленький Нурягды.

...Раскаленным солнцем плавился в пустынном небе август. Над урочищем, вспугнув коней и верблюдов, закружил аэроплан, сбросил вымпел и, помахав крыльями, взял курс на восток.

Сводный отряд получил приказ — выделить из своего состава эскадрон и направить его к колодцу «Старый дервиш», на помощь пограничникам и кавалерийскому полку, вступившим в бой с крупным объединенным басмаческим отрядом Ахмед-бека и Дурды Мурта. В командование вступил Ашир Таганов, а Стерлигов и Бегматов остались на Ярмамеде.

Таганов пополнил свою полусотню обстрелянными, опытными кавалеристами, а Стерлигову, помимо его боевого полуэскадрона, были еще приданы десятка три краснопалочников, а также следопыт Шаммы Белет, десяток раненых, среди них — Халлы Меле, Атали Довранов. Для ухода за ранеными оставались Марина и Герта.

В ночь перед выступлением в поход Стерлигов неожиданно предложил Таганову:

— Оставьте-ка мне моих эскадронцев, а сами забирайте этих самых краснопалочников... Вы, как я вижу, батенька, хитрец!

— Да, но мы же все решили вместе, — возразил Бегматов. — Таганову предстоит трудный марш, может быть, и тяжелые бои. Их могут выдержать только испытанные бойцы. Потом, мы не вправе посылать краснопалочников в такой поход. Тем более таков приказ командования.

— Чем вас не устраивают краснопалочники? — спросил Ашир.

— Признаться откровенно, надежда плохая на этих самых... — Стерлигов спохватился, что брякнул лишнее, хотя сказал, что думал, и теперь пытался как-то сгладить свою оплошность. — Да на всех. Вы, батенька, не думали, почему их называют краснопалочниками и почему им не доверяют оружия? Иль вы и впрямь думаете, что у Советской власти винтовки перевелись?

— Но наши-то краснопалочники вооружены. Как мы с вами... И боевые задания выполняют не хуже красноармейцев. Мы им во всем доверяем.

— То мы с вами, — многозначительно протянул Стерлигов. — А Советская власть — нет...

— Разве мы с вами не Советская власть?! Советская власть, именем которой мы устанавливаем в Каракумах справедливость, это же вы, это Бегматов, это Шаммы Белет, Халлы Меле, Атали Довранов...

— Вот, вот!.. Этим шаммы, этим халлы, атали ни на грош не верю! У Шаммы Белета родной племянник Черкез в германской разведке служит, Халлы Меле Джунаид-хану присягал, с его сыном был заодно, Довранов, ваш зятечек, пардон, одного поля ягодка. Да я бы их...

— Вы забыли еще сказать, — губы у Ашира чуть вздрогнули, — что Черкез приходится мужем моей сестры Джемал, тоже завербованной германской разведкой... Вы могли бы припомнить, что и отец мой, который командовал красным эскадроном, когда-то тоже служил у Джунаид-хана. Доведись вам, товарищ Стерлигов, вы никому не поверите... Так и с басмачами некому будет воевать.

— Бодливой корове бог, к счастью, рог не дает, — Бегматов укоризненно взглянул на Стерлигова, а когда Таганов вышел, добавил: — Все, кому вы не верите,

доказали свою преданность нашему общему делу. А Таганова вы глубоко оскорбили! Недоверие в нашем деле — это тяжкое обвинение. Он коммунист, отец его погиб от рук джунаидовских наймитов. Я бы на вашем месте извинился перед Тагановым...

— Я пекусь о нас с вами, батенька, — Стерлигов заговорил деланно доверительным тоном. — Нам с вами тоже надо выполнять боевое задание. А с краснопалочниками много ли навоюешь? Гляди, зададут стрекача в первом же бою...

— С нами остается половина отряда. Все опытные бойцы. Краснопалочники тоже надежные ребята, отважные джигиты. А потом, насколько известно, отряд Эшши-хана, наш главный противник, насчитывает что-то около сотни сабель. И нас сотня, но какая! Таганову же крепкие бойцы нужнее. Ему потяжелее нашего придется... И вместо того, чтобы приободрить его, найти какие-то душевные слова, вы обидели его.

— Я понимаю вас, батенька, понимаю. Вы дружки, давние... Но я сказал, что думал. Извиняться перед человеком младше меня по возрасту и служебному положению? Нет, пардон! Таганов...

Комиссар, хорошо зная натуру Стерлигова, не стал продолжать бесплодный спор. Тот принадлежал к категории людей, которые признавали только тех, кто выше их стоял по служебной лестнице, а суждениями подчиненных интересовались лишь, когда они выражали только их взгляды. Трагедия стерлиговых — в их глубоком убеждении, что лишь должность, кресло определяют ум, талант человека. Угодливые и безропотные перед начальством, они могли поддакнуть, согласиться даже с заведомо ошибочным мнением, способным причинить ущерб делу. Но сейчас комиссара Игама Бегматова, как представителя ЦК КП(б) Туркменистана, беспокоило другое: что именно руководило Стерлиговым — недоверие к людям, идущее от каких-то очень недобрых чувств к ним, чувств, воспитанных в нем еще с детства, в чуждых социальных условиях, или это самая обычная трусость?

На рассвете провожали эскадрон Таганова. Ашир, озабоченный, с грустью в глазах, прощался с друзьями... Бегматову он сказал:

— Неспокойно у меня на сердце...

— Это от того, что Герту оставляешь, — пошутил Игам и, посерьезнев, добавил: — Все будет в порядке.

Ашир, мучительно раздумывая, как все-таки попрощаться с Гертой, какие слова ей сказать, что-то невпопад отвечал Бегматову, Марине, весело улыбавшимся над растерянностью друга. Неожиданно и кстати выручил Аждар, заскуливший на коновязи, видимо, почуял, что хозяин собрался оставить его. Таганов подошел к волкодаву, весело закружившемуся на месте, потрепал его по шее,. а сам не сводил глаз с Герты, державшей на поводу коня.

Чекисты, готовые двинуться в дорогу, ожидали своего командира. Бегматов, заметив замешательство Ашира, подозвал к себе вновь назначенного заместителя командира эскадрона и приказал ему вести подразделение по направлению колодца «Старый дервиш».

— Весь век Аширу ходить в холостяках, если будет так робеть перед девушками, — шутливо заметила Марина и, вздохнув, потрепала мужа по щеке. — Чего не скажешь о тебе, мой дорогой...

— Чего не скажешь об Ашире, когда он в деле, — ответил ей в тон Бегматов и, издали приветственно помахав другу рукой, направился с Мариной к своей землянке.

Герта, ведя на поводу иноходца, подошла к Аширу.

— Может, уже хватит прощаться с собакой...

Ашир смущенно улыбнулся, взял у Герты конские поводья, и они медленно пошли по такыру, вслед за эскадроном.

Сколько времени они шли?. Может быть, минуту, десять, полчаса... Ашир всем своим существом ощущал девушку — иногда ее волосы касались его плеча, и он чувствовал, как громко колотилось сердце... Но не мог понять — ее или свое?.. Герта вся светилась каким-то необычным сиянием — то ли от первых солнечных лучей, заскользивших по ее льняным волосам, то ли от света, излучавшегося из ее небесно-голубых глаз.

Ашир свободной рукой обнял девушку и замер, испугавшись своей смелости. Но Герта прижалась к его плечу, и он, задыхаясь от волнения, чувствуя, как забились молоточки в висках, нашел ее губы, и они — теплые, податливые, пьяняще пахнущие степью — ответили ему. Охмеленный близостью Герты, он целовал ее глаза, щеки, волосы, шею, не веря себе, не веря тому, что происходило на самом деле. Сон это иль явь?.. Они опомнились одновременно, оглянулись по сторонам — вокруг ни души, урочище осталось позади, за барханами. Та-

ганов только теперь понял, что вся его обеспокоенность оказалась тревогой за Герту... А что, если взять, посадить на коня и увезти с собой? Найдется же ей дело в эскадроне... А что, подумают товарищи?.. Что скажут?.. Первым начнет Стерлигов... Нет, нет! Ведь Герта не жена ему, чтобы вот так взять и увезти. Да если бы и жена... Дисциплина есть дисциплина!..

Они снова стали прощаться... Ашир всякий раз говорил Герте: «Все!», снимал с себя ее тонкие руки, подходил к коню, но вновь возвращался, не в силах оторваться от ее губ, хрупких плеч. Ему казалось, что оставляя Герту, будто предает девичью доверчивость, ее любовь. Но надо спешить, догонять эскадрон, и он наконец вскочил в седло и, пришпорив застоявшегося иноходца, поскакал по дороге, туда, где у горизонта крохотной точкой виднелись кавалеристы.

В рейд по ближним колодцам с оставшимися красноармейцами и краснопалочниками отправился и Стерлигов. Опустело урочище, не играл по утрам побудку отрядный горнист, не стало слышно звонких военных команд, не проносились вихрем по такыру резвые скакуны, издавая дробный цокот копыт.

На Ярмамеде остались лишь раненые, три караульных красноармейца и Бегматов с Мариной. Комиссар с высокой температурой лежал в постели — его била тропическая лихорадка. Собираясь в рейд, он пытался скрыть от всех свое состояние, уговорил жену, но едва отряд тронулся в путь, как Бегматов, потеряв сознание, свалился с коня. Вернулась с ним и Марина, взявшая на себя уход за ранеными. С отрядом отправилась Герта.

В часы, когда Бегматов приходил в себя, он с тревогой думал об отряде Стерлигова... Теперь понятно, почему на такую серьезную операцию командование послало Таганова, а не Стерлигова. Комиссар считал часы, когда вернется из песков отряд Стерлигова.

Шел четвертый день — отряд ожидали к полудню.

Солнце клонилось к закату. Марина засиделась в доме Мерген-ага, где приглядывала за сыном Набат, училась национальному шитью у Акчи, искусной рукодельницы. Мерген-ага с забинтованными руками сидел на завалинке у юрты. В последнее время старика донимали чирьи, глубокими нарывами поразившие почти все пальцы.

Вдруг из-за бархана раздался выстрел, небо бледно прочертила красная ракета. Марина сжалась в комо-

чек — басмачи! Вскоре это подтвердил и прискакавший караульный, выставленный на подступах к урочищу.

Бегматов, услышав выстрел, объявил тревогу и, еле держась на ногах от слабости, бросился с тремя красноармейцами к складу, где хранились оружие и боеприпасы. На ходу он крикнул Марине, чтобы та не выходила из юрты Мерген-ага. Едва Бегматов и бойцы заняли оборону, как к ним по траншее добрались отрядный санитар с четырьмя ранеными, способными держать в руках оружие. Среди них — Халлы Меле и Атали Довранов. Другие шестеро раненых, оставшихся в лазарете, были в таком состоянии, что не могли передвигаться без посторонней помощи.

Бегматов с приходом подкрепления, пусть незначительного, но когда дорог каждый человек, воспрял духом и расположил бойцов так, что они в любое время могли занять круговую оборону. Пока же залегли цепочкой, всматриваясь туда, откуда должна была появиться банда.

Вокруг было тихо. Куда-то исчезли неугомонные козлы, обычно взапуски носившиеся по такыру. Притих, будто вымер, аул — женщины, дети, старики забились в юрты, в овечьи агылы — загоны. А мужчины еще с весны, после окота и стрижки, выпасали отары на отгонных пастбищах.

Вот вдали показались всадники, все ближе и ближе... Бегматов без бинокля видел их папахи, искаженные злобой лица... Но враг не бросился сразу в атаку. Басмачи спешились, рассредоточились редкими шеренгами и, оцепив аул в полукольцо, стали короткими перебежками приближаться к траншее оборонявшихся. Комиссар быстро определил силы противника — в цепи наступало свыше семидесяти нукеров — выдвинулся со станковым пулеметом вперед и, едва сдерживая себя, чтобы преждевременно не нажать на гашетку, подумал: «По всем правилам наступают. Видна заморская выучка».

Едва Халлы Меле, лежавший рядом, вторым номером, успел шепнуть: «Стреляй, комиссар!», как над урочищем раздалось протяжное «Алл-а-а!..» и откуда-то сбоку, из-за барханов, на резвом пегом жеребце выскочил всадник с оголенной кривой саблей и, обогнав цепь наступающих, помчался к траншеям, увлекая за собой пеших нукеров. Это был Эшши-хан. Бегматов сразу его узнал, то ли по лисьей шапке, как у Джунаид-

хана, то ли по лихой посадке, то ли по бессильной ярости, с которой он бросился на пулемет, запевший свою смертоносную песню...

Комиссар, полоснув по цепи, перенес огонь ближе, но не успел поймать Эшши-хана в прорезь прицела, как у пегого жеребца подкосились ноги и седок кубарем скатился на землю. Проворно вскочив на ноги, он бросился вперед, но, увидев, что атака захлебнулась и нукеры побежали назад, тоже повернул обратно.

Басмачи предприняли еще одну атаку, оставили на такыре семь убитых и отступили за барханы. У чекистов тоже имелись потери: двое убитых и один тяжелораненый. Теперь их осталось в строю только шестеро, в десять с лишним раз меньше, чем врагов.

Вечерело. А отряд Стерлигова все не появлялся. Басмачи взяли урочище в тесное кольцо, стараясь не обстреливать склад с оружием и боеприпасами, наверняка рассчитывая захватить его целым.

Ночью, когда вокруг аула загорелись басмаческие костры, Бегматов обошел лагерь, помог Марине перевязать раненых, накормить их. Он увел в укрытие коней, отвязал Аждара, осмотрел деревянные чаны с запасами воды, уже кое-где пробитые пулями. Худо придется, если басмачи догадаются изрешетить оба чана. А до колодцев без риска не добраться... И он решил отправить за помощью к колодцу «Старый дервиш» Атали Довранова. Конечно, к Ярмамеду должен быть ближе Стерлигов, но раз вовремя не вернулся, значит, с ним что-то произошло или он почему-либо изменил свой маршрут. Хоть до «Старого дервиша» далековато, но помощь может подоспеть только оттуда, а до ее прихода маленькому гарнизону предстояло держаться любой ценой.

Бегматов уговорил Марину возвратиться в юрту старого Мергена, заметив, что басмачи не обстреливают юрты аульчан, а самому кочевнику комиссар запретил появляться в лагере. Басмачи, захватив урочище, могли жестоко покарать старика и его дочерей.

Поздней ночью один за другим стали тухнуть костры вокруг аула. Басмачи укладывались спать. Атали Довранов отобрал двух лучших лошадей, обмотал их копыта тряпками, бесшумно подъехал к расположению басмачей, а когда до их сторожевого поста оставались считанные метры, он пришпорил коня и благополучно

проскочил, так быстро и неожиданно, что враги не успели даже прицельно выстрелить.

На рассвете Бегматов очень коротко побеседовал с оставшимися защитниками маленького гарнизона. Из лазарета притащился еще один раненый, перебинтованный с ног до головы, едва державший винтовку в руках. Теперь их снова было шестеро, из них два коммуниста, три комсомольца, один беспартийный. Все единогласно решили: «Стоять насмерть! Биться с врагом до последнего патрона, до последнего дыхания!»

За ночь враги убрали своих убитых, кое-где виднелись свежевырытые окопы, а рядом с трупом эшшиханского жеребца появились три убитых верблюда. За ними с пулеметом и винчестерами залегли несколько басмачей и стали обстреливать траншею чекистов, чаны с водой. Стрельба велась и из окопов, и с ближних барханов. Огонь был настолько прицельным и интенсивным, что невозможно было поднять головы. Красноармейцам приходилось часто менять позиции, чтобы рассеять внимание противника и создать у него ложное представление о силах защитников гарнизона. Перестрелка велась до самого вечера, а когда стемнело, над такыром раздался голос Эшши-хана:

— Эй, узбек! Сдавайся! На что надеешься? На аллаха? Большевикам он не помогает!.. Вас мало, воды нет. К колодцам мы вас не подпустим. Завтра мы уничтожим твой пулемет, а потом вас всех. Сдавайтесь!

Бегматов наугад сделал одинокий выстрел в темноту — ответили пулеметной очередью. Положение чекистов было незавидное. Они могли еще продержаться день-другой. Но почему басмачи не атакуют на конях? Тогда их вовсе не сдержать. Видимо, есть какие-то причины. Они могут так поступить завтра, когда выведут из строя бегматовский пулемет. Из шестерых защитников погибли еще двое... Чаны изрешечены, вода вся вытекла... Чем поить коней? Вода оставалась только во флягах... Не подберешься и к продуктовому складу — весь как на ладони, все подступы к нему простреливались. Но вода была нужнее.

Защитники лагеря держались геройски. Они отбивались еще день, и еще... Их пулемет не подпускал врагов. Теперь все оставшиеся в живых собрались вокруг Бегматова, «максим», не умолкавший ни днем, ни ночью, стал их единственной надеждой на спасение. Чекисты, обессиленные от усталости, без сна, голодные, еле дер-

жались на ногах. Бегматов был непохож на себя — оброс, с синими кругами под глазами, с большим, заострившимся носом на осунувшемся лице. Хотелось пить...

В ту ночь Халлы Меле попытался подползти к колодцу; но на его подступах басмачи выставили охрану, которая, едва заметив малейшее движение, открывала бешеный огонь. Не удалось набрать воды и на зорьке — басмачи не дремали, они и на ночь оцепляли чекистский лагерь, преграждая путь к аулу. Хорошо, что Марина перестала прибегать вечерами.

Солнце еще не взошло, но в воздухе парило уже с самого раннего утра. День обещал быть жарким и душным — рваные, белесые клочья облаков низко нависли над барханами. Халлы Меле, оглядев небосвод, удрученно покачал головой — сейчас проглянет дневное светило, и облака, обманчиво кажущиеся дождевыми, растают, нагнав лишь духоту и непривычную для пустыни влажность — то ли сказывалась близость Каспия, то ли испарялся древний Узбой, некогда полноводная, могучая река, которая, говорят, ушла под барханы и теперь разлилась под ними пресноводным морем.

С гибелью отрядного санитара уход за ранеными, обеспечение лагеря водой Бегматов возложил на Халлы Меле, исполнявшего также и обязанности второго пулеметчика. Чекисты, не испытывавшие недостатка в оружии, собрали еще один станковый пулемет, из которого, помимо комиссара, умел стрелять только Халлы Меле. Ведя огонь из «максима», Халлы Меле сквозь стрельбу слышал позади себя стоны, доносившиеся из лазарета, где от жажды умирали раненые. Ржали непоенные кони, жалобно скулил Аждар, лишь верблюды молча жевали свою жвачку, презрительно оглядывая все происходящее вокруг.

Вода в лагере кончилась еще днем накануне. Последние ее остатки во флягах чекисты вылили в кожухи пулеметов, дымившиеся раскаленными стволами. Если замолкнут пулеметы, то все... Пулемет Бегматова иногда умолкал, комиссар временами терял сознание. Воды!.. Капля воды стоила жизни.

Халлы Меле, заметив, что у ближнего колодца басмачи на день сняли охрану, молча собрал у всех пустые фляги, пристегнул их к ремню и, пройдя по траншее, выбрался наружу и большой ящерицей заскользил по раскаленному такыру под жгучим, слепящим солнцем. Бегматов и его товарищи, затаив дыхание, следили за

Халлы Меле. Вот он подобрался к низкому срубу колодца, который теперь защищал его, сел на корточки, нанизал фляги на конец веревки, опустил вниз, подождал и стал выбирать веревку, фляги — мокрые, полные родниковой воды — наконец в его руках, и Халлы Меле пополз обратно. Казалось, прошла целая вечность. Халлы Меле был виден как на ладони, но басмачи почему-то не стреляли...

Бегматов, следивший за каждым движением Халлы Меле, именно сейчас заметил, что у того выцветшая от солнца гимнастерка, драная в локтях, старые, стоптанные сапоги и новые бриджи из английского сукна, простреленные в нескольких местах. Вернется живым, подумал Бегматов, распоряжусь выдать ему новые сапоги и новую гимнастерку...

Халлы Меле, еще не добравшись до траншеи, издали бросил фляги ожидавшим и сам торопливо пополз, свалившись в окоп, прямо на руки товарищей. Половину воды слили в ведро — для пулеметов, остальную раздали раненым, по нескольку глотков хватило и самим. Вода только раздразнила мучимых жаждой людей. Тут же крутился между ног Аждар и, беспрестанно облизывая большим языком сухие, обветренные губы, заглядывал людям в лицо жалобными человеческими глазами.

Халлы Меле снова собрался за водой, захватив с собой фляг в два раза больше. Он благополучно добрался до колодца и, наполнив фляги, пополз назад. И когда до спасительной траншеи оставались считанные метры, раздалась дробь басмаческого пулемета — Халлы Меле как-то неестественно дернулся раз, другой, будто такыр нестерпимо обжигал его. Он собрался было подняться, но, обессилев, замер, держа в вытянутых руках мокрые фляги, которые будто протягивал изнывавшим от жажды товарищам. Пулеметная очередь прошила его всего, с головы до пят, пробила она и фляги. Теперь кровь, хлеставшая из головы, стекала в один ручеек с водой, выливавшейся из пробитых фляг. Бегматов вне себя открыл по врагу огонь и стрелял до тех пор, пока вновь не потерял сознание.

Когда комиссар пришел в себя, все было кончено. Басмачи, воспользовавшись тем, что пулемет на миг умолк, бросились в атаку и смяли оставшихся в живых, обессиленных защитников лагеря.

Бегматов услышал над собой голос Эшши-хана:

— Балбесы! Я сколько твердил — живьем брать всех. А вы тем двоим кишки выпустили. Эй! Комиссара тащите к юрте Мергена!

Игам чувствовал, как его грубо подхватили под мышки и поволокли, словно куль муки — он снова потерял сознание.

— Эй, приведите в себя этого... — Эшши-хан грубо выругался, рассмеялся. — Он мне нужен живым... Таким трофеем, живым комиссаром, я думаю, за кордоном будут довольны. Ха-ха-ха...

Кто-то вылил на Бегматова ведро колодезной воды. Теперь, очнувшись, он хорошо видел, как к Эшши-хану подъехал всадник с кошачьими усами — это был Джапар Хороз — и что-то прошептал тому на ухо.

— Где русская учительница? — Эшши-хан повернулся к Мерген-ага, загородившему собой двери юрты.

— Зачем вам беззащитная женщина? Оставьте ее в покое.

— Она большевичка! Пусть выйдет!

— Она моя гостья.

Басмачи загоготали. Кто-то стрельнул в воздух.

Марина, Акча и Набат, думая, что басмачи застрелили Мерген-ага, выскочили из юрты. Марина — первой, в расшитом красном платье, с непокрытой головой.

— А она, русоволосая, и вправду красивая! — Эшши-хан нетерпеливо шлепал плетью по сапогам. — Пусть мои джигиты потешатся...

Бегматов встал и заплетающимся шагом направился в сторону Марины, но двое басмачей набросились на него, повалили на землю.

— Не дам. — Мерген-ага встал между Мариной и басмачами. — Опомнитесь! Лучше отрежьте мне бороду — нет для туркмена горше позора. Мало — голову снимите. Или вы не туркмены?!

— Ты нам зубы не заговаривай! И твою голову с козлиной бородой мы отрубим и без твоего согласия, — глаза Эшши-хана налились кровью. Свистнула плеть — на землю шлепнулась мохнатая папаха, свистнула второй раз — и на бритой голове старика появилась вмятина, на глазах она вздулась бледной полосой, засочившейся кровью.

— Лучше мою дочь возьмите! — крикнул в отчаянии Мерген-ага.

— А мы и не спросимся у тебя, борода! — Эшши-хан сидел на коне, подбоченясь...

Неожиданно послышался шакалий вой — басмаческий сигнал опасности. Бандиты разом кинулись к коням.

Вороной Эшши-хана кружился волчком. В его руках блеснул маузер. Откуда-то выскочил Аждар и с хриплым лаем бросился к коню, пытаясь вцепиться в ногу всадника. Конь испуганно метнулся в сторону. Эшши-хан выстрелил не целясь. На белой рубашке старика, у самого плеча, словно прожженная угольком, зачернела маленькая точка. Мерген-ага, не спуская глаз с удалявшегося басмаческого предводителя, медленно оседал.

— Я только ранен, — прошептал аксакал подбежавшим женщинам. — Бегматову помогите...

За ближним барханом завиднелись островерхие шлемы конников. Первым, с оголенной шашкой, птицей летел Ашир Таганов. За ним вслед на взмыленных конях несся эскадрон.

* * *

Приезд в Ашхабад Ивана Васильевича Касьянова, теперь курировавшего деятельность ГПУ республики по борьбе с басмачеством, совпал с возвращением сводного отряда из Каракумов. Близился бесславный конец политического бандитизма, в республике завершались последние приготовления по его окончательному разгрому.

И прибытие Касьянова в Туркмению было отнюдь не случайным. Еще в Москве Иван Васильевич живо интересовался действиями отряда «Свободные туркмены», знал о многих его операциях, проведенных под руководством Ашира Таганова. «Что ж, добрый человек и толковый чекист, видать, получился из Ашира», — не без гордости думал Касьянов о своем воспитаннике.

И когда Ивану Васильевичу сказали, что вечером в клубе состоится разбор проведенных отрядом операций, он пожелал принять участие в нем. Собрание решили провести для того, чтобы каждый участник критически проанализировал свое поведение в походе, как помогал товарищу, командованию, все ли сделал для того, чтобы отряд успешно справился с поставленными перед ним задачами.

А говорить и подумать было о чем...

В тот памятный день эскадрон Таганова спас Бегма-

това, Марину, раненых красноармейцев от верной гибели, предотвратил разграбление складов с боеприпасами и имуществом отряда, а главное — не отдал на поругание кочевой аул, который басмачи собирались обобрать и сжечь...

А ведь так могло случиться, если бы Игам Бегматов положился только на Стерлигова, который должен был вернуться с отрядом на четвертый день, а возвратился в урочище лишь через две недели.

— Почему же так произошло? — председательствующий собрания, председатель республиканского ГПУ А. И. Горбунов обратился к залу, где собрались все участники похода на Ярмамед. — Кто хочет взять слово?

Все выжидательно молчали. Касьянов, сидевший в президиуме, по соседству с председательствующим и Чары Назаровым, обвел глазами ряды и остановился на отрядном следопыте Шаммы Белете, ходившем в рейд вместе со Стерлиговым.

— Может, Шаммы-ага что скажет?—Касьянов улыбнулся глазами.

— Хочу, — Шаммы Белет поднялся с места, поправил на голове расшитую тюбетейку. — Душа горит.

— Вы проходите на трибуну, чтобы все вас видели.

— Я лучше отсюда, — смутился Шаммы Белет. — Пока до трибуны дойду, забуду, что надумал сказать... Те семеро джигитов, которых потерял наш отряд, сегодня могли бы быть с нами... Я говорил командиру и еще повторю. — Шаммы Белет осуждающе взглянул в сторону Стерлигова. — Он вел себя очень... непонятно. К советам не прислушивался, а сам действовал неправильно... Отряд напал на след сотни Эшши-хана. Полтора дня шли по следу. Потом банда разбилась на две группы. Я говорю командиру, что басмачи какую-то хитрость затеяли, а он мне: «Глупости мелешь, старик!» Но я ему точно сказал, в какой группе Эшши-хан, — там, где было семьдесят басмачей. Я след Эшши-хана знаю, у него походка отцовская, джунаидовская. Ходит, как будто землю придавить хочет, больше пятками вдавливается, а через три-четыре шага правым носком песок загребает. У каждого человека свой след... Ну вот, — Шаммы Белет снова стрельнул глазами Стерлигова, тот заерзал на месте, — спрашиваю я командира: за какой группой пойдем? А он: «Будем преследовать малую группу!» Нам тоже следовало разделиться...

Зачем же упускать? Командир оборвал меня, дескать, ты — следопыт, занимайся своим делом, и объявил, что лучше сначала разгромить маленькую группу басмачей, а потом, мол, легче и с остальным справиться. Я все ж не утерпел и говорю — тогда уж лучше словить сначала Эшши-хана, иначе уйдет — ищи потом ветра в поле...

— Вы кое-что недоговариваете, товарищ Шаммы Белет! — Стерлигов, не утерпев, вскочил с места.

— Вы не перебивайте, — председательствующий поднял руку. — Мы дадим вам слово.

— Я все скажу, товарищ командир, — спокойно ответил Шаммы Белет. — Вот... Повстречался нам один чабан, прилизанный такой, руки холеные, как у нашего эскадронного писаря. Глаза бегают, а нашему командиру пришелся по душе. Потому, что говорил то, чего хотелось ему услышать. И этот самый... сказал, будто у той группы, которую мы преследуем, есть золото... Потому, мол, Эшши-хан разделил сотню, чтобы золото в руки красных не досталось. Не поверил я и командиру сказал о своих подозрениях: Эшши-хан не такой, умрет, а с золотом не расстанется... А командир и слушать меня не захотел. Почти до самого Куня-Ургенча дошли, а там басмачи рассыпались, как песок...

— У меня есть вопрос к товарищу Шаммы Белету, — не утерпел все-таки Стерлигов. — Скажите, пожалуйста...

— Василий Родионович, — перебил его председательствующий, — когда получите слово, тогда все и скажете. Хотите выступать?

— Нет, я пока выступать не буду. Послушаю.

Председательствующий вновь обратился к залу, и из первых рядов к трибуне прошел Григорий Колодин, исполнявший в походе обязанности заместителя командира отряда.

— Все, что здесь рассказал Шаммы-ага, сущая правда. — Колодин говорил, повернувшись лицом к президиуму. — Товарищ Стерлигов, скажу, грамотный человек. Не чета таким, как я, которые и в церковно-приходской школе не доучились. Но одной грамоты, скажу, в нашем революционном деле маловато. Нужна еще революционная сознательность, горение, человечность. А как вел себя товарищ Стерлигов? Скажу, срам один! Как удельный князек, что тебе каракумский хан, скажу...

— Вы, товарищ Колодин, не заговаривайтесь, — перебил Стерлигов. — Оскорблять не имеете права!

— Неужто правда — оскорбление? — Колодин повернулся лицом к залу. — Ваши поступки говорят о том, что вы, товарищ Стерлигов, скажу, человек несознательный... Быть грамотеем ума великого не требуется, а вот хорошим товарищем, настоящим командиром да еще и отцом для бойцов, строгим, справедливым, — это, скажу, вам не удалось. С Шаммы-ага, этим уважаемым человеком, вы обходились как с мальчишкой, помыкали будто денщиком. Вспомните, я ведь тоже предлагал разбить наш отряд на две группы и гнать басмачей без передыху. А вы, товарищ Стерлигов, все кочевряжились, дескать, давайте сначала золотом завладеем. А мне кажись, тут дело-то было совсем не в золоте. Сам товарищ Стерлигов, скажу, не очень верил, что у басмачей есть золото.

— Товарищ Горбунов, — перебил Стерлигов, обращаясь к председательствующему, — оградите, прошу вас, меня от подобных оскорблений. Мои революционные заслуги...

— Каждый вправе высказать свое мнение, — спокойно заметил председательствующий. — Наберитесь, пожалуйста, терпения, не перебивайте ораторов, — и, кивнув Колодину, добавил: — Продолжайте.

— Если б тогда товарищ Стерлигов, — продолжал Колодин, — разбил наш отряд на две группы, то Эшшихан не напал бы на Ярмамед... Скажу, положа руку на сердце... Тут и мы маху дали, не настояли на своем. Да и поздно поняли, что к чему. А разобрались — что после драки-то кулаками махать? Стерлигову же поперек слова не скажи. Скажешь, белый свет покажется не мил. В характере товарища Стерлигова, скажу, есть одна черта: никому не верит, кроме себя... Да ништо так можно? У Дахлы мы наскочили на басмаческое становище. Бандитов было человек тридцать-сорок. Завидели они нас — и деру, оставили впопыхах оружие, верблюдов, имущество... Мы в погоню, но командир запретил преследовать противника. За две недели мы ни с кем не вступили в бой, а товарищу Стерлигову хоть бы хны, лишь бы с врагом не встречаться. Неужто такой осторожный? И еще один факт перескажу. Басмачи, я уже говорил, в суматохе побросали много оружия. Я предлагал раздать его краснопалочникам — встречались нам в пути боевые ребята, видать, голь перекатная,

бедняки... К нам обращались два председателя аулсоветов, просили вооружить краснопалочников... Так командир отказал им. Вступился я за них, так он меня оборвал: «Не твоего ума дело!.. Не верю я этим чучмекам. Все они — басмачи». После, когда уже возвращались на Ярмамед, командир говорит мне: давай, мол, в рапорте командованию укажем, что оружие, дескать, в бою добыли...

Зал возмущенно загудел — председательствующий, призывая к порядку, зазвонил в колокольчик, затем о чем-то пошептался с сидевшим рядом Чары Назаровым и предоставил слово Герте.

— Наш поход я представляла, — заговорила Герта, заливаясь густой краской, — очень тяжелым и трудным. А он оказался чем-то вроде прогулки. Вот только, оказывается, во время этой прогулки лилась кровь наших товарищей. Все мы знали, что через четыре дня должны были вернуться на Ярмамед. Не хватило у нас настойчивости, чтобы убедить командира. Заставить его, наконец. Правда, в Красной Армии дисциплина, слово командира — закон... Мне трудно судить в военных вопросах и за две недели тоже трудно составить о человеке полное представление. Но то, что у товарища Стерлигова есть любимчики и нелюбимчики...

— Вам, товарищ лекпом, грешно на меня обижаться, — снова не утерпел Стерлигов.

— А я и не обижаюсь на вас, — мило улыбнулась Герта. — Кстати, командир не обходил меня вниманием, даже чрезмерным, что мне было просто неудобно порою... Мне обидно за тех, которые ни за что ни про что попали к вам в немилость. Вы ведь можете невзлюбить человека только за то, что к нему с уважением относится, например, Бегматов или Таганов. Или вы почему-то делили людей на своих и тагановских. Вы сами так порождали рознь в отряде. Но я знаю, что те, кого вы считаете своими, осуждают вас, но не могут набраться смелости сказать вам это в лицо... И потом мне не нравится ваша двойственность. Не мужская это черта! Людям в глаза вы говорите одно, а за глаза другое...

— Герта, вы скажите про нож, — подал из зала реплику рослый кавалерист со знаками отличия отделенного командира.

— Вот вы сами и скажите, — бросил из президиума Касьянов.

— И скажу. — Командир отделения вышел на три-

буну и, сильно окая, заговорил. — Ночью мы наткнулись на чабанский кош, подумали — басмачи, окружили. Хотели, как снег на голову, тихо-спокойно. Да кто-то из наших, видать не то с перепугу, не то от волнения выстрелил. Опосля на поверку вышло, что сам командир и бабахнул. Смехота одна... Чабаны выскочили, собаки залаяли. Туркменский волкодав собака-то умная, завидит человека с оружием — остережется, не бросится, как дворняга глупая. Ну а наш командир возьми да и пристрели одного пса. Хозяин собаки так горевал... Туркмен своего пса на десяток баранов не променяет. Помню, товарищ Колодин все винился перед чабанами... А товарищу Стерлигову как с гуся вода, будто так и надо. Да, про нож хотел сказать, а припомнилось другое. Так вот... Окружили кош, видим, — не басмачи. Стоим каждый на своем месте, ждем команды. А наш командир начал в чабанских шмотках копаться, говорил, что терьяк, ну этот самый опий контрабандный, искал будто... Утром, когда мы отъехали от чабанского коша, товарищ Стерлигов достал из переметной сумы большой туркменский нож с красивой костяной ручкой, пристегнул его к поясу и щеголял, как князь... Вот так-то оно, дорогие товарищи. Негоже чекисту руки свои марать. Мы — надежа народа и его власть, красные воины, чекисты. Советскую власть в Каракумах представляем. Что о нас люди скажут?..

Допоздна затянулось собрание. Выступили многие, хотя желавших высказаться было еще больше. О Стерлигове никто не обмолвился даже единым добрым словом, осудили его все, от рядового красноармейца до командира.

В заключение слово получил Стерлигов. Битый час сбивчиво и сумбурно говорил он о себе, о своих заслугах. Его перебивали из зала репликами, призывали выступать по существу, но председательствующий терпеливо сдерживал не в меру разгорячившихся оппонентов. Серьезность предъявленных Стерлигову обвинений требовала, чтобы тот выговорился.

В зале с каждой минутой становилось шумнее, никто уже не слушал Стерлигова, но звонок председательствующего навел порядок.

— В заключение я хочу задать вопрос и высказать свое мнение, — продолжал Стерлигов. — Надо быть до конца справедливым всем, ко всем и во всем.... Стоило ли огород городить с отрядом «Свободные туркмены»?

Зачем надо было голову морочить, если он не выдержал игру до конца? Пустая затея. Это во-первых. А во-вторых, почему одним позволительно все, а другим не прощают ни одной, даже маломальской ошибочки? Все помнят, как на Ярмамеде однажды ночью весь отряд переполошился. Оказывается, дочь одного кочевника... Наши славные медички Марина и Герта спасли жизнь роженице, ребенку, решительно прогнали бабку-повитуху, не дали восторжествовать старому, знахарству. А вот коммунисты Таганов и Бегматов повели себя иначе... Когда к юрте, где находилась роженица, пришли три кумушки, видать, не слишком чистоплотные, от которых за версту разило кислым молоком, и попросили свершить религиозный обряд, то Таганов согласился, даже отослал отдыхать Марину и Герту. Это ли не двоедушие, это ли не приверженность старым, контрреволюционным обычаям? Все происходило на глазах и с молчаливого согласия нашего уважаемого комиссара Бегматова, наделенного высокими полномочиями представителя Центрального Комитета Коммунистической партии (большевиков) Туркменистана. Почему эти действия не вызывают ничьего осуждения? Почему об этом никто не говорит? Мы должны решительно бороться...

— Не надо путать два разных понятия, — бросила реплику Герта, — национальные обычаи и религиозные обряды. Это абсолютно разные вещи. Я помню этих туркменок. Во-первых, они нам очень помогли с Мариной, во-вторых, они исполнили национальные обряды, очень безобидные и совсем безвредные. Я бы сказала, даже очень оригинальные, — пусть наивные для некоторых, но они же национальные!

— В чужой монастырь со своим уставом не ходят, товарищ Стерлигов, — поддержал Герту Колодин. — Я тоже об этом знаю и ничего в том контрреволюционного не вижу.

Разговор о действиях стерлиговского отряда, о поведении его командира не ограничился стенами клуба. Он был продолжен на коллегии республиканского ГПУ, стал предметом жарких споров среди чекистов аппарата, дошли они и до сведения ЦК КП(б)Т. Касьянов больше не напоминал руководству ГПУ, что назначение Стерлигова на должность заместителя начальника отдела, а затем командиром сводного чекистского отряда было ошибкой, все же как-то высказал Горбунову, с ко-

торым старого моряка связывали долгие годы дружбы, все, что думал.

— Знаешь, — говорил Касьянов, — мне так хочется зайти к Стерлигову и без обиняков сказать: «В том, что у тебя сумбур в голове, не вини никого, кроме себя и своего батюшки...» Да, да, батюшки... Для человека ничто не проходит, не оставив следа. Революция, гражданская, голод в чекистских кадрах. Вот и взяли его в ЧК... А он, черт, — грамотен. Тогда на безрыбье и рак был рыбой...

— Да у нас и сейчас с кадрами не густо, — задумчиво произнес Горбунов. — Тут еще с его выдвижением мы маху дали. Поторопились.

Перед отъездом в Москву Касьянов заглянул к Стерлигову. Тот встретил его подчеркнуто учтиво. Ивана Васильевича коробило от такой притворной предупредительности, но, едва сдерживаясь, Касьянов заговорил спокойно.

— Хочу поговорить. Надеюсь, что поймешь. Не поймешь — хоть подумаешь. Только, чур, без амбиции... Правду-матку в глаза буду резать, по-флотски. По праву старого большевика, по праву коллеги, человека, который не один год проработал в Туркмении. Хотел на собрании сказать, да пощадил твое самолюбие. Думаю, так, с глазу на глаз, иногда полезнее. После собрания долго думал о тебе. Человек ты вроде неглупый, грамоты у тебя на двоих хватит. Почему все-таки дров так много наломал?

— Ты прав, Иван Васильевич, — с готовностью подхватил Стерлигов. — Дров я наломал, но один ли я тут виноват? Ведь в наши чекистские дела вмешиваются кому не лень. Ну, что этот самый Бегматов понимает в наших делах? А он, извините, в каждой бочке затычка...

— Ты это оставь, — Касьянов строго взглянул на Стерлигова.—Бегматов не сам по себе, он Центральный Комитет партии большевиков Туркменистана представляет. Мы все — коммунисты и все ее дисциплиной связаны... Еще в начале двадцатых годов, при Дзержинском, руководство ВЧК разослало всем циркулярное письмо, где указывалось, что высшим органом пролетарской диктатуры и штабом революционной борьбы являются комитеты Коммунистической партии на местах. И там строго предписывалось, чтобы на все требования комитетов партии или ответственных партийных

товарищей давать срочный и исчерпывающий ответ, а также оказывать действенную помощь мусульманской бедноте, поддерживать тесный контакт с партийными организациями... Этот документ родился в ВЧК не без участия Владимира Ильича Ленина. Перед самым отъездом в пески ты получил строжайший инструктаж, что необходимо поддерживать тесный контакт с представителями туркменского правительства, ЦК и их организациями на местах. А когда к тебе пришли председатели аулсоветов, большевики, ты не только не помог им, даже не стал с ними разговаривать. Что это — барство? Или злой умысел? Что все-таки? А ведь наши операции носят больше политический характер, нежели военный...

— Поэтому я и не вступал в бой, — проговорил Стерлигов, — а меня вон как обвинили.

— Как раз банду головорезов Эшши-хана надо было громить, и беспощадно! Здесь ты струсил. Да-да!.. Все твои действия дают право обвинить тебя и в великодержавном шовинизме. А это сродни местному национализму. И первое и второе — питательная почва для басмачества. От этого предостерегает нас партия. Не забывай, Стерлигов, что ты — русский человек и для всех окружающих, особенно в национальной республике, ты отождествляешь Советскую власть, высшую справедливость. А ты ведешь себя так, что неграмотный, забитый кочевник, посмотрев на тебя, не увидит никакой разницы между тобой и царским жандармом. Понимаешь? Ты не задумывался, что подумали о тебе, чекисте, простые чабаны, когда ты застрелил их собаку, украл нож. Забыл слова Дзержинского, что чекистом может быть лишь человек с холодной головой, горячим сердцем и чистыми руками. А что подумали о тебе председатели аулсоветов, которым ты выразил недоверие, что? Хорошо, если они отнесли все это за твой счет. Хуже, если они недобро подумали о Советской власти...

— Не мог я раздавать оружие первым встречным...

— Ты палец о палец не ударил, чтобы выяснить, кто к тебе приходил, не попытался связаться с местными партийными организациями, не поставил в известность командование. Да будет тебе известно, что еще в тридцать первом году Исполнительное бюро ЦК КП(б)Т мобилизовало в республике тысячу пятьсот коммунистов, а всего в отрядах добровольной милиции, самоохраны, краснопалочников насчитывается свыше двена-

дцати тысяч дайхан. И это все туркмены, которым партия доверяет, вооружает их, а ты, видишь ли, выражаешь им недоверие. По какому праву?

— Не семи пядей же я во лбу! Ошибся, не разглядел...

— Семи должен быть! Ты коммунист, руководитель, чекист, обязан сориентироваться. А мешает тебе сумбур, мешанина в голове... Отсюда все твои пороки — и фанфаронство, и верхоглядство. За трусость, за гибель товарищей из-за твоей преступной беспечности я бы отдал тебя под суд. Да не мне решать. У тебя есть свое руководство, оно и решит. И еще отвечу на твой вопрос об отряде «Свободные туркмены». Задачи выполнил он важные. Сорвал замысел Эшши-хана, помешав захватить Куня-Ургенч, уберег от кровавой расправы сотни, тысячи местных активистов, дайхан. Разве этого мало?! Представь себе, что Эшши-хан после Куня-Ургенча двинулся бы на Ташауз... Даже ради того, что отряду удалось привлечь на свою сторону племя ушаков, живших в песках, стоило его создать. Согласись, что нашим бойцам трудно рядиться в чужую одежду, выдавать себя за других, когда рядом кровь бедняцкая льется, дети сиротеют. Вот и не выдержали игру до конца. И здесь, товарищ Стерлигов, ты нечестен.

Стерлигов потерял дар речи, лишь испуганно моргал глазами. Он опомнился, лишь когда Касьянов, поднявшись, направился к двери.

— Вы уж, Иван Васильевич, не губите меня.

— Об этом надо было думать раньше. Повторяю, твою судьбу будет решать республиканское руководство, я же сказал все, что думал о тебе, — бросил на ходу Касьянов и вышел за дверь.

Через несколько дней в том же клубе Аширу Таганову и Игаму Бегматову от имени правительства Туркменской ССР за образцовое выполнение задания командования и проявленный при этом героизм было вручено именное оружие — пистолеты маузер с гравировкой «За успешную борьбу с басмачеством в Средней Азии». В тот же день коллегия ГПУ ТССР утвердила Таганова в должности начальника отдела по борьбе с басмачеством вместо Чары Назарова, уехавшего в Москву на учебу.

Решилась и судьба Стерлигова, его понизили в должности.

КРАХ

Случилось это в Каракумах...

Бывалые мергены-охотники и следопыты, выбрав укромное место, расположились на привал. Их внимание привлек шум, прерываемый злобным шипением. У старого саксаула, вздымая желтые песчинки, катался какой-то живой клубок — шел поединок кобры и варана. Они бились с такой яростью, что даже не замечали людей.

Зрелище было захватывающим. Даже повидавшие на своем веку мергены редко встречали в пустыне таких необычных тварей: ящер чуть ли не полутораметровый (туркмены называют его зем-земом), кобра, пожалуй, тоже не меньше. Противники, достойные друг друга.

Животные иногда разбегались в разные стороны, затем устремлялись в атаку, на мгновение в угрожающих позах застывали друг перед другом, будто хотели заворожить. Змея, поднявшись «свечкой», раздувала «капюшон», а разъяренный зем-зем вывертывал красную пасть, и они, схлестываясь, свивались в толстый живой канат, извивавшийся по песку.

Кобра, обвив варана жгутом, жалила его в спину, в живот, в голову, оставляя на месте укусов точечки, разраставшиеся в желтоватые пятна... Зем-зем, пружинистый и цепкий, впивался в гибкое змеиное тело, стараясь схватить ее за горло, но кобра ускользала. Однако варан, прозванный еще и песчаным крокодилом, наносил противнику удары своим упругим сильным хвостом, отчего змея временами напоминала перебитую палку... Не проходило и нескольких секунд — враги вновь остервенело бросались друг на друга... Бой шел не на жизнь, а на смерть.

Долго продолжался поединок. Но вот зем-зем, высвободившись из леденящих объятий змеи, бросился бежать...

Кобра, важно раздув «капюшон», раскачивалась на месте, будто исполняя победный

танец, гордясь своей силой, изворотливостью. Но варан и не думал сбегать, он проворно дополз до травы, растущей неподалеку, и начал усердно тереться о нее — головой, животом, спиной, всеми израненными местами. Чабаны давно приметили эту чудодейственную траву, ее туркмены называют «йылан дамагы» — «змеиное горло», настой которой исцеляет от ядовитых укусов, а змеи не переносят ее запаха.

И снова бой... Песчаный крокодил еще не раз натирался травой и вступал в схватку.

Кобра, видно, обессилев, лишь оборонялась, варан, продолжая наступать, улучил момент, вцепился в ее шею мертвой хваткой и не отпускал до тех пор, пока змея не склонила голову замертво.

Ящер отпустил свою жертву, постоял над ее бездыханным трупом, словно хотел убедиться — мертв ли враг, и лениво пополз под тень саксаула и долго лежал там не шелохнувшись.

Говорят, вараны и змеи появились на земле раньше человека, за миллионы и миллионы лет. И все это время они — соседи, но никогда мирно не жили. И вражда у них давняя, древняя, как мир. И все же живут по соседству...

Из рассказов аксакала Сахатмурада-ага, что живет в долине Мургаба

С самого рассвета Мешхедский базар жужжал встревоженным ульем. Казалось, этот знаменитый город с гробницами святых шиитов, куда стекались толпы паломников отовсюду, даже из соседних стран, только и знал, что занимался куплей-продажей. Такие базары, которых в Иране немало, таили для разведчика и известные удобства.

По соседству с базаром, в тихом переулке, берущем начало у гончарных рядов, в квартале ремесленников и купцов, в двух небольших залах за массивными дубовыми ставнями, разместился довольно приличный магазин. Здесь любой, даже самый привередливый покупатель,

мог выторговать приглянувшийся ковер, будь то персидский или туркменский, афганский или арабский... Пожалуй, никто, даже самые любопытные соседи, не подозревали, что здесь приютилась резиденция английской секретной службы Интеллидженс сервис. Ее позаботились устроить под «крышей» богатого коммерсанта, выходца из Средней Азии, торговавшего коврами да скакунами арабских кровей.

Самого хозяина дома не было — уехал по своим «коммерческим» делам в соседний Афганистан. Но на дальних задворках, под густой тенью раскидистого ильма, в приземистом доме с решетчатыми окнами и просторной верандой жил Кейли, «компаньон коммерсант». Только кое-кто из сановников генерал-губернаторства смутно догадывался, чем занимался этот вездесущий англичанин, удивительно похожий на перса. Но не это сейчас тревожило его — все, кто знал об истинных занятиях Кейли, предпочитали за благо молчать, ибо у них самих рыльце было в пуху: за приличную мзду они исправно снабжали английского эмиссара разведывательными данными, естественно, не приносившими пользу безопасности Ирана.

Кейли, вставший спозаранок, вышел во двор, равнодушно скользнул заспанными глазами по возвышавшемуся вдали золотому куполу гробницы святого имама Али Резы, криво поморщился: проклятый базар! Проклятые люди! Они будили его чуть свет... Невозможно привыкнуть к людскому гулу. Все в этой стране не как у нормальных людей... Все на виду, как на базаре — купи-продай! Кейли горестно вздохнул: разве жизнь подобна базару, где что угодно продается и покупается, где один обманывает другого. И каждый в восторге от сделки: надул ближнего! Все, все покупается — даже люди, их честь, совесть, если таковыми они обладают.

Как-то Малькольм, небезызвестный английский посол в Персии, в одном из писем своему правительству, характеризуя персидских министров как «хороший» товар для покупки, писал: «Если Англия не начнет покупать этого товара, то его купят другие, а, как известно, на рынке всегда выгоднее быть первым». Это азы шпионской работы, усвоенные Кейли с первых дней службы в разведке, и суть их заключалась в подкупе крупных чиновников. Отсюда и «сел-пэрчес систем», что означает — «система покупка-продажа». Ну что ж, Кейли вправе быть довольным собой — он обскакал своих не-

мецких соперников, обеспокоенно шнырявших и по Мешхеду.

О, Кейли улыбнулась удача, ему удалось еще кое-что пронюхать о резиденте германской разведки в Мешхеде, некоем бароне Вилли Мадере, который, правда, пока еще ничем себя не проявил. Однако не мешало бы узнать своего соперника еще ближе. Судя по шифровкам из британской столицы, швабы в Иране разворачиваются. А конкретно? Лондон имел весьма смутное представление о действиях немецкой разведки в Иране. Шефам только бы пену взбивать, чтобы постоянно держать его, Кейли, на взводе. О, там на это мастера!.. Дельного совета не дадут, а нервы потреплют... Хорошо еще, что на рождество, по итогам тридцать второго года, пришла от шефа добрая весточка: благодарил за мешхедцев, пополнивших ряды осведомителей Интеллидженс сервис. Никак тут рука тестя, самого старика Кейли, видимо надоумившего шефа послать зятю теплую шифровку...

— У, чертов базар!..—Кейли взъерошил ладонью темные, редкие волосы на голове. — Опять не дал поспать.

Не шум базарный разбудил его — заботы не давали покоя. Вон сколько хлопот с эмигрантскими организациями, которых в Мешхеде развелось как собак нерезаных. Поди разберись, на кого они работают — на англичан, американцев, французов, немцев, японцев?.. Все разведки запускают в Иран свои щупальца, чтобы переманить кое-кого из эмигрантов. А эти тоже не очень-то разборчивы, идут на услужение к тому, кто больше платит... Да, эмигрантский сброд на удивление не брезглив. Деньги ж не пахнут.

Зато Кейли привередлив, на кой ему залежалый товар, из вторых рук. Словом, на туркестанскую эмиграцию вера не ахти какая... Впрочем, лучших пока нет, придется работать с такими, какие есть. Дело ли, что немчура стала наступать англичанам на пятки, перевербовывая старых английских агентов, перехватывая под носом ценные разведывательные данные. Почему? Просто немцы стали щедры, как восточные принцы, расплачиваясь со своей агентурой чистым золотом. Оно, пожалуй, во все века посильнее было бумажных денег, и Кейли удалось убедить в том своих шефов. Правда, ерепенились, кое-кто даже ворчал: «Не забывайте, что наш фунт стерлингов—самая устойчивая в мире валюта». Но Лондон вдруг расщедрился, стал выплачивать своим

агентам только золотом. Не сглазить бы! Ведь кое-что прилипало и к рукам Кейли.

Он горестно вздохнул, нервно потер виски, словно что-то припоминая. Почему так давно нет вестей из Каракумов? Кейли с нетерпением ожидал возвращения оттуда Джапара Хороза. Прошли все сроки, а его все нет... Может, не дошел? Что-то перебежчиков много развелось... Кто угодно, но Джапар Хороз к красным не сунется, так им насолил — не простят во веки веков.

Кейли благоволил к этому усердному и исполнительному туркмену, не лишенному хитрости. И военный атташе английского консульства за него поручился. Что говорить — славный малый, предан как собака. А преданность сейчас редкое качество... Не хозяйничай в Туркестане большевики, ходить бы Джапару Хорозу в премьерах или министрах туркестанского правительства, на худой конец мог бы заделаться ханом всего Мервского оазиса. Не чета иным эмигрантам, готовым раскаяться в содеянном, любой ценой вернуться домой — лишь бы Советы простили... Болтуны, пройдохи... Никчемные людишки!

А Джапар Хороз знай себе молчит, кто знает, что у него там на душе, но зато из кожи лезет... Вот чье место в Туркестанском национальном центре, кому быть президентом, вместо этого слащавого Мустафы Чокаева. Да не волен Кейли там распоряжаться, ибо центр этот обитает в Париже и пляшет пока под дудку французской секретной службы. Правда, к англичанам там прислушиваются, но у французов он под рукой, на их земле, да на их хлебах... Потому-то в Париже свой человек нужен, именно такой, как Джапар Хороз. Не то рыскай, узнавай о Туркестанском национальном центре окольными путями. А туда ведь тянутся многие нити... В самый раз Джапара Хороза туда, кого же еще? Хватка волчья, сила буйволиная, болезненно тщеславен. Жаль, конечно, его от себя отпускать, когда рядом сподручнее, ибо дока он и на «мокрые» дела—все сработает чисто, шито-крыто. На новости у него нюх дрессированной собаки, на интриги — спец; позавидуешь — так стравит, что давние друзья, ничего не подозревая, за ножи хватаются, готовы головы друг другу снести.

Вот почему Кейли так дорожил своим подручным туркменом из Мервского оазиса: ученик был достоин своего учителя.

Кейли хорошо помнит, как афганский эмир Аманул-

ла-хан стал якшаться с Советами. Разве Британия могла позволить такое своеволие? И вот в январе 1929 года Аманулла-хан отрекся от престола. Эмир не сошел бы с трона по своей воле. Тут уж перед этим английская секретная служба постаралась. По ее сценарию в Афганистане разгорелся междоусобный пожар войны родов, племен и народностей. В городах и селах, в горах и пустынях свирепствовали отряды, вооруженные заморским оружием. Они убивали сторонников Амануллы-хана, терроризировали всех, кто хотел жить в дружбе и мире со своим северным соседом, сеяли рознь и вражду. Словом, не брезговали ничем, чтобы подкопаться под Амануллу-хана и свергнуть его. Англии здесь был надобен «твердый правитель», типа марионетки Бачаи Сакао, который был послушен британской воле, враждебно относился к Советскому Союзу. Заваруха в стране не обошлась без таких, как Джапар Хороз и Нуры Курреев. Они в паре рыскали по Гератской провинции, где в основном живут туркмены: устанавливали связи с разбойными отрядами, привозили им оружие, передавали инструкции британского военного атташе, а иных предводителей отправляли в Мешхед, где Кейли давал им особые задания.

В одно время шефы приставили Кейли к английскому финансисту Уильяму Ноксу Д'Арси, тогда еще безызвестному, но уже с непомерными аппетитами. Пройдет время, и Д'Арси прозовут «отцом всей нефтяной индустрии Ближнего Востока». По справедливости этот «титул» должен был бы достаться Кейли и его коллегам из Интеллидженс сервис, так как финансист, за бесценок получив концессию на разработку иранских месторождений нефти, собрался выгодно перепродать ее французам, но секретная служба упредила эту сделку...

Так иранская нефть стала и английской. Боже мой, боже мой, чего это стоило! Разорение и банкротство одних, взлет и падение других... Приходилось раскошеливаться, чтобы насытить прожорливую армию персидских взяточников, шагать через трупы, чтобы добиться цели. Игра стоила свеч... Пришлось даже приручать самого Ахмед-шаха из династии каджаров, правившей тогда Ираном. А он, глупец, не учуял, откуда ветром задуло, стал озираться по сторонам, шарахаться от англичан к французам, поглядывать на Германию и Турцию... И его решили ссадить с трона.

Свято место пусто не бывает... Династического шаха смели после государственного переворота, который возглавил кавалерийский офицер Реза-хан, с трудом умевший читать и писать. Единственным достоинством последнего было то, что он являлся выучеником известного английского генерала Эдмунда Айронсайда. Малограмотный, но честолюбивый кавалерист, всю жизнь мечтавший о свержении династии каджаров, в декабре 1925 года был провозглашен шахом Ирана, самозванно принявшим династическое имя Пехлеви. Новоявленный шах был предупредителен и сговорчив — годы не стирали память о горькой судьбе венценосного предшественника.

И почему, досадливо раздумывал Кейли, все, что так просто решается в Индии, Афганистане, Иране, не удается в Средней Азии? Тот же Восток, та же чернь, забитая и безликая... Почему оттуда не возвращаются агенты? Уйдут, и как в воду канут. А ведь обученные, натасканные, во многих переплетах побывавшие. И Джапар Хороз вот о себе никаких вестей не подает. Может, он, Кейли, перестал понимать Восток, может, люди, которых знал прежде, теперь уже не те? Что же изменилось на этом свете?..

В калитку раздался стук — Кейли вздрогнул от неожиданности. Прислушался. Слуга, выскочивший на веранду, застыл вопросительным крючком, но, заметив кивок хозяина, побежал открывать.

Кейли ожидал увидеть кого угодно, но только не того, кого он узнал еще издали. Высокий, плотный, в изысканном модном костюме, в светлой сорочке, в поблескивающих штиблетах, он обогнал слугу и шагнул на веранду, протягивая Кейли обе руки.

Гость сиял с ног до головы. Его скуластое лицо, тонко подстриженные усики, не вязавшиеся с крупными чертами, и свисавший на лоб франтоватый прямой чуб были напомажены каким-то ароматическим маслом, отчего он весь блестел, словно цирковой артист, собиравшийся выйти на сцену. Боже мой, боже мой, чего он так вырядился? Кого он напоминает?.. Кейли не скрывал своего удивления, здороваясь с нежданным гостем.

— Бог мой, мистер Чокаев! — Кейли притворно потер веки, словно не веря своим глазам. — Вам явно вредит парижский климат — вы перестали быть похожим на казаха. Француз французом! Пардон, мсье!.. Какими судьбами?

— Да вот... — неопределенно протянул Чокаев, не зная, как отнестись к словам Кейли — шутит тот или иронизирует. — Приехал в Мешхед по делам своего Туркестанского центра и вспомнил про вас. Вернее, необходимость...

— О, какая милость с вашей стороны, мсье! — ядовито улыбнулся Кейли и тут же сменил фиглярский тон на строгий, хозяйский. — Вы что, забыли наш уговор — встречаться в экстренных случаях?! Почему заранее не дали знать о себе? Чем хотите удивить?..

Мустафа Чокаев уловил в тоне английского эмиссара саркастические нотки и явное недоверие. Кейли имел к тому все основания: Чокаев играл в «две руки», поставляя одну и ту же информацию и французам и англичанам, ища одновременно подходы и к германской разведке, но, говорят, торговался, боясь продешевить. Если уже не успел запродаться... Бойкий малый! На трех стульях усидеть вздумал? Как бы не прищемило! Сведения у Кейли были достоверные, из Лондона.

— Необходимость заставила меня нарушить условия конспирации, — невозмутимо продолжал Чокаев. — Если хотите, случай экстренный! Плохи, очень плохи наши дела. В Туркестане басмаческое движение трещит по всем швам... Полный крах.

— Откуда у вас такие сведения? — Кейли пробуравил резидента глазами, потянул носом — от Чокаева резко пахло одеколоном, запах которого англичанин не переносил. — Не верю!

— Мои сведения из достоверных источников. Сообщил мой родич, правая рука Илли Ахуна. Гибнет цвет басмачества, воины ислама, которых надо растить не год и не два... А вы, мистер Кейли, оскорбляете недоверием. С кем, позвольте спросить, вы будете освобождать Туркестан, Казахстан? С кем, если большевики всех истребят?

— Боже мой, боже мой! Сколько сразу слов! Узнаю профессиональную привычку адвоката! Что вы предлагаете?

— Перейти от слов к делу... Ввести в Туркестан английские батальоны. Мы подготовили обращение эмигрантов, руководителей басмаческого движения к правительству Англии об оказании помощи всем народам, стонущим под ярмом большевизма.

— Но я не уполномочен решать подобные вопросы.

— Вы, мистер Кейли, влиятельный человек. Вы мо-

жете через свои каналы убедить правительство, что сейчас такая мера необходима. Настал удобный момент. Вас просят народы Туркестана и Казахстана, которые ждут, когда их освободят от Советов и большевиков... Неужели не вернутся золотые времена? — Чокаев мечтательно закатил раскосые глаза. — Как сейчас помню то время, когда четырнадцать государств Антанты ополчились против большевистской России... По улицам Баку и Асхабада разгуливали английские офицеры, воды Каспия бороздили суда ее королевского величества. Тогда Англия не поскупилась на освободительный поход деникинских отрядов, истратила сто миллионов фунтов стерлингов... Я всегда верил и продолжаю верить, что только Англия освободит Туркестан и Казахстан... Еще в восемнадцатом я заключил с вашим военным командованием тайное для всех, но не для вас, соглашение. В обмен на военную помощь я предоставил концессию в Караганде и Джезказгане... И я, как бывший уполномоченный Временного правительства по Туркестанскому краю, авторитетно заявляю, что этот договор, несмотря на время, остается в силе. Более того, мы готовы на все... От имени всех эмигрантских сил Бухары, Туркестана, Казахстана я заявляю — мы готовы жить под протекторатом Великобритании, стать ее доминионом. Каким угодно — желтым, зеленым, белым... Только не красным! Эмир бухарский готов отдать под власть англичан весь эмират. Только помогите вернуть Бухару, — Чокаев, мотнув головой, закинул чуб.

Кейли не прерывал собеседника, разглядывая его с каким-то любопытством, будто видел впервые. С чего это он распинается? Хочет убедить его, Кейли, что теперь он не такой непостоянный, как прежде, когда был на короткой ноге с Керенским, однокашником и сокурсником. Вместе с будущим премьером Временного правительства России он вступал в партию эсеров, а закончив юридический факультет Петербургского университета, вернулся на родину, где из казахской интеллигенции создал нелегальный кружок с программой, непримиримо враждебной большевикам. Сразу после Февральской революции Керенский сам вспомнил о Мустафе и назначил его уполномоченным Временного правительства по Туркестанскому краю. Приятели все же! Но тщеславный адвокат уже тогда требовал называть себя не «уполномоченным», считая, что такое звание унижает его, а президентом Туркестана. Он повел линию

на создание автономной мусульманской республики, самостоятельной от России. Англию это тогда устраивало, лишь бы отколоть Туркестан от России. Но устраивала ли такая политика Керенского, поверившего университетскому дружку, своему товарищу по партии? В кругу близких Чокаев разглагольствовал о верности исламу, его незыблемым принципам, а сам взял да женился на русской девице. Ох, как корили его за это родичи, соратники: убежденный националист, а жена неверная! Иной веры! Разве можно положиться на такого человека, у которого, как говорят сами русские, семь пятниц на неделе.

Положив волосатые руки на стол, Кейли сидел с отрешенным видом, но слушал Мустафу Чокаева в два уха. Тот беспрестанно сыпал словами, и чем больше говорил, тем выше вырастала между ним и англичанином стена отчуждения... Кейли не верил Чокаеву. Уж больно ненадежен, глуповат... Может, слишком хитер?.. Неужто верит, что Англия возьмет да пошлет в Туркестан свои батальоны? Что он — ослеп?! Послала бы! Сию минуту! Будь ситуация иная, а сейчас времена не те. Чего он маячит перед глазами?

Чокаев, то сцепив руки за спину, то положив их на живот, крупно вышагивал по просторному залу. Эмиссар хотел одернуть Чокаева, но сдержался, усмехнулся, вспомнив Керенского, который тоже любил вышагивать, только привычку имел иную — пальцами правой руки теребил пуговицы на груди, левой же беспрестанно одергивал сзади фалды френча. А ведь был кумиром Чокаева, а вот предал же его Мустафа, основав после Октябрьской революции «Кокандскую автономию», которой англичане хотели оказать любую помощь, но не успели. Всего три месяца продержалось это буржуазно-националистическое правительство. А когда по всему Туркестану окончательно установилась Советская власть и английские батальоны спешно ретировались в Иран, то Чокаев, лишившись помощи своих новых благодетелей, не растерялся, переметнулся в другой лагерь. Он сбежал в Турцию, явно рассчитывая привлечь к себе внимание немцев. Но до него ли тогда было поверженной Германии? Однако это ему зачтется в будущем. Тогда же, несолоно хлебавши, из Стамбула он подался в Париж, а своим недоумевавшим друзьям сказал: «Женушке моей, Марии Яковлевне, во Францию захотелось... Парижским воздухом подышать». Это случилось сразу

же после встречи Чокаева с одним французом, передавшим ему приветы от старых друзей, обитавших в Париже.

Так Мустафа Чокаев легко обретал и с такой же легкостью менял и хозяев, и друзей, но в одном оставался неизменен — в патологической ненависти к Советской власти. И теперь, всем своим нутром почуяв неотвратимо надвигавшуюся гибель басмачества — последнюю надежду контрреволюционной эмиграции, — он, старый агент английской разведки, забыв законы конспирации, примчался к Кейли, чтобы тот поэнергичнее поспособствовал посылке в Туркестан английских войск на помощь гибнувшим басмаческим отрядам. Любой ценой — пусть даже расплатой будет родная земля.

— Я незамедлительно передам просьбу своим шефам, — Кейли мучительно припоминал, на кого же похож Чокаев в своих манерах — в его речи и жестикуляциях было что-то фиглярское. — Я постараюсь сделать это как можно скорее... Подумайте, мистер Чокаев, как можно пристроить в Париже, в вашем центре, нашего общего друга Джапара Хороза.

— Еще туркмена мне не хватало!

— Ваш центр называется Туркестанским, значит, должен объединять и туркмен. Джапар — славный малый. Можно положиться на него.

— Вы лучше скажите, что хотите приставить его ко мне...

— Боже, боже мой! Еще древние римляне знали, что разведчикам в паре работать сподручнее. Вы по-прежнему наш резидент.

— В последнее время вы не доверяете мне, — Чокаев обиженно шмыгнул носом и снова как-то нервно тряхнул чубом.

— Платим мы вам исправно, значит, еще доверяем, — холодно отрезал Кейли и вздрогнул, будто его ударило током: «Боже ты мой! Да он Гитлеру, этому параноику, подражает... И как! Профессиональный клоун так не сумеет. И чуб, и усы — все, как у Адольфа. И руки так же держит на... Ах, дешевка, ах, шансонетка продажная! Бонвиван несчастный!..» — Кейли чуть не прыснул от смеха.

В калитку вновь застучали. Кейли едва не вскрикнул от радости, увидев Джапара Хороза, направлявшегося к веранде своей подпрыгивающей походкой, с усталым, обветренным лицом, в запыленной, залоснив-

шейся одежде. Поздоровавшись, тот тяжело опустился в кресло и выразительно ждал, не сводя с Кейли по-собачьи преданных глаз.

Воцарилось молчание. Чокаев насмешливо ухмыльнулся:

—Пол-Мешхеда с его базарами говорит о том, о чем мистер Джапар сейчас не решается доложить. Хоть для приличия скажите что-нибудь... Как поживают братья Какаджановы — надежда эмиграции... Случаем, их чекисты еще не замели?..

— Не забывайтесь, мсье Чокаев! — Эмиссар осадил зарвавшегося гостя. — Джапар Хороз еще не отдан в ваше распоряжение... Музыка исполняется для того, кто ее заказывает.

Гость обиженно замолчал. Кейли, чувствуя, что чуть переиграл, — Чокаев чего доброго может уйти, а с ним надо обговорить кое-что, — придвинул ему чашку кофе:

— Угощайтесь. Такой кофе и в Париже не попьете... Ради бога, не обижайтесь. Разведчику вести себя так не подобает. Правда, вы еще ходите в деятелях иного рода. Но это не по моей части... И все же, как говорят малороссы, то бишь украинцы, не лезь поперед батьки в пекло. — Кейли, испытывая глубокую неприязнь к своему собеседнику, невольно вновь перешел на язвительный тон, но тут же опомнился, обратился к Джапару Хорозу: — Рассказывайте, мой друг, послушаем, насколько достоверна информация мистера Чокаева... Можно подумать, что мир провалился в преисподнюю, а большевики, подобно богам, наказали всех наших людей...

— Еще хуже, шеф! — ошеломил Джапар Хороз, смешно топорща рыжие кошачьи усы. Заметив, как недовольно поморщился Кейли, заговорил чуть спокойнее: — Ад покажется раем... И большевики, как аждарханы — сказочными драконами, пожирающими людей... Они обрушились на наши отряды кавалерией, аэропланами, десантами на автомашинах. Повсюду — в Каракумах и в горах Таджикистана. Одних туркменских отрядов добровольной милиции, самоохраны, краснопалочников — двадцать тысяч, в Таджикистане — еще больше. А регулярных войск тьма-тьмущая... Батраки, бедняки, дайхане, да и кочевники тоже, эти несчастные рабы, почитавшие за счастье ползать перед нами на коленях, просто обезумели... Они ополчились против наших отрядов. В аулах нам не верят, дайхане в открытую го-

ворят: «Вы не народные борцы, а разбойники с большой дороги. Вы ведете не политическую борьбу, а занимаетесь бандитизмом... Служите англичанам, а не своему народу...» Оно и понятно — поют с чужого голоса. Самое страшное, большевики сделали так, что оторвали от нас наш народ. Как им это удалось! Самое страшное...

— Заладили, как попугай, «самое страшное, самое страшное...»! — оборвал Кейли. — Излагайте только факты.

— Хорошо, шеф, — Джапар Хороз тяжело вздохнул. — Считайте, шеф, что теперь у нас почти нет отрядов. Глупо погибли джигиты Илли Ахуна. А какой отряд был! Двести пятьдесят всадников, вооружены до зубов, боеприпасов — целый караван... Отряд наполовину был из казахов, они не подчинялись туркменам, а туркмены их не признавали, вот и жили как на ножах. Свара пошла в отряде... Я как-то Илли Ахуну говорил: «Не подвели бы в бою эти вояки. Их самих мирить надо, а ты с ними собрался на красных...» Старик ответил высокомерно: «Ты, Джапар Хороз, не видишь того, что я вижу в своих людях... Воевать они будут зло — за шкуры свои дрожат и большевиков люто ненавидят. Псы всегда меж собой грызутся, а как завидят врага посильнее, волка, то в одну стаю сбиваются, о распрях забывают».

— Что с Илли Ахуном?.. Он жив? — Кейли заерзал в кресле.

— Жив-то он жив, — с досадой усмехнулся Джапар Хороз. — Лучше б в бою погиб... После разгрома бежал в Акяйла, да поймали на кладбище, в бабьем платье. От страха вырядился. Срам-то какой! Высшее духовное лицо! Видать, перетрухнул, забыл, что туркменке живой дорога на кладбище заказана. Ну и схватили ахуна в бабьем...

— Да-а-а... Ахун вовсе не оригинален. В истории такой случай уже был, — Кейли насмешливо взглянул на Мустафу Чокаева, намекая на известный побег в женском платье его дружка Керенского.

Чокаев сидел с невозмутимым видом, внешне не реагируя на плоскую шутку англичанина.

— Что слышно об Ибрагим-беке? — Кейли делал какие-то пометки в блокноте. — Жаль, очень жаль этого самого Илли Ахуна.

— Про Ербент вам известно, шеф. Вот так-то...

В Таджикистане не был да и такого задания, шеф, вы не давали. Но про Ибрагим-бека кое-что узнал, — Джапар Хороз, порывшись во внутренних карманах халата, достал газеты и три узкие полоски тонкой бумаги, мелко испещренные записями. — Вот здесь... Обидно, что такие джигиты, воины ислама, как Ибрагим-бек, раскалываются на первом же допросе.

— Если раскалывается, значит, не джигит и не воин! — со злостью развернул Кейли газету и, попеременно вчитываясь в пожелтевшие бумажные полоски, неожиданно рассмеялся. — Вы только послушайте, какую ахинею нес на суде Ибрагим-бек... Вот. — И Кейли вслух зачитал: — «Эмир бухарский — глупец и баранья голова. Какой же умный человек может оставить свой дом, родную землю и очертя голову удрать за границу?.. Лучше на родине смерть принять, чем жить на чужбине...» — «Почему и с какой целью вы брали у англичан оружие?» — «Чтобы воевать против Советской власти, вернуть Бухару бывшему эмиру, а Туркестан — ханам и баям».

Кейли недолго упражнялся в громкой читке, вначале пропуская целые строчки, потом что-то бубнил себе под нос и, наконец, вовсе умолк, возмущаясь болтливостью Ибрагим-бека, своего бывшего агента. Кто мог подумать, что этот дерзкий, бравый офицер из дворцовой охраны эмира бухарского, спровоцированный и завербованный им, Кейли, еще в пятнадцатом году, когда тот приезжал в Афганистан, так легко развяжет язык, выболтает имена его, Кейли, Лоуренса, многих доверенных лиц английской секретной службы, наставлявших Ибрагим-бека, как бороться с Советской властью.

Возмущению Кейли не было предела... Шкурники! Кого угодно могут предать — всех и вся! Стоит им угодить в руки красных, и, ослепленные страхом, они продадут и отца родного... Чего ради Ибрагим-бек молол языком о пулеметах, винчестерах, боеприпасах, присланных его отряду... Зачем он, негодяй, назвал имена английских эмиссаров?! Не мог свалить на немцев, на французов, как учили... Хоть на японцев! На кого угодно, но только не на англичан! Зачем было трепаться о его, Кейли, увлечениях? Кого, кроме Кейли, волнуют старинные национальные украшения азиаток, терракотовые фигурки или древние рукописи? Да и что смыслят в них эти дикари? Им они до чертиков, а для Кейли — это смысл всей жизни.

Любителю древностей было от чего печалиться. Крах басмачества хоронил и его заветную мечту заглянуть самому, как это сделал в восемнадцатом году генерал Маллесон, под древние курганы Парфии, Багабада... А сколько там еще ненайденных кладов парфян, массагетов, дахов... Парфянские ритоны, золотые цепи, буддийские божки, хранившиеся в коллекциях Кейли, — это лишь жалкая толика бесценных сокровищ, скрытых под древними холмами Каракумов...

На лице Кейли мелькнула тень беспокойства: это же явный провал! Скандала не миновать... Сейчас в Лондоне начнут дознаваться: «Кто вербовал этого недорезка Ибрагим-бека? Кто дал ему пищу для излишних разговоров?» Вовек не оправдаешься...

Эмиссар с досадой подумал о Лоуренсе... Этот первый поднимет вопль, Кейли наперед знает, что тот скажет: «Стоило мне уехать, оставить вас одних, как тут же опростоволосились. Вам наплевать на идею «цветного доминиона». Не вами выстрадана... И все от того, что в ваших жилах, Кейли, не бьется кровь истинного британца, вас не волнует престиж Великобритании...»

Разве Кейли заслуживал такого упрека? Кто лез из кожи ради победы басмаческого движения? Он — Кейли! Он может это доказать где угодно. В сейфах хранились горы шифровок, зафиксировавших все его действия. Разве не он исправно и щедро отправлял в Каракумы, в Бухару, на Памир оружие, боеприпасы, инструктировал главарей крупных басмаческих отрядов, не забывал пристегнуть к ним своих надежных соглядатаев. И к этим приставлял по паре глаз... Так-то оно вернее. В Иране и Афганистане Кейли создал пункты по формированию отрядов из одних курбашей, которые, перейдя советскую границу, становились во главе крупных или мелких отрядов. Когда же стало трудно с пополнением басмаческих отрядов — местные дайхане, скотоводы отказывались идти в ряды басмачества, то Кейли и тут нашел выход — стал посылать подкрепление из афганских и иранских туркмен, сынков тамошних феодалов и купцов.

А сколько его лучших агентов рыщут по Каракумам, скольких он завербовал в Иране, Афганистане... Разве не он через верных людей вырвал Платона Новокшонова из рук чекистов? Того самого Новокшонова, то бишь Хачли, теперь уже с новой кличкой Сутулый, который сейчас среди иранцев вербует агентуру. А Джапар Хо-

роз, Нуры Курреев, Грязнов... Да каждый из них стоит целого басмаческого отряда, если не больше.

Если бы Илли Ахун не был таким самонадеянным, послушался Джапара Хороза и, прежде чем очертя голову ввязываться в бой с красными, навел бы порядок в своем отряде, пристрелил хотя бы с десяток для острастки, не сидеть бы ему сейчас за решеткой. О, нет худа без добра. Теперь все, все надо валить на Илли Ахуна, опровергнуть он не сумеет. Не мешало бы приписать, как духовный старец кичился дружбой и благосклонностью самого Лоуренса. Потому и повел себя спесиво с Джапаром Хорозом. Кто знает, какие тайны доверял ему Лоуренс, и неведомо пока, как ведет себя Илли Ахун на допросах у чекистов. Может, он окажется говорливее Ибрагим-бека...

Так складывались в голове Кейли строки докладной. Умело составленная, она должна обелить его в Лондоне, не поколебать, наоборот, укрепить у начальства веру в него, как в делового, умного эмиссара, не щадящего себя ради интересов британской короны. И не его вина, что обстоятельства порою оказываются сильнее человеческих желаний и возможностей. Тут ты будь хоть самим Соломоном, но Восток есть Восток...

Кейли все же надеялся на свое умение блеснуть донесением. Любую оплошность, даже провал, он мог так красочно, искусно разрисовать, будто это была тонкая, заведомо продуманная операция. Так ему удавалось срывать у начальства похвалу, а то и щедрое вознаграждение. И так на протяжении всей службы в Интеллидженс сервис...

Вечером, когда Кейли остался наедине с Джапаром Хорозом, он узнал, что его любимец привез не только худые вести, но и такое, что обрадует и вызовет похвалу лондонских шефов, при условии, если, конечно, умно преподнести это. У Кейли даже дух перехватило: в Мерве создана крупная разветвленная антибольшевистская организация со своей типографией, газетой и будто там все готово для вооруженного восстания. Но рассказ агента был беден деталями, фактами, так как сам он в Мерве не бывал, слышал краем уха от Нуры Курреева, который прихвастнул, что встречался с руководителями подполья и будто ждет их письмо-обращение к английскому консулу в Мешхеде. Дудки! Если такое послание появится, то оно прежде побывает в руках Кейли...

Но английский эмиссар не дурак, чтобы вот так, с ходу, поверить первому слову агента. И Джапара Хороза тоже на мякине не проведешь — ведь он проверял мимоходом Курреева, выходил на трех агентов. Двое из них, надежные люди, подтвердили существование в Мерве националистического подполья.

В другое время Кейли едва ли так легко поверил бы этой необычной новости, но ошеломленный крахом басмачества в Средней Азии, еще не отдавал себе ясного отчета, как доложит лондонскому начальству, он сейчас невольно искал что-нибудь утешительное, возможно, сенсационное. То, что способно завуалировать, скрасить поражение и замазать глаза руководителям секретной службы, которые уже ищут козла отпущения, и такой жертвой наверняка может стать не кто иной, как сам Кейли. А тут сама удача, которую он назвал «громоотводом», плыла ему прямо в руки... Бери, не зевай! Конечно, одного только этого факта хватило бы с лихвой для составления красочного донесения, способного на время — только на время, а там видно будет — утешить начальство и подсластить горечь разгрома басмачества, провал планов вдохновителей «желтого доминиона» или «цветного доминиона».

Однако эмиссар с донесением торопиться не стал, решил дождаться Нуры Курреева, который, если только он жив, должен вот-вот появиться в Мешхеде.

Нуры Курреев застал Кейли на веранде, за завтраком, состоявшим из вчерашних сандвичей и кофе, похожего на бурду. Поговаривали, что Кейли даже личного шофера-пенджабца, преданного ему человека, уволил лишь за то, что счел его аппетит слишком неумеренным для слуги.

Каракурт, крепко сбитый, с длинными, как у гориллы, руками, с блестящими, маслянистыми глазами, сидел перед англичанином развалясь, бесцеремонно разглядывая его, будто видел впервые. «Отчего его глаза так сверкают?.. Неужто терьякеш? Успел опиума накуриться?.. И большерукий... Раньше что-то не замечал. На кого он похож?..» И Кейли вспомнил село с родовым поместьем старого тестя, древнюю церковь, у которой жил бобыль-могильщик с такими же неестественно длинными руками, как у этого молодого нагловатого туркмена.

Действительно, Курреев держался независимо, как купец, имевший за душой красный товар, которому знал истинную цену. Нуры чуть отодвинулся от Кейли, жарко дышавшего ему в лицо, снял его руку со своего плеча, словно это было ему неприятно. Затем демонстративно поднялся с дивана, прошел широким, уверенным шагом на веранду и, хотя ему вовсе не хотелось есть, схватил со стола сандвич и впился в него крепкими зубами.

— У шефа кофе-то мог бы быть покрепче и качества лучшего, — Курреев, морщась, глотнул из чашки и с переполненным ртом крикнул слуге, находившемуся за стеклянными дверями кухни. — Эй, ты! Завари-ка кофе! Не такую похлебку! Свежего, покрепче!

«Скотина! — Кейли побагровел от возмущения. — Дикарь неумытый! Где ты его пил — «качества лучшего?!» — Кейли вымученно улыбнулся, приказал слуге, чтобы тот заварил кофе, присланный из Египта.

Смутная тень подозрения мелькнула в голове Кейли: так грубо, нарочито нагло ведут себя усердно проинструктированные, начинающие немецкие агенты... Мысль эта тут же сменилась беспокойством. Спустить бы этого наглеца с веранды... Но Курреев ничего еще не рассказал. У, дрек мит пфефер — дерьмо с перцем! Такому запросто с немцами связаться. Те не поскупятся, если уже не перекупили... Нет, не успели! Откуда! От Курреева еще дорожной пылью пахнет, а сам он навряд ли догадается к немцам пойти... Может, с Джапаром Хорозом снюхался? Исключено. Джапар родовит, считает себя чуть ли не ханом, а этот — босяк... С чего же он так беспардонен? Опиума перекурил...

Курреев действительно накурился опиума. Однако эмиссар не подозревал, что происходило в тот момент на душе Нуры, принявшего для храбрости изрядную дозу наркотика. Нечеловеческого напряжения стоила ему эта игра. Иного выхода у него не было — страх, извечно точивший его душу, подстегивал плетью. И Курреев, зная свою трусливую натуру, порою до тошноты презирал себя, но еще больше, с глухой яростью, до одури, ненавидел тех, кто стоял над ним, повелевал им, ибо они всегда вызывали в нем чувства трепета и гнетущего унижения. Он все чаще вспоминал своего отца, все чаще виделись его неестественно, как мелкие монеты, закругленные глаза, то панически бегающие, то застывшие в ужасе, а в ушах все чаще раздавался его по-бабьи испуганно-визгливый голос или нервный, угодливый

смешок. Только его, родного отца, винил Нуры в своей трусости: все от породы, яблоко от яблони недалеко падает...

...В Мерве, у зеленого базара, по соседству с караван-сараем, в кирпичном доме, где жили братья Какаджановы, было душно и жарко. Его удивило, как много там мух. Жирные и полусонные, они бесшумно летали по всему дому, засиживая старинную массивную мебель, стены, белые занавеси на окнах. Но больше всего Нуры поразило то, что братья не замечали, как мухи, облепив их наголо выбритые головы, садились на лицо, у влажных уголков губ. Лишь однажды старший Какаджанов, Беки, вяло махнул рукой, будто не отгонял, а, наоборот, приманивал их к себе.

Братья со стороны походили на загипнотизированных кроликов, а Курреев, с которым они встречались и раньше, всем своим видом напоминал удава, готового проглотить их живьем.

— Как можно?! — Беки опомнился первым. — Мы сразу... двум хозяевам. Каждый день ждем, когда нас прибьют...

— Кому нужны ваши заячьи души? — Курреев прихлопнул муху, севшую ему на шею.

— Два хозяина — это многовато, — продолжал канючить Беки. — Да нет у нас этой типографии! Я еще тогда говорил... Отпечатали с грехом пополам десяток-другой листовок... Чекисты накрыли станок, а нас аллах уберег...

— Типография-то была? Ну, станок этот самый!.. — Курреев бросил дохлую муху под ноги, на ковер, и почувствовал тупую боль под животом, на лбу выступила испарина... Надо уходить, заметут еще. Заметив, как Беки с любопытством уставился на него, Нуры зло передразнил Какаджанова: — Два хозяина, два хозяина! Надо будет, и третьему будете служить. Советам! Не хотите?.. У них джигиты посмелее. Только меня слушайтесь! Иначе, — Каракурт выразительно ткнул указательным пальцем в горло, — иначе никому служить не придется. Чтобы завтра к вечеру все бумаги мне выправили. Какие, я скажу... Только сюда я больше не приду. Бумаги принесете сами. Куда, я дам вам знать...

Насмешливый голос Кейли вернул Курреева издалека.

— Эй, Нуры, пей кофе! Тебе нездоровится? Или вздремнул?

— А-а-а... — вымученно улыбнулся Курреев. — Мне что-нибудь покрепче...

— Есть водка, вино крепленое. Может, джина хлебнешь?

Кейли весело хлопнул в ладоши — в дверях вновь закорючкой возникла фигура слуги. Он даже обрадовался, что Курреев сам попросил спиртного: выпивший человек скорее сболтнет то, о чем хотелось бы умолчать трезвому. Слуга тут же поставил перед ними два стакана с джином — для Кейли разведенный с тоником, для Нуры чистый.

— Я привез целый санач* новостей, — Курреев хлебнул из стакана и, не сводя глаз с англичанина, продолжил: — Такие вам и во сне не приснятся...

— Давай выкладывай. — Кейли, оскорбленный снисходительным тоном агента, заерзал на месте: «Питекантроп несчастный! И где так складно лаять научился? Недавно еще у Джунаид-хана бессловесным столбом торчал... Погоди ж, прохвост, проучу я тебя!» — И все же эмиссар спокойно повторил: — Выкладывай, Нуры... Послушаем, чего стоят твои новости.

— Боюсь продешевить, шеф. Знать хочу наперед, сколько отвалите мне за работу... Я мог голову потерять.

— Кота в мешке не покупаю. Мы никогда не обижали своих. Слово джентльмена!

Курреев бережно достал из хорджуна увесистый сверток, завернутый в темный платок, развернул не спеша — там были бумаги, газеты, листовки, — аккуратно разложил их на три отдельные стопки и многозначительно посмотрел на эмиссара.

— Вот, шеф, — Курреев протянул три листа, испещренные в два столбца только одними именами. — Тут все двести восемь членов подпольной организации Мерва... Многие в список не вошли. Верховодит ими Тайный комитет из семи, точнее, из девяти членов. Имена семерых обведены зеленым...

— Программа организации? — Кейли вперился глазами в список.

— Есть и программа. Вооруженное восстание в Мерве. Раз. Одновременно за оружие берутся в Ашхабаде, Теджене, Хиве, Кизыл-Арвате, Ташаузе и на западе Каракумов. Перебить всех русских, большевиков в пер-

* Санач — кожаный мешок.

вую очередь, распустить Советы. Это два. Провозгласить буржуазную автономию под протекторатом Великобритании. Это три...

— Все подполье сформировано в организации? Или только в Мерве?

— Только формируются... Тайный комитет курьеров разослал, создают подпольные организации по всему Туркменистану.

— А оружие, боеприпасы?

— Есть кое-какие остатки... Не густо. Ну, надеются, что друзья-англичане помогут, — Курреев подал два лощеных листа — Вот тут программа организации и ее ближайшие задачи...

— Кто глава? Имя?

— Да... — спохватился Курреев. — Имена двух членов Тайного комитета держатся в строгом секрете, они у большевиков работают. Один из них устроен в Ашхабаде, в одном государственном учреждении. Он глава, имени его я не знаю. Его настоящего имени, говорят, не знают даже члены Тайного комитета. Все указания исходят от братьёв Какаджановых.

— Как построена организация? Ее структура? — Кейли, услышав фамилию Какаджановых, почему-то подумал о Чокаеве: «Почему это казах расспрашивал у Джапара Хороза о братьях?»

— А-а... разбиты на семьи. В каждой по шесть человек — это ядро организации. Все шестеро необязательно знают друг друга, но каждый знает вожака семьи. Вступающий в организацию обязуется завербовать по три новых члена. В организацию принимают очень строго... Провалов опасаются. Прием новых членов проходит торжественно, новички клянутся на Коране и маузере... Вот и сама присяга, — Курреев развернул лист бумаги.

Пока Кейли просматривал присягу, Курреев готовил новые

— Вот, шеф, газета подпольной организации, ее листовки... Это во второй раз типографию создают, а первую чекисты накрыли. Да обошлось, никого арестовать не сумели. А эта типография солидная, чекистам до нее не добраться.

Кейли, не скрывая своего восхищения, радостно потер ладонями, нетерпеливо вырвал из рук Нуры газету.

— А солидность требует денег, — продолжал Кур-

реев. — За спасибо никто под чекистские пули лезть не желает...

— Говори, сколько?.. Не тяни жилы.

— Вот, расчеты у меня тут. Точные, без дураков. Члены Тайного комитета считали... К примеру, для членов Тайного комитета, а их девять, по двести фунтов стерлингов каждому ежемесячно. По сто фунтов для содержания лошадей, корма... Много затрат на подпольную типографию, на содержание двух журналистов, печатников, на приобретение станков, шрифта, за аренду помещения... Вот тут счета. Одна только покупка бумаги обошлась в переводе на английские деньги в четыреста шестьдесят два фунта стерлингов. Ведь бумагу свободно не купишь, только за взятку...

— Разве в Советском Туркменистане английские фунты стерлингов в ходу? — съязвил Кейли.

— А рубли зачем, если Советам после восстания конец придет... Наши люди предпочитают английскую валюту, не знающую падений, как сама Британская держава. Сейчас деньги для подпольной организации дают два именитых человека, которые имеют счета в заграничных банках... Они-то и хотят, чтобы их расходы оплачивали только фунтами стерлингов или золотом.

— Кто это такие?

— Одного зовут хан Човдурский — известный человек, и Атда-бай, хромой миллионер из Конгура. Два его сына учатся в Стамбуле, третий — в Германии. Вот здесь, шеф, в бумагах все записано...

Кейли придвинул к себе бумаги и долго сидел над ними, придирчиво изучая каждый счет, каждую листовку. Его на миг поразили педантичная аккуратность оформленных документов, пунктуальность в расходах, зафиксированных счетами, дотошная точность — качества, не очень-то свойственные туркменам. Но это чувство появилось и тут же утонуло в бумажном ворохе, хотя удивительно, что такой бывалый разведчик мог оказаться во власти этих бумаг, которые на самом деле буквально заворожили Кейли. Потом его снова охватило смутное беспокойство, снова вспомнил Чокаева... Почему тот расспрашивал о братьях Какаджановых? Ни о ком больше не спросил... Он ведь уже однажды слышал о мервской типографии. От кого? От Вахидова и того же Джапара Хороза... Может, не стоит пороть горячку? А если французы перехватят подполье? Или, еще хуже, нем-

цы? Скандал... Может быть, в этих документах, в этом подполье единственное спасение его, Кейли. В иное время английский эмиссар, кто знает, осмотрительнее отнесся бы к этой необычной новости, но в замешательстве от разгрома басмачества, страшась ответственности за это, он потерял голову, предал забвению совет своего тестя — старого разведчика, учившего никогда не пренебрегать врагом, который может оказаться хитрее тебя.

Кейли поспешно собрал бумаги и прошел с ними в соседнюю комнату, загремел там ключами от сейфа, вернулся вскоре, держа в руках синюю чековую книжку.

— Ты забыл одну существенную деталь, — Кейли, сев за стол, развернул чековую книжку. — Пароль для связи с Мервом.

— Я не забыл, шеф, — Курреев расплылся в самодовольной улыбке. — Пароль скажу сразу, как получу чек.

— Черт с тобой, Курреев, валяй! — Кейли, сопя, заполнил два чека на предъявителя и протянул их Куррееву. — Один на крупную сумму — для организации... Второй — тебе, за службу.

Курреев учтиво склонил голову. Кейли почему-то показалось, что этот нагловатый туркмен воровато отвел глаза, когда, едва скрыв усмешку, произнес пароль.

* * *

До торговой фирмы Вели Кысмата — у персидских властей Вилли Мадер зарегистрировался под именем турецкого предпринимателя — было всего полчаса ходу, но Нуры они показались целой вечностью. Каракурт не вошел, а буквально ворвался в помещение фирмы, и по его возбужденному виду Мадер понял, что тому удалось надуть английского эмиссара. Не утерпев, сразу спросил:

— Волк или лиса?

— Волк, мой тагсыр, только волк!.. У лисы одни разговоры да увертки...

— Вы настоящий туркменский волк! — Мадер панибратски хлопнул Курреева по спине. — Я знал, что вы обведете этого порхатого пройдоху. Берекелла! Молодчина, Каракурт! Каков был мой план? А?

— Ваш план был гениален, мой тагсыр! Ни один мудрец не смог бы разгадать. На что хитер Кейли, и тот

не допер... Но и ваш покорный слуга тоже достоин своего хозяина, — не преминул похвастаться и Курреев, протягивая Мадеру чек. Тот чуть ли не вырвал его из рук Курреева, близко поднес к глазам, воскликнул:

— Тридцать тысяч фунтов стерлингов?! Для Кейли это щедро. Из этой суммы, мой эфенди, вы получите за службу десять процентов вознаграждения... Остальные пойдут в фонд германской разведки. Совсем недурно, мой друг. А?.. — И Мадер заговорил хвастливо, в менторской манере. — В такой войне, мой эфенди, нравственные законы неписаны. Главное — опередить противника и нанести ему неожиданный удар, чтобы он не смог даже вздохнуть, то есть ответить тебе. Если же враг силен, шансы на успех или неудачу равны, тогда не посчитай за позор отступить в случае необходимости, но только на время, и... затаись или притворись, что тебе не до боя. А сам тем временем набирайся сил, опыта, умения, изучи соперника и возьми реванш — доконай врага! Помните, мой эфенди, — сила разведчика в его выдержке, терпении. Надо уметь, не выдавая себя, выждать, выбрать удобный момент, чтобы потом обрушиться на врага, как смерч в пустыне!

У германской разведки еще с первой мировой войны имелись свои несведенные счеты с английской секретной службой. И немецкие разведчики, теперь молившиеся на своего новоявленного фюрера Адольфа Гитлера, недавно пришедшего к власти, старались расквитаться с Интеллидженс сервис. Любыми путями, не гнушаясь ничем, начиная от перевербовки английских агентов, дезинформации и кончая провокацией и шантажом.

А идея операции «Подполье Мерва» принадлежала самому Мадеру, вечно снедаемому неудовлетворенным честолюбием, ему, члену нацистской партии, немало сделавшему для прихода к власти Гитлера. И теперь, чтобы напомнить о себе шефам, побравировать своей находчивостью и предприимчивостью, он пустился на авантюру, в которую вовлек и Нуры Курреева.

— Что с вами происходит, мой эфенди? — Мадер потрепал по плечу Курреева, который вдруг как-то сник, его только что горевшие огнем глаза потускнели. — День-то сегодня какой! Мы должны отпраздновать победу... Если к десяти процентам прибавить ту сумму, которую выдал вам этот олух Кейли, то на вашем счету теперь будет кругленькая цифра. Выше голову, мой друг! Хайль!

— Хайль! — Курреев вскинул руку в нацистском приветствии, но в глазах его застыл страх. — Вам, мой тагсыр, ничто не угрожает... У вас все ясно. А я слуга двух господ. Кейли не простит мне, как не простили бы вы мне такое. Я помню ваши слова о том, что законы разведки безжалостны...

— Полноте, мой эфенди, — Мадер снял очки, потер глаза и стал совсем непохож на себя: с короткими, будто опаленными ресницами, с впалыми, как у мертвеца, глазницами. — Вам нечего опасаться. Посудите сами... В Мерве антибольшевистская организация существовала? Маленькая, но существовала... Типография была? Там успели издать один номер подпольной газеты и листовки? Успели! Значит, типография тоже была... Все остальное — бумажки, счета, расчеты, Тайный комитет и все прочее — туфта. Блеф! Пускай Кейли попробует перепроверить, даже попытается на наших людей выйти... Им не поверит, придется на поклон к товарищам чекистам пойти. Потом вы-то, мой эфенди, не виновны, что чекисты замели всю организацию в самом ее зародыше. И пусть Кейли пеняет на себя, что запоздал с покупкой. Где он был раньше? — Мадер, водрузив очки на нос, усмехнулся с хитрецой. — Пусть чекистам свой счет предъявляет, а не вам...

— А Кейли не поймет, что листовки, которые я ему всучил, отпечатаны в Берлине?

— Самые опытные эксперты не смогут этого доказать, мой эфенди. Листовки отпечатаны на бумаге, вывезенной из России еще до революции. Шрифты — из Казани. Комар носа не подточит, как говорят русские... Если Кейли поймет, что его объегорили, то ему самому будет невыгодно признаться в том. Это означает конец его карьере разведчика... А потом, может быть, вам уже теперь не стоит играть в две руки?

Курреев чуть повеселел и вдруг шумно потянул носом воздух. Мадер удивленно вскинул брови.

— Труп врага сладко пахнет, — ноздри Курреева раздувались широко, по-собачьи, в глазах вновь мелькали злые огоньки.

— Да, мой друг! — Мадер, ощеря крупные зубы, фамильярно обнял Курреева за плечи. — Кейли, считай, теперь труп. Я почти два десятка лет ждал этого часа. Теперь мы квиты, господа томми!

Они оба довольно рассмеялись, хотя уже каждый был занят своими мыслями. Курреев нетерпеливо по-

лез в карман и, нащупав хрусткую бумажку чека, успокоился. Вдруг вспомнил о Грязнове... Да, это стоящая находка, особенно для Мадера. Правда, он знает о нем... Но не все. Вот за кого можно слупить! Сказать? Нет, слишком жирно для этого долговязого скупердяя. Лучше в другой раз, тогда можно сорвать с Мадера побольше. Не то продешевишь... Вон по глазам немца видать, что думает: уж больно жирный кусок отхватил Курреев, не по рангу...

Мадер взглянул на часы — успеть бы в банк до закрытия, поскорее получить фунты стерлингов и перевести на казенный берлинский счет: пусть знают, на какие хитроумные операции способен Вилли Мадер, который достоин, чтобы его отозвали в Берлин ведать азиатскими делами, а не держать такого аса в какой-то задрипанной Персии. О, тогда бы он развернулся!.. Мадер чуть не схватился за голову — какой же он кретин! Он не совершит такую глупость, в Берлин отправит лишь половину денег, а оставшуюся часть переведет на свой швейцарский счет... Всякий труд положено оплачивать. Начальство же не всегда догадливо, да и скуповато. Тут своя рука владыка. Вон Курреeву какой куш достался. А он, Мадер, никак кадровый немецкий офицер, барон, профессиональный разведчик. За ним право хозяина...

И немецкий эмиссар, достав из кармана записную книжку, торопливо сделал в ней какие-то пометки.

НЕ ЗАТМИТ НЕБО ВОРОНЬЕ

Контрреволюционные эмигрантские центры активно пропагандируют и насаждают в настоящее время среди туркменской эмиграции фашизм. Об этом свидетельствует следующий документ, исходящий от... Джунаид-хана... адресованный главарям бандитских шаек и руководителям туркменской эмиграции, находящимся в Иране...: «Анна-Мурад-Ахун на вас обижен. Об этом он нас уведомил своим письмом. Его не следует обходить и всегда надо слушаться его указаний. Фашистский строй существует во многих странах... Теперь надо разворачивать работу. Анна-Мурад-Ахуна уважайте как магометанскую религию, ибо он... указывает нам правильный фашистский путь. Надо работать так же непримиримо, как работает глава «Яш Туркестана» Мустафа Чокаев... Если верите Мамед-Ахуну, то только в этом случае ориентируйте его о фашизме».

В этом же документе Джунаид-хан пишет о подготовке, которая им ведется к вооруженной борьбе с Советской властью: «Сообщаем в порядке информации, что силу имеем солидную, получили много оружия и конский состав. Полученные винтовки и пулеметы сложены на место под замок. Передайте благонадежным лицам, что через 8 месяцев начнется серьезная борьба с большевиками, к этому времени будьте готовы. Следующим письмом дадим точные указания о том, как будет происходить борьба, и если она не состоится, то свяжитесь с Анна-Мурад-Ахуном, надо его слушаться...»

Из докладной записки Управления пограничных и внутренних войск НКВД Туркменской ССР, декабрь 1937 г.

Джунаид-хан умирал... Он умирал в богатой шестикрылой юрте из светлого камыша, крытой белым войлоком. Хан редко вставал, мало с кем общался, предпочитая одиночество. Его хотели было перенести в теплый



дом, но он воспротивился: «В четырех стенах я задыхаюсь...»

Как всегда, он лежал на высоких подушках, под своей неизменной дубленкой, наброшенной поверх стеганого верблюжьей шерстью одеяла; несмотря на свой заскорузлый ревматизм, старик зиму и лето проводил в юрте. Тому учил и детей, учил, но не приучил. Они, глупцы, норовили всякий раз поспать за глинобитными стенами — не только потому, что там тепло и уютно, но и потому, что там, в постелях, их дожидались жены. Джунаид-хан не был скопцом. Откуда же тогда дети?!

Джунаид-хану не хотелось в дом, где он чувствовал себя словно в западне. Здесь же, за тонким камышом и мягким войлоком, радующим взгляд, он слышал все: кто приехал и уехал, что привезли его приказчики из Кабула и Тегерана, какие нынче цены на кандагарском или пешаварском базарах... Даже досужая болтовня слуг, в иные времена доводившая его до белого каления, теперь не мешала хану, ослабевшему на оба уха, предаваться своим думам.

Какой кретин выдумал, что ханам сладко и легко живется, будто все дни свои проводят они в блаженстве и неге? Может, кто так и жил, но только не он, Джунаид-хан, бывший хивинский владыка. Бывший. Э-хе-хе!.. Хан! Язык без костей... Наверное, легче на том свете пройти по Сыраду — фантастическому сказочному мосту, ведущему правоверных в рай, чем в этом лживом мире стать ханом, таким титулом овладеть.

Все началось с незабвенного отца, досточтимого Хаджи-бая. Сын благодарен покойному родителю, что тот отважился в свое время свершить хадж — паломничество в святую Мекку, удостоился высокого сана хаджи, чем во многом облегчил сыну жизнь, проторил дорогу к сердцам влиятельных духовников, именитых богачей. Для простых же смертных он — сын истинного правоверного, аскета, пожертвовавшего ради ислама своим покоем и здоровьем. С какой стати свершил отец столь далекий путь? Не ради одной славы... Да и не занимала тогда его, Джунаид-хана, отцовская затея. Одно он ощущал весомо, зримо: отцовский хадж помог ему привлечь к себе внимание людей, обрести друзей, знакомых, попутчиков, — пусть временных, но работавших на его популярность. Недаром говорят: пока жив отец, обретай друзей. И он неизменно следовал этому мудрому завету.

Ну а первым ханом в своем роду он стал уже благодаря личной решимости, когда, не дрогнув, убил брата, присвоил его добро... Правда, иные винили его в коварстве, алчности и жестокости... Да что ему, Джунаид-хану, до людских пересудов, которые, подобно амударьинской волне, размывают свои же берега. Зато уже тогда кое-кто стал величать его ханом. Звание сердара тоже далось нелегко: трижды восставал против Исфендиар-хана, прежде чем завоевал славу «борца, освободителя туркмен» от власти этого венценосного сифилитика.

Исфендиар-хан же, чтобы откупиться от этого властолюбивого туркменского бая, решил присвоить ему звание сердара — вождя, военачальника. Трусливый жест хивинского хана лишь разъярил Джунаида, возбудил в нем неуемный аппетит к власти, и он в памятном шестнадцатом году поднял мятеж, именем турецкого султана объявил себя хивинским ханом. Конечно, не без ведома шефов германской разведки. Кто не знал, что Турция, воюя против России, против всех стран Антанты, водила дружбу с Германией... Вылазка Джунаида в Хиве была увесистой оплеухой белому падишаху. В ту пору на помощь Исфендиар-хану пришли казачьи войска русского царя, и Джунаид-сердар, потерпев поражение, ушел в Каракумы, а оттуда в Иран.

Власть! Сладкая и дурманящая... Наконец-то она, как сказочная птица Симург, далась в руки Джунаиду. В январе восемнадцатого с двумя тысячами нукеров Джунаид-сердар вошел в Хиву... Вошел победителем! Богатеи подобострастно вручили ему ключи от города, узбекские баи целовали полы халата, а его конь топтал на мостовых ковры, услужливо выстеленные горожанами. Теперь те же самые казачьи части не стреляли, как прежде, в джунаидовских всадников. А сам полковник Зайцев, став уже белоказачьим, узрел в Джунаид-хане подходящего союзника в борьбе с Советской властью, завел с ним дружбу.

Хивинский Исфендиар-хан, хотя оставался на троне, покорился Джунаид-хану, безропотно исполнял всякую его волю. Чуть позже, осенью того же года, Джунаид-хан, расправившись с Исфендиаром руками своих сыновей, передал ханский престол Сейиду Абдулле, человеку ничтожному и безвольному, а сам продолжал оставаться диктатором Хивы. Править бы да жить припеваючи, властвовать да повелевать бы ему людьми именем всевышнего, но ниспослал аллах на землю дьявола, ка-

ру под обличьем Октябрьской революции, эхо которой уже дошло и до этих мест.

Лучше бы сказали, что мир перевернулся, что на белом свете воцарились злые аждарханы — драконы. Такое еще можно было бы понять, а то — революция!.. Народ!.. Пролетариат!.. Диктатура! И мир обезумел. И он, Джунаид-хан, изо всех сил пытался остановить это безумие. Аллах всемилостив, услышал мольбы правоверных...

Летом 1918 года на землю Закаспия — так тогда называли Туркмению — ступили батальоны солдат в пробковых шлемах, власть захватили контрреволюционные силы, в Асхабаде само объявилось буржуазно-националистическое правительство, в которое вошли также друзья и единомышленники Джунаид-хана.

Эта весть обрадовала Джунаид-хана, вселила в его сердце надежду на возвращение старых, добрых времен, и он отрядил в Асхабад караван с зерном, одеждой, оружием и боеприпасами. Но вскоре прибыл гонец — хана самого вызывали в Асхабад. Он тут же собрался в дорогу, подался через Каракумы, на юг... Мог бы ослушаться, не поехать, да ему самому эта поездка была нужна, как никогда. Ханская разведка уже знала, что английские войска стоят и на железнодорожной станции Каахка, куда часто наезжал генерал Маллесон, глава британской военной миссии в Закаспии.

Маленький отряд во главе с Джунаид-ханом приближался к Каахка. На всадников неожиданно дохнуло трупным смрадом, и они, не останавливая коней, хотели проскочить то место, откуда доносился тяжкий дух, но любопытство пересилило брезгливость. Конники свернули — взору предстала узкая лощина, вся усеянная трупами. Судя по всему, здесь днями шел кровопролитный бой, настолько тяжелый, что, видимо, в живых никого не осталось. Если и были раненые, то и они, беспомощные, истекли кровью или погибли от жажды.

Всадники спешились. Среди убитых больше красноармейцев в вылинявших гимнастерках, в старых шинелях, дайхан в драных халатах, рядом валялись старые русские трехлинейки, допотопные берданки, бутылки, обшитые кошмой. Поодаль — в гордом одиночестве — тела нескольких сипаев и богато одетого английского офицера, который будто собрался не на бой, а на званый обед. Сипаи тоже выглядели красочно — в новень-

ких френчах цвета хаки, в коричневых пробковых шлемах, в желтых кожаных крагах. Тут же винчестеры, маузер, легкий пулемет, не расстрелявший всей ленты... Ветер пустыни завывал в горлышке пустой фляги.

Кто-то позарился на флягу, поднял ее и торопливо сунул в хорджун.

— Что, Курре, фляжка понравилась? — спросил всадник в рыжей лисьей шапке. — Англичане, брат, народ культурный... Поди, здорово их потрепали, что и трупы своих не предали земле. Перенги есть перенги — это европеец! Англичане тоже умирают в новых нарядах. Как наши джигиты — в добрых кумачовых халатах.

— Да, хан-ага... — ответил Курре, но, увидев в глазах хозяина лисьей шапки тень недовольства, осекся.

— Сколько можно говорить тебе, Курре?! Не величай меня так, пока не доберемся до своих... Там можешь так называть, а сейчас забудь мое звание, имя... Не ровен час, рыщут вокруг красные. Труса праздновать не пристало, но поберечься не грех...

Курре молча склонил голову.

— Эшши, Эймир, Непес! — Джунаид-хан повел вокруг камчой. — Подберите-ка оружие, английское только, а к хламу кизыл аскеров не прикасайтесь... Свои нам поверят, а если на большевиков нарвемся, скажем, что англичан обезоружили...

Каахка встретила всадников рядами окопов, ощетинившихся колючей проволокой, пулеметами, пушками. На железнодорожных путях, сверкая свежей краской, стояли под парами два бронепоезда — «Три мушкетера» и «Стерегущий». По маленькому станционному поселку прогуливались солдаты в нарукавных повязках, выкрашенных в три цвета — белый, синий и красный. Сипаи, сопровождаемые важными английскими сержантами, в отличие от своих союзников-белогвардейцев шествовали четким строем, явно бравируя безукоризненной выправкой и шагом.

Джунаид-хан торжествующе поглядывал на своих спутников — дескать, знай наших, будто сам устраивал им смотр. Спокойствие, царившее в Каахка, грозный вид боевых орудий, парных английских патрулей тешили сердце Джунаид-хана, укрепляли его уверенность в предпринятой им опасной акции — встретиться с генерал-майором Маллесоном, заверить его в своей предан-

ности британской короне. Сейчас у англичан — сила! Недаром хан проделал такой далекий путь, недаром привез Маллесону в своем хорджуне награду самого эмира — орден «Бухарская Звезда I степени». И еще эмир передал ему под строгим секретом письмо, о котором Джунаид-хан боялся признаться даже самому себе. Послание эмира предназначалось только ротмистру Сеитмураду Овезбаеву и считанным офицерам из «туркменского командования», числившимся в штабе полковника Ораз Сердара, командующего белогвардейскими войсками в Закаспии.

Остерегался хан и англичан и большевиков — сколько страха от них натерпелся! Да разве только от них? Белые его тоже не жалели, требовали непосильное. Выше себя не прыгнешь...

В том памятном, восемнадцатом году ханские нукеры схватили на базаре в Хиве бродягу, оборванного и замызганного, показавшегося больно подозрительным, — голубоглазый, под мохнатой шапкой чуть отросшие светлые волосы, похож на русского и по-русски бойко разговаривал. Никак красный шпион! Но при людях не пожелал он говорить с Джунаид-ханом, хотя и шел на встречу с ним. Когда их оставили вдвоем — за ширмой, правда, стояли настороже Эшши и Непес Джелат, бродяга огляделся по сторонам и откуда-то из-под лохмотьев достал бумажку, подал ее хану. Тот, повертев ее в руках, кликнул Эшши и, не обращая внимания на протестующие знаки бродяги, приказал сыну прочесть, что там написано.

Письмо было очень коротким. Ханский сын прочел дважды, но ничего не понял, зато Джунаид-хан тут же уразумел, что человек, сидевший перед ним в обличье бродяги, — англичанин. Бумажка заговорила языком Маллесона, который приказывал поднять в тылу красных мятеж, захватить город Петро-Александровск, чтобы после навалиться на Чарджуй: его рабочие и дайхане, удерживая Закаспийский фронт, мешали наступлению английских войск на восток, на Ташкент. Приказ определял и дату выступления ханских отрядов.

В один из погожих дней ноября Джунаид-хан осадил город, но взять его не сумел: на помощь осажденным из Чарджуя по Амударье подоспел на пароходе красный отряд. Большевики свалились как снег на голову, разбили в бою ханских всадников, рассеяли их по пустыне.

Беда не ходит одна. В Ташкенте и в других городах Средней Азии чекисты разгромили контрреволюционную «Туркестанскую военную организацию», созданную английской разведкой. Эта глубоко законспирированная организация, состоявшая из офицеров бывшей царской армии, разработала план уничтожения Советской власти во всем Туркестане. Мятеж вспыхнул в нескольких городах Средней Азии, но свергнуть Советы удалось лишь в Закаспии, и то с помощью английских штыков. Во многих туркменских городах и селах на полтора года воцарилась власть англичан, белогвардейцев и буржуазных националистов. Контрреволюция, лелея мечту о захвате всего Туркестана, рвалась на восток, но путь ей преградил Чарджуй, под которым, вернее, у станции Равнина, стояли насмерть красные отряды.

Вот когда хозяева снова вспомнили о Джунаид-хане, пожелали лицезреть хваленого хивинского владыку, который почему-то сколько ни тужился, так и не выполнил приказа, не смог захватить Петро-Александровск. Овладей он городом — а это входило в планы мятежников — как пить дать, пал бы и Чарджуй, а там и Ташкент...

И Джунаид-хан спешил в Асхабад, где находилась резиденция британской военной миссии. Туда из Хивы можно добраться напрямик, есть дорога покороче, но хан решил все же заехать в Каахка. А вдруг Маллесон там?..

За железнодорожным полотном, в старом кирпичном доме Джунаид-хан разыскал войсковой штаб, спросил по имени знакомого русского полковника. Дежурный адъютант в офицерском кителе со споротыми погонами, юркий узкоплечий чеченец, подозрительно ощупал хана и его спутников злыми глазами, но, узнав же, с кем имеет дело, залебезил, доверительно сказал, что в штабе, кроме него и часовых, никого нет, посоветовал поспешить на вокзал, куда уехали все — ожидался приезд специального поезда самого Маллесона. Английский генерал возвращался с фронта, где устраивал смотр английским батальонам, Пенджабскому полку, отрядам пулеметчиков и легкой кавалерии, сражавшимся с красными под станцией Равнина.

На вокзале было многолюдно, но по лицам собравшихся, особенно железнодорожных рабочих, Джунаид-хан угадал, что их сюда согнали силой. Шеренги вооруженных сипаев, выставленные вдоль перрона, поддер-

живали идеальный порядок. Поезд прибыл раньше времени.

...Вечером Джунаид-хан, покачиваясь в салоне мягкого вагона, сидел напротив Маллесона, слушал его неторопливую речь.

— Вы туркмены — хозяева своей страны!.. Мы, видит бог, не желали войны, не собирались вмешиваться в ваши внутренние дела, предоставляя определить образ правления самому туркменскому народу... Об этом мы, ваши верные союзники, заявляли не раз перед всем миром. Мы позволили себе только одно вмешательство — в Асхабаде, когда на митинге железнодорожных рабочих тридцать первого декабря 1918 года выяснилась опасность для наших войск, временно расквартировавшихся в городе. Это когда какие-то горлопаны, комиссарские подголоски стали кричать: «Долой англичан!.. Оккупанты — вон!..» Эти вооруженные смутьяны затеяли свару, собирались напасть на наших солдат и офицеров. Все это для нас было обидно и не совсем безопасно, и мы прибегли к вооруженной силе, разогнали митинг, зачинщиков арестовали. Ими оказались, как и следовало ожидать, русские большевики...

— И правильно сделали, ваше высокопревосходительство! — поддакнул Джунаид-хан, уцепившись за повод, чтобы оправдаться за неудачу под Петро-Александровском. — Вот такие же горлохваты из Чарджуя разогнали моих лучших джигитов... Каких нукеров потеряли! Сам я, благодарение аллаху, спасся чудом. С большевиками надо говорить на языке пулеметов и маузеров...

— Мы тоже теперь пришли к такому выводу. — Маллесон не сводил глаз с сухопарого капитана Тиг Джонса, начальника разведки британской военной миссии в Закаспии, который старательно переводил его слова. Однако Джунаид-хану показалось, что Маллесон понимает по-туркменски. Генерал, беседуя с ним, даже не смотрел в его сторону, будто, кроме Тиг Джонса, здесь никого не было. — Я очень рад нашему взаимопониманию... Мы не варвары, мы не немцы, мы — древняя гуманная нация... Империализм английский и империализм германский — вещи разные. Лучше иметь дело с империализмом Англии, где живется гораздо свободнее, чем во Французской республике, чем с империализмом Германии, где режим равняется режиму Ни-

колая Второго... И если мы, англичане, предпринимаем кое-какие решительные шаги, то делаем это во имя будущего туркменской нации, во имя ее великого будущего... Учтите, хан, что все наши действия с ведома вашего правительства.

— Мы англичанам доверяем и без наших правителей, — с готовностью подхватил Джунаид-хан, — ибо все мы живем одной мечтой — поскорее избавить мир от большевистской заразы... Все туркмены благодарны вам, готовы на любой решительный шаг. Только не уходите из Закаспия... Без вас, англичан, нам, ханам и баям, всем порядочным людям каюк...

Тиг Джонс еще не успел перевести слова Джунаид-хана, как генерал наконец внимательно взглянул на своего собеседника, милостиво улыбнулся. Джунаид-хан окончательно убедился, что Маллесон знает туркменский язык, хотя тот и продолжал говорить по-английски:

— Да... Большевики более безопасны, когда они мертвы... Британская военная миссия полагает, что правительство Закаспия предпринимает мудрые шаги, готовясь подписать с нами соглашение о невыводе отсюда английских войск в течение двадцати пяти лет... Мы готовы на такую жертву, мы готовы на любой шаг, который может помешать большевистскому проникновению в Закаспии.

Маллесон еще долго рассуждал, но главное — посулил, что очень скоро пришлет в Хиву своих инструкторов, снарядит караван с оружием и боеприпасами, а следом, быть может, отправит и отряд легкой кавалерии сипаев. На помощь джунаидовским отрядам.

Сколько воды утекло с тех пор в Амударье...

— А что было потом? — Джунаид-хан припоминал те далекие годы и события. — Бежали, гады... Надавали кучу обещаний, убаюкали нас пустыми словами и предали. Оставили на растерзание большевикам...

Джунаид-хан поморщился — не то от горечи во рту, не то от горьких воспоминаний о тех страшных, несуразных, как кошмарный сон, днях, затянувшихся, будто в наказанье, на долгие годы...

Каракумы, Хива, Иран, снова Каракумы и снова Хива, Петро-Александровск, бегство, постыдное и унизительное, погони красных эскадронов, кровопролитные бои и ни одного выигранного крупного сражения.

О, аллах! Чем прогневил он, Джунаид, всевышнего, что восстала чернь оазиса и ему пришлось покинуть все — и хивинский дворец, и свою последнюю резиденцию Бедиркент, загнанным зверем заметаться по каракумским пескам.

Джунаид-хан восковыми костяшками пальцев нащупал у ног янтарные четки, взял их в руки и стал медленно перебирать бусинки, но успокоение не приходило: «О, аллах, милостивый и милосердный! Чем я прогневил тебя? Чем?! Разве я когда богохульствовал? Иль не молился тебе исправно и не справлял всех религиозных праздников? Не поклонялся святым и не учил тому детей своих и всю чернь, подданную мне?.. Хочешь, я принесу тебе в жертву целый гурт овец? Стадо быков? Верблюдов? Табун скакунов чистокровных? Людей, наконец!.. Я все смогу. Только смерть отвратить не в силах моих... Смени свой гнев на милость. Смилостивься, о праведный!.. Поистине, аллах прощающ и милосерд! Поистине, путь аллаха есть настоящий путь, и нам повелено предаться господу миров...»

Джунаид-хан, забываясь, громко запричитал—в дверях юрты мигом возникла бритая голова слуги, застывшая немым вопросом: «Вы звали, тагсыр?», но, увидев отрешенное лицо хозяина, тут же исчезла.

«О, всевышний! Смени свой гнев на милость! — Хан воздел к небу дрожащие руки. — Не ропщу я на судьбу свою. Ты не обделил меня сыновьями, не обошел богатством. Во всем Герате нет богаче меня человека... Чего ж ты хочешь? — спрашивал себя Джунаид-хан. — Что судьбу гневишь?!»

И то, о чем денно и нощно мечтал Джунаид-хан, ему хотелось утаить не только от чужих, от всего мира, но и от своих, даже от своих родных детей, наконец, от самого себя. Но разве обманешь себя? А его тайна? Святая святых... В могилу с собой унести? Даже на смертном одре он не осмелится признаться. Никому...

Джунаид-хан, кряхтя и вздыхая, достал из-под подушки серый листок бумаги, огрызок химического карандаша и, послюнявив его, долго царапал что-то, затем перечитал и, вложив между страницами Корана, спрятал под изголовьем и вытянулся на постели, чувствуя, как от непривычных, даже маломальских движений застучало, заходило ходуном сердце, словно хотело выскочить наружу.

...Разве он, Джунаид-хан, ропщет на судьбу свою? Она милостиво обошлась с ним: в сонме подлецов, блюдолизов и мерзавцев отыскивались, — как ни странно в этом продажном, лживом мире, — и люди преданные. Служили они ему не без корысти, и Джунаид-хан, по-своему привязанный к ним, щедро платил им за грязную и опасную работу, ибо видел в них не холуев, денно и нощно изгибавшихся перед хозяином. Это были его глаза и уши — агенты, разделявшие его идеи, жившие повсюду — в Хиве и Бухаре, Кизыл-Арвате и Бахардене, Мары и Теджене, Ашхабаде и Серахсе, Ташаузе и Куня-Ургенче... Кого только среди них не было — туркмены и узбеки, русские и каракалпаки, персы и белуджи, казахи и курды, исправно доносившие ему обо всем, державшие в курсе многих событий, происходивших в стане красных или белых, басмачей или во дворе бухарского эмира...

Когда в Бухаре, вслед за Хивой, подняла голову чернь, Джунаид-хан обосновался в Каракумах, но обо всем, что творилось в ханстве, схожем с растревоженным муравейником, он был осведомлен как никто. Один из эмирских советников, джунаидовский агент, исправно сообщал, что эмир, страшась гнева своих подданных, сколачивает для отпора Советам ударный кулак. Эмир бухарский, сам английский агент, — это Джунаид-хан знал давно, — открыто якшался с командованием британских войск в Мешхеде, превратил ханство в сплошной караван-сарай, где, как на своем подворье, обитали десятки заморских и белогвардейских офицеров, обучая эмирские войска. Зашныряли здесь и Кейли, и еще один английский полковник, создавшие в Бухаре армейский штаб. Но ничто не помогло эмиру Сейид Алим-хану, пришлось спасать свою жизнь постыдным бегством: осенью над минаретами Регистана взметнулось красное знамя, а чуть позже в летнем дворце беглого эмира Бухара была провозглашена Народной Советской Республикой. Вот так-то! И это в священной Бухаре!.. Кто мог подумать?!

Джунаид-хан до хруста сжал пальцы — от боли потемнело в глазах: неужели конец? Он испуганно разлепил спекшиеся, обескровленные губы, собрался кликнуть слугу, но тут же одумался: не умрешь — потешаться будут, втихую, да по всему Герату растрезвонят: «А хан-то наш восемь десятков прожил, а подыхать, старый хрыч, не хочет...»

Да-да! Не хотел. Сейчас — нет! А вот в начале двадцатых годов, когда пало бухарское ханство, когда бесславно погиб Энвер-паша, которым Джунаид-хан верил как богам, вот тогда ему действительно хотелось сгинуть с белого света. С ними, со своими кумирами, он похоронил голубую мечту о самостоятельном туркменском ханстве, которое простиралось бы от берегов древнего Хазара — Каспия до буйных вод Джейхуна — Амударьи, от афганского Герата до Хивинского ханства, включая и Туркменскую степь, находившуюся под иранским шахом...

А потом Джунаид-хан таился, выжидал, тешил себя надеждой, что вот-вот разразится война, когда богатеи всего мира, объединившись, нападут на Советы. Вернутся тогда баи и ханы к своим землям, колодцам, пастбищам, а советский строй рассыплется, как трухлявая камышовая мазанка. Не дождался... Дождался лишь великодушия новых властей. А великодушие — известная черта — рождает сила, сознание собственного достоинства. В двадцать пятом году первый Всетуркменский съезд Советов объявил амнистию, помиловал Джунаид-хана, несмотря на то, что его руки по локти были обагрены кровью безвинных людей и весь он погряз в злодеяниях против Советской власти. Джунаид-хану простили все, призвав заняться мирным трудом. Кизыл аскеры оставили в покое не только самого хана, но и всех его близких сородичей. Ему оставалось осесть в любом оазисе, подав пример своим сподвижникам. Но не таков был Джунаид-хан, чтобы вот так, сразу, угомониться...

И он, подобно старому опытному хищнику, уходившему от охотника, делал лисий ход — вдруг сворачивал с прямой направо или налево, а затем поворачивал назад, пытаясь сбить с толку преследователя. Удавалось ли ему это, аллах ведает, но после амнистии он стал еще больше ловчить, хитрить. С виду будто жил мирно, спокойно вели себя и сыновья, родичи, а вот отряды его свои разбойничьи промыслы не прекращали, с его ведома направлялись в Хорезм, Ташауз, взимали поборы, грабили местное население, захватывали в Каракумах колодцы, проходящие караваны... Когда представители Советской власти, располагая неопровержимыми уликами, решительно требовали от Джунаид-хана прекратить грабежи, то он «обижался», прикидывался агнцем: «Да порази меня небо!.. Я давно порвал с басмачами. Аллах тому свидетель».

В двадцать шестом году Джунаид-хан писал туркменским чекистам: «Ваше учреждение мы считаем братским... Теперь у нас нет иного советчика. Знайте это хорошо — у нас много врагов. Если вы узнаете что-то, порочащее нас, то тщательно проверяйте эти слухи... Мы тоже, со своей стороны, проверяем все, если о вас говорят что-либо дурное... Мы не верим слухам — и вы им не верьте».

Старый лис пытался уверить, что и грабежи, и убийства, и насилия, чинимые басмачами по его приказу, дескать, не дело рук его нукеров и пусть не возводят на «безгрешных» напраслину.

...Джунаид-хан беззвучно зашамкал губами, будто снова диктовал то давнее письмо, отосланное им с умыслом на имя руководства ГПУ Туркменистана.

Мысли хана прервали приглушенные шорохи слегка шаркающих шагов. Так ходил лечивший Джунаид-хана тебиб, известный в округе знахарь.

Дверь тихо отворилась — в ее створки осторожно проскользнул щупленький, подвижный, как водяной жучок, старик в белоснежной чалме, светлом халате. Сняв у порога блестящие, остроносые азиатские калоши, он бесшумно прошел в светло-коричневых мягких ичигах к хану, лежавшему посередине юрты. Тебиб с подчеркнутой почтительностью поздоровался и, опустившись на корточки, стал медленно растирать больному кончики пальцев, лодыжки, икры, бедра...

Джунаид-хан, прикрыв веки, томно постанывал, испытывая блаженство. Но пройдет час-другой — и боль острыми иглами подступит к левой лопатке, заколотит тупыми ударами по голове, казалось, вот-вот лопнут вены на висках. Не отказаться ли от массажа — после него чувствовал себя еще сквернее, но короткое облегчение, даже удовольствие, доставляемое этой процедурой, удерживало его от такого решения. Почему же тогда Искандер Двурогий и Чингисхан возили в своих обозах лучших массажистов покоренных ими стран... Все-все, начиная от римских императоров и персидского Дария, кончая Недир-шахом и русскими царями, любили нежиться под ласковыми пальцами своих слуг. Чем же он, Джунаид-хан, хуже их?

Знахарь, чуть передохнув и попросив больного перевернуться на живот, принялся массировать спину, поясницу... Всякий раз во время массажа Джунаид-хан ис-

пытывал какое-то смешанное чувство и досады и сожаления... Вспоминался пожилой русский доктор, с неизменным черным сундучком в руках, разъезжавший по Хиве на стареньком фаэтоне. Гяур, свинину жрал, водкой запивал, но зато какие у него руки были. Золотые! Как-то в Хиве, на лестницах дворцовой площади Джунаид-хан почувствовал себя дурно. Эшши с Непесом Джелатом отвезли его в какой-то домик на отшибе, на окраине города. Доставили туда русского врача, который дал ему что-то понюхать. Когда хан пришел в себя, почувствовал слабость во всем теле и какой-то туман в голове, еле разомкнул губы:

— Где я? Что со мной?..

— Лежи, отец, спокойно, — Эшши склонился над ним. — Тебе операцию сделали, слепую кишку вырезали. Тебе нельзя двигаться...

— Вы с ума сошли!.. Что люди скажут?! Истинный мусульманин, а лечится у неверного...

— Ни одна душа, кроме нас, не знает о том, — Эшши вытер краешком платка запотевший лоб отца. — Не будь этого оруса, не жить тебе на белом свете. Из тебя он выкачал большую пиалу гноя.

— На все воля аллаха... Доктору заплатите щедро. Не скупитесь, коли так. Накажите — пусть язык держит за зубами!

Вот кого бы сейчас в Герат, вот у кого полечиться... Можно, конечно, в Герат любого доктора выписать. За золото и немец приедет, и англичанин, даже американец заявится. Да только о том всему Герату вмиг станет известно. Кто-то мудро сказал, что мир — громадная навозная куча, где раздолье лишь завистникам и кретинам. Начнут эту кучу усердно разгребать и, как та глупая курица, зад свой обнажат.

О, Джунаид-хан многое знает, а еще больше умеет... Если надо, он и в игольное ушко пролезет. Вот только одним обделен — грамотой. Аульный мулла едва выучил его в детстве старой азбуке, но сама жизнь его наставила, как тысяча мудрецов. Он прекрасно понимал, что спасение не в тебибе, не в его массажах, кровопусканиях или настоях из высушенной головы зем-зема, а в докторе, в его руках, в его черной прохладной трубочке, щекотавшей грудь, спину. Но сердцем чуял Джунаид-хан, что теперь ему ничто не поможет — близок, совсем близок конец... Так зачем тогда раздеваться, за-

чем снимать с себя шутовской халат маскарабаза?.. В нем жил, в нем и умереть надобно... Чтобы хоть после смерти косточек его не перемывали: «Жил грешно — умирал смешно...» Нет, нет! Зачем доктор? Как мертвому припарка... Слабость минутная, а вред от нее вечный — по торговым делам Эшши и Эймира ударит, их престиж в коммерческом мире подорвет, родные сыночки так проклянут, что он в могиле перевернется. Да и померкнет слава его, о которой он, Джунаид-хан, пекся не меньше, чем о торговых оборотах сыновей, уже вошедших во вкус коммерции.

Джунаид-хан повернулся на спину, отвел руку тебиба, попросил позвать кого-либо из домочадцев. Эшши-хан тут же вырос в дверях:

— Я слушаю тебя, отец.

— Тебиб мне больше не нужен. Проводи-ка его с богом. Отблагодари, да пощедрее, — в складках у губ скользнула саркастическая усмешка. — Не так, как того шиитского клизмача...

Эшши-хан, чуть не прыснув от смеха, скрылся за дверью, с восхищением думая об отце: едва дышит, а шутит и вспомнил такое, о чем иной, да еще на смертном одре, и не помыслил бы вовсе.

...Случилось это с полгода назад. По чьему-то совету Джунаид-хан пожелал лечиться у одного персидского тебиба. Эшши-хан съездил в Тегеран за знаменитостью, за большую плату уговорил исцелить старого хана. Чем только не лечил тебиб своего пациента — и травами, и пиявками, даже парил его рыхлое тело под шкурами только что убитых баранов — ничто не помогало. Джунаид-хан, безропотно повинуясь, едко посмеивался над тщетными стараниями суетливого исцелителя, долговязого, нескладного, шумно дышавшего широкими ноздрями большого мясистого носа.

Чувствуя, что богатый клиент не особенно доволен им, тебиб торопливо читал заклинания и заговоры, снова поил каким-то густым снадобьем, но хану нисколько не легчало. Оттого знахарь суетился еще больше, делая многое невпопад, и, наконец, осторожно предложил хану сделать клизму. Тот переспросил, что это такое, не поняв, поморщился, процедил сквозь зубы:

— У меня голова раскалывается... При чем тут зад?—Мохнатые брови Джунаид-хана сошлись на переносице, не предвещая ничего доброго: тебиб был наслышан о самодурстве этого богача. — Ты хочешь сделать

из меня посмешище? Это меня, Джунаид-хана?! Как мальчика, которого вы, шииты, на потеху мужчинам растите? Туркмен умрет, но зада своего не оголит... Ни перед кем! Слышишь? Ни перед кем! Ни перед шахом, ни перед тебибом, ни даже... — Джунаид-хан натужно закашлялся — вены жгутами вздулись у висков.

Незадачливый тебиб, обливаясь холодным потом, сбивчиво объяснял своему привередливому пациенту пользу и благотворность такой процедуры, к которой, несмотря на ее унизительность, прибегали и консулы Рима, и султаны Турции, все, кто страдал тяжелым недугом, надеялся излечиться. Джунаид-хан терпеливо выслушал перса, вроде помягчел, затем зачем-то распорядился позвать сыновей, Непеса Джелата, двух нукеров, милостиво разрешил тебибу готовить инструменты для клизмы. Закончив приготовления, тебиб предложил, чтобы его оставили наедине с больным.

— Подождите, — Джунаид-хан поднял руку — в его глазах мелькнул озорной огонек, — останьтесь... Сначала мы посмотрим, как делается то самое, что предлагает мне досточтимый тебиб, — и, повернувшись к бедному знахарю, приказал: — Давай сам ложись. Посмотрим, как она, клизма, на тебя подействует.

Тебиб смущенно забормотал что-то невнятное. Джунаид-хан, игриво хохоча, подмигнул своим приближенным — те набросились на тебиба, повалили на ковер... Непес Джелат по привычке норовил оглушить свою жертву, но, заметив строгий взгляд хозяина, едва сдержался, отвесив все же чувствительную затрещину, сбившую с головы тебиба чалму, которая размоталась под ногами длинной белоснежной дорожкой.

Джунаид-хан, наблюдая за поведением тебиба во время процедуры, смеялся до икоты.

— Вот видишь, тебе клизму сделали, а у меня болеть голова перестала, — Джунаид-хан, вытирая заслезившиеся от смеха глаза, потешался над знахарем, неловко натягивавшим на себя штаны и торопившимся поскорее выбежать из юрты. — Смотри у меня, на ковры не обделайся... Теперь всякий раз, когда у меня не будет спасу от головной боли, мы будем вместе лечиться... Тебе — клизму, а мне вместе с потехой — светлую голову. Не задарма, конечно. Одарю по-шахски...

Джунаид-хан, вспомнив о недописанном письме, снова потянулся к изголовью, но задержал руку под подуш-

кой. После его смерти люди непременно прочтут письмо. Осудят? Или поймут?.. Иные будут скалиться: «Ишь чего захотел! Святым заделаться». Здравомыслящие рассудят: «Что тут зазорного? Пророк Мухаммед тоже был человеком, но стал наместником аллаха на земле. Не в боги же метил Джунаид-хан?!»

А ему, Джунаид-хану, всю жизнь мечталось о славе бога. Но бог бессмертен, а он, как и все, смертный... Он умрет, его прах смешается с землей... Что останется? А память? Она вечна. Как небо, как земля, как солнце. О ком память вечна? О святых! А все ли они были так безгрешны, как о них думают? И Джунаид-хан вспомнил родное село Бедиркент, могилу святого Исмамыт Ата, которому и сегодня слепо, с фанатичным неистовством поклоняются все мусульмане Ташауза, Куня-Ургенча, Хивы, Бухары, Хорезма... Неужто Исмамыт Ата никогда не грешил? Так и проходил всю жизнь в праведниках? Стоило ему покинуть сей мир — и он вознесся в святые?.. Что думают праведники перед смертью? О деле праведном иль в своих грешках копаются?.. Что приходит им на ум в первую очередь? Богатство?.. Но это — сила, власть, пока ты жив. Умер — химера. Дети? С них хватит того, что они остаются в живых и будут пожинать плоды отцовских трудов, лавры его славы. О родине думают? Туркмен, как всегда, мечтает о смерти на родной земле, где похоронены все его предки. Он счастлив, если перед смертью видит над собой родное небо, вдыхает запахи родного очага...

Джунаид-хан приподнялся на локтях, собираясь кликнуть сыновей — пусть свезут его на границу, она ведь здесь, недалеко, всего сто верст пути, хоть напоследок, хоть издали взглянуть на Туркмению... Что тут зазорного? Это же не слабость. Это не каприз умирающего человека. В ту минуту Джунаид-хан согласился бы пойти под красноармейские сабли, лишь бы припасть грудью к родной земле и отдать ей свое последнее дыхание... Он уже хотел было позвать Эшши-хана, но шепот за стенами юрты почему-то удержал его, и он, устыдившись своей минутной слабости и малодушия, зашептал: «С годами кость человеческая затвердевает, а воля размягчается». Кто из восточных мудрецов изрек эти слова? Кто?.. И он, силясь вспомнить, перебрал в памяти многие имена, раздумывал долго и упорно, будто от этого зависела его жизнь. Хан, так и не вспомнив автора изречения, впал в дрему... Он явственно различал скрип

дальних ворот, дробот конских копыт, оборвавшийся у юрты... Впадая в забытье, он не мог понять, сон это или явь...

Не сон это был — явь. Явью, как то, что в дом Джунаид-хана часто приезжали и конные и пешие — посланцы каракумских баев, бывших ханских приспешников, затаившихся в глубинных песках, и все просили об одном — помощи и совета.

Одного ходока Джунаид-хан помнит как сейчас. Его появление вызвало у хана смешанное чувство: чуточку удивился, больше — обрадовался... Значит, не могут там, на родине, обойтись без Джунаид-хана. Самые влиятельные баи, известные муллы, почитаемые ахуны шлют к нему своих доверенных, спрашивают совета, его мудрых наставлений. А прислали-то кого!.. Увидел его Джунаид-хан, и теплая волна воспоминаний о далекой, милой сердцу Хиве захлестнула сердце. Перед ним — командир отряда охраны его двора, то бишь его бывшего двора в Хиве, с преданной улыбкой, готовый сломя голову исполнить любую ханскую волю. Ведь когда-то Джунаид-хан сам удостоил его звания юзбаши. Какое письмо он привез! Оно так обрадовало Джунаид-хана, наполнив его сердце надеждой и радужными мечтами... Оказывается, на севере Туркменистана, в Каракалпакии и в самой Хиве существует подпольная антисоветская повстанческая организация, а во многих аулах и кишлаках затаились сотни ее активных участников, которые видят в Джунаид-хане будущего хана всей земли туркменской, освободителя от большевистской власти. В письме говорилось, что антисоветское подполье наладило связи с остатками басмаческих отрядов, имеет своих надежных людей в большевистском стане — в милиции, совхозах, советских учреждениях. Они только и ждут сигнала, чтобы с оружием в руках выступить против Советов. Кто же возглавляет организацию?

— Известные вам, тагсыр, родоплеменные вожди и мусульманские духовные авторитеты, — гость перечислил их имена. — Как видите, люди знатные и в своем кругу уважаемые...

— А что мне там делать? — Джунаид-хан усмехнулся. — В одном котле столько голов. Одна другой умней...

— Да, тагсыр, их и впрямь много, а Джунаид-хан один. Нам всем, владыка вы наш, нужна одна рука, но

крепкая, одна голова, но мудрейшая. Мы все готовы встать, как прежде, под ваше победное знамя. Так мне велено передать советом аксакалов и сердаров.

Джунаид-хан довольно крякнул — старику явно льстила речь бывшего сподвижника. Как сладко его слушать...

И Джунаид-хан, опустив седую голову, призадумался так надолго, что гость беспокойно заерзал на месте: не уснул ли хозяин? Но он не спал и не дремал... Нет, уж слишком нелегкую задачу предстояло ему решить. Ходок из Каракумов сидел как на иголках, ждал его, ханского, решения, даже шею вытянул, застыл, как гончая на охоте.

Хмуро и цепко взглянул Джунаид-хан на своего собеседника — холодно стало тому от такого взгляда. Постой, погоди, говорили глаза хана, кажись, он однажды уже слышал об этой организации. Вот от кого только? Кто же ему говорил?.. Ах да, Лоуренс! Тогда были живы Халта-ших, Балта Батыр. Они и верховодили. Неужто подпольщики так долго чекистов за нос водят? Если так — молодцы! А может быть, ее, той организации, вовсе нет? Выловили или распалась... Может, это другая... А что, если согласиться? Но что скажет Кейли, когда узнает о визите бывшего ханского юзбаши? А как Мадер отнесется к поездке хана в Туркменистан? В одном Джунаид-хан был уверен — ни англичанин, ни немец не будут отговаривать его, наоборот, начнут подзуживать, наставлять, поучать, всяк на свой лад, ибо у каждого из них свой интерес за кордоном. И все же надо немедля сообщить им о визите гостя из Каракумов...

Ох, как замечутся Кейли и Мадер, что́ только не будут плести, чтобы разговорить хана, выведать у него имена и еще раз имена... А он им не скажет всего сразу, только часть того, что знает. Во все подробности он посвятит Эшши-хана — пусть он обладает тайной подполья, ему ведь жить, отцовское имя продолжать, смотришь, запродаст с выгодой... С паршивого гяура хоть волосинку — и то польза.

И он на миг представил, что стоит ему лишь кивнуть, согласиться с заманчивым предложением своих соратников, тогда он свяжет себя словом. Там его будут ждать, надеяться, как тогда, когда вместо него поехал Эшши-хан и так бесславно вернулся. А если бы сам поехал? На чем вернулся бы — на коне или на щите? О аллах,

такого позора он больше не переживет. Джунаид-хан поднял глаза на своего бывшего юзбаши, словно мысленно советуясь с ним, спрашивая его: если соглашусь, значит, снова хлопотливые сборы, снова поход, мучительный переход границы, перестрелка с кизыл аскерами, может быть, и погоня... Даже если пограничники и не засекут его отряд, — а в это он мало верил, ибо такое случалось очень редко, — удастся спокойно перейти границу, то выдержит ли он сам, с его здоровьем, столь дальний переход...

Молчание затянулось надолго. Бывший юзбаши исподлобья взглянул на хозяина дома и, заметив его пристальный взгляд, вздрогнул — в рысьих глазах хана мелькнул огонек недоверия и тут же потух, но голос звучал твердо и непреклонно:

— Передай моим верным сподвижникам и единомышленникам глубокий поклон за доверие и честь... Скажи, что непосильную ношу задумали они возложить на мои старческие плечи. От борьбы с Советами, с большевиками, которых я ненавижу лютой ненавистью, не откажусь до последнего своего вздоха. Но поехать в Туркменистан и вновь возглавить движение воинства ислама выше сил моих... Видит аллах всемилостивый. Я уже стар, мне покой нужен. Живу я безвылазно в Герате и сына Эшши-хана тоже послать не могу. Торговлей он занят, часто в разъездах бывает — то в Белуджистане, то в Иране... Да и безвластен я тут. В Туркменистан с сотней-другой нукеров податься бы и надо, да здешние туркмены не повинуются мне, под афганской властью ходят, и сам я под нею. Но огонь ненависти к Советам в моем сердце не потух... Этот жар ничем не залить. Я готов стать нищим, отдать все свое состояние, чтобы изгнать большевиков отовсюду — из Каракумов, из Хивы... Только и знаю, что тоскую и плачу обо всем, что отняли у меня большевики. Такое не забывается, такая обида не прощается. Но из Герата я никуда не двинусь! Передай друзьям мое благословение, пусть все до единого поднимаются на священный бой с Советами... Мусульманский мир непобедим. И еще скажи, что ислам никогда не боялся крови, ибо он родился в крови и кровь его колыбель... Чтобы править чернью, называемой народом, надо держать в одной руке Коран, в другой — саблю, которой беспощадно карать вероотступников, всех, кто покушается на наше святое дело... Не жалейте ни крови, ни людских жизней во имя побе-

ды нашего зеленого знамени... Да удесятерит аллах силы правоверных в борьбе с нечистью неверной! Аминь!

Ответ Джунаид-хана не был неожиданным, но бывший юзбаши, продолжая уговаривать своего бывшего хозяина, просил не торопиться с окончательным решением, подумать, еще раз взвесить. Видя непреклонность хана, он выбросил свой последний козырь.

— Я исполню вашу волю, тагсыр, — гость покорно наклонил голову. — Но если верить людям, то вы уже собрали много верных джигитов под ружье и давно готовы...

— Случаем, ты не чекистами подослан? — Джунаид-хан подозрительно ощупал глазами своего собеседника. — А может, афганским королем?.. Если бы я не знал тебя хорошо, то отдал бы на потеху Непесу Джелату... Кто сказал тебе такую чушь?

— Земля слухом полнится, мой тагсыр, — смутился бывший юзбаши. — По пути в Герат я заночевал в караван-сарае Хошрабат... Там и услышал от одного караванщика из Мешхеда... Да простит меня мой тагсыр великодушно, если мой язык наплел непотребное. — Гость, учтиво раскланиваясь, попятился к порогу и оттуда вежливо бросил: — Будем считать, мой тагсыр, что вы еще не приняли решения... Время подумать еще есть... Я позволю себе побеспокоить вас на третий день и тогда, надеюсь, услышу ваш окончательный ответ.

Джунаид-хан своего решения так и не изменил. И бывший джунаидовский юзбаши, возвращаясь обратно в Туркмению, мучительно раздумывал: чем объяснить, что Джунаид-хан отказался от такого заманчивого предложения? Неужели заподозрил? Ведь в таких случаях хан скор на расправу, и заподозренному тогда не выбраться живым из его дома. Но откуда Джунаид-хану знать, что его бывший сподвижник порвал со своим басмаческим прошлым и, чтобы искупить свою вину, согласился помочь органам ГПУ, поехать по их заданию в Герат. И все, что рассказал хану добровольный помощник чекистов, была лишь «легенда», рассчитанная на то, чтобы выведать дальнейшие планы эмигрантских кругов и, если удастся, выманить из Афганистана Джунаид-хана, ярого вдохновителя басмаческого движения, на территорию Туркменистана и арестовать его.

Джунаид-хан, проводив гостя, не находил себе места, чувствовал себя словно охотник, видевший дичь, но не сумевший ее добыть. Так неодолимо было желание бросить боевой клич и с сотней нукеров, которых ему удалось собрать под ружье, броситься напролом через границу, а оттуда через Каракумы на север Туркменистана, поближе к Ташаузу, к Хиве, где его дожидаются свои, верные люди... Он готов умереть в походе, на коне — чем не красна смерть для джигита, хотя и старого. Но от решительных действий сдерживала несговорчивость афганских властей. Днями Джунаид-хана и Эшши-хана вызвал к себе губернатор Абдураим-хан и после долгих словесных околичностей передал категорический приказ афганского короля — немедленно распустить по домам собранных ими джигитов. Джунаид-хан, притворившись, хотел отделаться общими разговорами, но Абдураим-хан лишь хитровато улыбался. Усадив отца и сына за стол, он пригласил к себе кятиба — секретаря, продиктовал текст подписки, в которой говорилось, что Джунаид-хан и его сын Эшши-хан обязуются не совершать с территории Афганистана никаких враждебных выступлений против СССР, а также дают слово, что немедленно распустят всех вооруженных джигитов, собранных ими в Афганистане и в Иране.

...Джунаид-хан выпятил губу, словно собираясь что-то сказать, как в дверь вошел Эшши-хан и вопросительно взглянул на отца.

— Вспомни, когда губернатор брал с нас подписку?

— Лет шесть-семь назад, отец.

— Точнее...

— В тридцать втором году, отец. Чего это ты вспомнил?

— Да так... О чем только не передумаешь, лежа день-деньской... Ну-ка, садись ко мне поближе, Эшши. Хочу поговорить с тобой. Кажись, приспела такая пора... Чует мое сердце, сынок, — лучше мне не станет... Аллах всемогущ и милостив, все в его власти. Ты на меня обиду не таи. Окрик и верблюду в пользу. О твоем же благе пекусь... О тебе, о тебе все мои думы и заботы. Ты мое продолжение, сынок. Эймир тоже моя кровь, но уж больно хлипок — нет в нем ничего моего... Ты, сынок, — моя надежда...

Эшши-хан никогда не видел отца таким словоохотливым, возбужденным, — казалось, что старик будто

заискивал. Обычно молчаливый, тут не в меру разговорился. Неужто вправду конец почуял? Сказывают, у иных людей перед кончиной желание выговориться так сильно, что они не слушают никого, говорят и говорят сами.

— Главное в жизни, сынок, — рассуждал Джунаид-хан, — не продешевить. Есть у туркмен одна беда — тугодумы мы, беспечны... Узбекской заквасочки бы в нашу кровь!.. Все горбом своим познаем. Говорят же, туркмена не ткнешь — не догадается. Отчего это? От нашей девственности или от чрезмерной испорченности? А надо быть дошлым! Все видеть наперед... Попомнишь мое слово. Вот умру я, вспомнишь: «Отец сквозь землю видел». Еще когда я был в Иране, судьба свела меня с одним немцем, эмиссаром кайзеровской разведки. Кремень! Тогда я понял, что будущее за немцами... Они сильны! А туркмен любит силу и признает только силу и власть... У немца теперь есть и то и другое... Так с тех пор и кручусь меж двух огней — англичанами и немцами. Откуда теплом повеет — туда больше и жмусь. Да так, чтобы не обжечься, как мотылек над костром... С англичанами у меня любовь старая... Сначала Лоуренс, потом Кейли, а еще в гражданскую войну знал генерала Маллесона, Тиг Джонса. С благословения англичан Колчак присвоил мне звание генерала. Да что проку от такого высокого чина? Маллесон тоже был генералом... Был да сплыл! Как сплыл Лоуренс... Подумать только, эта белокурая бестия погиб под колесами автомобиля. Так ему и надо!.. Но англичане — день вчерашний, а немцы — завтрашний. Они только в силу входят. Вот кто поможет нам Хивинское ханство вернуть. Даже больше... Одним нам большевиков не одолеть... Ты только посмотри, как немец шагает... Да ты сам тоже об этом сказывал, когда возвращался из поездок в Иран, по Афганистану... В Тегеране, в Кабуле, куда ни сунься — в банк, в торговую фирму, в нефтяную компанию — всюду немцы... Даже во главе национального банка Ирана сидит германец, а Реза Пехлеви, говорят, заявил, что он сам пригласил немца — никто, дескать, кроме германцев, не спасет персидскую казну от истощения...

С людьми, сынок, знайся, если тебе от того выгода какая есть... Потому и держись сейчас немцев — не прогадаешь. Иран у них, считай, за пазухой. Шаха они ублажили чем могли. Всех этих нечестивых шиитов объ-

явили первосортными... — Джунаид-хан силился вспомнить выпавшее из памяти мудреное слово, потер лоб, вопросительно взглянул на сына.

Тот тихо подсказал:

— Арийцами! Как сами немцы...

— Да-да, арийцами, — подхватил Джунаид-хан. — Всех персов теперь считай высшей расой. Арийцами чистокровными. Чистокровные!.. Хе-хе-хе... Значит, чистокровным был и Надир-шах, которого персы из века в век считают шахом из шахов. А ведь он по отцу туркмен и происходил из древнего сельджукского племени афшаров. Выходит, и туркмены — арийцы?.. Но зато Гитлер надавал персам машин... Всю страну завалил товарами. Армия иранская вся в немецком сукне щеголяет, оружием германским вооружена, берлинские инструктора ее обучают. Раз дело дошло до оружия, до святая святых — армии, то знай, что персы теперь на германском крюку... На крюку и быка подвесишь — не трепыхнется... Немец тоже за пустое спасибо и за красивые глазки дружбу водить не станет. Чего только не вывозят из Ирана, а о нефти и говорить нечего...

Джунаид-хан умолк, прикрыл ладонями лицо, будто давая роздых глазам, или ожидал, что скажет сын. Тот, словно угадав, что хочет от него отец, заговорил:

— Я исполню твою волю, отец... Аллах милостив — будешь ты жить долго-долго и при жизни своей увидишь все, о чем наставляешь меня... Я всегда помню твой наказ. Я сблизился со многими немцами. Не только с Мадером. Если помнишь, я уже рассказывал, что побывал в Тегеране, в коричневом доме нацистов. Посидел там час-другой, какой-то бурдой угощался — кофе называется... Пил, давился, чтоб дикарем не показаться, и слушал их речи... Послушал бы, отец, что они говорили! Мне казалось, что я не в Иране, а в Германии. Судя по их речам, немцы намереваются положить к ногам весь мир. Наглые такие, нахрапистые... Главное, они знают, чего хотят. И в Кабуле они уже пустили глубокие корни. Инспектор тамошней полиции — немецкий майор. Немцы открыли для афганцев военную академию, теперь иные афганские офицеры похлеще самих нацистов. Германцы поставляют Афганистану и пушки, и самолеты, и деньги взаймы дают, обучают

афганских офицеров, полицейских... Они открыли в Кабуле свой клуб, партийный клуб называется, где принимают в нацистскую партию. Ты бы видел, отец, какое пиршество закатывают они по этому случаю. При одном виде его, не задумываясь, пойдешь за ними в огонь и воду, будешь ломать, крушить, убивать и мстить, чтобы завоевать победу...

Эшши-хан мечтательно закатил глаза, умолк, еще раз переживая все виденное, и, смачно зачмокав губами, продолжал:

— Представь себе, отец, темную ночь, Кабул и его окрестные горы. Темень вокруг хоть глаз выколи. Вдруг в тиши слышишь боевую дробь барабанов, потом рев сотен, нет, тысяч молодых, сильных глоток... А после вспыхивают факелы... И они, как тени, как призраки, движутся в ночи... Идут маршем, как сильные, хищные волки топчут эту грешную землю. Ты бы посмотрел на их лица, отец!.. Преданность, слепое повиновение, фанатизм — и еще такое, чего не хватает нашим нукерам. Я любовался ими, отец, вспоминал твои рассказы, будоражившие мне душу еще в детстве... Мне виделись орды наших победоносных предков — сельджуков, огузов, топтавших земли Ирана и Турана, от моря и до моря. А чем мы, потомки славного султана Санджара, хуже этих рыжих свиноедов?.. Чем? Ты бы, отец, видел, как они после факельного шествия получали из рук своего партийного генерала какие-то железяки... У некоторых на глазах стояли слезы, но то были слезы радости, слезы верности своему черному знамени со свастикой. Они получали эти побрякушки, будто обзаводились легендарным мечом дембермез, перед которым ни один враг не устоит...

— Вот-вот, что я говорил?! — воскликнул Джунаид-хан. — Я рад, сынок, что ты в немцах разглядел то, что мне самому удалось разглядеть... Ты достойный наследник моего имени... А теперь иди — устал я.

Польщенный похвалой отца, Эшши-хан тут же ушел, осторожно затворив за собою резную дверь юрты. Джунаид-хан, едва дождавшись ухода сына, кряхтя повернулся на правый бок, достал из-под подушки ватку, маленькое зеркальце и, придирчиво оглядев себя в нем, стал оглаживать пальцами лицо, бороду, затем протер ваткой лоб, брови, виски... За этим необычным занятием его и застала старшая жена, бесшумно вошедшая в

юрту. Джунаид-хан от неожиданности вздрогнул, воровато сунул ватку за пазуху.

— Дурища, баба проклятая! — рассвирепел Джунаид-хан. — Крадешься, как вор... Могла бы перед дверью и кашлянуть. Может, я постыдным делом занят, а ты вломилась, как оглобля...

— Поесть тебе, отец, принесла. — Она подняла на мужа кроткие глаза и, опустившись на корточки у ханских ног, занялась дестерханом — раскладывала хлеб, разливала в деревянные чашки дымящийся, с жирными блестками бульон. Жена иногда вскидывала на мужа испуганно-печальные, чуть помутневшие от старости глаза, и вся преждевременно ссутулившаяся фигура, привыкшая всегда ходить бочком, незаметно, слегка пригнувшись и вобрав голову в плечи, сейчас так вязалась с нахохлившимся ханом, возвышавшимся над ней старым беркутом, с обломанными крыльями и затупившимися когтями. — Поешь, отец, хоть немного...

— Да убери ты эту отраву, — Джунаид-хан брезгливо выпятил нижнюю губу. — Не хочу! Запах еды душит меня.

В юрту вошли Эшши-хан и Эймир-хан, которые тоже стали упрашивать отца, чтобы тот поел. Джунаид-хан лишь молча откинулся на подушки, широко зевнул, прикрыл лицо тонким платком, будто собираясь уснуть. Сыновья, жена, боясь вспугнуть ханский сон, сидели не шелохнувшись. Вскоре Джунаид-хан захрапел, затем повернулся на бок, чуточку притих, посопел и вновь издал храп с присвистом.

Эшши-хан, убедившись, что отец уснул, направился к двери, но, заметив на глазах матери слезы, шепотом спросил:

— Ты что плачешь? Что случилось?

— Отец-то наш... туда собрался. — Она воздела глаза к небу. — Сама видела — очищался, прихорашивался... Помню, как ваш дед умирал. Не очень-то аккуратный человек был, земля ему пухом, а как чистился...

— Дурища ты, дурища. — Джунаид-хан неожиданно прервал храп, смахнул с лица платок. Жена, бедняжка, смертельно побледнела — и впрямь дура: прожив с ханом всю свою сознательную жизнь, как могла она забыть о его излюбленной хитрости притвориться спящим и подслушивать происходящие вокруг разговоры. — Обрадовалась, что ли? Раскаркалась... Правду

говорят, корова в воде неразборчива, а баба в мужике Да только стара ты стала для этого. — Джунаид-хан оглядел хмурые лица сыновей, ядовито усмехнулся. — Чего нахмурились? Но она женой мне дольше, чем вам матерью, приходится... И никогда я на нее не полагался. Вы своим женам верите? Нет! И я своей жене не верю. Это проклятое семя изменщиц, готовых предать в любой час. Особенно в тяжелый, в испытанье... Не помню, рассказывал я вам притчу... Откуда, вы думаете, родилась поговорка: «Насколько верна собака, настолько жена неверна».

Джунаид-хан натужно закашлял, хватаясь пальцами за виски, страдальчески поморщился — кашель, видимо, отдавался в голову. Немного помолчал, словно собираясь с мыслями, раскрыл было рот, чтобы рассказать притчу, которую в доме все слышали много раз из его же уст, как вдруг старшая жена перебила мужа на полуслове. Удивлению Эшши и Эймира не было предела, да и сама она, поражаясь своей неслыханной дерзости, заговорила тихо, но настойчиво:

— Послушай меня, отец. Хоть раз... Да прости великодушно, что посмела сказать тебе слово поперек. Если бы аллах дал мне вторую жизнь, то и ее я бы посвятила тебе, мой великий тагсыр. Я молчала всю жизнь, словно родилась с отрезанным языком. Ты истязал меня—я молчала. Ты вымещал на мне все свои неудачи— и тогда я безмолвствовала. Ты без счета и меры обзаводился женами, наложницами... Легче подсчитать колодцы в Каракумах, где у тебя не было жены. И тогда я была нема, как рыба. Что мне до того? Ты одевал, кормил меня, сыновей моих растил... На тебе и кровь моих безвинных родичей, которых ты вырезал... И тогда я не разомкнула уст... Ты убил нашу дочь, сам, своей рукой — я не проронила и слова. Не потому, что я боялась за свою шкуру. Иль я бессердечная и дочери мне не было жаль? Видит аллах, нет! Я исполняла долг жены, святой долг, предписанный мне законами адата и шариата, — молчать, и я молчала. И еще не сказала тебе ни одного слова поперек потому, что любила тебя, отца моих детей, таким, какой ты есть — сильным и мужественным, жестоким и гордым... Мужчина, если он хочет стать повелителем, должен быть таким. Как ты!.. На моих глазах свершалось многое, отчего другая могла бы с ума сойти, но ты видишь — я в здравом уме, что даже тебе осмелилась возражать... Я всегда

ходила, проглотив язык, ибо знала, что тебе нужна именно такая жена. Я старалась быть такой. Нелегко, ох, нелегко быть женою Джунаид-хана! Аллах свидетель, я не желаю твоей смерти, смерти моего хозяина и мужа, отца моих детей... Одному всевышнему ведомо, кого он раньше призовет в свои небесные чертоги. Об одном прошу тебя, мой великий тагсыр! Заклинаю... Хоть на склоне лет своих, может быть, пред вратами аллаха, — будь справедлив к ближним. Будь милосерден! Молю тебя и припадаю к твоим великомученическим стопам. Близким людям так нужно твое доброе слово, твой добрый взгляд...

В юрте воцарилась гробовая тишина. Эшши сидел понурившись, не зная, как вести себя. Ему хотелось выйти, чтобы не слышать, как отец, ставший особенно несносным в дни болезни, будет унижать мать, обзывая ее самыми последними словами, не гнушаясь даже площадной брани. Побледневший от испуга Эймир, не сводя с Джунаид-хана преданных глаз, показно, нарочито осуждающе покачивал головой, порываясь сказать матери что-то, видимо, резкое, грубое. Но, заметив, как строго блеснули зрачки Эшши, осуждавшего угодливость брата, промолчал. Эшши с присвистом выдохнул: «О аллах», неприязненно подумал об Эймире: «Братец-то из кожи лезет... Отец всегда относился к нему с большей неприязнью, чем ко мне. А сейчас боится, что отец его наследством обойдет... Мерзавец! Вот и подхалимничает. Готов сейчас хоть мать с потрохами сожрать, лишь бы отцу угодить. Не старайся, кретин, — больше, чем положено, не достанется!..»

Джунаид-хан внешне спокойно отнесся к откровению жены — то ли по привычке почти не слушал, то ли чувствовал себя скверно и ему было не до нее — по лицу его лишь скользнула саркастическая усмешка. Он открыл веки, оглядел всех, сначала удивленно, будто видел впервые, затем отрешенно, тут же прикрыл помутневшие глаза и захрапел — не поймешь, взаправду или снова притворяется.

«Ну и маскарабаз! Ну и шут великий! — подумал Эшши-хан. — Вот так всю жизнь... Не знаешь, что выкинет через секунду...»

Джунаид-хану лучше не становилось, он угасал с каждым днем. Сыновья не отходили от него ни на шаг. В большом глинобитном ханском доме, в одной из просторных комнат мужской половины, в белоснежных чал-

мах и светлом одеянии томились известные в округе муллы и ахуны — высшие духовные лица, преподававшие каноны ислама в медресе — мусульманском духовном училище. Вот уже вторую неделю они ждали, когда перед Джунаид-ханом откроются врата аллаха и они смогут выполнить свои обязанности, прочесть по всем правилам джиназа — напутственную молитву, чтобы всевышний смилостивился над своим бенде-рабом и распахнул пред ним заветные врата рая...

Но хан не умирал — целыми днями подремывал на высоких подушках, все думал и думал... Не поймешь — уснул или в беспамятстве. Вдруг он открывал глаза и задавал домашним такие задачи, что это считали причудами умирающего человека.

— Принесите пуд сушеных дынь, — требовал он. — Разложите в несколько чашек, расставьте по юрте... Затем нажарьте тыквенных семечек. Жарьте только здесь, в моей юрте...

Когда домочадцы исполняли его приказания, он с издевкой говорил им:

— Вы думаете, Джунаид-хан из ума выжил... По глазам вижу — не отнекивайтесь... А вы знаете, что в родном Бедиркенте, в доме отца всегда пахло сушеными дынями и жареными тыквенными семечками?.. Разве вы это поймете?!

Он тут же забывался, уходил весь в прошлое... И о чем бы ни думал, мыслями непременно возвращался на родину и укорял себя за то, что роптал на свою судьбу, живя там, в Каракумах. В ту минуту он был готов на все, лишь бы стоять ногами на родной земле, пускай даже преследуемый красными эскадронами, осыпаемый градом пуль, ни пить, ни есть — лишь бы там быть, видеть волнистые гряды, морщинистые такыры, ощущать сквозь подошвы тепло песчинок, подставить спину жгучему солнцу. И идти, идти по безбрежной шири, туда, где земля сливалась с голубым небосводом, идти, пока ноги несут, а упал — ведь это же родимая земля тебя держит! — ползти по ней, пока хватит сил, пока дышишь.

И Джунаид-хан словно во сне видел залитый солнечным сиянием Кизыл Такыр, глухое селение в Каракумах, служившее ему прибежищем в те неудачливые годы; видел далекое светлое осеннее утро, суету сборов, ощущал легкий озноб, охватывающий всегда перед даль-

ней дорогой. Здесь он однажды оставил Эшши, а сам вместе с Эймиром поехал в Афганистан, к красе и гордости Герата — соборной мечети «Джума масджид», чтобы под сенью ее четырехсот шестидесяти неповторимых куполов принести в жертву белого барана, да не одного, а целую отару. Правда, в громадном котле, искусно расписанном изречениями из Корана и затейливыми фресками тимуридских времен, варились лишь туши десяти баранов, а остальных отогнали во двор местного ахуна. Впрочем, это нисколько не волновало Джунаид-хана: не зачтет жертву аллах, зачтут местные духовники и разнесут славу о ханской щедрости по белу свету. С чего бы так расщедрился Джунаид-хан? Говорят, пророк Мухаммед, прежде чем кануть в бессмертие, прожил на белом свете шестьдесят три года. Поэтому, когда истинный мусульманин достигает «лет пророка», он в знак благодарности всевышнему режет барана, и непременно белого. Жертвенное животное должно быть заработано честным путем, иначе аллах жертву не приемлет.

Джунаид-хан решил поступить, как предписывают каноны ислама, но отметить свое шестидесятитрехлетие не в Каракумах, а в Афганистане. В то время, кроме сыновей, мало кто догадывался, что этим шагом он убивал еще двух зайцев: увиливал от переговоров с Советской властью, пославшей с миром своих представителей, и еще прощупывал родовых вождей афганских туркмен — поддержат ли они его в борьбе с большевиками?.. Когда это было? Почти пятнадцать лет минуло, а кажется, прошла целая вечность. «Покину сей свет, — хан закрыл глаза, — люди возьмутся подсчитывать, сколько я прожил... Восемьдесят, а то и восемьдесят с лишним, насчитают. У туркмен после смерти принято прибавлять усопшему два-три года, засчитывают и те девять месяцев и девять дней, которые он провел в утробе матери. Чтобы себя потешить, родичей успокоить: слава аллаху, немало прожил бенде в этом лживом мире. Ниспошли, аллах, долгие годы усопшего и его детям...»

Джунаид-хан представил, как, должно быть, холодно, неуютно в темной, сырой могиле, и, чувствуя, как немеют кончики пальцев в вязаных джорабах — толстых носках из верблюжьей шерсти, глянул на расписную дверь: но она плотно закрыта, даже подоткнута кошмой. Откуда же тогда тянет леденящим и тело и

душу холодком? Казалось, он лежал на пронизывающем, стылом ветру... А там, на родине, должно быть, так тепло... Так тепло, что можно отогреть все косточки. Джунаид-хан поднялся с подушек, сел, вытянул руку, чтобы подоткнуть в ногах одеяло, но едва нагнулся, как боль тупым ножом врезалась в сердце и разошлась колючими иглами по всему телу. Хан неожиданно вскрикнул — испуганно, жалобно, так, что не узнал своего голоса... Стиснул губы, но невольно застонал; огляделся по сторонам — ему показалось, что кто-то другой стонет. Хан с немым ожиданием глянул на дверь и, хватаясь обессилевшими пальцами за одеяло, откинулся назад...

— Отец, отец! — Эшши-хан с шумом ворвался в юрту.

— Ты не меня зови... аллаха, аллаха призови, — прошелестел Джунаид-хан бескровными губами. — Он, только всевышний, придает нам силы... Кажется, это конец, сынок... Я ухожу из мира сего, чтобы встретиться с вами там, на том свете. Смерть ничем не обманешь и не задобришь, она неотвратима, — Джунаид-хан скривил губы, сделав невероятное усилие, чтобы состроить саркастическую усмешку, но она получилась жалкой, скорее похожей на плаксивую мину. — Она никого не щадит, не разбирает — богат ты или беден. Жалкий пигмей, черная кость коптит небо дольше, чем падишах или хан. Как несправедливо устроен этот мир... Небось ты, Эшши, думаешь обо мне: белый как лунь, а каркаешь как черный ворон...

— Что ты, отец! — Эшши-хан, внимательно разглядывавший отца, заметил, как мертвенная бледность его лица постепенно сменялась розоватым, а затем и пунцовым багрянцем, и задышал он легче, в глазах мелькнул задорный, чуть насмешливый огонек. — Твоими устами глаголет сам мудрый Сулейман... Аллах, видать, внял нашим мольбам... Вон и порозовел ты, тьфу-тьфу, и глаза по-молодому заблестели. Аллах велик и милосерден...

— Глуп же ты, Эшши. — Джунаид-хан криво усмехнулся. — Четвертый десяток разменял, а все не ведаешь, что человек незадолго до смерти розовеет, даже чувствует себя лучше, что неискушенные думают — будет жить... — Хан умолк, прикрыл ладонями лицо.

В юрте воцарилась могильная тишина, за ее войлоч-

ными стенками не стало слышно ни людских голосов, ни ржанья беспокойных коней. Эшши-хан застыл. Больной как-то дернулся, тело его неестественно вытянулось...

Эшши-хан впопыхах бросился к двери, шумно распахнул тяжелые створки и, едва высунув голову, выразительно замахал руками — слуги, стоявшие наготове во дворе, бросились врассыпную. Вернулся к постели отца, который, безжизненно уставившись в одну точку, смотрел куда-то поверх головы сына. «Неужто поторопился? — подосадовал Эшши-хан. — Он вроде еще жив. А я людей всколготил...»

Но Джунаид-хан был мертв. Ханский сын не впервой видел мертвого, знал, как стекленеют глаза покойников, но почему-то подумал, что сам Джунаид-хан, хивинский владыка, не может умереть как все — прозаично, как простой смертный. Земля потеряла такого мужа!.. Сейчас что-то произойдет — гром грянет средь ясного неба или земля разверзнется бездной и все канет в тартарары, солнце померкнет иль луна сойдет со своего места и упадет на грешную землю... Но ничего подобного не случилось. Едва Эшши-хан успел так подумать, как позади хлопнула дверь, молча, подобно эзраилям — ангелам смерти, влетели ахуны в белых развевающихся одеяниях, следом — родичи и еще несколько степенных аксакалов.

Благообразный ахун склонился над покойником и, шепча молитву, бледными, в синих прожилках, пальцами прикрыл веки усопшего. Эшши-хан, заметив мятый краешек бумажки, выглядывавший из-под высоких подушек, выхватил ее оттуда, машинально развернул, но, заметив, что священнослужитель с нескрываемым любопытством скосил глаза, озлился и вслух прочел отцовское завещание: «Все свое имущество, движимое и недвижимое, я завещаю поровну своим наследникам, моим сыновьям Эшши-хану и Эймир-хану. Мое единственное, заветное желание — быть преданным родной земле, там, где похоронен наш святой Исмамыт Ата, мой далекий предок. Если моя посмертная воля почему-либо будет невыполнимой, то так предайте меня земле, чтобы я лежал лицом к родине, к земле моих предков в Туркмении».

— О, аллах, прости прихоть покойного, — запричитал благообразный ахун, возрастом и саном старше всех остальных священнослужителей. — Где видано так

погребать правоверного! Мусульманина непременно хоронят лицом к святой Мекке, к гробнице...

— Сейчас не время обсуждать волю самого Джунаид-хана, — отрезал Эшши-хан. — Чтобы понять моего отца, надо так, как он, любить родную землю. Хивинский владыка достоин того, чтобы мы, его сыновья, выполнили последнюю волю отца. Я пойду хоть на край света, но отцовское желание исполню. Как ты, Эймир?!

— Я... я то-о-же, — поперхнувшись слюной, ответил Эймир. — В-о-о-ля отца св-я-я-та...

Собравшиеся в юрте одобрительно закивали. Старший ахун, чуть обескураженный, сердито забормотал молитву, слуги сломя голову бросились исполнять распоряжения аксакалов.

* * *

От афганского Герата до туркменского Бедиркента, родного села Джунаид-хана, что в Ташаузском оазисе, где похоронен святой Исмамыт Ата, путь неблизкий, с добрую тысячу верст, а окольной дорогой еще дальше. Отряд из двенадцати всадников во главе с Эшши-ханом еще с ночи выехал из Герата, везя с собой труп усопшего хана. К утру, миновав два невысоких перевала, нукеры добрались до небольшого села Чиль Духтар, вблизи пограничной Кушки, где Эшши-хан решил дать отдых людям и лошадям, разведать подступы к границе, чтобы бесшумно пересечь ее.

Заросший до ушей рыжеватой щетиной курд, совмещавший ремесло контрабандиста с обязанностями басмаческого проводника, на предложения Эшши-хана недоуменно пожимал костлявыми плечами:

— Если я возьмусь провести, то ни один кустик не шелохнется, ни одна пташка не встрепенется... Так было лет пять-шесть назад. Сейчас дело другое... Большевики так стерегут границу, что мыши проскочить мудрено...

— Не тяни душу, ворюга, — оборвал его Эшши-хан, не веря излияниям говорливого курда. — Сколько надо — отвалю. Золотом? Бери. Хочешь — бумажками, афганскими, иранскими, большевистскими?..

— Нет, нет, Эшши-хан! Впрочем, от золота я и в могиле не откажусь. Да не смогу я, как прежде, через

границу провести. Стоит ступить на их сторону, кизыл аскеры, как джинны, вырастают из земли...

Не договорившись с контрабандистом, Эшши-хан попытался сам перейти кордон в безопасном месте, но, пометавшись в районе Бадхыза трое суток, встретившись со своими агентами, воочию убедился, что советскую границу незамеченным не проскочишь. Он решил двигаться на запад, хотя это отдаляло от конечной цели. Зато на стыке трех пограничных полос — иранской, советской и афганской — знал он укромный, тихий уголок, где наверняка можно просочиться на ту сторону. Правда, придется делать крюк — это не входило вначале в расчеты Эшши-хана. Главное, перейти границу тайком. Не те ныне времена, головы не сносишь... А тут только жизнью наслаждаться — вон сколько отец добра ему с этим ублюдком Эймиром оставил, столько, что и правнукам останется...

Вторую неделю лишь по ночам двигались вдоль советской границы ханские всадники, выискивая маломальскую лазейку, чтобы незамеченными прошмыгнуть на территорию Советского Туркменистана. Но такого места пока не находили. Ехали в полной тайне, избегая встреч с людьми, объезжая села, чабанские коши.

Эшши-хан часто оглядывался — на лошади, понуро тащившейся за ним, громоздилось тело отца. Ханские останки, прежде чем обернуть в два слоя плотного миткалевого савана и зашить в большой кожаный мешок, забальзамировали. Так поступили по совету одного гератского сановника, благоволившего к покойнику и позаботившегося вызвать какого-то беглого индуса, с вороватыми глазами, который, поторговавшись, взялся за баснословную плату забальзамировать ханское тело.

Каждую ночь нукеры сменяли друг друга у лошади, везшей покойника, и скакали до зари, пока кони не начинали спотыкаться от усталости. Вот когда Эшши-хан пожалел, что не захватил побольше запасных коней — то ли слишком понадеялся, что легко проскочит за кордон, то ли пожадничал: табун-то теперь его, а не отцовский.

Где-то возле Бадхыза отряд издали заметил пограничников, но красные, видимо, не обратили внимания на нукеров или виду не подали. Уже тогда Эшши-хану пришла мысль развязать себе руки, там же предать отца земле. Какая разница, где гнить? А это хоть на виду родной земли, как сам просил, только на афган-

ской стороне... Ну, хоть бы кто из этих идиотов заговорил о том, — Эшши-хан выжидающе оглядел своих нахохлившихся спутников, которых, наверное, больше, чем его, тяготила эта дорога в никуда... Ему, сыну, связанному словом, не приличествует о том разговор затевать... Можно ли предать мечту отца? Разве отсвет славы Джунаид-хана не падает и на него, Эшши-хана... А отец всю жизнь как одержимый мечтал о славе Исмамыт Ата, лелеял надежду, что, будучи похороненным в Бедиркенте, сможет затмить самого святого, и тогда предадут забвению своего прежнего идола и станут поклоняться ему. Но какая разница, что будет думать чернь о тебе после смерти... Сам же Джунаид-хан всегда твердил: «Жизнь — это все, смерть — ничто, пустота, небытие... От человека, кроме памяти, худой или доброй, ничего не остается...»

«Но я-то еще топчу эту землю, — Эшши-хан ощупал себя, будто хотел убедиться, что жив. — Что скажут почтенные люди Герата? Что подумают, узнав, что не исполнил последней воли отца? Вот языками почешут! Чего доброго донесут королю афганскому... Еще неизвестно, как преподнесут, но одно ясно — оболгут непременно. Что стоит тогда объявить меня гяуром, вероотступником, в зиндан заточить и моим богатством овладеть?!»

Поздней ночью отряд добрался наконец до двух высоких холмов, расположенных на иранской территории, а их подножия, усыпанные валунами, огромной кишкой вдавались на советскую землю. Вот здесь, на стыке границ трех государств, Эшши-хан задумал просочиться в Туркмению. Иранцы, как и афганцы, границу свою почти не охраняли, выставляя пограничные посты лишь на контрольных пунктах, а вот большевики — будь они прокляты! — сторожат каждый камень. Но аллах, всемогущий и милосердный, отведет глаза красным и поможет Эшши-хану...

Эшши-хан пропустил всех нукеров вперед, замкнув колонну отряда собою и всадником, который вез покойника на своем коне. Двигались молча и быстро, оголив маузеры, держа на взводе винчестеры. Эшши-хану показалось, что конь под ним мелко вздрагивал, но озноб бил его самого. Что, трусишь?.. Его дрожь, видно, передалась нервному иноходцу, и тот испуганно запрядал ушами, когда впереди, из-за кустов, раздалось резкое, как удар бича: «Стой! Кто идет?»

Что тут произошло! Всадники бросились врассыпную, но не вперед, а назад. Эшши-хан трижды пальнул из маузера — ему ответил одиночный выстрел. Да тут только один пограничник! Они его враз сомнут. Эшши-хан зло скомандовал — нукеры тут же завернули коней и, стреляя в темноту, двинулись туда, откуда появлялись вспышки огня. Но неожиданно выстрелы захлестали и слева, тут же застучал дробью пулемет. Эшши-хан увидел, как первые три всадники свалились с лошадей, а остальные, не разбирая дороги, не слушая его окриков, пустились наутек.

В этой кутерьме Эшши-хану удалось все-таки удержать подле себя нукера с покойником. Утром он едва собрал половину своего общипанного отряда — не досчитались четырех коней с продуктами, шестерых нукеров. Трое полегли под пулями пограничников, остальные куда-то подевались, хорошо, если в руки красных не угодили.

Терялся в догадках Эшши-хан: кто мог предать? Курд-контрабандист? Или чабаны?.. Неужто в его агентуру втерлись чекисты? А засаду-то выставили прямо на пути.

Ночью, проехав верст десять, обнаружили, что покойник исчез, а уснувший нукер не мог толком объяснить, куда же девался приторoченный к седлу кожаный мешок — на месте его не оказалось. Пришлось возвращаться назад и в потемках искать пропажу. Хорошо еще, что отыскали, а могло случиться непоправимое — шакалы или волки, рыскавшие по степи, запросто растерзали бы на клочки усопшего. Час от часу не легче.

Словно чье-то проклятье нависло над отрядом. К тому же нукеры заблудились и, ни о чем не подозревая, чуть проехали по советской территории, но их тут же обстреляли кизыл аскеры. Пришлось сломя голову уходить от погони. В суматохе потеряли последнего запасного коня, везшего съестное, боеприпасы и кое-какие пожитки.

Эшши-хан горестно вздыхал: все оборачивалось так, что о переходе границы и думать было нечего... Если бы и удалось, то до Бедиркента две недели пути, запасных коней нет, продуктов лишь на сутки. В Каракумах баев почти не осталось — всех Советская власть под корень вывела. В Мерве есть надежные люди, но они не предупреждены... Пока их проищешь, чего доброго, к чекистам угодишь... Да и нукеры измотались. Эшши-хан за-

метил, что им тоже не хотелось идти в Туркмению, боялись, что их там схватят... Что делать? Возвращаться в Герат?! Не думал, не гадал басмаческий предводитель, что дорога к святой гробнице окажется такой тернистой, полной неожиданностей: он даже перессорился с оставшимися в живых нукерами, а одного ханский сын чуть не пристрелил, но его товарищи отстояли. Ну, не беда, он еще припомнит им это...

Ночью, за один переход до Чиль Духтара, расположенного на афганской стороне, напротив Кушки, когда задуло с севера холодным ветром, обычным в ту пору, Эшши-хан приказал развести костер — теперь некого таиться — и, сидя с его подветренной стороны, брезгливо повел своим мясистым носом:

— Никак падалью отдает... Не продохнешь! И выбрали же стоянку, недотепы!

Смореным усталостью нукерам не хотелось даже разговаривать, они лежали, прижавшись друг к дружке, укрывшись халатами, полушубками. Эшши-хан, почувствовав их настроение, сменил тему разговора и, чуть заискивая, сказал:

— Мужайтесь, джигиты! Если будет угодно аллаху, вернемся в Герат... Видит всевышний, мы сделали все, что смогли. Да вознаградит нас аллах!..

Нукеры, подремывая, и не слушали его, кто-то уж похрапывал, лишь один караульный, сидевший с ним рядом, не сводил с него глаз, будто не веря, что скоро придет конец их мытарствам.

Утром Эшши-хан, проснувшись первым, обошел лагерь и, подойдя к кожаному мешку, учуял тяжелый смрад. Вон откуда такой дух! Смекнул, почему так выразительно промолчали вчера нукеры: труп, наверное, припахивал давно, но Эшши-хан, старавшийся не подходить к нему, просто не знал о том. «Ах, скользкий ящер! — Эшши-хан позеленел от злости, вспомнив юркие глаза индуса. — «Забальзамирован как египетский фараон!» Погоди, вернусь, я тебя из-под земли достану! Я тебя самого так забальзамирую, что голодные шакалы побрезгуют тобою...»

Эшши-хан растолкал спящих нукеров. Когда они кинулись к лошадям, Эшши-хан дал волю своим чувствам:

— Идиоты, куда вы? Чего молчали?.. Могилу ройте!

Нукеры, засучив рукава, взялись за длинные ножи,

которыми закалывают верблюдов, и молча принялись копать каменистую землю. «Такая не будет ему пухом, — Эшши-хан рассеянно поглядывал на бугор, медленно выраставший у его ног. — А могла быть глинистой, мягкой...»

Эшши-хан огляделся по сторонам — ему послышались какие-то звуки. Затем, придержав рукой тельпек — мохнатую папаху, задрал голову... Высоко в хмуром небе с карканьем кружила стая ворон.

В ту пору шел 1939 год...

КОНЕЦ ВТОРОЙ КНИГИ



ПО ЗАКОНУ И СОВЕСТИ

В свое время в Ташкенте проходила Всесоюзная конференция, посвященная морально-нравственным и правовым проблемам в художественной литературе. Должен отметить, что на конференции писатели объективно и строго взглянули на работу своего «цеха». Им пришлось услышать немало упреков в адрес отдельных произведений и от их, так сказать, героев — тех, кто стоит на страже общественного порядка и государственной безопасности. И в неточности были упреки, и в верхоглядстве, и даже в неуемной «жажде крови». Но главным упреком, мне кажется, был упрек в схематизме характера героя приключенческого произведения — будь он чекист или работник милиции, в отсутствии жизненной правды, легкой подмене живого человека ходячим манекеном, этаким штампованным персонажем со стереотипными достоинствами и недостатками. Они красивы, эти персонажи, работоспособны, благородны и умны. Они отлично стреляют, владеют приемами самбо и каратэ, мастерски водят машины и лихо ездят верхом, читают книги и пекутся о своих женах и детях. А уж о их профессиональных навыках и говорить нечего. Но закроешь такую книгу, отложишь ее в сторону — и не вспомнишь уже, о чем она. А уж о ком — тем более.

В Стокгольме — на третьем Всемирном конгрессе писателей-приключенцев — я разговорился с неким видным теоретиком детективного жанра, приехавшим в Швецию из Великобритании, из своего рода альма-матер авантюрного романа. Снисходительно улыбаясь, он сказал мне:

— У вас в стране неплохие детективы появились. Но уж больно вы к ним относитесь... — он поискал слово — ...по-писательски.

— Это как? — не понял я.

— Детектив — пружина, сжатая до предела. Только сюжет, только интрига и — темп, темп, темп! А вы относитесь к нему, словно он — большая литература. — Здесь он буквально произнес по-английски общепринятый нашей критикой термин, будто хорошо

был знаком с ним. — Детектив — жанр особый, не подчиняющийся никаким общелитературным законам. К чему, например, сыщику сложный характер? Какая разница читателю, что переживает сыщик, когда идет по следу? Главное — он попал на след. У вас же ваши полисмены или агенты разведки страдают кучей комплексов, а в результате одно и то же: они делают свое дело. Зачем столько ненужных подробностей?..

Легко может показаться, будто эти слова схожи с теми, что слышали мы в Ташкенте. На первый взгляд схожи, но лишь на первый. Да, нас упрекали за манекенность героев, за искусственность ситуаций, мертворожденность эпизодов, призванных — как это ни парадоксально! — одухотворить героя, сделать его более человечным, что ли. Но насильственное, искусственное никогда не одухотворяло — оно лишь принижало литературу. А в том, что детектив — жанр большой литературы (воспользуюсь «международным», как оказалось, термином), я убежден, и меня не переубедить никаким теоретикам — ни зарубежным, ни отечественным.

Разве советская приключенческая литература не может гордиться такими отлично запомнившимися персонажами, как Исаев — Штирлиц Юлиана Семенова, капитан Жеглов братьев Вайнеров, многими героями из произведений Василия Ардаматского, Анатолия Безуглова, Юрия Кларова, Эдуарда Хруцкого, Николая Леонова, Леонида Словина?! Нет надобности множить список: одаренные писатели всегда относились и относятся к своим героям «слишком по-писательски», как «обвинил» мой британский коллега. Честно говоря, приятное обвинение...

И если еще совсем недавно писательскими центрами советской приключенческой литературы были Москва и Ленинград, то сегодня ее «география» расширилась необычайно. Я уж не говорю о России. Свои писатели-«приключенцы» — причем талантливые, самобытные! — появились чуть ли не в каждой республике. Среди них мне хочется назвать того, чью книгу читатель сейчас держит в руках, — туркменского писателя Рахима Эсенова.

Не боясь громкой фразы, скажу, что Рахим Эсенов — явление особенное, характерное именно для советской многонациональной литературы. Пишет он на русском языке, на языке Пушкина и Толстого, Достоевского и Гоголя, Горького и Шолохова. На языке, подарившем миру действительно Большую Литературу, у которой учатся многие литераторы. Это туркмен Рахим Эсенов, киргиз Чингиз Айтматов, казах Олжас Сулейменов, таджик Масуд Муллоджанов... Писатели разных жанров, разных направлений, если хотите — разных дарований. Но всех их объединил русский язык, не снивелировав ни на йоту в их творчестве особенностей их национальных литератур.

Рахим Эсенов давно уже верен приключенческому жанру,

хотя много сил и умения отдает также публицистике. (Напомню, что долгие годы он был собственным корреспондентом «Правды» по Туркмении, а работа эта требует от писателя «многостаночности»: он должен писать и репортажи, и корреспонденции «с колес», непосредственно с места события, и фельетоны, и очерки.) По образованию Р. Эсенов филолог: в 1950 году, демобилизовавшись после шестилетней службы в рядах Советской Армии, поступил в Туркменский государственный университет имени Горького. Р. Эсенов был первым туркменом, окончившим факультет русской филологии. Родился он в 1927 году в семье служащего, школу окончил в Ашхабаде. Работал на радио, руководил Союзом писателей республики, был министром культуры Туркменской ССР, ныне — председатель президиума Туркменского общества дружбы и культурной связи с зарубежными странами, лауреат премии Ленинского комсомола Туркменистана, автор ряда известных произведений, издававшихся на языках многих народов СССР, а также за рубежом. Добавлю, что детство Рахима Эсенова прошло в Джебеле и Ташаузе, то есть в местах, охваченных тогда басмаческим движением. Видно, не случайно поэтому он обратился в своем творчестве и к теме басмачества.

В 1976 году вышел роман Р. Эсенова «Предрассветные призраки пустыни», посвященный поистине «приключенческой» теме — борьбе с басмачеством в Туркменистане в 20—30-х годах. Писатели разных национальностей неоднократно обращались к этой теме. Но порой выходили романы и повести, создавались фильмы, в которых бешено неслись на горячих ахалтекинских скакунах мрачные басмачи в косматых бараньих шапках-тельпеках, метко стрелявшие на полном скаку, а «красные батыры» терпеливо выслеживали бандитов, шли за ними по пустыне, еле живые от жажды, и в конце концов побеждали...

Тут мой собеседник из Англии вполне мог бы быть доволен: условия игры в таких произведениях соблюдены полностью. Герои просто-напросто «идут по следу», выполняя функции чисто «производственные». Они не нуждаются в «лица необщем выраженье». И уж конечно, в памяти они не остались, канули в Лету.

Рахим Эсенов — не только писатель, но и историк, еще его диссертационная работа называлась «Большевистское подполье и партизанское движение в Закаспии в 1918—1920 гг.». Эта двуединость профессии и определила подход автора к теме, которая интересна ему не только с ю ж е т н о, но и близка и с т о р и ч е с к и. Он возвращает нас к нелегкой работе чекистов Туркмении в годы, когда басмаческие банды легко переходили через границу, грабили, убивали и жгли, когда неясно было — кто враг, а кто просто обманутый человек. Возвращая нас к тем годам, писатель, любящий и умеющий строить динамичный и острый сюжет, тем не менее

остается историком, который не позволяет себе ошибиться: ведь он пишет Время.

Время, непростое и огненное время живет в произведениях Р. Эсенова полноправным героем. Живет вместе с чекистом, коммунистом Аширом Тагановым, человеком цельным и честным, обладающим ярким и полнокровным характером (это тоже результат отношения к делу «слишком по-писательски»). Вместе с классовым врагом Таганова — басмачом Нуры Курреевым, бывшим его другом, участником мальчишеских игр, но которых развела революция, как развела она многих, заставив каждого сделать выбор: с кем он?

Тревожное время «гудит телеграфной струной» и в повести Р. Эсенова «Крушение «великого Турана», где не вымышленный, реальный образ туркменского чекиста Ага Бердыева, ставший прообразом Ашира Таганова, на мой взгляд, — один из ярких в литературе о военных разведчиках, людях каждодневного риска и необычайной отваги.

Выносимая на суд читателей новая работа известного туркменского писателя — «Тени «желтого доминиона»—является как бы продолжением «Предрассветных призраков пустыни», ибо многие герои перешли в новый роман, продолжают в нем жить и действовать.

Каков же этот роман — «Тени «желтого доминиона»? Приключенческий или исторический? Военный или политический? И вопросы эти отнюдь не праздные, а вполне закономерные.

Рахим Эсенов написал роман политический, исторический, военный, приключенческий и вместе с тем глубоко национальный. «Писать роман, — говорил Л. Н. Толстой, — это значит писать жизнь». И достоинства нового романа Р. Эсенова — в его документальности и историзме, его современности, в глубоко патриотической и одновременно интернационалистской позиции автора.

На страницах нового романа фигурирует имя печально известного британского разведчика Лоуренса, стоявшего вместе со своими шефами из военного ведомства у истоков подрывной деятельности Запада против молодых Среднеазиатских советских республик и дружественного нам Афганистана. Это им принадлежала идея захвата Ближнего Востока и создания на арабских землях — под эгидой Британской империи — «цветного доминиона».

Ныне над Афганистаном все ярче разгорается заря Апрельской революции. Однако еще бродят по этой земле «предрассветные призраки», не оставившие своих коварных замыслов. На Востоке говорят: «Прежде чем строить дом — найди соседа». Надежный и верный сосед Афганистана — Советский Союз. И сегодня актуальным видится роман писателя и историка Рахима Эсенова «Тени «желтого доминиона», вновь говорящего: уроки прошлого забывать нельзя!

Сергей Абрамов

СОДЕРЖАНИЕ

Эсенов Р. М.

Э 84 Тени «желтого доминиона»: Роман/Послесл. С. Абрамова. — М.: Мол. гвардия, 1983. — 383 с., ил. — (Стрела).

В пер.: 1 р. 50 к. 100 000 экз.

Остросюжетный приключенческий роман, продолжение книги «Предрассветные призраки пустыни», изданной в «Молодой гвардии» в 1976 году. Автор воссоздает славные страницы истории туркменского народа, борьбу с басмачеством, разоблачает происки иностранных разведок.

Э $\frac{4702010200-071}{078(02)-83}$ 263—82 ББК 84Р7 Р2

ИБ № 3088

Рахим Махтумович Эсенов
ТЕНИ «ЖЕЛТОГО ДОМИНИОНА»

Редактор В. Миронов
Художник Б. Лаллыков
Художественный редактор Б. Федотов
Технический редактор Г. Варыханова
Корректоры В. Назарова, А. Долидзе, Г. Трибунская

Сдано в набор 31.08.82. Подписано в печать 10.03.83. А00054. Формат 84×108[1]/32. Бумага типографская № 2. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Усл. печ. л. 20,16. Учетно-изд. л. 21,3. Тираж 100 000 экз. Цена 1 р. 50 коп. Заказ 1458.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типографии: 103030, Москва, К-30, Сущевская, 21.

1 р. 50 к.

В 1983 ГОДУ В СЕРИИ «СТРЕЛА» ВЫХОДЯТ КНИГИ:

В. ВИТКОВИЧ
Круги жизни

С. ВЫСОЦКИЙ
Среда обитания

Д. ГОРЮНОВ
Возвращение в Африку

И. ЛАСТОВСКИЙ, Л. МЕДВЕДОВСКИЙ
М. СТЕЙГА
У незримой границы

Л. МЛЕЧИН
Проект «Вальхалла»

А. ПОЛЯКОВ
Без права выбора

С. САХАРНОВ
Бухта командора

Ю. СЕМЕНОВ, А. ГОРБОВСКИЙ
Без единого выстрела

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ

РАХИМ ЭСЕНОВ ТЕНИ „ЖЕЛТОГО ДОМИНИОНА"